8.1972

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

8 АВГУСТ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

Р. К. НАРАЙАН — Два рассказа *(Перевод Н. Демуровой)* 3

ХОРХЕ ТЕЙЛЬЕР — Стихи *(Перевод и вступление Сергея Гончаренко)* 35

ЕЖИ БРОШКЕВИЧ — Долго и счастливо *(Роман. Окончание. Перевод Михаила Игнатова)* 41

ВЭНЬ И-ДО — Стихи *(Перевод Геннадия Ярославцева)* 109

ДЖОН О'ХАРА — Дело Локвудов *(Роман. Перевод К. Чугунова)* 114

Литературное наследие

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ — Истолкование старинной гравюры на дереве, изображающей поэтическое призвание Ганса Сакса *(Перевод и вступление Льва Гинзбурга)* *189*

Критика

А. МУЛЯРЧИК — По рецептам литературного суррогата (Современная «массовая беллетристика» в США) 196

Х. КЯМИЛЕВ — Поэзия Назыма Хикмета последних лет 203

В. ЛАКШИН — «Почтовая проза» И. С. Тургенева 210

Писатель и время

Раздумья оптимиста (Беседа Марио Бенедетти с Роберто Фернандесом Ретамаром. *Перевод Э. Брагинской)* 215

Культура и современность

Заметки на полях

Ю. С. — Культурная политика и изменяющаяся действительность. Т. Ротенберг — «Биологические машины» против «цивилизации мужчин» 225

Публицистика

К 50-летию СССР

ШАНДОР ЭК — 1921, Москва... *(Перевод Е. Бочарниковой)* 233

П. ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ — Поля хлебов и нефтяные поля 240

Ю. КАГРАМАНОВ — О метаморфозе «американской мечты», или Новые злоключения «блудного сына» 245

Наши гости

Подлинное искусство всегда современно (Беседа с Генрихом Бёлем. *Запись М. Сергеева)* 254

Изобразительное искусство за рубежом

С. Ф.— Негритянский художник Элтон Фэкс 257

А. БОГДАНОВ — Графика борьбы (Сирийский художник Назир Набаа) 258

Среди книг

Издано в СССР

И. Канторович — Из наследия Бернарда Шоу. А. Зверев — Переулки Тильбюри-тауна 261

Издано за рубежом

Марио Хиль — Карлос Фуэнтес. «Мексиканское время». А. Чернышев, В. Пронин — «Чистая» критика Эндрю Филда 265

Из месяца в месяц 270

Авторы этого номера 287

На обложке: лоскутная ткань польской художницы П. ДОМБРОВСКОЙ, 1959 г.

На вкладке: работы из альбома негритянского художника ЭЛТОНА ФЭКСА.

Р. К. НАРАЙАН

Два рассказа

Перевод с английского Н. ДЕМУРОВОЙ

Аннамалай

В тот день почтальон принес мне только одну открытку, всю исписанную мельчайшими буковками по-тамильски. От кого бы это? — подумал я. Впрочем, раздумья мои длились недолго. Почерк, форма обращения, черные чернила, а самое главное, церемонность стиля были мне хорошо знакомы. За те пятнадцать лет, что Аннамалай был садовником, сторожем и охранителем моих владений и меня самого в Новом районе, я расшифровывал и читал ему вслух по письму в месяц, по меньшей мере. Сегодняшнее начиналось так: «С волнением кладу я это ничтожное послание перед Божественным Промыслом моего старого господина. Я кладу его к лотосоподобным ногам великой души, которая во дни моей жизни одаряла меня пищей, кровом и деньгами, о чьем благополучии я денно и нощно, когда только не сплю, молю Всевышнего. Господь да благословит вас, господин! Вашей милостью и милостью богов, что обитают наверху в небесной тверди, я нахожусь в прекрасном здравии и настроении, а также и мои родные: младший брат мой Амавасай, моя дочь, мой зять, два моих внука, моя сестра, что живет через четыре дома от меня, мой дядюшка с материнской стороны и его дети, что стерегут кокосовую рощу,— все мы здоровы. В этом году боги были добры к нам и послали дожди на нашу землю, сады и огороды. Водоемы наши наполнены, и мы усердно работаем...»

Я от души обрадовался, услышав добрые вести от того, кто, насколько я помню, не прожил ни одного спокойного дня. Но радовался я недолго. Розовый мираж продолжался не более десяти, плотно прилегающих друг к другу строк, затем наступил крутой спад. Я понял, что великолепное начало было всего лишь формальностью, соблюдением правил вежливости и эпистолярного искусства, которое не следовало принимать буквально ни в целом, ни в отдельных частях, ибо вдруг письмо резко меняло направление и тон: «Я пишу вашей чести сегодня потому, что должен уведомить вас, что крайне нуждаюсь в деньгах. Урожая в этом году не было никакого, и у меня нет ни еды, ни денег. Здоровье мое очень плохое. Я болен, совсем одряхлел, не встаю с постели и нуждаюсь в деньгах на пропитание и лекарства. Родные не могут меня содержать; брат мой Амавасай

человек набожный, но он очень беден и обременен семейством из девяти детей и двух жен, а потому я прошу вас: считайте это письмо телеграммой и вышлите мне деньги немедленно...»

Он не называл никакой суммы, полагаясь на мое решение: впрочем, что бы я ни послал ему, все было бы хорошо. В конце письма стояло его имя, но я-то знал, что подписываться он не умеет. Когда ему надо было подписать какой-нибудь официальный документ, он всегда ставил отпечаток большого пальца. Конечно, я был бы рад посылать ему определенную сумму — не раз от разу, а регулярно, как пенсию за все годы его службы. Но как убедиться, что это он написал письмо? Я знал, что он не может ни читать, ни писать. Как удостовериться, что это письмо было написано не его братом Амавасаем, этим отцом девятерых и супругом двух, которому, возможно, пришла в голову прекрасная мысль — получать пенсию от имени покойного брата? Как удостовериться, что Аннамалай жив? Перед тем как покинуть меня, он в самых возвышенных выражениях описал мне собственные похороны, которые, казалось, он предвкушал с торжеством. Это были его последние слова перед уходом.

Я взглянул на марку, чтобы убедиться, что, по крайней мере, открытка пришла из деревни Аннамалая, но почтовая печать, как всегда, была смазана. Впрочем, если бы даже это было не так, если бы даже на печати ясно стояло название деревни, это ничего бы не изменило. Я так никогда и не узнал, как называется его деревня, хоть и надписывал, как я уже сказал, для него адрес десятки раз за те пятнадцать лет, что он провел у меня. Он, бывало, вставал позади моего кресла, положив открытку, на которой я должен был написать адрес, на письменный стол. Каждый раз я говорил:

— А теперь скажи мне точный адрес.

— Хорошо, господин,— отвечал он.

Я ждал, застыв с пером в руках.

— Брата моего зовут Амавасай, и письмо должно быть отдано ему в руки.

— Это я хорошо знаю, а теперь продиктуй-ка мне адрес, да поточнее на этот раз.

Дело в том, что он ни разу не назвал мне точного адреса.

Он произносил что-то вроде «Мара Конам», что всегда приводило меня в замешательство. По-тамильски это значит «деревянный угол» либо «скрещенный угол», в зависимости от того, ставить ли ударение на первом или на втором слоге этого фонетического сочетания. Подняв перо, я говорил:

— Ну-ка, повтори.

Он с готовностью повторял, медленно и четко. Только на этот раз название деревни было совсем другое, что-то вроде «Пераманналур».

— Что это, где это? — спрашивал я в отчаянии.

— Это моя деревня, господин,— отвечал он, сияя гордостью.

Я снова задумывался над тем, что бы это могло означать. Если сделать скидку на неправильное произношение, то это могло быть «Паэрумай Наллур», что означало «жилище Гордости и Доброты», а если изменить ударение — «жилище Довольства и Доброты». Когда же, пытаясь нащупать путь в этих словесных дебрях, я просил его повторить, он обычно опять говорил что-то совсем другое. С легкой ностальгией в голосе и так, словно он оказывал снисхождение человеку, не блистающему сообразительностью, он говорил:

— Напишите покрупнее: «Нумтодская почта».

И тем принуждал меня снова к попыткам извлечь какой-то смысл из этого звукового сочетания. Бесполезно. Это был пример чистого

звука без всякого смысла. Да, смыслом там и не пахло! Как ни пытаться расставить ударение по слогам, как ни пробовать перевести или сопоставить эти звуки с тамили, телугу, каннада или любым другим из четырнадцати языков, перечисленных в индийской конституции, ничего не выходило. Пока я раздумывал, стараясь разобраться во всех этих словесах, обрушившихся на мою голову, Аннамалай молча ждал с видом снисходительного превосходства. Он только мягко говорил:

— Пишите по-английски.

— Почему по-английски?

— Если б можно было по-тамильски, я бы попросил того человека, который пишет мне открытки, чтоб он и адрес надписал, но надо по-английски, поэтому мне и приходится вас беспокоить...

Логическое рассуждение, которое казалось мне слишком сложным.

Я настаивал:

— Но почему же не по-тамильски?

— Письма, надписанные по-тамильски, не доходят. Это нам еще наш школьный учитель все время объяснял. Когда умер мой дядя, его сыну в Кондживараме послали письмо и надписали его по-тамильски, но он так и не приехал на похороны. Мы прождали его два дня, а потом сложились и похоронили дядю, а сын приехал через год и спрашивает: «Где мой отец? Я хочу попросить у него денег».

И Аннамалай рассмеялся, вспомнив об этом эпизоде. Поняв, что лучше не спрашивать больше ни о чем, я разрешал проблему, быстро надписав на конверте все, что он мне говорил, и в той же последовательности. В заключение, прежде чем взять открытку со стола, он спрашивал:

— А вы написали — переслать через Катпати?

Это была долгая процедура. По мере того как адресная сторона открытки заполнялась, я в глубине души волновался, что для последней строчки не останется места, но мне всегда удавалось втиснуть ее самым кончиком пера. Вся эта история занимала обычно чуть ли не час, но, к счастью, Аннамалай никогда не слал домой больше одной открытки в месяц. Он часто говорил:

— Конечно, господин, мои домашние с радостью получали бы письма, но если я буду слать по открытке каждому, кто ее ждет, я разорюсь. А когда я разорюсь, найдется ли среди моих родственников хоть одна душа, которая предложит мне горсть риса, даже если я буду умирать с голоду?

А потому он поддерживал переписку в разумных границах, хоть она и составляла важное звено в его связи с родной деревней.

— А как ехать в твою деревню? — спрашивал я.

— Купите железнодорожный билет и езжайте,— отвечал он, радуясь, что может поговорить о доме.— Если сесть на ночной пассажирский, заплатив две рупии и десять ан, то уже утром будешь в Тричи. А из Тричи в одиннадцать часов отходит другой поезд. За семь рупий и четыре аны (раньше-то было всего пять рупий и четырнадцать ан) можно доехать до Виллипурама. Только нужно не спать всю ночь, а не то поезд увезет дальше. Однажды я заснул и проехал свою станцию, так от меня потребовали доплатить две рупии. Уж как я их просил и молил, но в конце концов они меня отпустили, пришлось мне только на следующее утро купить еще билет, чтобы попасть назад в Катпати. До полудня можно поспать на платформе на станции. В полдень приходит автобус, за двенадцать ан он отвезет вас дальше. А после автобуса можно нанять повозку или телегу, запряженную буйволами. Это будет стоить шесть ан, а там уж и пеш-

ком засветло успеешь дойти до дома. Но если стемнеет, могут напасть бандиты, да еще и побьют, того и гляди. Идти там не очень далеко. Если выйти днем, то до Маракопама дойдешь дотемна. А вот открытка доходит туда всего за девять пайс. Ну, не чудо ли это?

Однажды я спросил:

— Почему ты прежде надписываешь адрес на открытке, а потом пишешь все остальное?

— Чтобы знать, что этот человек, который мне пишет, не пошлет ее своим собственным родственникам. Иначе как мне быть в этом уверенным?

Кажется, это действительно был хороший способ убедиться в том, что твою открытку не пошлют по чужому адресу. Правда, это свидетельствовало о довольно странном отношении к тому невидимке, которому он диктовал свои послания, ибо он всегда говорил о нем весьма тепло: впрочем, возможно, что некоторая осторожность в дружбе лишь улучшает отношения. Я часто расспрашивал его об этом приятеле.

— Его и зовут так же, как меня,— сказал он.

Я спросил:

— Как?

Он склонил голову и пробормотал:

— Ну... так же, как меня...

Это был деликатный вопрос: об имени без надобности не говорят, его не называют. Мне это и в голову не приходило, пока однажды он не заговорил со мной о дощечке на калитке, на которой стояло мое имя. Когда я вышел в сад, он мне прямо сказал:

— Если вы на меня не рассердитесь за эти слова, я вам вот что скажу: уберите эту дощечку!

— Почему?

— Да всякие люди идут мимо по дороге и произносят вслух ваше имя. Это нехорошо. Часто уличные мальчишки и малыши, которые только учатся читать, прокричат ваше имя и побегут, так что я и поймать их не могу. На днях какие-то женщины читали его и стали смеяться. С чего бы им смеяться? Не нравится мне это...

Совсем иным был его мир, в котором имя скрывали, а не навязывали изо всех сил — в печати, в эфире, на экране.

— Куда же мне повесить эту дощечку, раз уж она у меня есть?

Он только ответил:

— Почему бы не убрать ее в дом? Можно повесить в доме среди картин.

— Люди, которым нужно найти меня, должны знать, где я живу.

— Они и так знают,— ответил он.— Иначе зачем бы им ехать так далеко?

Больше всего я любил разговаривать с ним, когда он копал землю в саду. Там, когда руки его были заняты лопатой, происходили лучшие наши диалоги. Он мог копать хоть весь день напролет, так ему нравилось это занятие. Работая, он повязывал голову красным платком, стянув его узлом над ухом, словно пират. В трусах цвета хаки, с обнаженной спиной, загоревшей под солнцем до цвета черного дерева, он, казалось, сливался с окружавшей его зеленью и влажной землей, и когда он стоял по щиколотку в грязи у грядки с банановыми саженцами, его невозможно было отличить от этого фона. По земле, песку и камню он двигался свободно и легко, но в доме он шаркал ногами и царапал цементный пол; а когда он тащился по лестнице наверх, суставы его трещали и щелкали. Он никогда не чувствовал себя свободно в присутствии стен, бумаг и книг; входя в мой кабинет, он казался испуганным и неловким и всячески ста-

рался заглушить свои шаги и голос. Он являлся ко мне, только когда ему нужно было надписать открытку. Я сидел у письменного стола, а он становился у меня за креслом, стараясь не дышать, чтобы не помешать мне, но это было свыше его сил: как ни пытался он стоять совершенно неподвижно, какие-то шорохи и вздохи вылетали из его горла. Если я не сразу замечал его присутствие, он кидал взгляд в направлении калитки и издавал громкий крик гуртовщика «эй-эй!». И тут же пояснял:

— Опять эти коровы, господин! Когда-нибудь они разнесут ворота и съедят нашу лужайку и цветы, а ведь я их растил с таким усердием. Сколько раз совсем незнакомые люди останавливались у нашей калитки и говорили: «Посмотрите на эти красные цветы, как чудесно они взошли! И все это дело рук вон того старика. Подумать только, в его возрасте...»

Возможно, у Аннамалая и были какие-либо опасения относительно других его способностей, но в своих цветоводческих талантах он не сомневался ни на минуту. Этому способствовали различные обстоятельства. Я никак его не ограничивал. За домом у меня простиралась четверть акра, дававшая ему неограниченные возможности для различных опытов. Раньше я жил на улице Винаяка — до тех пор пока в соседнем доме не поселился хозяин грузового парка. Он приходился родственником председателю муниципалитета и потому пользовался в городе неограниченной свободой. Весь день его грузовики грохотали по нашей улице, а ночью механики стучали по ним молотками, бурили, сверлили, отлаживали, чтобы привести их в порядок к утру. Казалось, никто больше на нашей улице не замечает грузовиков; протестовать или жаловаться было бесполезно, ибо родственник председателя муниципалитета был выше всяких упреков. Я решил спастись бегством. До меня, наконец, дошло, что наша улица больше не предназначалась для людей моего типа. Я начал поиски. Мне понравился участок в Новом районе, который показал мне маклер, устроивший также и продажу моего старого дома на улице Винаяка. Его купил все тот же владелец грузовиков. Не прошло и полугода с тех пор, как я принял решение и переехал со всеми своими рукописями и книгами. Пологий склон холма, уходящий вдаль к дороге в горах, крутой подъем слева, железнодорожное полотно через просеку, красные ворота переезда — так выглядело мое новое окружение. Кто-то выстроил здесь небольшой дом: одна комната наверху и две внизу. Мне этого было достаточно, ибо я хотел лишь читать и писать в тишине.

В день переезда я попросил моего соседа дать мне машину. Он с радостью предоставил мне грузовик, и мы расстались, довольные друг другом. Теперь он мог спокойно греметь по ночам, не слыша ни от кого ни слова упрека. Я же мечтал о том, что услышу на новом месте лишь пение птиц и шум ветра. Итак, все мои книги и пожитки были погружены в открытый кузов машины, четверо грузчиков устроились сверху на них, я же сел рядом с шофером и простился с улицей Винаяка. Никто не пожалел о моем отъезде, ибо постепенно, незаметно, особенно после смерти дядюшки, я стал единственным представителем нашего клана на этой улице.

Когда мы приехали в Новый район, грузчики быстро сняли мои пожитки с грузовика и свалили их в холле; один из них задержался, в то время как остальные вернулись к грузовику. Они закричали:

— Эй, Аннамалай, идешь ты или нет?

Он не ответил. Они велели шоферу погудеть.

Я сказал:

— Они, видно, ждут тебя?

Он коротко ответил:

— Пускай себе ждут.

Он пытался помочь мне разобрать вещи.

— Хотите, я отнесу его наверх? — спросил он, указывая на стол.

Грузовик воинственно загудел под окном. Он рассердился на эту назойливость, выглянул в дверь и замахал руками:

— Езжайте, если вам нужно! Чего вы здесь стоите и шумите, словно ослы?!

— А как ты назад доберешься?

— А вам какое дело? — сказал он.— Убирайтесь, если хотите, а то шумите, словно ослы, и беспокоите этого господина.

Меня тронула его заботливость, и, подняв глаза от книг, которые я доставал из ящиков, я впервые по-настоящему увидел его. Это был ширококостный человек с тяжелым подбородком, с начисто выбритой головой, прикрытой тюрбаном. Шорты цвета хаки прикрывали его сильные кривые ноги, а длинные руки доходили чуть не до колен. Пальцы у него были толстые, нос широкий, огромные зубы были красны от сока бетеля и табака, которые он непрерывно держал за щекой. В нем было что-то воинственное и в то же время мягкое.

— Кажется, уехали,— заметил я, когда шум грузовика затих вдали.

— Ну и пусть,— сказал он,— мне все равно.

— А как же ты вернешься назад? — спросил я.

— А зачем мне? — сказал он.— Ваши вещи вон как навалены, пошвыряли все в беспорядке, нет чтобы остаться и помочь разобрать. Вы даже представить себе не можете, господин, что за люди сейчас пошли...

Вот как случилось, что Аннамалай остался в моем доме. Он помог мне разобрать чемоданы и сундуки, расставить книги по полкам. Когда я отправился взглянуть на сад, он шел за мной по пятам. Сад был запущен. Предыдущий владелец совсем о нем не заботился. От заднего двора сад отделяла зубчатая стена, а остальное было обнесено оградой, сколоченной из чего попало. Стоило мне нагнуться над каким-нибудь растением, Аннамалай, нахмурившись, также останавливался возле. Если я спрашивал:

— Что это?

— Это? — говорил он, склоняясь до самой земли.— Это цветущее растение.

И поглядев на него внимательнее, он провозглашал то, что я и сам успел заметить:

— Цветы у него желтые.

С течением времени я узнал, что его система классификаций была чрезвычайно проста. Если растение ему нравилось, он называл его «цветущим растением» и не трогал его. Если же оно казалось ему подозрительным, колючим или хотя бы слегка искривленным, он тут же провозглашал:

— Это сорняк!

Не успевал я и глазом моргнуть, как он тут же выдирал его и с проклятьем бросал через стену.

— Почему ты проклинаешь эту несчастную траву?

— Это дурное растение, господин.

— Чем же оно дурное?

— Всем... Если к нему подойдут малые дети, то у них потом животы разболятся.

— Да тут же на много миль вокруг нет ни одного ребенка.

— Ну и что же... Оно и на расстоянии отравить может...

■

В доме было что-то вроде подвального помещения, и я спросил Аннамалая:

— Ты можешь здесь устроиться?

— Мне даже и этого не надо,— сказал он. И пояснил: — Я не боюсь ни дьяволов, ни духов, ничего. Я могу жить где угодно. Разве у меня была комната в тех лесах?

И он махнул рукой в неопределенном направлении.

— Этот владелец грузовиков — негодяй, господин. Прошу вас, простите, что я так выражаюсь в присутствии благородного человека. Он негодяй. Он взял да и отвез меня однажды на своем грузовике в лес на горе и ни за что не давал мне вернуться назад. Он, видишь ли, подписал договор на сбор удобрений из этих лесов и хотел, чтобы кто-нибудь там жил, копал бы удобрение и грузил его на машины.

— Какое удобрение?

— Птичий помет, испражнения тигров и других диких зверей и сухие листья, целыми слоями сопревшие в лесу. Он мне платил полторы рупии в день, только чтобы я там жил, и копал, и грузил на машину, когда она приедет. Я разжигал костер, варил рис и ел его, а спал под деревьями. Нагребу листьев и зажгу их, чтобы отпугивать тигров; они там рычали всю ночь напролет.

— Зачем же ты согласился? И всего за полторы рупии в день.

Он задумался, а потом ответил:

— Не знаю. Я сидел в поезде, ехал куда-то, чтобы искать работу. Билета у меня не было. Тут вдруг вошел какой-то человек и говорит: «Где твой билет?» Я порылся в карманах и сказал: «Какой-то сукин сын украл у меня билет». Но он все понял и сказал: «Сейчас мы выясним, кто здесь сукин сын. Только сначала ты сойдешь с поезда». Вот меня и сняли с поезда вместе с моим узелком. Когда поезд ушел и мы остались одни, он и говорит: «Сколько у тебя есть денег?» У меня ничего не было. Он и говорит: «Хочешь зарабатывать в день рупию и восемь ан?» Я стал молить его, чтобы он дал мне работу. Он подвел меня к грузовику, стоявшему возле железнодорожной станции, дал мне мотыгу и лопату и сказал: «Садись в грузовик, шофер скажет, что тебе делать». На следующий день к вечеру грузовик оставил меня на горе. Всю ночь я не спал, чтобы не дать костру потухнуть. Туда ведь и слоны приходят.

— Тебе не страшно было?

— Да они убегали... Завидят огонь и убегут. А то еще я распевал погромче всякие мудрые пословицы и изречения, пока они не уйдут, оставив кучи дерьма вокруг. А этому человеку только того и надо было. Он продавал его на кофейные плантации и зарабатывал себе деньги. Когда я хотел вернуться домой, они меня не пустили, ну я и остался. Прошлую неделю они опять приехали, а я лежал больной в лихорадке, трясло меня сильно, но только другой шофер, хороший человек, разрешил мне залезть на его грузовик да и увез меня. Так я бежал из леса. Я туда никогда не вернусь, господин. Хозяин мне жалованье так и не выплатил, говорит, я все проел на рисе и картошке, что он мне давал за эти месяцы. Не знаю, как-нибудь вы посчитайте и помогите мне...

На следующее утро, спозаранку, он отправился за своими пожитками. Он попросил меня дать ему вперед пять рупий. Я заколебался. Я и суток его не знал, разве мог я так легко доверить ему деньги? Я сказал:

— У меня нет сейчас мелочи.

Он улыбнулся мне в лицо, обнажив свои красные зубы.

— Я вижу, вы мне не доверяете. Ну что ж, оно и понятно. На свете полным-полно всяких обманщиков, которые только и ждут, чтобы вас провести. Вы должны быть осторожны со своими деньгами, господин. Если не следить за своими деньгами и женой...

Конец фразы я не расслышал, так как он спустился вниз по лестнице, по пути продолжая свою тираду. Я устанавливал свой письменный стол, мне хотелось поскорее приступить к работе. Я слышал, как открылась калитка, как пропели петли, которые позже я так и не стал смазывать, чтобы они заменяли мне дверной звонок. Я выглянул в окно и увидел, что он идет прочь по дороге. Я подумал, что он уходит навсегда. Не возвратится же он к человеку, который не захотел доверить ему пять рупий! Мне стало жаль, что я не дал ему денег. Хоть одну рупию... Я видел, как он поднялся в гору и исчез из виду. Он шел в город сокращенным путем, через ворота на переезде.

Я вернулся к столу, кляня свою подозрительность. Человек вызвался мне помочь, а я проявил такую мелочность! Он пропадал весь день. На следующий день во дворе щелкнула щеколда, петли калитки пропели, и я увидел, что он идет к дому, держа на голове большой жестяной чемодан, а поверх него — огромный джутовый мешок. Я спустился ему навстречу. Когда я вышел во двор, он уже завернул за угол дома. Подойдя к двери в подвал, я увидел, что он снимает чемодан с головы.

Бывало, он часто подходил под мое окно и говорил в пространство:

— Господин, я пойду на минутку, мне нужно поговорить с садовником в том доме.

И не дожидаясь ответа, уходил. Иногда я из принципа возражал:

— Зачем тебе ходить и беспокоить его из-за наших дел?

У него вытягивалось лицо, и он отвечал:

— Раз я не должен идти, я не пойду, если вы так приказываете...

Разве мог я или еще кто-то приказывать Аннамалаю? Об этом и помыслить было невозможно. Чтобы избежать решительного шага, я говорил:

— Ты и так все сам знаешь. Что он тебе может сказать нового?

В ответ на эту ересь он только тряс головой.

— Не говорите так, господин. Если вы не хотите, чтобы я шел, я не пойду, вот и все. Вы думаете, я хочу уйти, чтобы бездельничать там и сплетничать?

Трудный вопрос... Я говорил:

— Нет, нет, если это так важно, конечно, иди.

Он поворачивался, бормоча:

— Даром, что ли, ему платят сто рупий в месяц?.. А я хочу одного — пусть у нас двор будет такой, чтобы прохожие останавливались у ворот и ахали... Вот и все. Разве я прошу, чтобы мне тоже платили сто рупий, как тому садовнику?

И он уходил, продолжая что-то доказывать. Аннамалай любил поговорить; для этого ему совсем не нужен был собеседник. Из своего окна я видел, как спустя час он возвращался домой. Он появлялся в конце улицы, сжимая в руке поникший саженец, словно подстреленную птицу. Став под моим окном, он окликал меня, с торжеством поднимая вверх несчастное растение:

— Только если пойти и попросить, люди дадут нам растение, а иначе с чего бы им о нас думать?

— Что это? — спрашивал я покорно. Я знал, что он мне ответит еще до того, как он открывал рот.

— Цветущее растение.

Однажды он показал мне горсть семян, завязанных узелком в край его дхоти. Я снова спросил:

— Что это?

— Очень редкие семена. В нашем районе ни у кого таких нет. Если вы думаете, что я вру...— Затем он спрашивал: — Куда их посадить?

Я тыкал пальцем в какой-нибудь угол двора и говорил:

— Может, вон туда? А то там как-то голо...

Но даже произнося эти слова, я чувствовал всю тщетность своего предложения; его вопрос был просто конституционной процедурой, ничем более. Он мог последовать моим указаниям, а мог поступить по своей склонности — предугадать было невозможно. Начнет сосредоточенно копать землю в каком-нибудь углу, сделает новую грядку какой-то особой формы, потычет пальцем в мягкую землю и сунет туда семена или саженцы. Каждое утро он будет склоняться над грядкой, чтобы в подробностях узреть, как они развиваются. Если заметит, что семя дало росток, или увидит какие-либо признаки жизни в саженце, начнет поливать его дважды в день, но если оно не отзовется на его заботы, придет в ярость.

— Оно должно было так хорошо взойти... Это Злой Глаз сушит все наши цветы... Теперь я знаю, что мне делать.

Он окунал палец в раствор белой извести и чертил странные, ни на что не похожие знаки на разбитом глиняном горшке, водружал его на палке у самой калитки, так, чтобы всякий, кто только ни войдет к нам во двор, увидел бы сначала эту странную роспись, а не наши растения. Он объяснял:

— Когда люди говорят: «Ах, какой красивый у вас сад!» — они говорят это с завистью, а зависть и сушит растение. Но когда они увидят эти рисунки, их охватит отвращение и наши цветы будут спасены. Вот и все.

Каждый день он что-нибудь сажал в саду, выбирая для этого полюбившееся ему место; я скоро обнаружил, что не имею права голоса в этом вопросе. Я понял, что он относится ко мне скорее с терпеливым уважением, чем с доверием, и не смел мешать ему поступать по-своему. Наши растения росли где и как им заблагорассудится и в целом процветали, хотя заботы Аннамалая сводились к тому, что он не жалел для них воды. Сильной струей из стофутового шланга он окатывал каждое растение, каждый листочек, пока они не поникали, словно утопленники. Время от времени он швырял к их корням всякие отходы и называл это удобрением. Благодаря его усердию дом мой был теперь окружен густой и сочной зеленью. У нас было много кустов роз, точного названия которых мы так никогда и не узнали, они образовали густые грозные заросли, которые так и норовили вцепиться в прохожих. Канны разрослись до гигантских размеров, жасмин вытянулся в длинные, тощие кусты, злорадно подняв цветы высоко над землей, так что до них было не дотянуться, хотя аромат их поил ночной воздух. После каждого сезона дождей из земли вылезали далии, подставляли дневному свету свои цветы, увядали и пропадали, чтобы вновь появиться в следующем сезоне. Мы не знали, кто их здесь посадил, однако природа усердно их возрождала, хотя Аннамалай спокойно присваивал себе эту честь. Порой, когда живая изгородь из такомы, окружавшая двор, превращалась в густую зеленую стену и закрывала вид из окон, я пытался протестовать. Аннамалай, проявлявший в известный момент царственную учтивость, не возражал мне, а только бросал долгий скептический взгляд на объект моей критики.

— Не думайте о них, я ими займусь.

— Когда? — спрашивал я.

— Как только пойдут дожди,— говорил он.

— Зачем же ждать так долго?

— Если растение срезать летом, то корни у него отомрут.

— Ты же знаешь, что сейчас творится с дождями, они совсем перестали идти.

В ответ он устремлял взор к небу и говорил:

— Зачем во всем винить дожди, когда люди стали так злы.

— Как это злы?

— А можно продавать рис по рупии за меру? Разве это справедливо? Как беднякам жить?

Когда, наконец, пошли дожди, не было никакого смысла напоминать ему об обещании подрезать изгородь, потому что он твердо заявлял:

— Вот пройдут дожди, я ее и подрежу. Ведь если подрезать растение во время дождя, оно начинает гнить. Конечно, если вы хотите, чтобы изгороди вообще не было, так и скажите. Я ее в две минуты уничтожу, но только меня потом не вините, когда всякий прохожий будет заглядывать к вам в окна.

Потом вдруг, в какой-нибудь день, забыв обо всех своих теориях, он вооружался серпом и слепо обрушивался на все, что только ни попадало ему под руку,— не только на живую изгородь, которую мне хотелось подрезать, но и на многое другое, что я предпочел бы сохранить. Когда я протестовал против такого опустошения, он только отвечал:

— Чем больше срезать, тем лучше будет расти, господин.

В результате этой деятельности растения теряли присущий им вид и становились потрепанными и поникшими; словно тощие призраки, торчали они из земли, усыпанной срезанной зеленью. Затем он сметал все, что срезал, в кучу, связывал в аккуратные вязанки и относил своему приятелю, писцу и тезке, который жил на Бамбуковом базаре и должен был как-то прокормить своих коров; в ответ на великодушие Аннамалая тот всегда предоставлял свое перо к его услугам.

Садоводческая деятельность Аннамалая прекращалась лишь поздно вечером. Он складывал инструменты в углу своей комнаты в подвале, с шумом сворачивал шланг и, убирая его, бормотал:

— В нем вся моя жизнь. Иначе как старому человеку напоить свои растения и заслужить добрую славу? Если какой-нибудь дьявол украдет его, мне конец, вы меня больше никогда не увидите.

Так много стояло за его привычкой скручивать резиновый шланг, что мне казалось, будто он и спал в его кольцах: так ему было спокойнее. Убрав шланг, он снимал свой красный платок, открывал кран и выливал на себя огромное количество воды. Он сморкался, отхаркивался и шумно приводил себя в порядок; он мыл ноги, оттирая пятки на лежащем возле большом плоском камне до тех пор, пока они не становились красными; потом платок превращался в полотенце, он насухо вытирался им и исчезал в подвале, откуда позже выходил, одетый в рубаху и белое дхоти. В это время он считал себя свободным. Он посещал лавочку близ переезда, чтобы пополнить свой запас табака и обменяться сплетнями с дружками, сидевшими там на тиковом бревне. Железнодорожный стрелочник, которому принадлежала лавка (хотя из дипломатических соображений он всегда заявлял, что это собственность его зятя), был человек образованный. Он обычно читал им вслух последние известия, напечатанные в местном листке, который выпускал владелец издательства «Истина». Ежедневные сообщения по радио и статьи из других газет сводились здесь до

нескольких строк, и все вместе спокойно умещались на одном-единственном листе, попирая всякие законы об авторском праве. Листок выходил по вечерам и стоил всего две пайсы; возможно, это была самая дешевая газета во всем мире. Аннамалай внимательно слушал и тем участвовал в современной истории. Когда он возвращался домой, я издали замечал его из своего окна, стоило только красному платку появиться на гребне холма. Если я был во дворе, он пересказывал мне новости дня. Так я впервые услышал об убийстве Джона Кеннеди. Весь день я был поглощен своими занятиями и не включал радио. Когда он вернулся из лавочки на переезде, я стоял у калитки, и едва он вошел во двор, я спокойно спросил:

— Ну, какие у тебя сегодня новости?

Не останавливаясь, он тут же ответил:

— Новости? Конечно, я за новостями не бегаю, но только сегодня я случайно услышал, что убили главного правителя Америки. Какой-то Каннади (по-тамильски это значит «стекло»), говорят. Только разве у человека может быть такое имя?

Когда до меня дошел смысл его небрежного сообщения, я спросил:

— Послушай, может, это был Кеннеди?

— Да нет, они сказали «Каннади», а кто-то его застрелил из ружья насмерть. Они уж его небось и кремировали...

Я попытался расспросить его подробнее, но он только отмахнулся:

— Вы думаете, я хожу туда, чтобы слушать все эти сплетни? Я и это узнал случайно... А потом все они говорили...

— Кто? — спросил я.

— Не знаю. Зачем мне их имена? Они там сидят и болтают, делать им больше нечего.

■

Он, бывало, входил в мой кабинет, держа в руке открытку, и провозглашал:

— Вам письмо, мне почтальон передал.

На деле это было письмо ему, но только он об этом не знал, пока ему не скажешь. Тогда он внезапно напрягался и делал шаг к столу, чтобы ничего не пропустить.

— Что он там пишет? — спрашивал он с раздражением.

Единственным его корреспондентом был его брат Амавасай; он не любил получать от него письма. Раздираемый любопытством и отвращением, он ждал, пока я кончу читать открытку про себя.

— О чем ему мне писать? — спрашивал он с презрением. И добавлял: — Можно подумать, что я и дня не могу прожить без такого братца.

Потом я читал открытку вслух. Она всегда начиналась торжественно: «Своему богоподобному старшему брату и защитнику его недостойный младший братишка Амавасай сообщает следующее: в настоящее время все мы здоровы и в один голос молим небо о благополучии нашего божественного родича». Эта преамбула занимала обычно половину открытки, после чего Амавасай круто переходил к делам земным: «Прошлой ночью кто-то передвинул камень, отмечавший северную границу нашей земли. Мы-то знаем, кто это сделал».

Переложив языком табак за щеку, чтобы он не мешал говорить, Аннамалай восклицал:

— А если знаешь, почему не раскроишь ему череп? Или ты совсем ума лишился? Ну, говори...

И он устремлял яростный взгляд на открытку в моей руке.

Вместо объяснения я читал дальше: «Но им на это наплевать».

— Наплевать? Почему это наплевать?

Я знал, что следующие строки взволнуют его до глубины души, но вынужден был прочитать их: «Если ты не приедешь и не расправишься с ними самолично, они еще больше обнаглеют. Ты себе уехал, домой и глаз не кажешь, а о своих родных и не думаешь, тебе все равно, счастливы мы или страдаем. Ты даже не приехал на праздник по случаю выбора имени для моей дочери. Главы семейств так не поступают».

Дальше шло еще много всяких обвинений. Однако заканчивалось письмо церемонно, с упоминанием лотосоподобных ног и божества. Чтобы немного отвлечь Аннамалая от мрачных мыслей, я иногда говорил:

— Твой брат хорошо пишет.

Тогда он вдруг улыбался, радуясь похвале, и отвечал:

— Это он-то пишет! Скажете тоже! Ведь он совершенный неуч. Это ему написал наш школьный учитель. Мы обычно говорим ему свои мысли, а он излагает их на бумаге. Талантливый человек...— Он отходил к двери и замечал: — Наши-то деревенские все как один неучи и невежды. Вы думаете, мой братец смог бы говорить по телефону?

Телефон был одним из городских триумфов Аннамалая. Поднапрягшись, он определял, каким концом следует приложить трубку к уху, и испытывал при этом гордость астронавта, покоряющего космос. Он чувствовал близкую связь с аппаратом и, когда раздавался звонок, всегда бросался ко мне со словами: «Телефон, господин!»— даже если я стоял рядом. Когда по вечерам я возвращался домой, он всегда выходил мне навстречу и, открывая калитку, возвещал:

— Звонил телефон, кто-то спрашивал, дома ли вы.

— Кто это был?

— Кто? Откуда мне знать? Он ведь мне не показывался.

— Ты разве не спросил, как его зовут?

— Нет, зачем мне его имя?

Однажды утром он подкараулил меня, когда я выходил из спальни, и сказал:

— В пять часов звонил телефон. Вы спали, я и спросил: «Кто это?» А он сказал: «Междугородный, междугородный», а я сказал ему: «Уходи, не беспокой нас, мы ни о каких городах и не думаем, господин спит».

До сего дня я так и не знаю, кто это звонил мне по междугородному телефону. Когда я пытался объяснить ему, что такое междугородный, он только отвечал:

— Да вы спали, а этот человек говорил что-то про город. К чему вам город?

Я сдался.

Спокойно существовать с Аннамалаем можно было только при одном условии: принимать его таким, каков он есть. Всякие попытки изменить или просветить его только привели бы реформатора к отчаянию и исказили бы замысел природы. Порой бывает гораздо спокойнее принимать мир таким, каков он есть. Так я и повел себя с ним поначалу. В первые дни он, бывало, разжигал костер прямо в подвале. Топливом ему служили листья и всякие палочки, которые он сметал в саду, отчего костер страшно дымил и закоптил все стены. К тому же в подвале не было вытяжной трубы, и он легко мог поджечь себе одежду и погибнуть. Однажды я объяснил ему, какой опас-

ности он себя подвергает, и предложил пользоваться углем. Он ответил:

— Как можно! Еда, которую готовят на угле, сокращает жизнь, господин. Отныне я вовсе не буду готовить в доме.

На следующий день он установил в саду под гранатовым деревом три кирпича, поставил на них глиняный горшок и разжег огромный костер. Он вскипятил воду, приготовил рис и чечевицу, добавив туда масла, лука и помидоров, а также горсть всякой зелени, набранной в саду. Запах этого варева вознесся к небу, заставив меня выглянуть с террасы и глубоко вдохнуть его.

Начались дожди, и я забеспокоился, что будет с его костром. Однако даже когда небеса темнели и разражались ливнем, он умудрялся в момент затишья разжечь костер и поддерживать его под укрытием гранатового дерева. Если же дождь лил не переставая, он держал над огнем кусок рифленого железа, не заботясь о том, чтобы прикрыть собственную голову. Ел он по вечерам и сохранял то, что оставалось, а назавтра украдкой запускал пальцы в горшок и съедал горсточку риса, отвернувшись к стене и заслоняя свою алюминиевую чашку от Дурного Глаза, который мог заглянуть в дверь.

Во всем районе не было человека сильнее, чем он. Когда по ночам он обходил мои владения, постукивая о землю металлическим прутом и важным голосом окликая прохожих, он наводил не меньше страха, чем огромный английский дог. В первое время в нашем Новом районе такой пес был бы, конечно, весьма кстати, однако теперь необходимость в нем давно уже отпала. Аннамалай, по-видимому, не понимал, что его воинственность была совсем неоправданной. Он, верно, не заметил, как окружающая нас пустошь (из окна спальни я не раз с интересом наблюдал, как воры разбивают на ней в канаве, всего в какой-нибудь сотне ярдов от меня, украденный сундук и при свете карманного фонаря изучают свою добычу) превратилась в шумный жилой квартал. Не замечал он и того, что за моим домом появились какие-то производственные помещения. Если прохожий задерживался хоть на минуту возле моих ворот, особенно ночью, после того как Аннамалай поужинал, а на небе высыпали звезды, Аннамалай тут же окликал его. Люди, которым случалось проходить мимо моего дома, обычно убыстряли шаг. Порой он смягчался, если кто-нибудь просил у него цветов для храма, однако стоило ему заметить, что я слежу за этой сделкой, как он в ярости кричал:

— Иди-ка отсюда! Ты думаешь, ты кто? Ты думаешь, цветы сами по себе вырастают? Тут вот последние силы им отдаешь, а ты...

И угрожающе надвигался на просителя. Но если я оставался в доме и только поглядывал украдкой в окно, я видел, как он подавал просителю пучок цветов, приглушая шаги и голос и озираясь, чтобы убедиться, что я ничего не вижу.

Вокруг все считали, что Аннамалай неплохо зарабатывает, продавая мои цветы. Так, по крайней мере, утверждала наша ближайшая соседка, объявившая себя его заклятым врагом. Аннамалай же утверждал, что, стоит мне уехать из дома, как она начинает требовать, чтобы он нарезал ей из сада банановых листьев для гостей, которых она ждала к обеду, и ярится от его неизменного отказа. Каждый раз, когда я шел мимо ее ограды, она шептала:

— Вы слишком доверяете этому человеку, а он без конца болтает у ворот и устраивает свои делишки.

Обстановка накалилась до предела в тот день, когда она объявила, что он крадет у нее птиц. Она разводила кур, которые нередко вторгались в наш двор через дыру в заборе, и тогда Аннамалай гонял их, бросая в них камни и издавая воинственные кличи. Однажды,

когда я отсутствовал несколько недель, соседка, загоняя в сумерках птиц домой, чуть не каждый день недосчитывалось, по ее словам, курицы. Она объясняла, что Аннамалай оглушал птицу, набросив ей на голову мокрое полотенце, а затем нес ее в лавку у переезда, где его соучастники продавали или жарили ее.

Однажды возле обители Аннамалая были найдены перья. Набег совершил сторож муниципальных полей орошения, одетый в рубашку цвета хаки и выдавший себя за полицейского. Аннамалай был должным образом напуган и расстроен. Вернувшись после поездки домой, я увидел, что Аннамалай стоит на высоком камне, чтобы в соседнем дворе его лучше слышали, и кричит:

— Значит, ты натравила на меня полицию потому, что у тебя пропала курица, так, да? Ну и что с того, что пропала? А я тут при чем? Если твоя курица зайдет ко мне во двор, я уж сверну ей голову, можешь не сомневаться, но только не думай, что я буду воровать, словно жалкий мошенник. Кур красть, еще чего скажешь! Плевать я хотел на твоих полицейских! У нас в деревне они только и делают, что бакшиш клянчат; может, которые глупцы, этого и не знают, но только я человек уважаемый, фермер, у меня своей земли в деревне целый акр! Я рис выращиваю. Амавасай там за всем следит и мне пишет. Я письма получаю по почте. Если я курокрад, то кто же те, кто меня так называет? Да ты сама, кто ты такая? С кем ты осмеливаешься так говорить?

В таком духе он продолжал с полчаса, выкрикивая свой монолог в воздух и в небо. Однако ошибиться в том, кому предназначались его замечания, было невозможно. Каждый день в один и тот же час, пообедав, пожевав табаку и плотно повязав своим красным платком уши, он произносил свой монолог.

Порой он сообщал некоторые автобиографические детали. Они предназначались для ушей соседки, но и я немало почерпнул из этих разрозненных замечаний, что помогло мне понять его прежнюю жизнь. Взобравшись на большой камень, он кричал:

— Я вот каким был маленьким, когда ушел из дома. Человек, у которого хватило характера в десять лет уйти из дома, не станет кур воровать. Мой отец мне сказал: «Ты вор...» В ту же ночь, когда все заснули, я тайком и ушел. Сел на поезд в Мадрас. Меня с этого поезда выбросили, но я влез в следующий, и, как меня ни били и снова и снова ни выбрасывали, я все же доехал без билета до Мадраса. Вот я какой человек, госпожа, а совсем не курокрад! Я был кули и ночевал на верандах больших зданий. Я человек независимый, госпожа, я глупостей не потерплю, даже от собственного отца. Однажды меня позвали, посадили на палубу парохода и отправили на чайную плантацию на Цейлоне. Я там работал, пока лихорадка меня не свалила. Ты думаешь, у твоего сына хватит мужества вынести такое?

День за днем, в один и тот же час, я слушал его монолог, и постепенно передо мной возникала картина его жизни.

— Когда я вернулся домой, меня перестало трясти. Я дал отцу сто рупий и сказал ему: вор не привезет домой сто рупий. Я свою деревню ненавидел со всеми этими неучами, деревенщинами. Отец мой знал, что я хочу снова бежать. Однажды они меня схватили, украсили дом и женили меня на девушке. Я и Амавасай ходили в поле, и пахали, и пололи. Жена моя нам стряпала. Когда у меня родилась дочка, я оставил дом и уехал в Пенанг. Я работал на каучуковых плантациях, получал деньги и отправлял их домой. Им ведь больше ничего не нужно — посылай только деньги, а им все равно: где ты, что ты делаешь. Им одно только нужно — деньги, деньги. Мне там хорошо было, на каучуковых плантациях. Когда пришли японцы, они

всем поотрубали головы или размозжили черепа своими винтовками, а нас заставили копать ямы, чтобы похоронить мертвых, да потом и нас самих. Но я убежал, доплыл до Мадраса на пароходе — там и еще народу много было. Дома я нашел свою дочь совсем взрослой, но жена моя умерла. Говорят, ее каждый день трясло, пока она не кончилась. Мой зять теперь занимает правительственный пост в городе. Я не курокрад. Моя внучка ходит в школу каждый день и несет в руках сумку с книжками, на руках и на ногах у нее браслеты, а в волосах цветы. Это я привез ей украшения из Малайи.

Каково бы ни было содержание его монолога, он всегда заключал:

— Я не мошенник. Если бы я был курокрад, разве у меня был бы зять на правительственной работе?

Я сказал ему:

— Никто тебя не слушает. Кому ты это говоришь? Стенам?

— Они там сидят за стеной на корточках,— сказал он.— Они каждое слово слышат. Если она такая важная персона, пусть ее, мне-то что? Как она смеет говорить, что я крал у нее птиц? Зачем они мне? Пусть держит своих кур под кроватью, мне-то что? Но если сюда хоть одна забредет, я ей тут же шею сверну, можете не сомневаться.

— А потом что?

— Не знаю. Мне-то какое дело, что будет с безголовой курицей?

Больше всего он расстроился, когда в открытке, после обычной преамбулы, сообщалось: «У черной овцы родился ягненок, тоже черный. Только пастух его себе требует. Каждый день приходит и скандалит. Мы ягненка заперли, но он грозит сломать дверь и забрать его. Каждый день он нас при всем народе поносит и проклинает нашу семью. Эти проклятья до добра не доведут».

Аннамалай прервал чтение письма.

— Боитесь проклятий? Что, у вас язык отсох, что ли, не можете сами его проклясть, да еще и покрепче?

Через три дня пришла другая открытка: «Вчера, пока мы работали в поле, у нас увели черную овцу, мать того ягненка».

— Ах, они...

Он вовремя подавил богохульство, рвавшееся из самой глубины его сердца.

— Я знаю, как это случилось. Они, видно, привязали овцу на заднем дворе, а ягненка заперли. Только какой с того толк?

Он вопросительно взглянул на меня. Я почувствовал, что должен спросить:

— А чья это овца?

— Пастуха, конечно. Только он взял у нас в долг десять рупий и оставил мне овцу под залог. Вот я и говорю: верни мне мои десять рупий и забирай свою овцу. При чем же тут ягненок? Ягненок, рожденный под нашей крышей, принадлежит нам.

Это был сложный юридический вопрос, вероятно, единственный в своем роде. Здесь невозможно было произносить приговор или ссылаться на прецедент, ибо речь шла об особом залоге, который плодился в ожидании выкупа.

— Я оставил свои дела на безмозглых болванов! Вот от таких-то людишек, как мой братец, мне и захотелось убежать из дома.

Нашей соседке повезло: она наконец-то получила передышку. На следующий день Аннамалай отправился на переезд; в обществе стрелочника и других доброжелателей он надеялся разработать план посрамления злосчастного пастуха. Шли дни, он как-то странно успокоился. Я понял, что выход найден. Он поведал мне, что виделся с

одним человеком, приехавшим из его деревни, который рассказал ему, как однажды ночью его домашние обнаружили, что черную овцу погнали к мяснику. Они их подстерегли и вернули овцу домой к беспокойно блеявшему ягненку. Теперь и овца, и ягненок были надежно заперты на замок, а брат и вся семья спали на террасе дома. Я и представить себе не мог, как долго это может продолжаться, но Аннамалай сказал:

— А я говорю: верни мне мои десять рупий и забирай свою овцу!

— А с ягненком что будет?

— Он, конечно, наш. Овца была порожняя, когда этот пастух ее к нам привел: ведь не стал бы он отдавать в заклад тяжелую овцу.

Наше совместное существование прекратилось благодаря эпизоду с портным. Открытка из дома гласила: «Портной продал свою машинку другому портному и сбежал. Чего же ждать, когда ты домой и глаз не кажешь, а о своих родных и думать забыл? Тебе, видно, наплевать, что твои дела идут под откос». Аннамалай сжал виски руками и закрыл глаза. Этой вести он не мог снести. Я не задавал никаких вопросов. Он тоже ничего не сказал и тут же ушел. Я видел, как он направляется вверх по склону к переезду. Позже из своего окна я заметил, что он копает землю под банановой пальмой. Внезапно он остановился и, подбоченившись, замер, словно в живой картине, воткнув мотыгу в землю. Он угрюмо смотрел в грязь у своих ног. Я понял, что он размышляет над своими домашними делами. Я спустился вниз и тихо подошел к нему, сделав вид, что рассматриваю корень пальмы. На самом деле мне хотелось узнать, что же случилось с портным. Я спросил что-то о саде, а когда он ответил, сказал:

— Почему это с портными всегда происходят всякие истории? Ничего-то они не делают вовремя и всегда крадут материю...

Мои антипортновские чувства смягчили его, и он заметил:

— Портной, или плотник, или кто бы он там ни был, мне-то что? Я их не боюсь. Плевать я на них хотел!

— Кто этот портной, о котором пишет твой брат?

— Ах, этот! Да там один в деревне, зовут его Ранга, бездельник, отовсюду его повыгоняли.

Тут нас прервали. Так я ничего больше и не узнал в тот день. Однако через несколько дней я сумел заставить его разговориться.

— Его не любили, но он был хороший портной... Он и платки, и трусы, и рубахи мог шить и даже женские кофточки... Только машинки у него не было, и никто из его родных не желал ему помочь. Никто не хотел одолжить ему денег. Однажды я получил перевод с Цейлона на сто рупий, я там оставлял деньги. Когда почтальон принес мне перевод, этот портной тоже пришел вместе с ним, в тот же самый миг. Откуда он это узнал? Когда почтальон ушел, он и говорит: «Ты не можешь одолжить мне сто рупий? Я бы тогда купил машинку». А я и говорю: «Откуда ты узнал про этот перевод на сто рупий? Кто тебе сказал?» Я ударил его по лицу и плюнул на него — зачем он за мной шпионит? Он заплакал. Мне его стало жалко, я ведь был старше его. Я и говорю: «Перестань плакать. Если ты будешь так реветь, я тебя поколочу». Тогда собрались все деревенские старейшины, выслушали нас обоих и приказали мне одолжить ему свои сто рупий.

Я не мог понять, как можно было приказать ему такое.

— Почему же они так решили и какое им было до того дело? — спросил я наивно.

Он немного подумал и ответил:

— Мы всегда так. Старейшины собираются и приказывают нам...

— Но ты ведь не созывал старейшин?

— Я их не созывал, но только они пришли и увидели нас, когда портной закричал, что я его бью. Тогда они написали закладную на правительственной бумаге с печатью и заставили его подписаться. Человек, который продал нам эту бумагу, тоже был там, и мы заплатили ему две рупии за то, что он составил этот документ.

Позже мне удалось восстановить картину того, что произошло. Портной купил швейную машинку, взяв деньги в долг у Аннамалая. Брат Аннамалая позволил портному поставить машинку на веранде своего дома; портной время от времени возобновлял свою долговую расписку, регулярно платил проценты за каждый день пользования верандой. Это чрезвычайно устраивало Аннамалая, и он свято хранил расписку в своем жестяном чемодане. Когда приходило время ее возобновлять — а это случалось ежегодно,— он отправлялся в деревню и через месяц возвращался с новой подписью, заверенной деревенским старостой. Однако теперь сотрясалась самая основа их финансовых отношений. Старый портной сбежал, а новый не считал себя ничем им обязанным, хотя и сидел на веранде их дома и строчил на машинке, ни с кем не разговаривая.

— Ты так и не потребовал назад свои сто рупий? — спросил я.

— Зачем? — ответил он удивленно.— Ведь он платил мне проценты и ежегодно возобновлял соглашение. Конечно, если бы я самолично туда не ездил, он бы начал финтить. Вот потому я и ездил туда каждый раз...

Поведав мне все это, Аннамалай спросил:

— Что же мне теперь делать? Этот мошенник сбежал.

— А где же машинка?

— Все там же. Новый портной шьет в нашем доме всем, кто только ни пожелает, но с нами не разговаривает и ни на минуту не отходит от машинки. Он под ней и ночью спит.

— Почему бы вам не выгнать его вон?

Аннамалай немного подумал и сказал:

— С нами он не разговаривает и за аренду нам не платит, а когда к нему приступают с расспросами, говорит, что все, что надо, заплатил старому портному, когда купил у него машинку... Как это может быть? Разве так написано в том письме, которое вы мне читали?

Скоро пришла еще одна открытка. Как всегда, она начиналась с церемонной преамбулы, однако затем быстро переходила к делу: «Нам теперь негде спать, потому что портной съезжать не желает, а в доме заперты овца и ягненок. Как старший в семье, скажи нам, где же нам спать? Мои жены грозятся уйти к своим родителям. Я со всеми детьми сплю прямо на улице. В собственном доме нет больше для нас места. Чего же ждать, если ты не желаешь вернуться к своим родным. Мы страдаем, а тебе все нипочем».

Тут Аннамалай позволил себе выразить вслух свои мысли:

— Подумаешь, новость! Эти женщины то и дело убегают к своим родителям. Стоит только чихнуть, как они начинают грозиться, что уйдут. Несчастный человек мой брат! Он так их боится, что не решается сказать: «Вот и прекрасно, убирайтесь, проклятые!»

— Но почему они не могут выгнать портного и запереть машинку вместе с овцой и ягненком? Тогда бы они все могли спать на веранде...

— Кажется, этот новый портной — сын нашего деревенского борца, а брат мой сделан из соломы, хоть он и умудрился завести себе девятерых детей.

Он еще подумал над всей этой историей, а затем сказал:

— Впрочем, все не так уж плохо. Пока его не выбросили вон, машинка все-таки остается у нас. Господь нам помогает, удерживая его поблизости. Если моему братцу негде спать, пусть бодрствует.

Следующие три дня я чувствовал, что совещание следует за совещанием; я заметил, что красный платок мелькал на гребне холма чаще, чем обычно. Его советчик на Бамбуковом базаре и доброжелатели в лавке у переезда, по-видимому, проанализировали самую суть проблемы и нашли выход. Вернувшись как-то вечером из лавки у переезда, он объявил мне без дальних околичностей:

— Я должен съездить в деревню.

— Но почему так внезапно?

— Нужно поменять расписку, возобновить ее на имя нового портного. Вы должны меня отпустить.

— Когда?

— Когда?.. Ну, когда, по-вашему, я должен ехать?..

— По-моему, тебе вообще не надо ехать. Я не могу тебя сейчас отпустить. Я собирался отправиться в паломничество в Рамесварем.

— Святое место, хорошо, что вы отправляетесь туда паломником,— заметил он свысока.— Благодать осенит вас. Когда вы вернетесь, я уеду.

В тот день мы расстались в наилучших отношениях. Однако на следующий день он поднялся ко мне в кабинет, стал позади моего кресла и без всякого вступления произнес, словно мы не говорили об этом накануне:

— Я должен ехать.

— Да, когда я вернусь из Рамесварема.

Он круто повернулся и стал спускаться по лестнице, но с полпути вернулся и спросил:

— Когда вы едете?

Его бесконечные вопросы выводили меня из себя, но я подавил свое раздражение и спокойно ответил:

— Я жду еще кое-кого, кто должен поехать со мной вместе. Возможно, дней через десять...

Он, казалось, удовлетворился моим ответом и, шаркая подошвами, спустился вниз. В тот вечер, вернувшись домой, я встретил его у калитки. Не успел я войти во двор, как он сказал:

— Я вернусь через десять дней. Разрешите мне уехать завтра. Через десять дней я вернусь и буду сторожить ваш дом, пока вы будете в Рамесвареме.

— Зачем нам обсуждать все это на улице? Разве ты не можешь подождать, пока я войду?

Он не ответил, закрыл калитку и ушел в свой подвал. Весь вечер мне было не по себе. Пока я переодевался, ел, читал, писал, меня угнетала мысль, что я так резко ответил ему. Мои слова прозвучали слишком сурово. Наутро, встав раньше, чем обычно, я первым делом спустился к нему. Он сидел под открытым краном, вода с силой лилась ему на голову. Затем он встал и, мокрый, отправился к себе в подвал. Он воткнул цветок перед изображением божества, висящим на стене, зажег палочку благовоний, заложил другой цветок за ухо, нанес священный пепел себе на лоб, повязал красный платок на голову, натянул шорты и вышел, готовый к новому дню. Однако глаза его смотрели недружелюбно. Я подождал немного, сделав вид, что рассматриваю цветущее манго, похвалил его за порядок в саду, а потом вдруг спросил:

— Ты хочешь уехать только на десять дней?

— Да, да,— отвечал он, тут же смягчаясь.— Я должен возобновить расписку или созвать людей, чтобы они выбросили вон этого

самозванца и схватили его машинку... даже если это повлечет за собой кровопролитие. В этом деле кому-то придется поплатиться жизнью. Я вернусь через десять дней.

Мне казалось, что программа эта слишком обширна для десяти дней.

— Ты уверен, что уложишься в этот срок? — спросил я его добродушно.

— Днем больше, днем меньше, но я обещаю вернуться точно, день в день. А когда вернусь, два года никуда больше не поеду. Даже и тогда не поеду, разве что... Пусть брат в следующий раз сам возобновляет расписку.

Я снова почувствовал раздражение и сказал:

— Я не могу разрешить тебе сейчас уехать.

Я произнес эти слова необычайно твердо, но он только подошел ближе и, сложив руки, стал просить меня:

— Прошу вас, я должен возобновить расписку. Если ее просрочить, я все потеряю. В деревне меня засмеют.

— Дай мне эту расписку, я взгляну на нее,— произнес я внушительным тоном.

Я слышал, как он открывал свой черный чемодан. Потом он вернулся, держа в руках какую-то тряпицу, бережно размотал ее и извлек на свет божий документ, составленный на пергаменте. Я просмотрел его. Это было долговое обязательство на сто рупий, в нем не упоминались ни портной, ни его машинка. Это было просто обязательство вернуть долг в сто рупий с процентами, усеянное бесчисленными марками, датами, отпечатками пальцев и подписями. Я не видел, каким образом этот документ может ему помочь. Я прочитал его вслух и заметил, значительно барабаня по нему пальцами:

— Разве здесь говорится что-нибудь о твоем портном или его машинке?

— Но ведь там есть имя Ранги?

— Но тут ничего не говорится о портном. Судя по этому документу, Ранга мог быть и мусорщиком.

Аннамалая охватила паника. Он поднес документ к глазам и, тыча в него пальцем, спросил:

— А тут что написано?

Я прочитал ему весь текст слово в слово. Он пришел в отчаяние. Я сказал:

— Я дам тебе сто рупий, только забудь об этой расписке. Сколько стоит проезд в деревню?

Он вслух посчитал и сказал:

— Рупий десять только за железнодорожный билет...

— И за обратный билет еще десять рупий. Из-за этой расписки ты туда ездишь много лет подряд и на одни только билеты истратил гораздо больше, чем то, что тебе по ней причитается.

— Но он платит проценты,— возразил он.

— Отдай мне эту расписку, я тебе все выплачу, а ты останешься.

Мне стало грустно при мысли о том, что он уедет. Время от времени я отправлялся в поездки, то короткие, а то и долгие. Каждый раз я просто собирался и уезжал, а когда возвращался — через несколько недель, а порой и месяцев,— то находил, что в моей корзине для бумаг все до последнего клочка было сохранено в неприкосновенности. Мне стало очень грустно.

Он нетерпеливо отмахнулся от моих экономических доводов.

— Вы в этих вещах не понимаете. До тех пор пока у меня на руках эта расписка, я всегда могу обратиться в суд.

— И навлечь на себя еще большие расходы? Гораздо дешевле просто сжечь эту бумагу.

Он махнул на меня рукой: непонятливый человек, невозможно с ним разговаривать, в самых простых вещах не разбирается.

На следующий день и еще через день я снова и снова слышал его шаги на лестнице.

— Я вернусь через десять дней.

Я сказал:

— Ну, хорошо... Я вижу, у тебя слишком много забот, о своих обязанностях здесь ты и думать не хочешь. Тебе все равно, что со мной будет. Что же мне, менять ради тебя планы?

Мои слова не произвели на него никакого впечатления. Все это была чепуха, с его точки зрения. Я был одержим химерами, тогда как подлинными, земными реальностями были, конечно, овцы, портные и долговые расписки. С минуту он взирал на меня с жалостью, как на глупца, ничего не смыслящего в жизни, а потом отворачивался и спускался вниз.

Следующие несколько дней он был мрачен, а когда я пытался заговорить с ним, грубил мне. Он не поливал растений, совсем забыл о соседке и не разжигал, как обычно, костер в тени гранатового дерева. Он сбросил свой красный платок и сидел в подвале в углу, накинув на голову, словно в трауре, старое одеяло. Когда я уходил и приходил, он появлялся из подвала и покорно открывал мне калитку, но мы не обменялись ни единым словом за эти дни. Я было попробовал втянуть его в разговор, весело заметив:

— Ты слышал, у нас открывают новый магазин?

— Я никуда не хожу, мне люди не нужны. С чего это вы решили, что меня интересуют лавки и всякие сплетни? Меня это не касается.

В другой раз я спросил:

— Никто не звонил?

— Если б звонил, неужто бы я вам не сказал? — ответил он. Взглянул на меня с яростью и ушел бормоча: — Если вы мне не верите, отошлите меня. Зачем мне врать, что никто не звонил по телефону, если кто-то звонил? Я не мошенник, я уважаемый фермер. Отошлите меня...

С головой, прикрытой темным одеялом, он был сам на себя не похож. Сердитые глаза смотрели враждебно. Казалось, будто все эти годы он старательно держался, но внезапно распался на куски.

Спустя неделю, утром, я услышал какой-то звук у калитки, выглянул и увидел, что он стоит во дворе, а его жестяной чемодан и джутовый мешок со всякой всячиной лежат на земле у его ног. На нем был темный пиджак, который он надевал только в торжественных случаях, и белое дхоти, а голова была аккуратно повязана тюрбаном. В этом новом наряде его было не узнать. Он сказал:

— Я уезжаю сегодня восьмичасовым поездом. Вот ключ от моей комнаты.— Он откинул крышку своего чемодана и сказал: — Проверьте, не украл ли я чего у вас. Ведь эта женщина зовет меня курокрадом. Только я не мошенник.

— Зачем ты так уезжаешь? Разве так нужно уезжать после пятнадцати лет службы? — спросил я.

Он только ответил:

— Я нездоров, я не хочу умереть в вашем доме и навлечь на него дурную славу. Позвольте мне уехать домой и там умереть. Там меня оденут в новые одежды, возложат гирлянды из свежих цветов на мое тело, понесут его всей деревней по улицам и будет играть оркестр. А если я умру в подвале, когда вас не будет, я буду лежать

там и гнить, пока мусорщики из муниципалитета не увезут меня на телеге вместе с отбросами. Позвольте мне избавить ваш дом от дурной репутации. Я поеду домой и умру там. Все садовые инструменты в подвале. Сосчитайте их, если хотите, я не вор.

Он ждал, что я проверю его вещи. Я сказал:

— Закрой крышку, мне не нужно ничего проверять.

Он поднял чемодан на голову, положил сверху джутовый мешок и двинулся к калитке.

— Подожди,— сказал я.

— Зачем? — сказал он, не останавливаясь, не поворачивая головы.

— Я хочу дать тебе...— начал я и побежал в дом, чтобы вынести деньги. Когда я вернулся, держа в руке десять рупий, его уже не было.

Конь и две козы

Из семисот тысяч деревень, усыпавших точками карту Индии, в которых рождается, цветет и умирает большая часть пятисотмиллионного ее населения, Критам, возможно, была самой маленькой. На поземельной карте района она была нанесена едва заметной точкой. Карта предназначалась скорее для чиновников, собирающих налоги, чем для мототуристов, которые все равно бы туда не доехали, ибо деревня расположилась вдали от шоссе, в конце каменистой тропы, пробитой железными ободьями телег, запряженных буйволами. Однако размеры не помешали деревне принять великолепное имя Критам, что по-тамильски означает «алмаз», сверкающий на челе нашего субконтинента. В деревне не набралось бы и трех десятков домов, и лишь один из них был выстроен из кирпича и цемента. Выкрашенный в сверкающие желто-синие цвета, с пышными фигурами богов и химер на балюстраде, он был известен под именем Большого дома. Другие дома, кое-как разбросанные в четыре ряда, сложены из бамбука, соломы, глины и каких-то неопределенных материалов. Дом Муни стоял в четвертом ряду последним, за ним простирались поля. В дни своего процветания Муни владел стадом из сорока овец и коз. Каждое утро он выходил из дома и гнал свое стадо к шоссе, проходящему мили за две от деревни. Там он усаживался на пьедестал глиняной конной статуи, а овцы паслись вокруг. Бамбуковым шестом с крюком на конце он обрывал листья с придорожных деревьев на корм козам, собирал палочки и сухие ветки, связывал их в вязанку и нес на закате домой.

На рассвете жена разжигала огонь в очаге, кипятила в глиняном горшке воду, бросала в нее горсть просяной муки, солила и давала ему на завтрак эту похлебку. Когда он уходил, она совала ему в руки узелок с едой: все то же просо, на этот раз сваренное круто, чтобы он мог съесть его в полдень с сырой луковицей. Она была стара, но он был еще старше и нуждался в ее заботах, чтобы протянуть подольше.

Счастье отворачивалось от него постепенно, неприметно. Бывало, он загонял в хлев стадо из сорока голов, а теперь у него осталось всего две козы; на них не стоило тратить те полрупии в месяц, которые требовал Большой дом за аренду хлева на заднем дворе. Двух оставшихся коз он привязывал к тощему дереву возле своей хижины,

с которого время от времени можно было стряхнуть на землю несколько плодов. В это утро он натряс шесть и с торжеством внес их в дом. Никто точно не знал, кому принадлежит дерево, но он считал его своим потому, что жил в его тени.

Жена сказала:

— Хочешь, я сварю и засолю тебе листьев?

— Надоели мне эти листья. Мне страсть как хочется этих плодов с подливой, вот что!

— Да у тебя во рту всего четыре зуба, а туда же, все бы тебе жевать! Ну ладно, достань мне что надо для подливы, и я тебе ее приготовлю. Кто знает, может, в том году тебя и в живых не будет и ты ничего у меня уже не попросишь. Но только достань мне все что нужно, да не забудь про меру риса или проса. Уж я тебя ублаготворю, хоть это и ни к чему. У нас ведь ничего не осталось. А нужно чечевицы, перцу, кореньев для приправы, горчицы, масла и одну большую картофелину. Ну, иди и без них не возвращайся.

Он повторил за ней, что было нужно для подливы, чтобы ничего не забыть, и отправился в лавку на Третьей улице.

Там он уселся на перевернутый ящик перед самым прилавком. Лавочник не обратил на него никакого внимания. Муни то и дело прочищал горло, откашливался, чихал, пока, наконец, лавочник не выдержал и не спросил:

— Что с тобой? Этак ты в канаву свалишься, если будешь чихать так громко, молодой человек.

В ответ на это обращение Муни захохотал во все горло, чтобы польстить лавочнику. Лавочник смягчился и сказал:

— Ты такой непоседа, что и второй жене не дал бы ни минуты покоя! Только вот старая твоя еще скрипит...

И на эту шутку Муни должным образом рассмеялся. Лавочник еще больше смягчился: он любил, когда его чувство юмора находило достойных почитателей. Муни побеседовал с ним немного о местных новостях, что неизменно кончалось разговором о жене почтальона, сбежавшей несколько месяцев назад в город.

Лавочник всегда рад был услышать что-нибудь дурное о почтальоне, который надул его. Почтальон все время был в разъездах и возвращался в Критам лишь раз в десять дней; каждый раз он умудрялся ускользнуть снова, не заглянув в лавку на Третьей улице. Ублажив таким образом лавочника, Муни всегда мог попросить у него что-нибудь, обещая заплатить позже. Порой лавочник бывал в хорошем настроении и поддавался на его уговоры, но порой он выходил вдруг из себя и обрушивался на Муни. Как смеет он просить у него в долг?! Сегодня он был не в духе, и Муни удалось получить лишь самую малость из того, что назвала ему жена. К тому же лавочник обнаружил удивительную память на старые факты и цифры; в подтверждение своих слов он вытащил откуда-то толстую тетрадь. Муни хотелось встать и бежать. Однако уважение к себе удержало его на месте, заставив выслушать всякие гадости. В заключение лавочник сказал:

— Если бы ты смог найти пять рупий с четвертью, ты бы расплатился со старым долгом, а затем попросил бы, чтобы господь прибрал тебя. Сколько у тебя есть в наличности?

— Я все вам заплачу в первый день следующего месяца.

— Конечно, как всегда. Кого же ты хочешь ограбить на этот раз?

Муни почувствовал, что попался, и забормотал:

— Моя дочь передала мне, что скоро пришлет деньги.

— Так у тебя, значит, есть дочь? — издевался лавочник.— И она еще шлет тебе деньги! Для чего, хотел бы я знать?

— День рождения,— сказал спокойно Муни.

— День рождения! Сколько же тебе лет?

Муни неуверенно ответил (он и сам не знал, так ли это):

— Пятьдесят.

Он всегда отсчитывал свой возраст со времени великого голода, когда он ростом как раз сровнялся с оградой вокруг деревенского колодца. Но в наши дни, когда голод наступает чуть не каждый год, разве можно определить что-нибудь точно? Лавочник еще пуще разозлился, увидев, что вокруг собралось несколько человек, чтобы послушать и прокомментировать происходящее. Муни подумал беспомощно: «Моя бедность выставлена людям напоказ. Но что же мне делать?»

— Да тебе никак не меньше семидесяти,— сказал лавочник.— К тому же ты, видно, забыл, что уже рассказывал про день рождения пять недель назад, когда тебе вдруг понадобилось касторовое масло для ритуального омовения.

— Омовение! Где уж тут думать об омовении, когда из водоема и чашки воды не наберешь? Мы все бы давно уж высохли от жажды и умерли, если бы не Большой дом. Они хоть позволяют нам иногда набрать у них из колодца горшок воды.

С этими словами Муни тихонько поднялся и пошел прочь.

Жене он сказал:

— Этот мошенник ничего мне не дал. Иди и продай плоды, может, за них дадут хоть что-нибудь...

И он прилег в углу, чтобы немного отдохнуть после своего похода в лавку. Жена сказала:

— Значит, не будет тебе сегодня подливы, да и вообще ничего не будет. Нечего мне тебе готовить. Попостись до вечера, тебя не убудет.

И вдруг закричала:

— А теперь забирай-ка коз да иди! И не возвращайся, пока солнце не сядет.

Он знал, что если ее послушаться, она как-нибудь раздобудет ему к вечеру еды. Надо только быть начеку: не спорить с ней, не раздражать. По утрам она часто бывала не в духе, однако к вечеру настроение у нее менялось. Она всегда находила какую-нибудь работу: молола зерно в Большом доме, мела и скребла и зарабатывала достаточно для того, чтобы купить что-нибудь и приготовить ему к вечеру обед.

Отвязав коз, Муни отправился в путь. Он гнал их вперед и время от времени что-то покрикивал. Через деревню он шел, склонив, словно в задумчивости, голову. Ему не хотелось ни на кого смотреть, не хотелось, чтобы с ним заговаривали. Двое старинных дружков, расположившихся в тени возле храма, окликнули его, но он прошел мимо. Они знавали его в дни процветания, когда он гордо шествовал среди целого стада тонкорунных овец, а сегодня он гнал двух жалких коз. Правда, и раньше он держал, бывало, несколько коз для тех, кому они нравились, но настоящим богатством были овцы. Они быстро плодятся, в период стрижки приходят люди и покупают шерсть, а потом в базарные дни приезжал из города этот знаменитый мясник, привозил ему бетеля, табаку, а часто и «бханг»[1]. Они курили его в хижине, стоявшей на отшибе в кокосовой роще, куда не заглядывали ни жены, ни доброжелатели. Покуришь — и почувствуешь легкость и воспарение и хочется простить всех, включая проклятого деверя, который однажды пытался поджечь его дом. Но все это, казалось, были воспоминания из предыдущей жизни. Какая-то хворь напала на

[1] Наркотик, приготовляемый из индийской конопли, разновидность гашиша.

его овец (он-то, конечно, догадывался, кто их сглазил), и даже приятель-мясник не захотел взять их хоть за полцены... А теперь вот он остался с этими двумя высохшими мумиями. Хоть бы кто-нибудь забрал их у него. Лавочник сказал, что ему уже семьдесят. В семьдесят лет остается только ждать, пока тебя призовет господь. Когда он умрет, что станет с его женой? Они жили вместе с самого детства. В день свадьбы он узнал, что ему было десять, а ей восемь лет. Во время свадебной церемонии они должны были назвать свои имена и возраст. За все то время, что они прожили вместе, он побил ее раза два, не больше, позже она стала верховодить в доме. Потомства — никакого. Возможно, если бы у них было много детей, боги бы его благословили. Плодородие приносит уважение. Люди, у которых по четырнадцать сыновей, всегда процветают, довольны собой и всем на свете. Он вспомнил, как радостно дрогнуло у него сердце, когда он сказал лавочнику про дочь, хоть тот ему и не поверил. Да, у него нет дочери, ну и что? Вон у его двоюродного брата в соседней деревне сколько дочерей, любая из них может ему быть за дочь; он их всех любит как родных и покупал бы им сладости, если бы у него были деньги. И все же в деревне шептались, что Муни с женой даже детей родить себе не могут. Он старался не подымать ни на кого глаз; все они были такие важные, и у всех в деревне было больше денег, чем у него. «В нашей касте я самый бедный, немудрено, что они от меня отворачиваются. Ну и я на них смотреть не буду». Так он и шел, опустив глаза, по улице, держась поближе к домам. Никто с ним не заговаривал, а когда он проходил, замечали:

— Опять он тащится со своими козами. Перерезал бы им глотки, всем бы спокойнее было...

— О чем ему беспокоиться? У них ничего нет, да и не о ком ему волноваться.

Так говорили люди, когда он проходил по деревне.

Выйдя за околицу, он, наконец, поднял голову и огляделся. Грозно покрикивая, он гнал коз вперед, пока они не оказались за деревней, у подножия памятника. Здесь он обычно просиживал до самого вечера. Отсюда ему было видно шоссе, по которому в горы шли грузовики и автобусы, и ему казалось, что и он участвует в жизни большого мира. Пьедестал у памятника был широким, так что он мог пересаживаться на нем по мере того, как солнце взбиралось вверх, а потом клонилось к закату. А можно было еще забраться под брюхо коня, где всегда была тень.

Конь был вылеплен из глины почти в натуральную величину. Обожженный и потемневший на солнце, ярко раскрашенный, он гордо вздымал свою голову, встав на дыбы и выгнув дугой хвост. Возле коня стоял воин с серповидными усами, выпученными глазами и орлиным носом. Когда старые мастера хотели показать в мужчине силу, они всегда делали ему выпученные глаза и заостряли концы усов. Они украсили грудь воина ожерельем, камни которого теперь походили скорее на комья грязи, так их отделали солнце, ветер и дождь, когда он шел. Впрочем, Муни всегда утверждал, будто помнит те дни, когда ожерелье сверкало, как бриллиантовое. Говорили, что конь был когда-то бел, словно полотно, только что выстиранное деревенской прачкой, на спине у него красовалась попона из черно-красной парчи с бахромой, а яркий пояс тех же цветов был повязан вокруг талии воина. Впрочем, никто в деревне не помнил этого великолепия, так как никто не обращал внимания на памятник. Даже Муни, проводивший все дни у его подножия, ни разу не удосужился поднять на него глаза. Коня не коснулись юные деревенские вандалы, которые вырезáли какие-то буквы на деревьях, сворачивали придо-

рожные знаки, покрывали все стены непристойными рисунками. Раньше памятник стоял гораздо ближе к деревне и ее жителям, но, когда проложили шоссе (или, возможно, когда пересох водоем и колодцы), деревня переместилась мили на две вглубь.

Муни сидел у подножия памятника, глядя на своих коз, которые бродили по сухой земле среди кактусов и кустов лантаны. Он глянул на солнце. Оно явно склонилось немного к западу, однако домой идти было еще не время: если он придет слишком рано, у жены не будет для него обеда. К тому же надо дать ей немного остыть и проникнуться к нему сочувствием, тогда она хоть достанет, хоть выпросит еды. Он стал смотреть на дорогу, идущую в гору, ожидая обычного знака, по которому он определял время. Когда из-за поворота покажется зеленый автобус, он может идти, а жена будет довольна, что он позволил козам попастись подольше.

Тут он заметил, что по дороге на полной скорости несется какой-то новый вид транспорта, похожий одновременно на автомобиль и на автобус. Раньше его занимала новизна подобных зрелищ, но в последнее время в горах у истоков реки шли работы, и мимо него проносилось столько всевозможных людей и машин, что он перестал обращать на них внимание: теперь по вечерам он описывал жене не все подряд, как когда-то, а только что-нибудь действительно из ряда вон выходящее. Сегодня, глядя на желтый предмет, мчавшийся по дороге, он думал лишь о том, как описать его потом жене. Внезапно предмет зафыркал и остановился прямо перед ним. Краснолицый иностранец, сидевший за рулем, вылез из машины, обошел ее вокруг, наклонился и ткнул кулаком куда-то ей под брюхо; затем он выпрямился, взглянул на щиток, посмотрел в сторону Муни и направился к нему.

— Простите, нет ли здесь поблизости бензоколонки? Или мне нужно подождать, пока проедет другая машина?

Внезапно он увидел глиняного коня и, забыв, о чем спрашивал, воскликнул:

— Великолепно!

Муни почувствовал, что ему надо встать и бежать поскорее прочь, и проклял свой возраст. Ноги его теперь не слушались, а ведь когда-то он бегал быстрее гепарда, как в тот день, когда он пошел в лес, чтобы нарубить дров. Тогда-то гепард и зарезал у него двух овец; это было знаком, что наступают плохие времена... Как он ни старался, ему все не удавалось подняться на ноги. К тому же он не знал, как поступить с козами. Не мог же он их здесь бросить...

Краснолицый был одет в хаки — видно, полицейский или солдат. Муни подумал: «Если я побегу, он погонится за мной или выстрелит. Иногда собаки кидаются только на тех, кто от них убегает... О Шива, защити меня! Не знаю, что ему от меня нужно». Между тем незнакомец снова воскликнул: «Великолепно!» Он обошел памятник кругом, не отрывая от него глаз. Сначала Муни сидел как застывший, однако потом заерзал и попытался незаметно ускользнуть. Тут краснолицый внезапно сложил руки, улыбнулся и сказал:

— Намасте! Как поживаете?

На что Муни произнес единственные английские слова, которые он знал:

— Yes, no.

Исчерпав свой английский словарь, он заговорил по-тамильски:

— Меня зовут Муни. Эти две козы мои, никто против этого и слова не возразит, хоть в нашей деревне теперь клеветников полным-полно. Они вам не постесняются сказать, что то, что тебе принадлежит, не твое.

Он закатил глаза и содрогнулся при мысли о злоумышленниках, наводнивших его родную деревню.

Иностранец послушно глянул туда, куда указывал Муни, с минуту озабоченно смотрел на двух коз и на камни, потом вынул серебряный портсигар и закурил сигарету. Внезапно вспомнив об учтивости, обязательной для туристского сезона, он спросил Муни:

— Вы курите?

— Yes, no.

Тут краснолицый вынул сигарету и подал Муни, который принял ее с удивлением. Вот уже много лет, как никто не предлагал ему закурить. Давно уже канули в прошлое те дни, когда он курил «бханг». Канули вместе со стадом овец и великодушным мясником. Какой там «бханг»! Теперь у него не было даже спичек. Чтобы разжечь утром очаг, жена шла через улицу за огнем к соседке. Ему уже давно хотелось выкурить сигарету; однажды лавочник дал ему одну в долг, он и сейчас хорошо помнил, какая она была вкусная. Краснолицый щелкнул зажигалкой и, протянув ее к Муни, дал ему прикурить. Муни глубоко затянулся и закашлялся; мучительно, конечно, но приятно на удивление. Откашлявшись, он вытер глаза и заново оценил ситуацию, сообразив, что краснолицый не станет его преследовать. Все же, чтобы не ошибиться, он решил сохранять осторожность. К чему убегать от человека, давшего ему такое крепкое курево? От этих американских сигарет, набитых подсушенным табаком, в голове у него поплыло. Мужчина сказал:

— Я приехал из Нью-Йорка.

Вынул из кармана брюк бумажник и подал Муни свою карточку.

Муни отшатнулся. Может, он пытается всучить ему ордер и арестовать его? Бойся хаки! — пронеслось у него в голове. Бери все сигареты, бери «бханг» или что там еще, но не давай себя поймать. Бойся хаки! Он пожалел, что ему семьдесят лет. Так ведь сегодня сказал ему лавочник. В семьдесят не побежишь. В семьдесят лет подчинишься, что бы там ни случилось. Беду можно попробовать отвести беседой. И он заговорил на чистейшем тамильском языке, которым издавна славилась Критам. (Даже самые злостные клеветники не смели отрицать, что здесь родилась знаменитая поэтесса Аввайар, хотя никто не знал, где именно — в Критаме или в соседней деревушке Куппаме.) Из этого источника непрерывным потоком лился чистейший тамильский язык, проходивший и через Муни.

— Клянусь богом, господин,— сказал он,— богом Бхагваном, который все видит, мы ничего об этом не знаем. Это я вам точно говорю, господин. Если было совершено убийство, убийца, кто бы он ни был, не избегнет наказания. Бхагван все видит. Только не спрашивайте меня об этом, я ничего не знаю.

Несколько недель назад на границе между Критамом и Куппамом, под тамариндовым деревом, было найдено изуродованное тело. Это вызвало множество толков и пересудов. Подумав, Муни прибавил:

— Здесь все может быть. Народ здесь такой — ни перед чем не остановится.

Иностранец кивал и вежливо слушал, хоть и не понимал ни слова.

— Вы, конечно, знаете, когда был сделан этот конь,— сказал в ответ краснолицый и вкрадчиво улыбнулся.

Почувствовав, что атмосфера смягчилась, Муни тоже улыбнулся и попросил:

— Пожалуйста, уезжайте отсюда, господин, я ничего не знаю. Если мы увидим здесь кого-нибудь подозрительного, обещаю вам, мы его задержим. А если он попробует убежать, мы его закопаем по

горло в яме с кокосами. Только у нашей деревни всегда была добрая слава. Преступник наверняка из той деревни.

Краснолицый тоже сказал с мольбой в голосе:

— Прошу вас, я буду говорить очень медленно, пожалуйста, постарайтесь меня понять. Неужели вы не понимаете ни одного слова по-английски? Мне казалось, что в этой стране все знают английский. Меня здесь все понимали, только вы не понимаете. Может, вы не хотите говорить по-английски из религиозных или иных побуждений?

Муни издал какие-то странные гортанные звуки и затряс головой. Ободренный иностранец стал что-то длинно объяснять, произнося каждый слог необычайно четко и ясно. Вскоре он уже придвинулся бочком к старику и подсел к нему на пьедестал.

— Понимаете, прошлый август у нас был, возможно, самым жарким в истории. Я работал в одной рубашке в своем оффисе на сороковом этаже «Эмпайр стейт билдинг». Вы, конечно, слышали, что в то лето у нас отказали электростанции. Битых четыре часа просидел я у себя наверху без лифта и без кондиционированного воздуха. Всю дорогу, пока я ехал в поезде, я думал, а когда вошел в свой дом в Коннектикуте, я сказал Рут (это моя жена): «Зимой мы отправимся в Индию, пора взглянуть на другие цивилизации». На следующий день она первым делом позвонила в бюро путешествий и велела нашему агенту все устроить. И вот я здесь. Рут приехала вместе со мной, она сейчас в Шринагаре, а я осмотрю здесь все и вернусь к ней.

Когда он закончил свой длинный монолог, Муни задумчиво поглядел на него и слабо пробормотал:

— Yes, no.

Сделав эту уступку другому языку, он продолжал по-тамильски:

— Я вот еще какой был,—он показал рукой на фут от земли,— когда услышал, как мой дядюшка говорит...

Неизвестно, что он собирался сказать, потому что в эту минуту иностранец прервал его:

— Ну и зубы у вас, дружище! Как это вам удалось так хорошо их сохранить. Сколько вам лет?

Старик забыл, что он хотел рассказать, и только заметил:

— У нас ведь скот тоже порой пропадает. Гепард унесет или там шакал, но случается, что крадут и из соседней деревни. Но мы всегда узнаем, кто это сделал. Жрец из нашего храма зажигает камфару и видит в ее пламени лицо вора, а когда его ловят...

И он изобразил руками, как рубят на мелкие кусочки мясо.

Американец внимательно посмотрел на его руки и сказал:

— Понимаю, понимаю... Рубить что-то? Может, я вас задерживаю, вам надо нарубить дров? Где ваш топор? Дайте его мне, покажите, где рубить, и я вам это сделаю с удовольствием. Знаете, это мое любимое занятие, мое хобби. У нас на берег выбрасывает много всякого дерева, по воскресеньям я только и делаю, что рублю дрова для камина. Знаете, я чувствую себя совсем другим человеком, когда сижу у камина и смотрю, как играет в нем огонь. Правда, порой приходится сунуть туда целый воскресный выпуск «Нью-Йорк таймс», чтобы огонь разгорелся.

Он улыбнулся, вспомнив о «Нью-Йорк таймсе».

Муни вконец растерялся, но решил, что лучше все же попытаться ускользнуть. Он пробормотал:

— Пора домой.

И стал понемногу подниматься с места. Американец схватил его за плечо и в отчаянии спросил:

— Неужели здесь нет никого, решительно никого, кто бы мог мне перевести?

Он поглядел на дорогу, но в этот жаркий час она была совершенно пуста. Внезапный порыв ветра закрутил столбом пыль и сухие листья у обочины и понес их в сторону гор. Незнакомец пригвоздил Муни спиной к памятнику и спросил:

— Эта статуя ваша? Может, продадите ее мне?

Старик понял, что речь идет о коне. Мгновенно он подумал, а затем сказал:

— Я вот еще каким был мальчишкой, когда услышал, как мой дедушка рассказывает про этого коня и воина, а мой дедушка сам был вот каким мальчишкой, когда слышал, как его дедушка, чей дедушка...

Краснолицый прервал его. Показав на коня, он сказал:

— Я дам вам за него хорошую цену. Не зря же я здесь остановился!

Он ни минуты не сомневался в том, что глиняный конь принадлежит Муни. Возможно, он пришел к этому выводу оттого, что тот сидел у подножия коня, напомнив ему других продавцов сувениров в этой стране.

Муни посмотрел в ту сторону, куда был направлен указующий перст краснолицего, и смутно осознал, что тема переменилась. Обрадовавшись, что тот хоть на время забыл о трупе, он восторженно повторил:

— Я вот такусенький был, когда мой дед рассказал мне об этом коне и воине, а мой дед сам был вот такусенький, когда ему...

Каждый раз, когда он пытался объяснить древность памятника, он лишь глубже погружался в трясину воспоминаний.

Муни говорил на таком тамильском языке, что самый звук его производил бодрящее впечатление. Иностранец слушал как зачарованный.

— Жаль, что у меня нет с собой магнитофона,— сказал он с приятной улыбкой.— Ваш язык звучит так красиво. От каждого вашего слова у меня прямо в ушах звенит от удовольствия.— И он показал на свои уши.— Вам свой товар рекламировать не надо. Я и так понимаю ему цену. Можете не объяснять его достоинств.

— В школу я никогда не ходил,— говорил Муни.— В те времена одних только браминов посылали в школу, а мы работали в поле с утра до ночи, от посева и до уборки... Только когда урожай был собран и наступал Понгал [1], отец разрешал мне поиграть с мальчишками у водоема. Так что я вашего языка не знаю. У вас в вашей стране даже малыши, может, говорят на этом языке, но здесь его знают только люди ученые и важные. У нас в деревне был почтальон, так он очень ловко мог бы поговорить с вами на вашем языке, но потом его жена сбежала с другим, так теперь он вообще ни с кем не разговаривает. Куда уж там разговаривать, если твоя жена так поступила? За женщинами нужен глаз да глаз, а не то они живо и тебя продадут, и весь дом.

И он засмеялся собственной шутке.

Иностранец захохотал, вынул еще сигарету и протянул ее Муни, который теперь курил спокойно, решив оставаться на месте, пока этот чудак его угощает. Американец встал на пьедестал в позу лектора и, водя пальцем вдоль резных украшений на шее коня, сказал, произнося слова медленно, слог за слогом:

— Об этом товаре я могу произнести целую речь, лучше некуда... Взгляните на это удивительное сочетание желтого и индиго, правда,

---

[1] Праздник урожая, отмечается в январе.

сейчас немного поблекшее... Как это в вашей стране получают такие сверкающие краски?

Муни, теперь уже уверенный, что речь идет о коне, а не о трупе, сказал:

— Это наш хранитель, он несет смерть нашим противникам. В конце Кали Юга [1] этот мир и все другие миры будут разрушены, а спаситель явится в виде коня по имени Калки. Этот конь оживет и поскачет по всему свету, а под его копытами погибнут все дурные люди.

Стоило ему заговорить о дурных людях, как в его воображении возникли фигуры лавочника и деверя. С минуту он наслаждался мыслью о том, каково им будет под копытами... Так деверю и надо, зачем он поджигал его дом?

Пока перед внутренним взором Муни развертывалось это приятное видение, американец воспользовался паузой и сказал:

— Уверяю вас, в Соединенных Штатах у него будет превосходный дом. Книжный шкаф я сдвину. Знаете, я люблю книги и состою членом пяти книжных клубов, так что они мне посылают по своему выбору все, что хотят, да еще бесплатных приложений сколько! Они там лежат в гостиной навалом, вот такой кучей, с этого коня. Придется от них избавиться. Рут это может и не понравиться, но я ее уговорю. Телевизор тоже, должно быть, придется убрать, нельзя же, чтобы все стояло в гостиной. Рут, конечно, скажет: «А что, если к нам придут гости?» Коня я поставлю прямо посередине комнаты. По-моему, это гостям не помешает. Можно стать вокруг него в кружок и выпивать...

А Муни продолжал свое описание конца света:

— Наш пандит [2] однажды рассказывал в храме, что океаны захлестнут землю огромной волной и поглотят нас, а этот конь станет больше самой большой волны и унесет на своей спине только хороших людей, а дурных собьет копытами в воду. Дурных ведь вокруг вон как много,— добавил он задумчиво. Помолчав, он спросил:— А знаете, когда это случится?

Американец по его тону понял, что он о чем-то спрашивает, и сказал:

— Как я его перевезу? Сниму заднее сиденье и освобожу место сзади, туда хоть целый слон влезет.

И он указал на багажник своего автомобиля.

Муни погрузился в размышления об аватарах [3]. Наконец, он сказал:

— Я, бывало, все ходил в храм, когда пандит там учил, хоть он говорил ночами напролет. Он нам и рассказал, что Вишну — это самый главный бог. Каждый раз, когда дурные люди нас совсем замучивают, он является и нас спасает. Он уже много раз являлся. В первый раз он воплотился в огромную рыбу и поднял священные книги на своей спине, пока воды потопа и морские волны...

— Я, конечно, не миллионер,— сказал краснолицый,— а всего лишь скромный бизнесмен. Я занимаюсь кофе...

В сумятице невнятных звуков Муни уловил слово «кофе» и сказал:

— Вам хочется выпить кофе — езжайте дальше, до ближайшего города, там по пятницам бывает базар и можно попить кофе, так мне проезжие рассказывали. Я-то сам никуда не хожу, не думайте. Ни-

[1] В индийской мифологии — настоящая эпоха, последняя и самая мрачная из четырех эпох мира.

[2] Ученый, жрец.

[3] Аватары — в индийской мифологии воплощения божества, главным образом Вишну.

где не бываю и ничего не ищу.— Мысли его вернулись к аватарам.— Первая аватара была крошечная рыбка в чаше с водой. С каждым часом она все росла и росла, пока не превратилась в огромного кита, которого даже море вместить не могло. На спине у кита покоились священные книги, спасенные им и несомые в вечность...

Начав с первой аватары, он неизбежно должен был перейти к следующей: дикий кабан, поднявший на своем клыке землю со дна моря, куда она была спрятана укравшим ее порочным завоевателем. Описав эту аватару, Муни заключил:

— Господь нас всегда спасет, как бы нас ни мучили злые существа. В молодости мы, бывало, в полнолуние представляли аватары. Оттуда я и знаю эти истории; мы их играли всю ночь, пока солнце не встанет. Посмотреть их приходил иногда даже сборщик податей, он был европеец и приносил с собой свое кресло. У меня был хороший голос, так что меня учили петь песни и давали мне женские роли. Я всегда играл богиню Лакшми. Меня одевали в шелковое сари, шитое золотом, его брали из Большого дома.

Американец сказал:

— Повторяю, я не миллионер, у нас скромное дело. Самое большее, что мы можем себе позволить, это шестьдесят минут телевизионной рекламы в месяц, а это значит две минуты в день — и только! Со временем, может, нам и удастся оплатить регулярную часовую программу, если только дела наши будут по-прежнему идти хорошо...

У Муни закружилась голова при воспоминании о его театральной карьере. Он уже собирался рассказать, как он разрисовывал себе лицо, надевал парик и бриллиантовые серьги, когда гость, почувствовав, что он и так уже задержался, сказал:

— Так вот решайте, достаточно вам будет сто рупий за этого коня? Да или нет? Мне бы, конечно, хотелось прихватить и этого усатого солдата, но только сейчас у меня для него не хватит места. Мне придется вернуть авиабилет и ехать домой на пароходе. Рут, конечно, может лететь, если захочет, но я-то поеду с конем. Если понадобится, поставлю его к себе в каюту на всю дорогу.

И он улыбнулся при мысли о том, как он пересечет моря в обнимку с конем. Подумав, он заметил:

— Придется обложить его соломой, чтобы он не разбился.

— А когда мы играли «Рамаяну», меня нарядили Ситой,— продолжал Муни.— Приехал один учитель и научил нас песням для этой драмы, а мы подарили ему пятьдесят рупий. Он сам представлял Раму, только он мог уничтожить Равана, демона с десятью головами, который сотрясал все миры. Вы знаете историю «Рамаяны»?

— У меня здесь с собой, как видите, машина. Я могу откинуть заднее сиденье и, если вы мне поможете, поставлю туда коня.

— А «Махабхарату» вы знаете? Кришна был восьмым воплощением Вишну, он принял на себя эту аватару, чтобы помочь Пятерым Братьям получить назад свое царство. Когда Кришна был еще ребенком, он танцевал на огромном тысячеголовом змее и затоптал его до смерти; а потом он сосал груди одной злой богини и высосал их до того, что они стали совсем плоскими, словно диски, хотя раньше-то груди у нее были огромные, словно горы земли на берегу только что вырытого канала.

Он изобразил руками две огромные горы земли. Этот жест удивил американца. Впервые он сказал:

— Хотелось бы мне знать, что именно вы говорите, потому что сейчас слово за вами. Настал тот момент, когда нам нужно прийти к деловому соглашению.

— А когда настанет десятая аватара, знаешь где мы будем — ты и я? — спросил старик.

— Если вы мне поможете, я сниму коня с пьедестала. Только сначала нужно отбить цемент, прикрепляющий его к подставке. Если у нас будет основа для взаимного понимания, мы сможем сделать все что угодно.

На этой стадии переговоров взаимное недоумение достигло наивысшей точки, бесполезно было даже пытаться отгадать, что именно хотел сказать другой. Старик продолжал говорить, следя лишь за тем, чтобы беседа поддерживалась равномерно обеими сторонами. Решив, что настала его очередь, он сказал:

— О, почтеннейший, надеюсь, господь благословил тебя многочисленным потомством. Я говорю это потому, что ты кажешься мне хорошим человеком, ты готов посидеть со стариком и поговорить с ним, а ведь мне целый день не с кем и словом перекинуться, разве что кто-нибудь остановится и попросит немного табаку. Только у меня его почти никогда не бывает. Табак теперь не тот, что раньше, я его теперь не жую. Да я и позволить себе этого не могу.

Заметив, что гость слушает его с интересом, Муни приободрился и спросил:

— Сколько же у тебя детей?

И попытался показать руками, что он имел в виду. Поняв, что его о чем-то спрашивают, краснолицый сказал:

— Так я говорю: сто.

Муни пустился в детали:

— А сколько у тебя девочек и сколько мальчиков? Где они? Твоя дочь уже замужем? А в вашей стране тоже трудно найти зятя?

В ответ на все эти вопросы краснолицый сунул руку в карман и вытащил бумажник, чтобы не пропустить удачной ситуации на бирже. Он взмахнул банкнотой в сто рупий и сказал:

— Вот что я имею в виду.

Старик понял, что в беседе возник финансовый момент. Он внимательно посмотрел на банкноту. Таких он в своей жизни не видывал; он умел различать по цвету пятерки и десятки, хотя видел их только в руках у других людей. Собственные его заработки всегда измерялись лишь медяками. Зачем это он размахивает деньгами? Верно, хочет разменять. При мысли о том, что кто-то просит его разменять бумажку в тысячу или, может, в десять тысяч рупий, ему стало смешно. Он ухмыльнулся и сказал:

— Идите к нашему деревенскому старосте, он у нас еще и ростовщик. Он вам хоть сто тысяч разменяет, и все золотыми монетами! Он думает, никто об этом не знает, но раскопайте пол у него в молельне — и у вас голова закружится, когда вы увидите, сколько он накопил. Это он ходит в лохмотьях, чтобы всех обмануть. Только с ним уж вы поговорите сами, потому что он прямо бесится, когда меня видит. Кто-то унес у него тыквы и сладкий горошек, а он возьми и реши, что это я и мои козы... Вот почему я своих коз и близко к огородам не подпускаю.

Взгляд его остановился на козах, которые паслись неподалеку; они пытались щипать тоненькие былинки, торчавшие кое-где из этой каменистой и иссохшей земли.

Американец тоже посмотрел на коз и решил, что следует проявить интерес к любимицам старика. Такая политика всегда себя оправдывает. Он небрежно шагнул к козам и погладил их по спине, изо всех сил стараясь проявить учтивое внимание. Внезапно старика осенило. Сбывалась мечта всей его жизни. Он понял, что краснолицый хочет купить его коз. Он растил коз в надежде, что когда-нибудь

ему удастся их продать, а на вырученные деньги открыть на этом самом месте лавочку. Сидя возле коня целыми днями и глядя на горы, он часто мечтал о том, как он поставит здесь навес из бамбука, расстелет на земле джутовый мешок и разложит на нем жареные орешки, разноцветные сласти и свежие кокосы для голодных и жаждущих путников, которых нередко так много бывает на шоссе. Конечно, на выставке скота его козы премии бы не получили, но он всегда старался их подкормить, когда у него были деньги, и сейчас они выглядели не так уж плохо. Пока он размышлял, краснолицый пожал ему руку и оставил у него на ладони сто рупий, на этот раз бумажками по десятке.

— Это все вам. Можете поделиться с партнером, если он у вас есть...

Старик указал на автомобиль и спросил:

— Вы их вот туда посадите?

— Да, конечно,— ответил американец, поняв, что обсуждается вопрос о транспорте.

Старик сказал:

— Они никогда на автомобиле не ездили. Увезите их после того, как я уйду, а то они с вами ни за что не пойдут, а побегут за мной, хоть бы я шел прямиком в преисподнюю.

Он рассмеялся собственной шутке, простился, сложив ладони, повернулся и ушел. Скоро он скрылся за кустами.

Краснолицый взглянул на коз, мирно щиплющих траву.

Сидя у ног коня, он глянул на заходящее солнце, которое зажгло на памятнике древние потускневшие краски, подумал: «Должно быть, он пошел в деревню, чтобы привести еще кого-нибудь в помощь» — и принялся ждать. Когда по горной дороге спустился грузовик, он остановил его и с помощью двух мужчин снял коня с пьедестала и погрузил в свой автомобиль. Каждому из них он дал по пять рупий, а за дополнительную плату они перекачали ему бензин из своего бака и помогли завести мотор.

А Муни торопился домой, надежно упрятав деньги в пояс своего дхоти. Он прикрыл дверь на улицу и тихонько подкрался к жене, сидевшей на корточках у зажженного очага и размышлявшей о том, не свалится ли чудом с неба какая-нибудь еда. Муни вытащил свое сокровище. Она выхватила у него из рук деньги, пересчитала при свете огня и закричала:

— Сто рупий, откуда они у тебя? Ты что, украл их?

— Я продал наших коз краснолицему. Он прямо-таки с ума сошел, так они ему понравились, дал мне эти деньги и увез их в своей машине!

Не успел он произнести эти слова, как они услышали у дверей блеяние. Жена открыла дверь и увидела у порога двух коз.

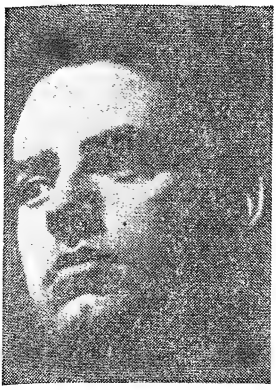
— Вон они! Что все это значит?

Он произнес страшное проклятие и, схватив одну из коз за уши, закричал:

— Где этот человек? Ты что, не знаешь, что ты теперь его! Зачем ты вернулась?

Коза только билась в его руках. Тот же вопрос он задал и другой козе, но она вырвалась из его рук. Жена гневно взглянула на него и объявила:

— Если ты украл, сегодня же ночью придут полицейские и переломают тебе кости. Только меня ты в это дело не втягивай, я уйду к своим родителям...



ХОРХЕ ТЕЙЛЬЕР

Перевод с испанского и вступление СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Случается, что упавшее в землю семя долго не прорастает: словно ему недостает каких-то живительных соков. И вдруг, когда о нем уже позабыли, оно выносит к свету мощный и сочный побег.

Вот так еще лет семьдесят назад в филологических работах по чилийской литературе нередко можно было встретить сетования на то, что среди всех культурных достижений талантливого народа Чили поэзия занимает далеко не первое место.

Возможно, тогда в подобных рассуждениях была определенная доля истины, и хотя чилийский фольклор, поэзия колониальной эпохи и XIX века внесли свой вклад в становление многих латиноамериканских литератур, все же в то время мастерство чилийской музы оставалось скорее мастерством многообещающей ученицы, не превращаясь в почерк самостоятельного художника. Но прошло время, и в двадцатом столетии всем стало ясно, что зерно поэзии упало в стране Кордильер на благодатную почву: оно долго зрело в ней и копило силы, но зато пробилось к солнцу целым лесом удивительных имен.

И правда — кто ныне не знает стихов Пабло Неруды или Габриэлы Мистраль?

Одна за другой рождаются в недрах этой страны волны одаренных «поэтических поколений», и вслед за классиками латиноамериканской литературы следуют новые отряды стихотворцев. Видное место на «чилийском парнасе» принадлежит сегодня «поколению пятидесятых годов»: таким поэтам, как, например, Эфраин Баркеро, Энрике Лин, Мигель Артече и Хорхе Тейльер, со стихами которого впервые знакомит советского читателя настоящая подборка.

Поэт «бедного юга», поэт деревни, Тейльер неуютно чувствует себя в современном городе. Он как бы прислушивается к собственному голосу и понимает, что передать свои ощущения на языке этого города ему не дано, ибо внутренний настрой его ассоциируется с тем миром образов, где обитают дерево, птица, ночь, дикий виноград, ветер и безмолвие. И в этой родной ему стихии он и творит всякий раз «чудо поэзии» — мелодичные, тонко инструментованные строки, мягко светящиеся задумчивой грустью, вдруг озаряемые вспышкой поразительной метафоры.

Тейльер — искусный лирик, умеющий в немногих словах явственно выразить неуловимые переливы настроения, но это отнюдь не делает его поэтом камерным, далеким от сегодняшних проблем его страны. Как верно заметили Луис Энрике Дэлано

и Эдмундо Паласиос, составители «Антологии социальной поэзии», «можно с полным основанием утверждать, что в Чили не было и нет ни одного достойного уважения поэта, который не писал бы стихов общественно-политической направленности». Поэтому не случайно их книгу, посвященную Компартии Чили, замыкает стихотворение Хорхе Тейльера — самого молодого по тому времени из «достойных уважения» поэтов.

Известность к Тейльеру пришла рано. Ему сейчас тридцать семь лет, а уже в 1960 году он получил премию имени Габриэлы Мистраль за книгу «Древо памяти». С тех пор он выпустил еще несколько имевших большой успех поэтических сборников, отдав также дань и прозе, и литературоведению. Одной из его последних работ были переводы стихов Сергея Есенина на испанский язык.

Заблудившийся вечер

А песня путника порою —
это вечер.
А вечер — это песня за деревней.

Когда угаснет песня,
будет ветер
твердить слова невнятные деревьям.

А листья будут в дом проситься, очень
страшась остаться до зари на ветках:
ведь все деревья в заговоре с ночью,
а ночь колдует в заговоре с ветром.

Отбой сыграли в лагере солдатам,
и нанырялись дети у запруды...
Но путника, который пел когда-то,
никак в деревне кто-то не забудет.

А тени обвивают нас и манят
на мельницу, где долгие сказанья
они бормочут ночью — и внимает
им девушка со спящими глазами.

Но мы — ни шагу. Нет. Нам тоже надо
быть в заговоре с этой ночью древней...

Под небом, от созвездий конопатым,
спит вечер у обочины, в деревьях...

И путника, который пел когда-то,
теперь уже напрасно ждут в деревне.

Рассказы

I

Утро учит мотив
мельтешения птиц над полями.
День бежит через росы по травам —
как вымокший пес...

И раздернув последние сумерки, резкое пламя
петушиного крика над сонной округой взвилось.
Бьют копытами кони, кроша небосвод невесомый,
голубые лагуны под инеем в ломкой тиши...
И охотники тоже спешат, у соседнего дома
приторачивая ягдташи.

Ты — как радостный сон,
от которого ясно на сердце,
но который не вспомнить,—
распахнутое окно
в эту спелую рожь и в бушующий с ней по соседству
тот кизил, со смородиной переплетенный в одно.

II

А потом навалившийся ветер унес прямо в осень
на руках наше утро — и память развеял о нем.
Ты бежала по берегу мимо согнувшихся сосен,
а на месте смородины
бился бесформенный ком.
Почему же охотники те до сих пор не вернулись?
Ты боишься за них, и о нас тебя мысли страшат...
Ты идешь на чердак
и там ищешь, спеша и волнуясь,
в сундуке подвенечный,
из прошлого века, наряд.

III

Свист призывный безлюдья.
И вот прискакали и, спешась,
ищут коновязь полночь и сон у крыльца, под окном.
По скрипучим ступенькам наш старый хозяин неспешно
в черный погреб спускается за прошлогодним вином.
А из досок замшелых повылезли ржавые гвозди,
и уже спотыкаются обморочные часы...
И хозяин, которому снятся веселые гости,
спит средь бочек и крыс,
в свой кувшин окунувши усы.

Ветер рвется в окно. Треплет полночи черные космы.
Где, когда, каким утром
я видел смородинный куст?
Днем уже эта буря хрустела у берега в соснах
и осенней печалью уже отдавала на вкус.
Вот, отмаявшись, маятник лег неподвижною тенью,
и во сне расцепились железные пальцы гвоздей...
— это топот охотников или шаги привидений? —
И мы тоже уснем. И мы станем лишь горстью теней.

Ключ

Так доверься осеннему ветру. Откройся без слов
этой тихой реке в берегах, желтизной обоймленных,
где по илу придонному в сонных свинцовых затонах
бродят ощупью призраки смытых когда-то мостов.

Знаю: руки твои — это ключ, отмыкающий лето
в старой мельнице той, где душа моя долго спала,
где невнятные тени бормочут в пыли полусвета,
где разбойничьим посвистом
черные всадники ветра,
в деревнях с колоколен сорвавшие колокола,
свищут, плещут плащами, над ветхою крышею рея...
Пусть же дни облаками
плывут в небесах твоих глаз...

Мы не будем будить наше чутко уснувшее время.
Ты услышишь, как счастье
крылами касается нас.

Дождь и очаг

А этот час мы отыскали сами
средь всех часов, у времени в колодце.
Еще вино в кувшине остается,
и в очаге колышет тени пламя.

Мы отыскали наше время сами...
Последняя дождинка отзвенела.
Смотрю тебе я в очи онемело,
смотрю в очаг, где умирает пламя.

Мы отыскали наше время сами...
Лицом к огню прощальному приблизься!
Дрожат у вишни вымокшие листья
и тянутся сюда, к оконной раме.

Мы отыскали наше время сами...
Мы ягоды держали на ладонях...
Твердит огонь в конце своих агоний,
что тени долговечнее, чем пламя.

Моему отцу, коммунисту

В час, когда, захлебнувшись закатом,
осеннее сонное солнце
ищет ощупью запах забытых весенних ветвей,
мой отец в дряхлом «додже»
по горной дороге трясется
к деревушке, похожей
с обрыва на птицу в траве.

Или, может, бредет через ржавую топь
в резервацию арауканцев,
чьи поля тихо тают,
как будто чернеющий снег,
чтобы им рассказать про тот день,
когда земли начнут размножаться,
как хлеба или рыбы,—
и правды им хватит на всех.
Вот уже тридцать лет
об Аграрной реформе твердит он
и поет «Интернационал» —
и хоть голос не бог весть какой,
с голосами крестьян, рыбаков, с голосами рабочими слитый,
он могучим мотивом плывет надо всею землей.
Окруженный друзьями
на фабрике, дома и в поле,
в профсоюзе, в подполье и на площадях городов,
он — лишь горстка семян,
у которых завидная доля:
прорасти прямо к солнцу лесами весенних миров.

Его вера прекрасна —
как будто сиренью настоянный ветер.
И хочу я, чтоб сам он дожил до зари над страной,
когда улицы станут носить имена
Рекабаррена или Лаферте
(в тридцать первом он с ним подружился — поверьте,
что тогда коммунистом был только герой).

Я хочу, чтобы внукам по яблоне
руки его посадили,
чтоб входил он в свой собственный,
пахнущий деревом дом,
чтоб еще много лет
«Марсельезу» он пел в годовщину Бастилии
в честь отца своего:
тот ведь был уроженцем Бордо.

Чтобы смог, наконец,
он спокойно с друзьями собраться;
не на митинг — а просто за щедрым
крестьянским столом,
чтоб, заботы забыв, от души он сумел рассмеяться,
запивая жаркое студеным и терпким вином.

В этот час, когда тонет в закате
осеннее сонное солнце,
мой отец,
чтобы проще про рай на земле объяснить —
и живей,
знаю, вновь через горы на стареньком «додже» трясется,
к деревушке, похожей
с обрыва на птицу в траве.

ЕЖИ БРОШКЕВИЧ

Долго и счастливо

РОМАН

Перевод с польского Михаила ИГНАТОВА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Письма разносил старик, прозванный Колченогим. Настоящее имя почтальона было забыто задолго до моего появления на свет, и даже мои родители его не помнили — зато не забыли они ходившие некогда и скорей всего ложные слухи о причинах, побудивших Колченогого в середине семидесятых годов оставить родимую сторону где-то в глубине прусских владений и, миновав по пути три кордона, города большие и малые, всевозможные деревушки и селения, добрести, наконец, до древних стен нашего городка, вросших в невысокий вал над рекой, затерявшихся среди мирных холмов и густых лесов и обрамленных широким поясом тощих нив и буйных садов, которые пышно цвели на южных склонах,— до стен городка, где его, инвалида франко-прусской войны, приняли без особого недоверия — хотя первые годы достаточно было разговоров о том, что он оставил родину скорее не из-за какого-то несчастья, а из-за преступления. Причем, если в Заречье утверждали, что Колченогий еще под Седаном убил измывавшегося над ним унтер-офицера, то в самом городе преобладало мнение, что действительно убил, однако не офицера или унтер-офицера (ибо после седанской битвы несколько месяцев провалялся в госпитале и вернулся домой с крестами и медалями за французский поход), а убедившись, что помещичьи сынки забавлялись с молодой его супругой до Седана, во время Седана и после Седана, сжег усадьбу, убил жену и бежал от справедливого возмездия и собственного отчаяния в наши края, к людям любопытным, но великодушным, которым стал тихо и скромно оказывать полезные услуги, подряжаясь за небольшую плату: кому печь наладить, кому подсобить по плотницкому делу, колол дрова, чинил заборы и крыши, шинковал капусту и белил стены, пока окончательно не пристроился на почте истопником и разносчиком писем — и все привыкли к его молчаливому присутствию, к лицу, пересеченному шрамом, и негнущейся ноге, поскольку работал он на совесть, довольствовался малым, никому не мешал, был набожен и уважал здешние обычаи, и прощали ему нечастые приступы запоя, случавшиеся, собственно, не по его вине.

Ибо пил Колченогий лишь тогда, когда его угощали, то есть по тем дням, когда была конская ярмарка.

Окончание. Начало в №№ 6 и 7.

Раз в месяц над площадью за ратушей воздух густел от запаха лошадиного пота. По булыжнику гулко стучали копыта, барышники и крестьяне тянулись к нам со всего Подгорья. Колченогий же за эти годы стяжал славу прозорливого и неподкупного знатока лошадей. Поэтому в ярмарочные дни становился он одной из самых важных фигур в городе, к тому же все знали, что Колченогий отказался от предложенного самим епископом поста старшего конюха, а также пренебрег довольно туманным предложением, каковое уже в мое время сделал ему молодой король лошадников Фроим, будущий муж Сары.

Колченогий не желал лучшей доли. Епископ обиделся, Фроим только удивился. И все осталось по-прежнему, лишь по первым вторникам каждого месяца Колченогого с рассвета осаждали барышники, крестьяне и извозчики. Барышники угощали, чтобы он не мешал торговать, покупатели — чтобы сбивал цены. И хоть все попытки подкупить его оказывались тщетными, через обитую листовой медью стойку в заведении Блюма обильным потоком струились сливовица и пшеничная, пока блекло-голубые сердитые глаза Колченогого не затуманивались окончательно. И тогда на его бледном, вспотевшем с перепоя лице проступала черная от пороха борозда военного шрама.

Колченогий одиноко стоял на пороге кабака. Площадь за ратушей быстро пустела. Смеркалось. Последние телеги и табунки лошадей гремели по мосту, а Колченогий оставался один со своим хмелем, всеми покинутый, неминуемо брошенный на произвол шустрой детворы, подстрекаемой слабостью старика.

На почту ему приходилось возвращаться через весь город, и был это крестный путь.

— Выкрутас, Выкрутас,— орали мы всем стадом,— покрутись еще раз.

К трезвому почтальону никто бы не пристал. Более того: трезвый, он внушал нам страх. Зато пьяный сразу же терялся и оказывался совершенно беззащитным под градом насмешек и всяческих отбросов, низвергавшихся на его седую башку и линялую солдатскую куртку. А взрослые за него никогда не заступались. И нечему тут удивляться: ведь именно они придумали в свое время эту забаву.

Старику ничего не оставалось, кроме позорного и мучительно трудного для него бегства, ибо по пьяной лавочке — и только тогда — правая, перебитая под Седаном, нога отказывалась повиноваться, самостоятельно пускалась в пляс, чужая и каменная, выписывая кренделя и выкрутасы, так что Колченогий, или Выкрутас, шел не прямо, а как-то боком и зигзагами — совсем как глупейший пес-калека придурковатой Анжелики, что побиралась у костела. Зрелище было жутко смешное, а игра хоть и редкая, но захватывающая.

Прекратилась она только летом 1914 года, в конце августа, когда Выкрутас впервые вынес в город письмо с военным грифом и черным кантом по краям конверта. Ровно в полдень вошел он с этим письмом в убогий домишко на Заречье, который сразу же огласился рыданиями женщин и визгом детворы.

С тех пор Выкрутас, вопреки своему обыкновению, начал пить и в обычные базарные дни, и на собственные жалкие гроши. Когда же несколько самых заядлых сорванцов окружили его с воплями, он на этот раз вовсе не попытался ретироваться.

— Lo-o-os! [1] — рявкнул он так, что его услыхали возле костела.— Мать вашу! Принести вам черное письмо?

И засмеялся громко и страшно.

---

[1] Прочь! *(Нем.)*

Самый малолетний в банде, Пацула, еще дважды швырнул камнем. Но и его испугал крик и хохот старика, а через два дня родная мать в великом своем отчаянье избила мальчишку почти до полусмерти. Выкрутас именно к ним в дом принес извещение о том, что у солдата 49-го саперного полка, плотника Пацулы, по причине тяжелого ранения отняты обе ноги. Вскоре пришло и последнее письмо — о трагическом исходе.

Женщин обуял страх. Дети разбегались от одного угрюмого взгляда Выкрутаса, который все реже показывался на люди и лишь по базарным дням пил молчком и со зловещим видом.

Шестнадцатого ноября 1915 года я увидал, как Выкрутас вышел из-за угла костела, остановился в начале нашей улочки и широко перекрестился.

Я чинил калитку. Ее надорвал ночью ветер, принесший из-за гор последнюю осеннюю грозу с частыми молниями и градом. Я видел: Выкрутас шел не один. Следовала за ним молчаливая орава ребятишек и шесть старух, словно черные плакальщицы за гробом, у которых скорбь и старость отняли голос.

От костела вдоль прибрежного вала шла в нашу сторону только одна эта улица, в конце которой стоял наш дом, одноэтажный, старый и деревянный, с садом, тянувшимся к лесу, старательно огороженный, сверкавший от ночного дождя.

Я скреплял проволокой петлю калитки, смотрел на Выкрутаса, шагавшего прямо ко мне. Когда он только появился из-за угла, одна из плетущихся за ним женщин что-то крикнула в мою сторону пронзительным голосом. Часы на башне пробили один раз, и начали распахиваться окна домов. Было очень тихо на Закостельной улице. И только когда Выкрутас поравнялся с четвертым домом, разъяренно задергалась на короткой цепи собака, заливаясь хриплым лаем. Оставалось еще три дома до нашего, последнего: двухэтажный с облупленной штукатуркой — Котарбов, избушка Дычевских и еще незаконченная кирпичная новостройка ближайших соседей.

Выкрутас миновал и новостройку.

Я рванул проволоку. Почувствовал, как кровь потекла по пальцам. Бросился в дом. Младшая сестра Агата была далеко в саду, возле парников, там ночной град перебил почти половину рам. Мать стирала на кухне.

Я остановился на пороге. Над корытом склонялась чужая молодая женщина с падающими на лицо черными, как у цыганки, волосами, с полными плечами и молодой, колышущейся под свободной рубашкой грудью.

— Выйдите, мама,— сказал я, сжимая израненные пальцы.— Выкрутас принес письмо.

Когда она откинула волосы со лба и приблизила ко мне лицо, молодая чужая женщина снова превратилась в мать — изможденную и усталую жену садовника, который пошел на войну. Она смотрела на меня внимательно, ведь я сказал «Выкрутас принес письмо» таким голосом, что она поняла: не обычное послание несут сюда. Несмотря на это, совершенно спокойно взяла мою белую рубаху и, стряхнув ее над полом, бросила в ушат, чтобы прополоскать вторично.

Потом вытерла руки о фартук и сказала:

— Пусть подождет.

Когда я вернулся к калитке, Выкрутас уже ждал в четырех шагах от ворот. На меня не смотрел.

— Все дома? — осведомился он. И добавил: — Письмо с фельдпочты.

— Подождите, пан Колченогий,— сказал я.— Мать просила подождать.

Я стал у калитки, чтобы видеть всю улицу. Из окон домов высовывались головы соседей. Ребятишки обступили Выкрутаса полукругом. Шесть старух, которые тащились за ним наверняка от самой почты, стояли поодаль, а одна отчетливым голосом читала молитву, перебирая пальцами, в которых не было четок. Трое помалкивали, две повторяли: «Молись с нами, молись с нами».

— Снова будет дождь,— сказал я Выкрутасу.

— Будет,— подтвердил он, глядя на реку, из-за которой шли к городу низкие тучи.

Я обмотал руку платком. Кровь перестала течь, и я смог достать жестянку с табаком и курительную бумагу. Я знал, как и все — глазеющие ребятишки, соседи, старухи,— беда идет в наш дом. У меня перехватило горло, судорога свела челюсти, я едва смог подать Выкрутасу жестянку с табаком. Слезы быстро и постыдно потекли на подбородок, поэтому я отвернулся от любопытных глаз к дому, смотрел на веранду, где летними вечерами сиживал садовник Мартин, молча покуривая трубку и слушая, как мать читает двоим детям повстанческие песни и стихи разных поэтов.

Я увидел мать.

Она подколола волосы. Надела черную кофту и черные башмаки на босу ногу. Глянула на меня, но по ее худому и умному лицу не скользнуло и тени, когда она заметила мои слезы. Опустив руки, шла она прямо к приоткрытой калитке, порога которой Выкрутас не осмелился переступить. Значит, не было у нее никаких сомнений, если, еще не прикоснувшись к конверту с военным грифом и черной окантовкой, уже надела траур.

Открыв калитку, мать пригласила Выкрутаса войти и, не опуская головы, без слез и лишних слов повела его за собой в дом. Мне тоже велела идти. И я пошел, тщетно пытаясь глотнуть воздух перехваченным горлом, следом за Выкрутасом, который грузно топал сапогами по тропе, по деревянному полу веранды и сеней.

Они присели к столу, прямо под большой свадебной фотографией в овальной раме. Выкрутас положил письмо на стол. И только тогда мать крикнула — только раз, но очень пронзительно:

— Овдовела я, люди! Овдовела!

Выкрутас наклонился к ней и ткнул пальцем в конверт.

— Уважаемая,— сказал он.— Krieg ist Krieg, война есть война. Молиться надо.

Мать все еще не распечатывала письма. Расписалась в получении, потом налила Выкрутасу полстакана спирту. Видно было, что старику не хочется пить, но мать топнула ногой, и он выпил. Простились: «С миром». И когда старик вышел, мать велела мне распечатать конверт и прочесть вслух тот же текст, который за последние пятнадцать месяцев оглашался в девяти домах нашего небольшого городка с древними стенами и мирным прошлым. Я прочел с уже сухими глазами и спокойным голосом. Текст был короткий. Не сообщали нам в черном письме, как и где погиб невозмутимый, молчаливый садовник, о котором мать начала, наконец, плакать тихо и примиренно, но с глубокой и искренней скорбью, зная, что уже не будет между ними ничего — ни хорошего, ни плохого,— что не искупит никакой нанесенной ему обиды, а также не получит от него никакой поддержки, к чему он приучил ее ненавязчиво и благородно.

За окном по-прежнему стояли зеваки. Сам Выкрутас не ушел от калитки. К старухам присоединились другие, в основном соседки. Даже какая-то баба, бредущая из деревни с котомкой, и словак-же-

стяльщик, который с утра лудил у Котарбов горшки. Дети облепили забор, глядя круглыми глазами прямо в наши тихие окна. Низкие тучи переползли через реку и остановились над городом. Полил дождь, мелкий и обильный. А они по-прежнему с жалостливым любопытством дожидались траурного представления, которое им в конце концов устроила Агата.

Она, очевидно, заметила, что творится возле дома. Прибежала, хромая и плача, вопя пронзительно и отчаянно. Ворвалась в комнату. Уткнулась в колени матери — сопливая от холода, дождя и рыданий. Мать ласково обняла ее, сама перестала плакать, обмыла ей лицо и велела нам переодеться в самое лучшее, лишь бы темное.

Народ все еще стоял, когда мы втроем вышли из дома, направляясь прямо в костел, чтобы заказать заупокойную мессу за душу доброго человека, садовника Мартина. Мать шла впереди, не отвечая на поклоны встречных, с лицом, застывшим в скорбном высокомерии. Я вел Агату, мою бедную хромую сестренку, которая слепла от слез, ибо она одна, единственная из нас троих, по-настоящему и горячо любила убитого солдата императорской австро-венгерской армии.

В тот день Агата уснула быстро, заботливо уложенная матерью. Мне же было велено подождать. Я ждал в горнице, за столом. С сумерками пришли первые в том году заморозки, поэтому мать велела истопить печь. Багровые блики разбегались из открытой дверцы белой печи по комнате, плясали на свадебной фотографии, на бутылке, которую я без спроса поставил на стол. Я ждал, скручивая толстые цигарки и неторопливо потягивая прямо из бутылки, початой в тот день самим Выкрутасом.

Мать села напротив меня. Велела подать себе не рюмку, а стакан, соленый огурец, сала и хлеба. Только после этого водрузила на стол самую большую лампу и бережно, долго обжигала ее толстый фитиль. Из стоявшего в углу всегда запертого сундука вынула узелок, небольшой пакет, обернутый черным платком и перевязанный крест-накрест тоненьким ремешком. Ее глаза избегали моих, но руки были спокойны, они аккуратно распутывали узлы ремешка, потом раскладывали передо мной на столе содержимое пакета: две небольшие желтые и выцветшие фотографии, два письма, одну вырезку из газеты.

На одной фотографии я увидел мужчину с веселым, красивым лицом, которое малость портили глаза навыкате и редкие усы. На другой тот же самый человек стоял подле сидящей в кресле матери, молодой и улыбающийся. Был он уже без усов.

Он мне понравился. Стоял прямо и гордо рядом с молодой и очень привлекательной женщиной, которая нежно держала его за руку. А я ждал. Ждал, что же, наконец, скажет мне моя мать обо всем том, о чем до сих пор никогда со мной не заговаривала.

— Налей мне еще,— сказала мать, дыша громко и учащенно.

На этот раз мы выпили вместе по целому стакану, и спирт обжег мне горло. Мать глубоко вздохнула, быстро положила руку на фотографию молодой пары, осторожно взяла ее со стола и спрятала на груди. И тут, глядя мне прямо в лицо, поднесла ту, первую фотографию к самым моим глазам.

— Возьми ее себе,— сказала она,— и запомни: таким был твой отец.

Уже несколько лет ждал я этого признания. В городе люди добрые ничего не знали. Между моей матерью и вписанным в метрику в качестве моего отца садовником Мартином (кроме одной или двух ссор, не вышедших за порог) установилось относительно этого дела молчаливое согласие, сам же садовник Мартин достойно и честно но-

сил звание моего отца, и никто не мог его упрекнуть, в том числе и я, что он в чем-либо не оправдывает этого звания. Но я что-то подозревал: слишком уж любил он свое единственное, несчастное чадо, Агату, и слишком убивался, вспоминая задушенную дифтеритом Франтишку, а ведь у него был сын, которому мог бы позавидовать не один отец.

В общем-то, я догадывался. И все же, когда мать сунула мне в руки фотографию, желтую и поблекшую, наклеенную на картон, лишился дара речи. Не знал, о чем спрашивать и как отвечать ее огромным уставившимся на меня глазам. Лицо мое выражало, очевидно, только страх и тупость, ибо мать вдруг залилась тем своим пронзительным, прерывистым смехом, которого боялись все домашние и все чужие люди.

— Чти отца своего и мать свою, сынок! — кричала она мне сквозь смех, наклоняясь над столом.— Чти отца своего, чти мать, и бог даст тебе здоровье и благополучие.

— Жив ли он? — спросил я тихо и торопливо.

Она смеялась. Не слушала и не слышала, о чем спрашиваю.

И только когда я стукнул кулаком по столу и выругался непристойно, как пьяница, перестала смеяться, ударила меня по лицу. Я смиренно умолк. А она поняла, что я по-прежнему, а может и больше, чем когда-либо, ее сын и только дожидаюсь того, о чем, получив черное письмо, она сама решила мне рассказать. Мать улыбнулась мне, как в лучшие дни моего детства, погладила по щеке, горевшей от удара, и уже со спокойным лицом и слезами на глазах рассказала обо всем грудным, чистым своим голосом.

Так, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое ноября, на шестнадцатом году жизни я узнал всю, довольно простую, правду о том, что случилось между рождением старшей сестры и моим собственным появлением на свет. Мать не притворялась и не лгала мне. Поэтому я узнал много, гораздо больше, чем предполагал. Исповедь была очень долгой. Лампа начала коптеть и погасла, печь утихала, в городе пропели первые и вторые петухи. В конце концов мне пришлось ее, ослабевшую от разговора и слез,— любимую, несчастную и хорошую матушку мою — взять на руки и отнести на вдовью постель. Ибо уснула она за столом, прильнув щекой к старой фотографии, и не проснулась даже тогда, когда я опустил ее на супружеское ложе садовника Мартина. Сам же я взял из шкафа его лучшее пальто, надел, в карман сунул недопитую бутылку спирта и пошел сквозь мрак ночи в Заречье, к прислуге Фроима, Катажине, осиротевшей любовнице ломового извозчика Михала Пионтковского, призванного месяц назад в императорскую армию обозником.

Домой я вернулся, когда было уже совсем светло, и выходившие после ранней обедни старухи возмущенно плевали мне вслед. Но мать, с рассвета снова принявшаяся за стирку, не сказала дурного слова. Молчала без улыбки, но и без гнева. Не потребовала вернуть фотографию и даже двух своих собственных писем, которые отправила слишком поздно, чтобы отец смог когда-либо их прочесть. Словами простыми и искренними писала она о большой своей любви, о том, что в январе (это было дважды подчеркнуто) ждет ребенка, а также сообщала, что все-таки не может решиться оставить мужа и уйти к нему, как они в апреле задумали и обещали друг другу.

Вернул ей эти письма брат отца вместе с вырезкой из варшавской газеты, в которой сообщалось, что бунтовщик и бандит слесарь Варшавско-Венской железной дороги Ян Лях, 28 лет, был приговорен военным судом к смертной казни через повешение. Наказание это получил слесарь Ян Лях за то, что покушался с револьвером на бла-

женной памяти Всеволода Алексеевича Данеева, благородного офицера царской жандармерии. Приговор же в соответствии с законом был приведен в исполнение на откосе варшавской Цитадели, морозным ранним утром, в одиннадцатый день месяца января 1900 года, то есть за целых восемь дней до моего рождения.

Газета сообщала также, что сей бунтовщик и преступный террорист не проявил в своей закоренелости никакого раскаянья. Не пожелал обращаться к монаршему милосердию и наконец — на погибель своей грешной души — отказался от какого-либо духовного утешения.

— А я ничего не знаю! И не желаю знать! — твердил мне брат отца, когда много лет спустя я напал на его след, то есть когда на одной из смрадных улочек Повислья обнаружил, наконец, кособокую вывеску «Франтишек Лях — ремонт обуви» и спустился по ступенькам в убогую, затхлую от сырости нору, каковой была сапожная мастерская моего дяди. Я назвал себя. Он же, сильно постаревший замухрышка с глазами навыкате и грязной лысиной, даже руки мне не подал. Правда, от брата не отказался. И не выставлял меня слишком рьяно. Но попросту не желал говорить. Гнул худую шею над подметкой старого башмака, в которую вбивал деревянные гвоздики, руки у него тряслись, тыквообразная лысая голова покрылась испариной от злости и страха.

Я присел против него на колченогий табурет. Стараясь быть вежливым и спокойным, не спеша объяснил ему, что ничего от него не требую, кроме нескольких добрых слов о его брате, слесаре Варшавско-Венской железной дороги, которого казнили на откосе варшавской Цитадели.

Поначалу он вообще не желал вступать в какой-либо разговор. Одной фразой подтвердил свое родство с покойным Яном. Лишь после того как я поднес к его глазам фотографию отца и выгоревшую потертую вырезку из газеты, поверил и взглянул мне прямо в лицо. Тихо спросил, как меня зовут, когда услышал, что Яном, на секунду зажмурил слезящиеся глаза. Но тут же им опять овладела непонятная мне злоба, за которой чувствовался страх. Он задышал судорожно, шумно и снова принялся настаивать, что ему нечего мне рассказывать и что слишком уж давняя это история, чтобы нам, людям друг другу чужим и совсем незнакомым (так повторял он), стоило вызывать сюда эту мятежную душу.

Я не перечил ему. Он был по-своему прав: мы были друг для друга совершенно чужими людьми, и я уже горько сожалел, что отыскал этого человечишку, у которого не нашлось для меня ни единого ласкового слова, хоть он и признал во мне сына своего родного брата. Но я решил также, что не уйду, пока не услышу хоть нескольких вразумительных слов о человеке, благодаря которому мать моя в муках произвела меня на свет. Я имел на то бесспорное право — а тщедушный и неизвестно чем напуганный человек отказывал мне в этом праве с таким неразумным упрямством и так долго, что я, наконец, сунул ему под нос кулак и велел хорошенько его понюхать.

— Послушай-ка, дорогой сударь дядюшка,— говорил я с холодной злостью, но уже близкой к яростной вспышке,— я хочу услышать то, что положено. Он, отец мой, вообще не успел узнать обо мне. Я тебя, сударь дядюшка, долго разыскивал. И раз уж попал сюда, то желаю о нем услышать. От тебя ли или от кого другого, кто был ему лучшим братом, чем ты, дорогой мой. Подскажи только, где такого искать.

И добавил, что готов хоть целую неделю стоять у него над душой, пока не добьюсь своего. Но тут же мне пришлось отдернуть

руку. Ибо если первые мои слова заставили дядю еще больше съежиться и уйти в себя, то, услыхав последние, он вдруг взбеленился: вскочил на ноги и замахнулся сапожным молотком на дерзкий мой кулак. Казалось, он готов был броситься и с ножом на родного племянника. Однако швырнул молоток на землю и выбежал в другую комнату, откуда пахнуло паром кипятившегося белья и где я увидел старую, изможденную женщину, склонившуюся над огромным жестяным корытом, совсем таким же, в каком моя мать обычно устраивала большую стирку.

Женщина что-то закричала, но воздетый дядюшкин кулак моментально ее утихомирил. А он выволок из какого-то угла небольшой деревянный сундучок и, бранясь тихо и торопливо, что-то бормоча про себя с непонятной злостью, стал передо мной, оторвал крышку и вывалил все содержимое сундучка прямо к моим ногам: черный потертый сюртук с дырами от моли, замасленные рабочие штаны, несколько пар истлевшего белья и узелок со слесарным, изъеденным ржавчиной, инструментом, который с грохотом рассыпался по грязному полу.

— Бери! — сказал он, задирая ко мне голову и болезненно усмехаясь, как человек смертельно усталый или обиженный.— Вот, дорогой племянник, все наследство, которое оставил тебе отец, покойный Янек. Я берег это не для тебя, а ради собственной, братской о нем памяти. Но коль уж ты пожаловал лично, забирай свое огромное наследство.

— Это все? — спросил я.

— Все! — крикнул он.— Мастерская всегда была моя. Только моя!

Мне даже смеяться не хотелось. Значит, вот чего он боялся? Что я пришел за наследством, которого никогда не было, либо за своей долей в этой жалкой конуре сапожника? Я почувствовал искреннюю жалость к нему, раздавленному жизнью и болезнями человечишке. Но, поскольку не хотелось разочаровывать дядю, заботливо потянулся за отцовским сюртуком, чтобы его примерить. Снял свою солдатскую куртку. Дядя глядел на меня молча, подбородок у него дрожал, как у готового расплакаться ребенка.

Сюртук был мне маловат. Узок в плечах, рукава слишком коротки. Когда я попытался надеть его, он стал расползаться по швам, черное сукно рвалось, как папиросная бумага. Мы оба невесело рассмеялись. Дядя снова опустился на табурет, горестно качая головой.

Снимал я сюртук по частям. Левый рукав остался на руке, из него вылетели две белые моли. Потом склонился над остальным, разбросанным по грязному полу отцовским имуществом и уважительно, вещицу за вещицей, снова уложил в сундучок с полуоторванной крышкой. А потом подошел к дяде и — как следовало бы поступить с самого начала — поцеловал его почерневшую от сапожной работы руку.

— Не сердитесь, дядя,— сказал я с искренним смирением.— Ведь я имел право спросить, каким был мой отец. И у кого же мне было спрашивать, как не у родного его брата?

Он задумался. Наконец признал, что есть у меня такое право. Но сначала поинтересовался, что говорила мне о нем мать. Я сказал, что не слишком много. Она провела с ним всего две недели. Приехала весной 1899 года в Краков проведать своего брата и там познакомилась с беглецом из Королевства Польского, молодым мужчиной, которого называли писаным красавцем, кавалером хоть куда и о котором брат шепнул, что это конспиратор и патриот, достойный всяческого уважения. Мать всегда была тщеславна и поэтому, когда через три или четыре дня полюбила этого человека за его мужество, красо-

ту, веселость и красноречие, то забыла о всех божьих и мирских заповедях. Она была готова бросить мужа и двухлетнюю дочь и идти за ним когда и куда ему вздумается. И сама первая его приголубила. Однако он обманул ее, и этого она никогда ему не простила. Паспорт у него был фальшивый, в котором значилась благозвучная дворянская фамилия и какая-то изысканная профессия, что внушило ей еще большую любовь. Настоящее же свое имя и специальность он открыл лишь в последний день, день расставанья, полагая, что большая любовь выдержит всякую правду. Она не простила ему. Но не простила лишь того, что он солгал. Она приняла бы — по ее словам — любую правду, ибо, в конечном счете, ее собственная гордость урожденной шляхтенки основательно слиняла у семейного очага садовника Мартина. Однако он, Ян Лях, обманул ее никчемно и глупо. В основном из-за этого не бросила она мужа, дочь и дом, чтобы отправиться с ним хоть на край света. Когда же получила известие о его смерти, поняла, что иначе быть не могло, и хоть явно не облачалась в траур, но носила его в сердце многие годы.

Дядя слушал меня с огромным вниманием и сочувствием. Он, видно, узнавал в герое этой истории своего младшего брата, которого я столь неожиданно и жестоко поставил перед его старческими глазами. Их то и дело застилáли слезы. Он жмурился, тер веки, а мне вдруг захотелось по старинному обычаю припасть к его ногам и поблагодарить. Поблагодарить за то, что так долго, дольше, чем я живу на свете, не избавлялся от оставшихся после брата вещей и сохранил их с совершенно непостижимой честностью, как священные реликвии. Я понял: он, очевидно, любил младшего брата по-настоящему и с несокрушимой верностью чтил его память. Когда я кончил свой рассказ, он сам признался в этом, совсем по-бабьи хныча в грязный рукав рубахи. И теперь я уже ни о чем не просил и не спрашивал. А просто ждал. Было ясно, что наступила вожделенная минута и он сам поведает мне историю человека, о котором мне так хотелось что-нибудь узнать.

Это была длинная повесть — длинная и до того нескладная, что я почти ничего из нее не уразумел. Дядя, человечишка хилый и глупый, вконец задавленный нуждой, не умел выражать свои мысли словами. Он говорил бессвязно, ежеминутно без надобности вспоминая о каких-то неизвестных мне людях, ссылаясь на дальних и близких родственников, словно я мог знать, о ком и о чем идет речь, путал имена, путал даты и события так, что я, в сущности, не понял и малой толики из этой бестолковой и жалкой болтовни. И все же не перебивал его, не пытался какими-либо наводящими вопросами направить рассказ в надлежащее русло.

Зачем я сюда пришел? Уже семь лет, с той самой ночи, когда мать открыла мне правду, отец был для меня героем. Хоть я и достаточно хорошо представлял себе, как выглядит порою то, что потом называют геройством, особенно в дни затяжных боев, грязной и смрадной осенью или когда словно кнутом сечет стужа. Но дело отца было чистым и ясным: узник подымался на эшафот, с обнаженной головой и шеей, возвышаясь над своими палачами. И кричал: «Да здравствует Польша! Да здравствует революция! Да здравствует свобода!» Так провозглашал он бессмертие своих идеалов, ради них расставаясь с жизнью. Я верил, более того, знал: было только так. Не могло быть иначе. Как и когда погиб мой отец, мне стало известно лишь в ночь на 17 ноября. С малых лет я был напичкан рассказами матери о предводителях восстаний, которые принимали прославлявшую их мученическую смерть именно там, на склонах Цитадели. Кроме того, я регулярно ходил с матерью в костел, поскольку в одинна-

дцатый день каждого месяца она заказывала заупокойную мессу в честь погибших за родину героев, а каноник, который уже давно был ее исповедником, принимал даяние без обычной бесцеремонности и усмешек. Потом мы оставались на этой службе, ранней и тихой, отправлявшейся обычно перед алтарем с изображением святого Себастьяна. И мать приказывала молиться, напоминая при этом прочувствованно и строго, что таких людей надлежит чтить, как отца своего и мать свою. Я не молился, ибо не мог этого делать с той поры, как расстался со своим маленьким Деревянным, и, хоть страшился божьего гнева, вовсе не желал любить бога. Поэтому, закрыв глаза в притворном молитвенном экстазе, я думал о героях и давал обет святому Себастьяну, самому себе и их светлой памяти, что последую за ними тем же путем, которым шли они, и так же, как они, без страха и сомнения.

Теперь же, когда много лет спустя я сидел в жалкой конуре сапожника, провонявшей кожей, смолой, дегтем и мыльной пеной, и глядел на брата одного из этих героев, образ моего отца все более тускнел и отдалялся от меня вместе со всей этой величественной и лучезарной картиной, которая долгие годы озаряла мое сердце: как он подымается по ступеням эшафота, словно на трон, возвышаясь над головами и душами своих палачей.

Передо мной был изможденный старостью и нуждой человек, в чьем лице я обнаруживал черты, знакомые по фотографии, которую дала мне мать и которую семь лет уже носил на груди, словно самим собой утвержденный орден. Да, я видел и понимал это все лучше — оба брата некогда очень походили друг на друга. Я зажмурился, чтобы спасти лицо отца от этой сегодняшней старости и нищеты, а дядя говорил, и слабый его голос то и дело заглушала одышка. Он был немощен, стар и безобразен. И все же похож. Дьявольски похож.

— А ты почему не слушаешь? — вдруг рассердился он.— Раз уж я тебя уважил, так слушай. С почтением слушай.

Мне хотелось встать, плюнуть и уйти. С меня было достаточно. Вполне достаточно. Но не встал и не вышел. Ибо уже пора признаться, что разыскал я своего дядю не только для того, чтобы слушать длинную повесть о своем отце, смертнике и герое.

Год был 1922-й. Моему отцу исполнилось бы пятьдесят. А мне было двадцать лет и два года, я прошел две войны, двенадцать месяцев отсидел в крепости и уже неделю голодал. Голодал по-настоящему.

В крепости я прослушал лекции и поучения двух весьма разных учителей. Кавалерист Сурысь (награжденный крестом за бои на Стыре) поучал меня, как можно жить лихо и забубенно, торгуя лошадьми укокошенных извозчиков. А Ковалик, сержант 35-го полка полевой артиллерии, не менее рьяно, хоть несколько мудрено и скучновато, втолковывал мне о том, что пролетарии всех стран соединяются и я должен к ним присоединиться.

Сурысь вовсю потешался над поучениями Ковалика. Не долго я пожил, кричал он, зато пожил как три забубенных графа и архиепископа, вместе взятые. Потом оба они получили по пеньковому галстуку, а я вышел из крепости горе мыкать на весеннем холодке. Поэтому и разыскивал семейство Ляхов по старым, еще из материнских писем, адресам, надеясь в душе, что попаду к людям добрым и небедствующим, которые признают во мне родную кровь и встретят сердечно шницелем и водкой. Да еще подкинут малость деньжат на проезд в родной город. Правда, я уже давно не получал оттуда никаких известий, а посылать матери арестантские письма не хотелось.

Но я знал, что ждут меня обе, мать и Агата, что поймут и простят мне годы отсутствия и молчания.

Так зачем же я пришел сюда, в затхлую мастерскую «Франтишек Лях — ремонт обуви»? Пожалуй, только за тем, чтобы дряхлый и убогий человечишка отнял у меня своей ничтожной болтовней выдуманный мною великолепный образ отца, ничего не давая взамен. Да еще приговаривая: слушай, слушай с почтением.

— Никто не мог сравниться с Янеком,— хрипел дядя.— На всем Повислье никого не было сильнее. Дядюшка Була, хотя ему уже девяносто стукнуло, может это подтвердить. И Вероника, и другие..

Из соседней комнаты тянуло мыльной пеной и ароматом варившейся капусты. А дядя разговорился. Раза два его прерывали клиенты с какой-то рванью, какую и носят холодным сапожникам. Потом произошло нечто необычное: какой-то благоухающий перегаром тип притащил пару новеньких, сверкающих, как черные зеркала, офицерских голенищ, которые наверняка не купил и не получил в подарок. Но меня не интересовало, подрабатывает ли дядя по мелочам скупкой краденого. Я только продолжал слушать, борясь с голодом, злобой и скукой и кляня в душе последними словами те глупые чаяния и надежды, которые привели меня сюда.

Я слушал: не было другого такого силача, как Янек Лях.

Не было ни на этой улице, ни на всем Повислье. Первый запевала, первый танцор на всю округу. Даже завзятые головорезы уступали ему дорогу, когда он возвращался из трактира Кнапика или из ресторана Метцгера. Сам городовой Гавриленко знал, что Янека Ляха лучше не останавливать, не трогать и не расспрашивать, откуда он возвращается темной ночью и почему так весел. А девицы? Они еще живы. Можно поспрошать Вежбовскую, Ковальскую и других. Даже Веронику. Мало кто, а по правде говоря, ни одна не могла и не смела ни в чем ему отказать, когда он вел ее под руку весенней или летней порой на воскресное гулянье. Я слушал, как этот дряхлый человечишка с каждым словом все больше смазывает и затеняет образ моего отца, Янека Ляха, с которым никто на Повислье не мог сравниться силой. Но вдруг в голосе дяди зазвучали недобрые нотки. Те самые, которыми он встретил меня вначале, когда сердился и приговаривал, что ничего не знает и ни о чем знать не хочет.

Я не уловил, а может, и пропустил мимо ушей, как и когда Франтишек, старший брат Яна Ляха, вступил во владение отцовской сапожной мастерской, которая пользовалась известностью и уважением не только на Повислье. Сперва его даже радовало, что меньшой брат и не помышляет садиться на отцовский табурет, что оставил ему все дело, а сам подался в мастерские Варшавско-Венской железной дороги влачить жизнь скитальческую и непутевую. А потом был первый обыск. Ян сбежал. Скрывался месяцами. Вскоре о нем стали слагать песни, поскольку он ускользал от жандармов и шпиков куда ловчее и хитроумней, чем знаменитость тех лет — варшавский бандит Павлюс.

Да, это верно, что Яна не могли поймать почти два года и слава его гремела. Но он, Франтишек, оставался на месте. Поэтому много раз по нескольку суток отсиживал в участке. Как-то к нему нагрянули с обыском, когда был он пьян. Жандарм толкнул Веронику (беременную на седьмом месяце), да так, что началось кровотечение. Тогда он бросился на офицера с кулаками и получил за это целых полгода. Янек еще был на свободе. Но за эти полгода мастерская пришла в полнейший упадок, Вероника выкинула на восьмом месяце. Все пошло прахом, ибо из тюрьмы он вынес на волю нищету, горе да астму-душительницу.

Я отвел от него взгляд. А он поднялся, достал из шкафчика краюшку хлеба, две луковицы, поллитровку и две жестяные кружки.

— Да,— сказал он, встряхнувшись после первого глотка,— ты пришел за правдой? Получай, бери, подавись. Ибо в том она состоит, что ни от кого в жизни я так не натерпелся, как от своего родного брата. Не веришь? Ступай к Буле, к Бараньским, к Братковским. Любой подтвердит. Сам ходил в героях, а меня... меня и Веронику... через свое геройство пустил по миру. Да! Да! — кричал дядя, и по лицу его обильно потекли слезы, хоть он и не рыдал.

Так, значит, пришел я и за тем, чтобы смиренно есть его хлеб и лук, пока он оплакивал обиду, причиненную ему моим отцом? Надо было уйти, плюнуть, хлопнуть дверью. Но я все ел да ел, и спустя минуту и следа не осталось от краюшки черного хлеба, к которой он едва притронулся. Дядя заметил это, перестал плакать. Посмотрел мне в глаза. Я ничего не сказал, не поднял взгляда. Но он все понял.

Дядя вышел в другую комнату и, несмотря на ругань и бабьи причитания по поводу того, что он снова нашел себе собутыльника, принес еще полбуханки черного хлеба и кусок сала.

— Ешь,— велел он.

Я покорно ел. Ел, не отрывая глаз от стола, заваленного старыми башмаками, гвоздями, обрезками кожи, мотками ниток и дратвы, жестянками с краской, дегтем и смолой — всем этим убогим достоянием захудалого сапожника, которому уже никто не заказывает новых сапог и который подобной себе голи перекатной в пятый и десятый раз латает всякое старье.

Потом выпил вторую кружку и, наконец, взглянул на стоявшего передо мной дядю.

— Наелся? — спросил он.— Наелся?

Во мне закипала черная злоба. Многовато было этой сивухи для пустого с утра желудка. Однако я понимал, что тут еще не окончательно сведены счеты между нами обоими и тем, третьим. Я ел дядин хлеб, пил его водку. Значит, должен был выслушать его до конца.

Я слушал.

— Думаешь, я не знаю, чего ради ты явился? — начал он, еще словно бы миролюбиво.— Думаешь, не догадываюсь? Не понимаю?

Голос его уже перерастал в крик, на тощей шее и впалых висках вздувались вены.

— Знаю! — кричал он.— Знаю! Науськали злые языки! Отравили тебя тем ядом, который разъел всю мою жизнь? Так, что ли? Говори, говори! Сказали тебе, сволочи, иуды, змеи? Сказали тебе, что послал я родного брата на смерть, как Каин Авеля?

— Нет! — крикнул я.— Неправда!

Он сразу же поверил мне и притих.

Успокоился. Долго молчал, стараясь вздохнуть поглубже, как человек с простреленными легкими. Уже довольно спокойно разлил остатки самогона по кружкам. Себе — глоток, мне — каплю. А потом сказал, чтобы я уходил, что ему уже нечего мне поведать.

Я хотел уйти без единого слова, как из псарни или хлева. Меня душил гнев, я ненавидел его, самого себя, всю эту проклятую историю, из-за которой — как мне тогда казалось — теряю своего отца. Бездарно и нелепо. Но дядя остановил меня на пороге. Он взял великолепные, принесенные воришкой, офицерские голенища и, завернув их в старую грязную тряпку, принялся совать мне в руки, торопливо шепча, что иной помощи оказать мне не может,— надо это отнести завтра утром в торговые ряды за Железной Брамой купцу Гольдфейну, сказать, что товар от дяди Ляха, и тот прилично заплатит — только бы уж я убирался отсюда с глаз долой, раз и навсегда, и больше

никогда не возвращался, ибо уже хватит с него несчастий, бед и обид, в которых никто из нас троих не повинен, но которые тем не менее обрушились на него одного хуже, чем гром среди ясного неба, чем топор, страшнее, чем болезнь и сама смерть.

Мы не облобызались — дядюшка и племянник, даже не подали друг другу руки на прощанье. Я не сказал: спасибо, ведь он не желал этого. Единственно, чем я мог по-человечески отблагодарить дядю, это побыстрее и смиренно убраться с его порога. Что я и сделал, заботливо прижимая к груди пару завернутых в грязную тряпицу офицерских голенищ.

Больше я никогда к нему не возвращался. Не пытался также вернуть долг. А разговор этот хорошо запомнил. Слишком хорошо. Но поскольку никого, кроме нас, он не касался, никогда им на людях не хвастал, равно как и не предпринимал попыток переменить фамилии на отцовскую и не признавался, чьим, в сущности, являюсь сыном. Наверняка хотя бы частью этого неприятного разговора я поделился бы с матерью. Но когда, наконец, добрался до родного городка, до своих близких, до отчего дома, то не нашел уже ни дома, ни своих, и некому было рассказывать о годах странствий. Мать унесла эпидемия испанки примерно в то самое время, когда я заканчивал вторую свою войну, еще в двадцатом году. Она покоилась теперь в верхней части кладбища, заросшей березняком и сиренью, рядом со своей старшей дочерью, которую унес дифтерит в 1904 году. А младшая сестра моя, Агата, тоже не дождалась меня. Она продала дом и сад за вполне приличную сумму и внесла свою часть как приданое в монастырь сестер францисканок. Моя доля благополучно ждала меня в уездном городе под опекой нотариуса Новацкого. Однако чересчур долго она ждала меня, ибо как раз к тому времени польская марка начала падать, сначала еще незначительно и незаметно, а потом с каждой неделей и под конец уже с каждым днем все ниже и ниже. Я успел еще малость экипироваться и погулять, прежде чем деньги сделались дешевле бумаги, на которой их печатали.

Я навестил Агату, она уже стала послушницей, и нам действительно нечего было сказать друг другу. Таким образом, я оказался совсем один и вынужден был спросить себя: что же теперь? Что дальше?

Ничему, кроме солдатского ремесла, я не научился, но доступ в армию был мне закрыт. Возможно, если бы я обратился к своим прежним командирам и начальникам, к полковникам, которые уже вышли в генералы, или к капитанам, что стали уже полковниками, если бы бил земные поклоны, во всем покаялся и согласился снова и еще раз либо (в случае необходимости) еще десять раз стрелять в тех людей, из которых происходил и за которых погиб мой отец, то засияла бы мне барская милость ясным солнышком: вернули бы звание, ордена и, быть может, распахнули бы также передо мной врата офицерского училища. Но я не желал идти по такой лакейской дорожке даже в самые тяжкие минуты того голодного времени.

Впрочем, было одно предложение: у старого почтмейстера, когда-то дружившего с садовником Мартином, нашлось для меня местечко, освободившееся после смерти Колченогого-Выкрутаса. Мог бы я убирать почту, разносить письма и посылки, подучиваться почтовому делу и ждать вакантной должности и повышения. Мог бы также наниматься за гроши колоть дрова, чинить заборы и крыши, шинковать капусту и белить стены. Возможно, со временем я дождался бы назначения на пост начальника почты, стал бы уважаемой персоной и получил возможность породниться с каким-нибудь из преуспевающих семейств.

Сидели мы под вечер у Блюма, возле окна с видом на собор, ратушу и башню Балицы — ели жаркое, прихлебывали пиво, и старик горячо меня уговаривал. В конце концов я с благодарностью чмокнул его в плечо, поскольку был этот человек в одинаковой степени доброжелателен и глуп. И твердо сказал «нет», что он принял с обидой и грустью.

Какой же еще у меня оставался выбор? К кому я мог обратиться за помощью и советом? Вспомнив Сурыся, все-таки заглянул к Фроиму, который уже отдышался после военных реквизиций и снова готовился к карьере короля барышников всего Предгорья.

Фроим принял меня с достоинством, пригласил к столу, расспрашивал о прошлом и планах на будущее вежливо и совершенно равнодушно. Потчевала нас тихая, изможденная многочисленными родами и работой некрасивая его жена. После четвертой или пятой рюмки пейсаховки я спросил Фроима, всегда ли интересуется он, скупая лошадей для перепродажи, откуда они взялись и чьи были. Фроим невинно улыбнулся. Ответил не сразу, угостил табаком. Наконец признался, что не всегда спрашивает, откуда и кто доставляет ему товар. Но, добавил Фроим, тогда он первый назначает цену и не признает долгого торга.

А потом вроде бы с грустным лицом, но не скрывая в глазах издевки, заметил еще, что не всякий (как говорят) прокормится краденым.

Я усердно поддакивал ему, впервые уразумев до конца, что если бы даже захотел и попытался, не для меня эта ухарская охота на извозчиков и лошадей. Слишком трудное это дело и по плечу только специалисту. Слишком мало разбирался я в лошадях, в барышничестве. И хоть уже достаточно хорошо умел убивать и в рукопашном бою, и в перестрелках, однако наносить удар в спину, да еще вполне хладнокровно не научился. Ни тогда, ни позднее.

На прощанье с родным углом, со стенами, садами, лесами и людьми созвал я к Блюму всех, кто уцелел из прежней святочной роты, и было нас семеро. В полночь на тихой рыночной площади, под весенней луной, разыграли мы все сцены из нашего действа, какие еще помнили, и всех прекрасней пел колядки бывший Дьявол, Франек Кубатый.

Шумным и не ко времени был этот наш святочный концерт. Окна на площади открывались, но никто нас и не пытался утихомиривать. Одним из первых открылось окно башни Балицы — забелели при луне светлые волосы Магдалены, молодой вдовы нашего доблестного Ирода.

Спустя три дня я вернулся в Варшаву. В кармане у меня было немного марок. Год назад я бы купил на них четверть нашего дома. Теперь же этого богатства могло хватить самое большее на месяц жизни впроголодь.

Я шагал с вокзала, неся на плече солдатский вещмешок и зимнюю куртку, и обливался потом под майским солнцем. Пока, после долгих поисков, не нашел нужную улицу и нужный дом: серый флигель в глубине двора.

На четвертом этаже постучался раз-другой. Наконец спокойный женский голос спросил из-за двери: «Кто там?» Что я, чужак, мог ответить чужим? Ответил, что свой и что ищу Казимежа Костецкого. Дверь отворила молоденькая девушка с продолговатым лицом и проницательным взглядом. Она провела меня к Казимежу Костецкому. Он поднялся навстречу и посмотрел мне прямо в глаза из-под лохматых седых бровей. И вдруг мне до боли захотелось, чтобы вот так же выглядел — если бы остался в живых — мой отец.

В комнате было четыре человека: он, два его сына, которые угрюмо поглядывали на меня, и та спокойная девушка. Они ждали, что скажу. И я сказал, кто я такой, а главное, кем сюда направлен. Сказал, что послал меня к ним ныне уже покойный, светлой памяти сержант 35-го полка полевой артиллерии Алоизий Ковалик. Всю правду выложил: что поначалу вовсе не хотел к ним идти, навязываться и просить о помощи, а потом понял, что смогу начать честную жизнь, лишь полагаясь на их советы и доброе расположение.

Меня слушали молча. С большим вниманием. А я, несмотря на чистую совесть, начал давиться своим нищенским бормотанием. Ведь я заметил: нет у них ко мне никакого доверия, особенно у молодых ребят. Не верят они моим речам, более того, лихорадочно соображают: не шпион ли это явился к нам с именем убиенного на устах.

Только девушка смотрела на меня просто и с любопытством.

Наконец я умолк, а те не произнесли еще ни единого слова привета. Ребята ждали, что скажет старик. А тот смотрел тусклыми глазами, и меня уже подмывало крикнуть, что я пришел сюда не на суд и не за подаянием, как он вдруг сдержанно улыбнулся, показал на стул и придвинул ко мне коробку с табаком, приглашая к первому совместному перекуру, точно к первой совместной трапезе.

Я понял: принимают меня. Руки мои дрожали, я рассыпал табак по столу, в горле так пересохло, что едва выговорил «спасибо». Попросил напиться. Девушка принесла мне кружку чистой, холодной воды.

Давние это времена, но незабвенные. Пришел чужак к чужим, а они приняли. Пришел как попрошайка, готовый терпеть нищету и даже унижения. А получил от них столько хорошего, куда больше, чем был вправе ожидать или просить.

Так оказался я перед ними в неоплатном долгу, особенно перед девушкой со спокойным лицом и внимательным взглядом. Ибо мужчины слишком долго присматривались ко мне со скрытым или явным сомнением. Вскоре я понял: это было их правом и обязанностью. Они должны были до конца проверить, не затесался ли между ними подслушивающий да подсматривающий Иуда. И все же, как тогда казалось, слишком долго принюхивались: не провокатор ли, не шпик? Не ищейка ли из полицейской псарни? И если бы не Марианна, не ее простосердечная доверчивость, я бы, пожалуй, не выдержал. Уж совсем было приуныл и, возможно, свернул бы в конце концов на дорожку, какой хаживал Сурысь.

Она же с первого дня поверила, что совесть моя чиста. А на третью неделю по своей доброй воле и по своему собственному выбору приголубила меня так просто, словно был двадцатым или сороковым. А был я первым.

Я остался у них. И прожил три года — я еще вернусь к этому. А правда такова: бесконечно многим обязан я этим людям. Между тем жизнь меня так закрутила, что никому из них не успел вернуть долга. Более того: ту, перед которой был в самом большом долгу, оставил без поддержки, в горе и муках. А ведь она первая научила меня, чем может быть верная и чистая любовь. Никакая другая женщина, за всю мою отнюдь не короткую жизнь, не смогла подарить мне столько сердечной доброты, сколько подарила Марианна.

А я отблагодарил ее хуже некуда.

Когда пришлось — и когда было велено — мне бежать из города и из страны (поскольку на сей раз не миновала бы меня смертная казнь за ликвидацию шпика и провокатора, из-за которого несколько достойных людей отправились прямехонько в сырую землю), она, Марианна, не возразила ни единым словом. Истинная правда. Наброси-

лась с кулаками, кричала и плакала — раньше, когда я признался ей, что сам добровольно напросился на эту черную работу. В тот час она рыдала как над гробом, а я слишком поздно понял, что, убивая провокатора, убиваю и нас. Однако когда все свершилось и я знал, что опознан, когда уже печатались объявления о розыске, Марианна не остановила меня ни единым словом. Она говорила: все будет хорошо. Она говорила: скоро мы снова будем вместе. И лгала так до самой последней минуты прощания.

Я ничего не знаю наверняка. Никогда уже не дознаюсь правды. Но убежден: Марианна уже тогда должна была знать, что ждет ребенка. Она скрыла это, чтобы я не пытался остаться или не вернулся преждевременно.

Вот почему лишь через тридцать с лишним лет, от совсем другой Марианны Костецкой я узнал, что в Освенциме (в 1943 году) погибла внебрачная дочь Марианны, дочь по имени Янина, это могло и даже должно было означать, что отца этой девушки звали Яном.

Узнал я также, что Янина Костецкая была весьма набожна и мечтала о паломничестве к святым местам. Очевидно, с превеликим рвением блюла она верность десяти заповедям. А что, например, думала о четвертой, повелевающей: чти отца своего?

Никто мне не ответит. Родителей и братьев Марианны война смела с лица земли еще раньше Янины.

А с самой Марианной я встретился слишком поздно, впрочем, и разыскивать ее начал поздновато. Я уже говорил, что нашел ее в небольшом городе центральной Польши, под совсем другой фамилией и за кладбищенской оградой.

Человек, который усердно заикался над гробом гражданки Марианны Фальской, урожденной Костецкой, скончавшейся после непродолжительной, но тяжелой болезни, сказал, что жила она долго и счастливо. Этот пучеглазый истукан, вколоченный в черный костюм, говорил также собравшимся, что их покинула доблестная и беззаветная коммунистка, являвшая собой образец гражданственности и патриотизма, хорошая жена и мать. И в эту минуту я возненавидел тех, кто стоял у самого гроба Марианны и оплакивал ее, ибо я сразу же и полностью поверил, что она действительно была для них хорошей женой и матерью.

Вскоре после ее похорон я привел в свой дом Тадека. Мы оба не знали, продлится ли этот час, неделю или месяц, но я решил стоять насмерть. Мы достаточно испортили друг другу крови, особенно в первый, самый трудный год. Теперь — впрочем, с недавних пор — каждый из нас снова идет своим путем. У Тадека жена, ребенок, работа, и это хорошо. Только маловато там осталось места для меня. Но мы достаточно долго прожили под одной крышей, и я утверждаю: это дело выиграно мною безусловно.

А ведь начинали-то с самого дна.

И прошло немало лет, прежде чем Тадек уже вполне окрепшим, зрелым голосом осведомился, чего ради, собственно, я принял участие в его судьбе. Какой руководствовался идеей и какой корыстью?

Не помню, было ли это ранней весной или осенью. Помнится, Тадек уже учился на первом курсе, по стеклу барабанил холодный дождь, а огни и ветки деревьев перед домом трепетали на пронизывающем ветру.

Тадек задал свой вопрос словно бы полушутя, однако первым попавшимся ответом не удовлетворился. Когда я начал объяснять, что тратился на него с дальним прицелом, в надежде обеспечить себя на склоне лет кормильцем, который крутился бы возле меня и был отрадой моей старости, он повторил свой вопрос уже вполне серьезно.

Мне еще было неясно, чего Тадек хочет и какой правды от меня ждет. Но я понял: надо попытаться ответить.

— Погоди,— ответил я ему и себе.— Тут надо подумать.

Он ждал. Сидел под лампой у стола, над учебниками и конспектами. Я — если не ошибаюсь — только что вернулся с вечерней смены, подогрел себе ужин и уселся почитать газету. Тут он и задал свой вопрос, а я встал и подошел к окну, чтобы выиграть время. Исподволь нарастал страх и унизительно-тревожное опасение, что не найти мне простой правды, достаточно убедительной для нас обоих. Однако ему требовалась именно она,— и я понимал, что должен докопаться в своей душе до исходного повода, до той первопричины, которая побудила меня на пятьдесят пятом году жизни взять под опеку, прямо из зала суда, двенадцатилетнего, спекулировавшего билетами в кино проходимца с будущим матерого бандюги.

Я был тогда заседателем. Слушалось дело, грязное и нудное, группы малолеток, мелких воришек и взломщиков, которых посылал на охоту их щеф и наставник, уже тридцатилетний спец по такого рода эскападам, отвратительно наглый альфонс. Он бы вышел сухим из воды, если бы эти щенки не раскололись так позорно и быстро. Наперебой засыпали они своего главаря, особенно два его собственных племянника, которые сваливали все свои грехи на доброго дядюшку и остальных участников этой, как видно, слабовато натасканной и плохо подобранной шайки. И лишь один из них, самый маленький, рыжеватый двенадцатилетний заморыш, отвечал на вопросы не подлизываясь, не хныча и не выкручиваясь по-дурацки. Он сообщил также для протокола (причем не без гордости) свои персональные данные: мать умерла, отец осужден на пожизненное заключение, сам он проживает у тетки. Услыхав фамилию этой женщины, судья только покачал головой. Она неоднократно привлекалась за подпольную торговлю спиртными напитками и сводничество.

Тогда я был начинающим заседателем и еще не свыкся со всем этим, вверяемым нашей чести и совести, ничтожным и злосчастным дерьмом, которое выгребали на зеленое сукно судейского стола под сенью государственного герба. Хоть мне довелось повидать и испробовать на своем веку много такого, что и не снилось никому в этом зале, именно к тому времени я стал забывать плохое. Я вернулся к людям. Жил по-человечески. Но почему, спрашивается, слушая этого сопляка, решил вмешаться в его судьбу? Голос у него то и дело ломался. Но сам он был тверд, не распластывался, смотрел прямо в глаза. Судья шепнул мне, что из таких вот упрямых мальцов большей частью вырастают впоследствии кандидаты на вышку или пожизненное заключение.

Мне удалось убедить судью и второго заседателя, что этому парнишке мы обязаны дать возможность выйти на волю. Сам вызвался быть его опекуном, а когда увидел их жалостливые усмешки, открыл карты до конца: что попытаюсь этого разбойничка взять к себе навсегда.

Судья, человек многоопытный, но давно уже утомленный, только покачал головой. А второй заседатель, сорокалетний, весьма самоуверенный и неглупый, покатился со смеху.

— Уважаемый коллега! — воскликнул он смеясь.— Еще отольются вам горькими слезами ваши отцовские чувства!

Я сказал: «Посмотрим». И хоть был уверен, что он прав, подошел, когда закончилось дело, к этому смердящему нищетой и грязью парнишке, который вот теперь, спустя долгих семь лет, сидел за нашим общим столом над конспектами и книжками и так серьезно спрашивал, почему я принял в нем участие, а я попросил его подож-

дать, чтобы обдумать ответ, и отошел к окну, за которым деревья и огни дрожали на пронизывающем ветру.

Он долго ждал ответа. И, собственно, не дождался его.

Попросту я не смог бы объяснить Тадеку, что, помогая ему, пытаюсь погасить свои собственные старые долги и что с его помощью как-то расплачиваюсь с садовником Мартином, Костецкими или отцом Антуаном. И прежде всего, что слагаю в его руки долг перед двумя женщинами — Марианной и той, потерянной, нереальной, гибнущей в огромной освенцимской толпе дочерью моей, Яниной, которая с такой горячей набожностью мечтала о паломничестве к святым местам и пыталась спасать людей от газовой камеры — тщетно, но смело.

Обо всем этом я не сказал Тадеку ни слова. Боялся слов. Слишком много пришлось бы их израсходовать, чтобы подобраться к истине. Боялся, как бы ненароком Тадек не понял меня превратно, не доискался в моих речах мнимого намека, дескать, сам теперь помни о том, что ты в неоплатном долгу передо мной.

Поэтому только повторил не такую уж надуманную и лживую историю о том, как тогда, в суде, на меня напала блажь сделать ставку на упрямого, рыжего конька, который перед нами не распускал нюни и не отпирался от своих грехов. Я добавил и другие детали, о которых, пожалуй, еще не говорил ему: мнение судьи, что именно у таких вот мальцов в перспективе вышка или прогулка по камере до скончания века. А также сказал о том, как смеялся и подтрунивал надо мной второй заседатель.

Тадек слушал внимательно. Но я знал, что он не во всем мне доверяет и не совсем верит. Тогда я попытался прибегнуть к громким словам и пышным фразам. С трудом, но не без сознания собственной правоты, пустился объяснять ему, что молодость моя совпала с теми временами, когда гораздо проще было потерять отца, а также жену и детей, чем найти тихую минуту для обретения семейного счастья. Поэтому пусть его не слишком удивляет, что, распрощавшись с молодостью, я по крайней мере под старость пожелал вкусить отцовских мытарств. Ведь их и было предостаточно.

— А что? — спрашивал я с вымученной ухарской усмешкой.— Разве не так? Мало я помытарился?

Я видел: он обижен тем, что я не убедил его. Что на столь важный для него вопрос ответил слишком нескладно. Ощущение вины и беспомощности вогнало меня в злобу и гнев. Я ждал ссоры. Желал ее.

— А что? — крикнул я.— Разве неправду говорю?

Он не дал себя спровоцировать. Молча убрал со стола, пошел мыть посуду. А я сел с газетой возле приемника, но читать не мог, только тупо слушал какую-то дурацкую музыку.

Я был стар, глуп и беспомощен.

Но потом Тадек вернулся, подошел и сказал, что у него ко мне огромная просьба.

— У меня к тебе,— заговорил он, глядя в темное окно,— у меня к тебе огромная просьба.

И взял меня за руку.

— Я решил,— продолжал Тадек,— что Барбара должна знать обо мне все. Вначале, там, в лесу, я здорово ей наврал о себе. Теперь хочу, чтобы знала правду, но сам не смогу опровергнуть ту брехню. Поговоришь с ней?

— Вот как забрало? — спросил я. А Тадек только взглянул на меня. И я впервые понял, как мается и с какой надеждой думает

этот парень о своей красавице, с которой познакомил меня на июльском празднике.

Тогда, в июле, и мне показалось, что это будет совсем новая история. Не такая, как прежние игры и забавы. Уже год или два, возвращаясь с работы, я порой находил по углам какие-нибудь дамские мелочи — гребенки, клипсы или заколки для волос. Меня это даже забавляло, но мы оба не затевали разговоров на эту тему.

А теперь Тадек пришел ко мне с просьбой о помощи.

— Интересуешься, выдержит ли все это барышня? — спросил я еще.

— Я должен знать!

Тадек произнес «должен знать» с такой надеждой, словно больной, спрашивающий, выживет ли он.

Я понял, что должен ему помочь, что хочу помочь. Но отнюдь не был уверен в этой девушке, тем более что Тадек, которого на этот раз точно прорвало, и упомянул о ней, и назвал по имени, и даже показывал ее фотокарточки, и все-таки ничего действительно существенного о Барбаре сказать не смог. Она же избегала встреч со мной. Зря, конечно, хоть это и было естественно. Очень редко, но у меня возникали подозрения, что она приходила к нему, как в ту первую июльскую ночь.

Что ею движет, я не понимал. Не улавливал, чем, в сущности, объяснялась ее податливость в самом начале и явная, подчеркнутая независимость впоследствии. А ему, в свою очередь, долго удавалось скрывать от меня подлинные размеры бедствия. Лишь в тот вечер я впервые убедился, что робость его уже граничит с муками и что с детскими забавами покончено.

Я обещал ему потолковать с ней.

Тадек поблагодарил. И я вдруг понял, что отступать уже поздно, и испугался: действительно ли выдержит она все то, что он до сих пор скрывал или переиначивал. Я видел этот страх в его взгляде, но сказал ему и себе: довольно, хватит врать. Тогда, в июле, все было еще пустяком, подарком счастливой праздничной ночи. Теперь же он хотел и был обязан узнать, как она примет правду. А говорил мне об этом скорее с болью и страхом, чем с надеждой.

Она пришла два дня спустя, точно, как условились, минута в минуту. Была спокойна и куда менее привлекательна, чем тогда, летом. Она смотрела настороженно, когда мы усаживались друг против друга, и я мысленно пожалел Тадека, дожидавшегося окончания этого долгого разговора. Признаюсь: меня самого глубоко затронул этот его страх. Я почему-то тянул, не в силах вымолвить первого слова, принялся заваривать уже заваренный чай, суетился глупо и неуклюже. А она просто и скромно дожидалась меня.

Наконец, я спросил, что она хочет знать. Назвал ее уважительно «пани», а руки не слушались, когда расставлял на столе стаканы с чаем. Стекло звенело, сахар рассыпался по скатерти. Она сама сгребла его в узкую ладонь. Попросила говорить ей ты, а потом чистым своим голосом добавила, что пришла, чтобы услышать все, что я могу сказать о Тадеке.

— Все? — спросил я.

— Все и с самого начала,— подтвердила она, и в голосе ее не было ни боли, ни страха.

— Ладно,— сказал я.— Пусть будет все и с самого начала.

Начал я с места в карьер и как ножом по сердцу: сын преждевременно умершей алкоголички и человека, приговоренного к пожизненному заключению. Воришка с предместья, адъютант главаря шайки, обучавшийся срывать засовы и бесшумно выдавливать оконные

стекла, четыре года (с восьми до двенадцати лет) был на иждивении у тетки, неоднократно привлекавшейся за подпольную торговлю водкой и сводничество.

Я смотрел ей прямо в лицо. И хорошо видел: потупилась, внутренне сжалась от боли, хоть и очень ловко это скрывала, только еще не знал, то ли это было во вред Тадеку, то ли Барбаре внушает жалость и страх несчастное детство парнишки. Я продолжал рубить с плеча: о судебном процессе, о его непокорстве на допросах и о том, что ему одному из всей банды опытный судья пророчил будущее кандидата в матерые преступники. Сослался также на другого заседателя — зазнайку, который уверял смеясь, что я еще наплачусь из-за своей глупой филантропии.

Раз уж захотелось девушке узнать правду, я потчевал ею щедро, насколько хватило памяти. Ибо тот мордастый, полнокровный и неглупый заседатель вовсе не так уж ошибался. Взял я к себе этого рыжего разбойничка на жительство и полное довольствие и особенно в первый вместе с ним прожитый год не раз проливал слезу над своей отцовской долей. За тот немалый срок, случалось, ненавидел я этого твердокаменного мальчишку до боли сердечной, и только гордыня да желание поступать наперекор тем двум судейским не позволяли прогнать его в три шеи.

— Да будет тебе известно, девушка,— говорил я, не глядя на нее, весь обращенный к тому омерзительно тяжкому времени,— что этот негодяй обделывал свои воровские делишки отнюдь не нахально. Артачился он две или три недели, а потом очень быстро и ловко научился темнить и прикидываться, точно завзятый святоша.

Я говорил правду. Первые дни все шло так, как я и предполагал. Неделю или две, возвращаясь домой из типографии, я, как идиот, загадывал по вывескам, номерам трамваев и такси, застану ли этого фрукта, или он вернется только к ужину, благоухая сивухой и табачищем, стреляя бесстыжими глазенками, либо попросту увижу лишь пустой гардероб, вычищенные до дна ящики комода и кучу дерьма посреди стола вместо прощального письма.

Но потом вдруг он успокоился, притих. Начал благодарить и просить, не провоцировал никаких скандалов. Тогда же удалось мне пристроить его в школу по соседству. Пришлось переростку усесться за одну парту с мальцами, но он, невзрачный заморыш, не бросался среди них в глаза. Начал его кормить сверх нормы. Справил чистую одежонку, сводил в баню, остриг завшивленные рыжие патлы, а также, строго взыскивая, приучал к разным мудреным для него вещам: мыть ноги, шею, уши и чистить зубы, чтобы в классе его не раскусили и не взяли сразу же в оборот.

Явно я недооценивал Тадека. Он стал ходить в школу весьма аккуратно и, пожалуй, даже кое-что усваивал, поскольку директор (единственный человек в школе, знавший, кем на самом деле был Тадек Рыбарский) раза два сообщал мне, что перековка идет на удивление успешно.

Но мы оба недооценили способностей Тадека. Я жил тогда с ним в развалюхе, от которой еще несло довоенной нищетой, в одной комнате — вход прямо с улицы — и с одним нужником на четыре квартиры. Вокруг — рукой подать — самые поганые шалманы да забегаловки, полно гулящих девиц, старых, истасканных и спившихся еще во время войны. Хватало здесь также мастеров по всякого рода художествам — от ограбления мелких киосков до орудовавших в центре города медвежатников и специалистов по шикарным комиссионкам. Следовательно, у Тадека были огромные возможности расширить

свой кругозор, а делал он это осторожно и с умом, блюдя собственную пользу.

Ему понравилось у меня. У него была своя хата и полный пансион, комната пустовала с утра до вечера. А когда я работал в вечерней смене, Тадек мог заниматься чем душа пожелает — к примеру, стоять на стреме или же сдавать комнату парочкам, чему издавна обучала его тетка, родная сестра матери.

Только однажды он дал маху. Услышал, что и до его появления в школе случались мелкие кражи. Ну и решил придать размах этому еще слабо поставленному делу, а главное, смекнул, что кабинет наглядных пособий — самое подходящее для выгодного «скачка» место, на которое следовало бы навести спецов. Речь шла о двух микроскопах и кое о чем другом, всего на несколько тысчонок.

Я еще толком не догадывался, что Тадек попросту пережидает, притаившись до поры, до времени, но уже почувствовал какой-то подвох. Чересчур уж безмятежно и красиво развивалась наша идиллия. Я старался держать ухо востро, но этот пройдоха умел великолепно прикидываться. Он рассуждал вполне резонно: у меня было ему в десять раз лучше, чем в промозглой и завшивленной норе у тетки. Тадек катался как сыр в масле, пользовался полнейшей свободой, а главное, у него тут было железное алиби: ведь он жил у своего опекуна, назначенного ему самим высоким судом. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу даже, что не одна корысть заставляла его держать себя в руках и таиться.

Мы уже начинали с грехом пополам ладить. Ему очень полюбились рассказы о море и войне — о конвоях и битвах на Атлантике, об Оксивье, африканцах и «Белой звезде», всяческие были и небылицы из летописей долгих моих скитаний.

К тому же он стал помаленьку привыкать, если не ко мне, то наверняка к своему вольготному, сытому житью и к теплому свитеру, прикрывавшему его худые плечи.

Однако он здорово дал маху, полагаясь на мою наивность. Слишком возомнил о себе. Дошел до того, что взял на сохранение украденные в школе микроскопы. И уже настолько зарвался и был уверен в моей непроходимой тупости, что не особенно потрудился эти микроскопы припрятать.

Я нашел их уже на другой день после ограбления школы.

— Понимаешь? — говорил я с застарелым гневом в голосе этой спокойной, чинно сидевшей на своем стуле девушке.— Понимаешь, что это было? Это был самый полновесный удар, без замаха, прямо в точку.

Я отвернул рукав свитера и показал на запястье левой руки небольшой, но и не маленький шрам... Начал я тогда его бить. Лупил ремнем, ладонью, вслепую, ничего не слыша и так самозабвенно, что позднее мог вспомнить лишь его упрямое молчание да лезвие маленького ножа, которым он очень ловко пырнул меня.

Это сразу отрезвило нас обоих.

Мы стояли друг против друга — он с рассеченной губой и лбом в синяках, а я с располосованным, кровоточащим запястьем. Тогда я предупредил его в последний раз, что он должен выбрать одно из двух: исправдом (а уж я постараюсь, чтобы там за ним хорошенько присматривали) или еще одну, но наверняка уже только одну — и не более — попытку одуматься. Я ненавидел его в ту минуту до исступления, однако сознавал, что и сам не без греха: по глупости и непростительной лености своей поверил, что чудо уже свершилось и пора исторгнуть из глубин отцовского сердца хвалу всевышнему.

— Даю день сроку! — говорил я Барбаре с такой злостью и оби-

дой, словно это был тот самый проклятый день.— Даю один день на размышление. Последний раз.

Барбара опустила глаза и даже как будто улыбнулась. А я встал из-за стола и сделал то, чего в тот вечер обещал себе не делать: достал из шкафа бутылку и две рюмки. Давнишний гнев сжимал сердце, перехватывал дыхание.

— Благодарю вас, я не буду,— сказала она очень любезно.

— Не беда, не беда,— говорил я со злостью.— Я не сержусь,— говорил я, наливая свою рюмку через край трясущейся рукой.— Я не обидчив.

Кивнув ей, выпил. Она поблагодарила. Лицо ее было спокойно, взгляд внимателен. Было что-то очень знакомое в той мягкости, с какой она дожидалась, пока я продолжу историю, которую старался ей поведать. А я действительно старался. Хоть не все знал, а многого и не понимал.

Ни я, ни сам Тадек так и не смогли впоследствии объяснить себе, по какой, собственно, причине уже через час после драки он заявил, что желает остаться у меня. Возможно, этому щенку пришлись по вкусу теплый угол и миска жирной похлебки, которую он получал ежедневно. Но только ли это? Я поставил жесткие условия, а он их принял. И никакого согласия между нами тогда не было. Я сказал себе, что собью теперь с него спесь. А он глядел на меня так, словно искал нового, более подходящего, чем запястье, места для удара ножом. На следующий день я отнес микроскопы директору школы. Потом сообщил в милицию фамилии тех двоих пьянчуг, у которых Тадек был наводчиком.

А под конец, разыграв завзятого комбинатора, устроил противозаконный товарообмен: выклянчил у знакомого судьи условный приговор для тех двоих, за что они обещали забыть на веки вечные того, кто их так позорно засыпал.

Что дальше?

Пришлось с минуту подумать. Я снова наполнил свою рюмку и ее тоже. На этот раз она не воспротивилась, но отпила всего половину. Я не обижался, но мне не совсем нравилось, что она такая церемонная. И что эдакая дама пришла справляться о своем милом, который был именно таким, каким был, и отнюдь не так уж быстро исправился. Действительно, Тадек принял все мои жесткие условия, но до настоящей идиллии было еще далеко. Кроме того, директор школы хоть и обещал забыть о роли Тадека в деле с микроскопами, однако держать его у себя не захотел. Разве что до конца полугодия. И ни дня дольше. Он был человек добрый и разумный и потому обещал, что забудет о деле и не даст ему ходу. Начал я, стало быть, ходить по другим школам. Принять обещали только в третьей, но в зависимости от результатов, от оценок за полугодие.

Теперь, наконец, я мог на нем отыграться. Ему хотелось остаться у меня, я на это соглашался. И при этом мы по-прежнему не выносили друг друга. Однако оба ждали перемены, и оба не видели иного выхода, кроме как в прилежном ученье. Тадек сам мне это сказал, а времени оставалось немного. Тогда-то и выяснилось, что парнишка умеет работать. Возможно, со стороны это выглядит красиво: обновление души, пробуждение совести. Но только со стороны. Изо дня в день повторялось одно и то же: я выспрашивал его по учебникам и при этом отыгрывался на нем за все те мерзости и плутни, которыми он отравил и испакостил первые четыре месяца нашей совместной жизни. Потому-то я и не знал пощады. Признаюсь: поступал как злобствующий дурак. Измывался над ним по-настоящему, не заботясь, выдержит ли. Он же отвечал на вопросы с холодной яростью,

с явной ненавистью в голосе. Но было ясно: Тадек дал себе слово выиграть этот матч.

И выиграл. В единоборстве со мной и со школой. До такой степени, что сам директор написал мне: мальчик может остаться.

Зима в том году выдалась мягкая — небольшой морозец, чистый снег. Я тоже постепенно смягчился. Он же продолжал сторониться меня, отмалчиваясь с осатанелым упрямством. И наконец в канун рождества исчез на целых три дня.

Новый год я встречал с Шимонеками, у которых были обе дочери с мужьями и сын. И до того надрался, что молодому Шимонеку пришлось провожать меня почти через весь город, поскольку ноги мои разъезжались на скользких тротуарах и я порывался поздравлять с Новым годом всех встречных женщин — впрочем, приложиться к ручке был допущен только одной старушкой, которая торговала воздушными шарами. Я купил три: себе, молодому Шимонеку и Тадеку.

На следующий день, часов в двенадцать, когда я корчился над раковиной, больной, не способный шевельнуть ни рукой, ни ногой и даже заставить себя опохмелиться, кто-то громко постучал в дверь. Это был Тадек с двумя субчиками постарше, благоухающими сивухой, подозрительно веселыми и приторно вежливыми. У Тадека — как и у них — глаза были уже мутные и лоб в поту с перепоя. Те двое учтиво здороваются, ставят на стол две бутылки самого паршивого вина по двенадцать злотых и четвертинку водки для приправы. А потом представляются: Рыбарский Рысик, двоюродный брат Тадека, второй — братнин кореш. Затем щедро сыплют наилучшими новогодними пожеланиями. Но мне тогда было уже не до церемоний. Я обложил Тадека последними словами и принялся допытываться, где он был и по каким углам отирался, что морда и руки заросли такой грязью, и почему от него так разит. В какое дерьмо влез и какие снова отколол номера, которыми намерен передо мной похваляться?

Вино и водка уже были разлиты. Те двое держали стаканы в руках, Тадек потянулся за своим. Я выхватил у него стакан, швырнул об пол и сказал всем троим: убирайтесь прочь на все четыре стороны.

Тем двоим было под тридцать. Разница в весе была в мою пользу. Но явным их преимуществом была разница в возрасте и натренированность.

Воцарилась тишина. Тадек побледнел. Те двое глядели на меня с застывшими на нахальных рожах улыбками, а потом я вдруг ослеп. Один из них плеснул мне в глаза праздничным угощением. Меня мгновенно сбили с ног и принялись топтать. Боли я не чувствовал, но понимал, что дело дрянь и если попадут в уязвимое место, может кончиться совсем скверно. Одного из них я свалил на землю. Схватил его, довольно удачно, за глотку, и он уже застонал. Но второй был более увертлив. И тогда я услыхал крик Тадека: «Нет! Только не ножом! Не тронь его, не тронь!»

Я очнулся от холода, которым тянуло из разбитого окна. Приводил меня в чувство Тадек — тряпкой, смоченной в воде. У него самого была рассечена губа, под глазом красовался огромный синяк. Те двое давно смылись. Но на память о себе оставили разбитый радиоприемник, изрезанные одеяла на койке и высаженное окно.

Первый и последний раз видел я Тадека плачущим в голос и совсем по-детски. Не зная, что я уже опамятовался, он плакал и ругал меня на чем свет стоит. Едва я открыл глаза — умолк.

Когда мне удалось подняться, сесть на койку и поглядеть по сторонам, я понял: Тадек меня защищал. Спросил его об этом. Он за-

орал: неправда! Брат пришел, чтобы деликатно и по-хорошему поздравить с Новым годом, а я повел себя как последнее хамло и деревенщина из Груйца! Первый поднял руку, первый оскорбил и сам без причины заварил кашу.

Тадек кричал, метался и злобствовал так долго, что в конце концов я, измочаленный, ошеломленный и страшно недовольный собой, рассмеялся. Велел ему загородить разбитое окно картоном, поскольку холод становился все чувствительней. Он послушался. Потом мы прибрали наши королевские покои.

Я натопил печурку докрасна, опохмелился, побрил расквашенную физиономию, залепил ссадину на щеке. Тадек помалкивал. Мы молча съели жалкие остатки черствого хлеба и колбасы. В конце концов я смирил гордыню: сказал ему прямо в заплаканные, полные обиды и злости глаза, что сам кругом виноват и поэтому могу пойти извиниться перед его двоюродным братом. При условии, что он заплатит за разбитое стекло.

Меня очень растрогало собственное благородство. Я искренне расчувствовался, как это случается по пьяной лавочке. Растрогала меня наша злосчастная судьбина, но в то же время я горячо и от всего сердца принялся заверять Тадека, что будет и на нашей улице праздник и что оба мы еще возликуем.

Он, однако, крикнул, что ничего не желает знать, и выскочил в чем был на трескучий январский мороз.

Вернулся он только вечером. Проговорил суровым голосом, что двоюродный братец тоже просит извинить и приглашает в гости на трех волхвов. Так начались наши новые отношения, первые дни мира, первые недели согласия.

Об этом новогоднем происшествии я рассказал девушке уже после третьей рюмки. Поэтому живо представил себе тогдашнюю свою растроганность. Ну, и снова расчувствовался. Голос меня подвел и смутил чистый взгляд девушки, о которой Тадек думал с таким страхом и надеждой, каких я у него прежде никогда не замечал.

Она уже не замыкалась в себе, не комкала длинными пальцами платок. Сидела прямо, благовоспитанная белоручка, барышня из хорошей семьи, с великолепными манерами, в дорогом наряде.

Очень она мне не понравилась в ту минуту. Я не видел оснований продолжать рассказ об этой истории семилетней давности, в которой к тому же не оставалось уже почти ничего любопытного и сногсшибательного. Я пошел с Тадеком на это перемирие с родственничками, но был уже болен. Тогда в первый раз схватил плеврит. К весне — вторично. Тадек ухаживал за мной, молчал, учился. Ему шел всего четырнадцатый год, но он уже слишком много повидал на своем веку.

Весной в школе снова начались кражи. Директор, разумеется, прежде всего заподозрил Тадека. Пригласил меня к себе. Но я вообще не пожелал беседовать с ним на эту тему. Прикидывался возмущенным. Однако вовсе не был уверен, что мое возмущение уместно и обоснованно. Я решил: будь что будет. Если парень попадется, на этот раз никого уже не стану просить о снисхождении. Только спросил его: правда ли, что в школе воруют. Он ответил: да. А когда, наконец, воришку поймали на месте преступления, Тадек обещал, что никогда не простит мне того вопроса.

И действительно очень долго помнил об этом. До той самой поры, когда я уже полностью доверял ему и между нами случались только обычные семейные перепалки: из-за школьных отметок, расхождения во взглядах на международное положение или на футбол, порою из-за моих загулов или его буйства либо скрытности.

Так что мне почти уже нечего было рассказывать этой вежливой барышне, которая смирнехонько сидела против меня и с безупречным вниманием прислушивалась к моим речам. Все это меня утомило. И собственная болтовня, и ее покладистость, и даже водка, которая на этот раз пришлась мне не по вкусу, а только ударила в голову, вызывая тупую боль. Поэтому я сказал, что чувствую себя усталым и больше ничего любопытного сообщить не могу, кроме разве того, что Тадек счастливо разделался с дурной болезнью, вполне успешно окончил школу и на высшем уровне сдал вступительный экзамен в политехнический институт.

Я попал в самую точку: задела ее за живое эта постыдная болезнь. Наконец-то я снова увидел в ее глазах испуг. Впрочем, я хотел этого, чтобы показала она, на что еще способна, кроме невозмутимого спокойствия. Проняло-таки, но все же характер выдержала. Не поинтересовалась названием болезни, ее разновидностью. Пришлось сказать самому, что ничего страшного не было, но слова эти я проговорил, сгорая со стыда. Ведь вообще не стоило бы упоминать об этом. Следовало бы это дело обойти молчанием. Как и все остальное, что они сами обсудят и доскажут друг другу. И я извинился за свою мелкую подлость и покорнейше попросил ничего не передавать Тадеку. Она только кивнула в ответ, и я уж совсем умолк. Разлил оставшуюся водку поровну и дожидался, что она мне теперь скажет.

Очень она мне тогда не нравилась. Своим невозмутимым спокойствием Барбара в какой-то мере напоминала Марианну, и это, казалось, должно было бы радовать, а вместе с тем я чувствовал: эта девушка совершенно чужая, ей претит моя фамильярность, вообще все претит.

— Вот и все, моя дорогая,— сказал я и чокнулся с ней.— Это все, и будь здорова. Остальное сами себе доскажете.

— Будьте здоровы,— учтиво ответила она и на этот раз выпила до дна, залпом.

Отставив рюмку, Барбара спросила, наверняка ли Тадек вернется, как обещал, к десяти. При этом впервые улыбнулась и с минуту была такой же красивой, как в день июльского праздника. Я сказал: не знаю, хоть и был уверен, что парень уже шатается где-то возле дома и ждет, ибо до назначенного срока оставались считанные минуты. С моей стороны это было свинством, но я чувствовал себя вконец усталым, и в висках ломило все сильнее. Хотелось перекусить на скорую руку и спать, спать. Ведь долгая наша беседа тянулась с семи часов. А уж это было чересчур, если учесть, что, в сущности, так мало удалось сказать умного этой девушке.

Она поднялась, словно бы желая проститься. Я понял, что должен ее задержать. По крайней мере, до его возвращения. Но у меня не хватало слов. Я что-то буркнул себе под нос, неразборчиво и нелепо.

И тогда она прямо спросила:

— Вы разрешите мне остаться сегодня с Тадеком на ночь?

Я опешил. Не понял. Молчал, глупо уставившись на ее великолепную улыбку, с которой она пустилась в объяснения:

— Я не хочу, чтобы вы думали об этом плохо. Мы не будем... Сегодня я даже не могла бы.

И наконец — поскольку я все еще не мог вымолвить разумного слова — произнесла те две четко мне запомнившиеся фразы, которые были в десять раз важнее всех других, произнесенных в тот вечер. Подошла ко мне, простая, стройная, вдруг ставшая близкой. Взяла меня за руку.

— Я хочу,— сказала она,— чтобы он хорошо меня понял, чтобы понял, что я сама хочу сегодня быть с ним.

Двумя этими фразами она полностью завоевала Тадека и во многом меня. Я понял тогда причину ее спокойствия. Попросту она пришла с решением, что независимо от всего того, что здесь услышит, останется с ним и не уйдет. Понял я также, что ее женское чувство более зрелое и прочное, чем его, еще мальчишеское, сумбурное. Я обрадовался, но радость была неполной. Сказал ей, чтобы спустилась вниз,— ведь парень уже наверняка ходил дозором у парадного. Она открыла окно, подняла руку, окликнула его по имени звонким голосом, выбежала на лестницу.

Я ждал, стоя над пустой бутылкой. Смотрел, как они возвращаются вдвоем. Возвращаются неминуемо и уже навсегда отдаляются от меня. Я давно знал, что так когда-нибудь случится и что этого не избежать,— уже в июле начал понимать, что эта девушка не будет снохой на одну ночь.

Свадьба их состоялась значительно позже. Этого, по крайней мере, потребовали ее родители, почтенная пара зубных врачей из-под Радома, разжиревшие людишки с туго набитой мошной, о которых Барбара очень не любила говорить. Для них Тадек был попросту сиротой, воспитанником честного пролетария, ветерана обеих мировых войн. Барбара очень аккуратно переписывалась с родителями, регулярно ездила к ним на праздники, наконец, она устроила так, что ее отец встретился с прославленным человеком, профессором З., который лично интересовался Тадеком и уже на третьем курсе обещал взять его в ассистенты.

Стоматолога эта встреча весьма приободрила, что было немаловажно: родители ни в чем не отказывали дочери, снимали ей дорогую комнату, не скупились на карманные расходы. По этим самым причинам Барбара очень осторожно и последовательно приучала родителей к своему парню, заставляла их свыкнуться с мыслью о том, что у них будет зять, молодой, многообещающий научный работник, добилась даже того, что они сами начали поздравлять его с днем ангела. Они были легковерны и порядочны. И в конце концов Барбара была права. Они были также очень набожными и искренне верующими людьми. Этой их чертой Барбара воспользовалась в надлежащий момент. И когда он наступил, поехала к ним с Тадеком, чтобы разыграть обильно орошаемый покаянными слезами спектакль: дескать, беременна и испрашивает родительского благословения.

К этому спектаклю она готовилась долго и очень старательно. И добилась полнейшего успеха. Первый день стенаний и слез родители выдержали, а на другой, соблазненные перспективой появления очаровательного младенца, внука или внучки, уже уточняли день свадьбы и утрясали проблемы, касающиеся как господа бога, так и дел материальных. Сначала должно было состояться без огласки гражданское бракосочетание. Венчание, на котором настаивала мать, Барбаре удалось отложить на довольно неопределенный срок. Все это она поведала мне сразу же после возвращения, смеясь радостно и беззаботно. Тогда она уже подурнела (на втором месяце), стала мягче, веселей и приветливей, чем обычно. Но не было в ее голосе никакого тепла и веселья, когда в отсутствие Тадека она спросила меня, как я, собственно, представляю будущее их обоих с ребенком, ради которого ей придется уйти на год в академический отпуск. Где, на мой взгляд, спросила Барбара, они разместятся? Она сказала, что ее родители уже выплатили основной взнос за кооперативную квартиру для них обоих, но дело протянется не менее трех лет. «Мои родители выплатили»,— произнесла она таким тоном, словно спрашива

ла меня: а ты что, старый баран? Что ты сможешь для нас сделать со своей маленькой пенсией, большими орденами и богатой биографией?

Знаю, что она задала свой вопрос, не посоветовавшись с Тадеком, хоть и его должно было волновать это дело, уже давно не дававшее мне покоя. Однако я предчувствовал, что именно Барбара первой заведет разговор, который неизбежно назревал после того дня, когда мы приняли ее ультиматум о том, что она уже теперь желает и будет рожать.

Мне было жаль Тадека. Не удивляло меня и то, что он боялся этого разговора. Он, пожалуй, даже притворялся перед самим собой, что еще можно повременить с принятием каких-либо решений. Тадек ждал. Ждал, что первое слово будет произнесено мною или Барбарой. С яростной одержимостью он сдавал экзамен за экзаменом. Не было у него для меня времени. Даже для нее почти не было. А время шло — то время, по воле которого ее стройная талия все заметнее тяжелела и расплывалась. Я хорошо это видел, а еще лучше знал, что все решать будем только мы с ней вдвоем, между собой. Я, отец — не отец, и она, готовящаяся стать матерью, упрямая, умная и жестокая женщина. Поэтому, когда Барбара спросила меня, что я думаю по поводу того, о чем мы с ней еще не толковали, я был уже вполне готов к разговору. Я сказал ей попросту, что предоставлю им на три года свою комнату с кухней, а сам подамся в квартиранты к Люции Шимонек, вдове Теофиля.

Говорил я все это улыбаясь, а под конец даже рассмеялся от души, увидав, как она остолбенела и растерялась. Очень я тогда невзлюбил их обоих, пожалуй, мог бы даже выразиться более резко и сурово. Но она была так забавна в этом своем остолбенении! Барбара приготовилась к тяжелой, мучительной и беспощадной борьбе с никчемным стариком. А ей преподнесли, как на золотом подносе, уже готовое решение, да еще приправленное притворно умиленной улыбкой.

Она расплакалась. Подошла. Чмокнула меня в руку, которую не удалось у нее отнять, а несколько месяцев спустя, чистым и свежим июньским утром я заканчивал сборы к переезду.

Барбара была уже в клинике на улице Каровой, но Тадек еще не караулил под ее окном. Он пытался мне помогать: упаковал одеяла и постельное белье в аккуратный узел, запер набитый до отказа старый чемодан, а когда сломался замок, старательно и надежно обвязал его крепкой пеньковой бечевкой. Мы не разговаривали. Он помогал мне вопреки моим протестам и остался со мной, хотя ему уже давно полагалось бы ждать в уютном холле родильного дома, где по его милости готовился появиться на свет маленький человек, судьбы которого мне уже не узнать.

Где-то далеко позади остался невзрачный заморыш-воришка с окраины, гордый и независимый, верный своему слову. Ныне это был кто-то совсем другой: старательно ухоженный молодой человек с худощавым, замкнутым лицом, немногословный и скупой на ласку. В тот день ему было мучительно стыдно передо мной. Но гораздо сильнее, чем это напрасное, но неизбежное чувство, мучил его страх. Он боялся за жену и той новой жизни, которая открывалась перед ними тремя.

Для перевозки чемоданов, узла и раскладушки требовался извозчик: убогое мое имущество не поместилось бы в такси.

Тадек пригнал пролетку с довольно веселым, слегка подвыпившим моим ровесником на козлах. А когда мы погрузили весь багаж — узел, раскладушку и два чемодана,— к счастью, места осталось лишь

для одного седока. Поэтому я велел Тадеку отправляться туда, где ему давно полагалось находиться,— к барьеру в приемном покое, где люди дожидаются более или менее радостных вестей.

Мы поцеловались. Тадек заплакал, я тогда еще сдержался. Извозчик причмокнул, и худая, грязно-белая кобыла с отвисшим брюхом и выпиравшими от старости ребрами тронулась в дальний путь через весь город — из центра на Верхний Черняков — под теплым июньским солнцем. Город был свежий и чистый: на рассвете прошел ливень, и еще кое-где в тени поблескивали влажные газоны и тротуары. С улиц уже схлынула первая, утренняя лавина людей и машин, и мы ехали спокойно и безмятежно. Это был девятнадцатый день июня, и только в дороге я сообразил, что мне стукнуло шестьдесят шесть с половиной. Сказал об этом извозчику, потребовав, чтобы он поздравил меня, и спросил, не угодно ли ему распить со мной по этому поводу бутылку пива. Он очень обрадовался. Мы осушили по две бутылки в маленьком, на удивление чистом баре, где лишь один-единственный посетитель, франт со страдальческим лицом, опохмелялся, запивая рюмку водки светлым пивом.

Разговаривать мы не стали. Извозчик сам это предложил, заявив, что людям, умеющим пить, негоже терять время на болтовню, особенно если они стары и мудры. Я, сказал он, стар и умен. Вы, уважаемый, тоже в годах и в полном уме — что же нового и интересного можем мы сказать друг другу? За эту мысль я поставил ему еще целых сто граммов рябиновой, и мы покатили дальше унылой рысцой. Извозчик подбадривал свою клячу, добродушно покрикивая и совсем безобидно помахивая кнутом над ее костлявым задом. Я попросил, чтобы он еще раз остановился — возле кошелок и ведер уличной торговки цветами: надо было привезти Люции Шимонек букет ради встречи, и купил, причем по дешевке, пять белых, уже малость перестоявших, но действительно прекрасных роз.

Два высоких куста таких же самых роз, названия которых я уже не помню, но отчетливо вижу, как они расцветают в лучах июньского солнца, росли под окнами нашего дома, выходившими на восток, со стороны улицы.

Десятка полтора первых роз с обоих этих кустов обычно возлагались у алтаря в левом боковом приделе костела, у алтаря с огромным изображением Иоанна Евангелиста ради спасения моей младенческой души. Добрый отец мой — ибо таковым считал я тогда садовника Мартина — поручил мне уже в раннем детстве самому присматривать за набухающими в начале июня бутонами. Он показал мне, какой толщины бутоны срезают, чтобы цветы получались пышными и красивыми. Поэтому я осматривал кусты каждое утро и наконец оповещал во весь голос, что настала пора. И если отец находил, что я прав, он шел за большими ножницами и подсаживал меня вверх. Я резал ветки, смеясь от радости. А было это, пожалуй, вскоре после моей тяжелой болезни — спустя месяц, а может, год или два. Во всяком случае, я был еще очень слабый. Маленький и слабый, куда меньше и слабее других моих ровесников. У меня хватало сил едва на несколько веточек, поэтому отец, улыбаясь, ставил меня на землю и уже сам срезал необходимое количество раскрывающихся бутонов, а я с восторгом и уважением глядел на его большие, сильные руки, которые так легко управлялись с толстыми ветками и тяжелыми ножницами.

Потом розы ставили в ведро со свежей водой, отец возвращался в огород к своим грядкам, а меня мать переодевала в белую рубаху, чистые штаны и приказывала чистить до блеска башмачки.

Дни стояли тогда солнечные, первые теплые и ясные дни июня.

Мать надевала праздничное платье — была ли то пятница или вторник,— и мы отправлялись в костел. Я нес букет белых роз, а мать — предназначенную для таких случаев великолепную обливную крынку.

Мы отыскивали в ризнице причетника, а потом, испросив у него разрешения и с его помощью, возлагали белые цветы к алтарю моего патрона, Иоанна Евангелиста, молодого господина в длинном королевском одеянии.

Причетник удалялся. Мать преклоняла колена, чтобы помолиться тихо и смиренно, я же занимался поисками на картине каких-нибудь благоприятных для меня знаков. Порой на лик Иоанна падал солнечный луч, но этого я не любил, поскольку при ярком освещении явственно обнаруживался небольшой, но конфузный изъян в его внешности. Художник, щедро облачивший Иоанна Евангелиста в пурпурные шелка, бархат и золото, не справился со своим делом. Почему-то оставил у святого весьма заметное косоглазие. Об этом вроде бы не говорили, но когда я спросил, всегда ли Евангелист был таким косоглазым, отец покатился со смеху. Зато мать отчитала нас обоих очень резко и сурово за неуважение к вечной и безграничной славе любимого ученика Иисусова. Отец мне тогда подмигнул украдкой, а я убежал в сад, потом на опушку леса — поглядеть, как из-за деревьев выплывают белые июньские облака, точно стадо белых волов, медленно и с тихим стоном, которого, впрочем, не было слышно с такой высоты, да и слишком шумели птицы.

Сколько бы раз ни распускались навстречу солнцу оба высоких куста белых роз, мною даже в более поздние годы овладевала буйная радость.

Шел июнь. Близился день моего патрона, Иоанна Евангелиста, вместе с его праздничной ночью. Отец не очень-то заботился о том, чтобы одарить меня чем-то бóльшим, нежели конфетка, леденец или кусочек медового пряника. Но мать всегда вспоминала в тот день о прекрасном обычае: я получал от нее в подарок то иконку, то ремешок, то новую куртку с отложным воротником или толстые носки, которые тут же убирались в шкаф до зимы, но все же доставляли мне большую радость.

Отец со временем привык к этому обычаю, но особенно старался не пропустить дня святой Агаты. Всегда с огромным состраданием и любовью смотрел он на младшую мою колченогую сестру, у которой и лицо было не из красивых, и походка утиная, и не находилось веселой улыбки для людей. Огорчало его, что лишь одно она умела хорошо делать — молиться да бить поклоны перед изображением скорбящего Иисуса. Однако с матерью они об этом не говорили. Мать жалела свою меньшую, но и отчасти презирала. Спокойно, деловито обсуждала она с приходским ксендзом и викарием уже тогда проявившуюся у бедной малышки склонность пойти в монахини.

Но я знаю, что отец не желал такой судьбы для младшей дочери. Как-то я подслушал его разговор с Агатой солнечным июньским днем, за кустиками клубники, под огромным ореховым дерéвом, которое росло на границе нашего огороженного сада и ксендзова луга.

Отец вернулся тогда с базара веселый, с раскрасневшимся и потным лицом. Мне он привез сдобную булку, Агате целый пакет розовых карамелек, а себе высокий кувшин золотистого пива. Пошел он с этим пивом под ореховое дерево, вызвал из дома Агату (чтобы принесла ему белую кружку с изображением старого императора) и начал беседу с тихой и послушной дочерью.

Она сидела подле него, смиренно слушала. Он же долго и обстоятельно растолковывал несчастной девчонке, что свезет ее как-нибудь к знаменитым докторам, которые вылечат ее больную ногу, и тогда

она станет самой прекрасной девушкой во всем городе и всей округе. А поскольку в округе люди знают кто да что, от женихов не будет отбоя.

Так он ей растолковывал, и мне эта мысль очень понравилась, я вместе с отцом радовался будущему счастью Агаты, а под конец не выдержал и в волненье бросился к ним обоим, горячо обещая, что уж сам позабочусь, чтобы Агата удачно вышла замуж — и лучше всего за офицера или начальника станции.

Отец схватил меня на руки, поднял вверх.

— Поклянись! — крикнул он.— Ты...

Я воздел два пальца, а он поставил меня на землю, налил полную кружку и велел нам выпить: Агате немножко, остальное мне.

Мы послушно выпили. Тогда отец привлек нас к себе. Мы были необыкновенно счастливы, ибо он очень редко вот так по-отцовски обнимал нас.

— Ты поклялся? — снова спросил он.

А когда я повторил клятву, Мартин торжественно провозгласил:

— Живи долго и счастливо, сынок.

Так он сказал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

К лесу мы бежали вверх по склону. Занимался рассвет, ясный и прозрачный — как всегда в конце сухого лета. Возгласы офицеров и рыканье Собика вытолкнули нас из старого окопа, где мы дожидались своего часа. Мы переправились через мелкую речушку, перемахнули канаву и серую от пыли, обсаженную ветлами дорогу. И бежали теперь прямо к лесу, который нам велено было взять. Бежали по широкому, не изрезанному межами, вероятно, барскому полю.

А лес был все ближе и словно был все дальше, поскольку кочковатый склон круто вздыбливался до самой купы старых грабов, откуда то и дело доносилось басовитое тарахтенье русского станкача, связывавшего почти весь правый фланг нашей растянувшейся цепи. Очереди раздавались все отчетливее и ближе — третья, восьмая, пятнадцатая. Я считал и думал: еще жив. Хотя то тут, то там слышались знакомые голоса, полные предсмертной муки.

Я старался держаться поближе к сержанту Собику: так он велел перед атакой, да и мне самому хотелось этого. Я хотел, чтобы он заметил и понял, что я уже не ведаю страха. И порадовался за своего названного племянника, который стреляет не вслепую, а, выявив основную огневую точку на данном участке, упорно и ловко продвигается вслед за своим командиром и наставником к грохочущей купе грабов. Одна, потом вторая очередь прошили воздух над самыми нашими головами. Весь лес трещал от пулеметной и ружейной пальбы. А мы подбирались все ближе и ближе.

До цели оставалось уже не более сорока — пятидесяти метров, а у меня были почти полны подсумки и штык готов к бою. Я не чувствовал ни усталости, ни страха. А только нес в себе холодную ненависть к людям, засевшим в лесу. Ведь тут они преграждали мне путь к свободной и независимой Польше. Им было велено убить меня. Из-за этого приказа они, чужие и грозные, стали моими смертельными врагами. Их пулемет и плотный ружейный огонь заставили залечь большую часть нашего правого фланга в молодой ржи, пестревшей кровавыми следами. Я понял — мы должны подняться для

самого трудного, последнего броска к лесу. Мы двое — я и Собик — должны сделать это любой ценой.

Я подполз к нему. Прямо над нами с дьявольским визгом прошла пулеметная очередь. Я сказал себе: твой час пробил. Еще мгновенье — и ты рванешься с гранатами к этим старым грабам. А еще подумалось, что наверняка нынче вечером засядет Собик за письмо, которое снесет на Костельную улицу мрачный и притихший почтальон Выкрутас. Мать зальется горючими слезами, но все же будет горда, что единственный ее сын сложил голову под сенью польского знамени и в рядах польского легиона.

Мне оставалось только получить у Собика гранаты. Он обещал перед боем, что в случае необходимости не пожалеет для меня своих собственных. И вот я увидел совсем рядом залитое потом лицо Собика. Услыхал, как он троекратно поминает Ченстоховскую божью матерь. И едва не рассмеялся. Взгляд у него был тупой, губы серые, лицо в обильном поту. Ибо мало кто на свете не сдает под огнем. И в тот день настал его черед.

Я попросил гранаты. Он дал их сразу. Тяжелые, уже связанные — только бросай.

Бережно отложил я винтовку. Я не был уверен, что погибну. Зато знал наверняка, что метну связку в самое сердце этой купы черных деревьев. А еще мелькнула мысль о матери, о садовнике Мартине, а также еще о чем-то темном и зловещем, что ожидало меня. И тут оборвалась очередь, словно пулемет подавился собственной лентой. Собик рявкнул: пора! — и замахнулся на меня. Я вскочил. Вокруг засвистели пули, а я завопил от радости, увидав, что брошенная мною связка угодила прямо в цель.

Спустя две секунды из-под корней старых грабов взметнулся дым, полетели листья, клочья земли и человеческой плоти. Наш крик поднял на ноги весь фланг. Собик весело ткнул меня кулаком — со слезами на глазах и лучезарной улыбкой,— таким я и помню его по сей день.

Мы ворвались в лес.

Я продирался сквозь высокий подлесок, по которому стлался сизый дым. Кто-то кричал истошным голосом. Я споткнулся о кричавшего и тут же увидел за светлым стволом бука паренька, который наводил на меня винтовку и морщился от падавшего сквозь листву солнца. Вот тут, пожалуй, и раздался где-то в стороне голос Семинариста, дрожавший от напряжения, испуганный голос.

Семинарист кричал.

Он кричал:

— Не убий!

Я замер на мгновенье. Ждал смерти! Но целившийся в меня парнишка с очень бледным лицом промахнулся. Над дулом его винтовки закурился дымок, а я не ощутил ни толчка, ни удара. И бросился к нему. А он с перепугу отпрянул, привалился спиной к хилой березке, тщетно пытаясь дослать патрон. Я обрушился на него, и он не успел отбить мой штык.

Помню: был он с непокрытой головой, светлые пряди падали на мокрый лоб. То ли Семинарист, то ли этот парнишка крикнул «не убий» или «не убивай» — не знаю наверняка, да и не помню, ибо пришлось изо всех сил приналечь на винтовку. Паренек уронил оружие, заскользил спиной по стволу хилой березки и, широко разинув рот, попытался оттолкнуть руками мой кинжальный штык, заточенный на кругу и старательно отшлифованный черным бруском, которым отбивают косы.

Я смотрел ему в лицо — и сейчас вижу его: лицо первого человека, которого мне суждено было убить. Поначалу он словно бы чему-то удивился и, пожалуй, все-таки крикнул что-то тоненьким голосом и только потом скривил рот в страшной смертельной муке. Мне же, чтобы вырвать штык из его тощей груди, пришлось наступить ему на ребра. И если бы он даже продолжал что-то кричать мне, если, подобно Семинаристу, кричал: не убивай! не убивай! — то я все равно не мог бы его услышать. Я оглох от собственного остервенелого воинственного клича.

Потом я снова оказался среди своей братвы. Капрал Варецкий призывал зычным голосом продолжать погоню и кровавую жатву. И мы бежали среди деревьев через заросли папоротника и ежевики. Численное превосходство было явно на нашей стороне — и те удирали от наших штыков по лесистому склону к нагретой солнцем вырубке. Но вдруг повернули назад, ибо из этой самой вырубки вдруг хлынул на нас второй эшелон, целая рота рослых парней со смуглыми лицами, склоненными над частоколом длинных граненых штыков.

Они кричали. Стреляли на бегу. Их вел офицерик в светлой чистой гимнастерке, бежавший будто на смотру. Сбоку на него налетел огромный, как башня, Варецкий, а Козуб и несколько других солдат метнули гранаты в глубь просеки. Те припали к земле, а мы двинули на них. Красавец офицер заслонился саблей, но не смог парировать удара. Варецкий угодил ему штыком в лицо, разворотил его, голубой глаз выплеснулся вместе с кровью на землю. На Варецкого кинулись двое, но ему подсобили братья Гурские. А я едва отбил удар приклада — на меня налетел здоровенный детина с лицом, залитым кровавым потом. Он был выше и сильнее меня. Дважды я едва увернулся от штыка, руки мои немели, попятившись, я споткнулся о трухлявый пень, крикнул: мама! — и прижался к земле как раз в тот момент, когда Козуб выстрелил ему в левый бок, почти приставив дуло к ребрам. Убийца мой содрогнулся от удара и словно оцепенел, пожалуй, еще не понимая, что умирает. Но тут же сломался пополам и, прижимая винтовку к груди, медленно и осторожно упал прямо в кучу сухого хвороста, из-под которого ошалело метнулась пятнистая змея. Остолбенев с перепугу, я уставился на ползучего гада, впившегося в затылок умирающего, но Варецкий крепкой затрещиной вернул меня туда, где продолжались погоня и бой, и я бежал по вырубке, стреляя на бегу, глаза и рот заливало обжигающим потом, а в ушах не смолкали пронзительные вопли Семинариста, хотя это наверняка был уже не он,— и я карабкался из глубоких воронок, чувствовал в руках благословенную тяжесть винтовки с примкнутым штыком, ощущал близость Варецкого, Козуба, Гурских, слышал победоносный клич поручика Кароля и сам вопил от радости, видя, как яростная сила нашего наступательного порыва рассеивает, теснит и второй эшелон защитников леса,—и мы бежали, бежали все дальше и дальше, среди жестоко искалеченных артиллерийским огнем буков, ольх и грабов, подыскивая подходящие цели для нашего оружия, окончательно выдохшиеся, но по-прежнему осатанелые, то и дело стреляя,— и я знаю и помню, что после одного из таких выстрелов, произведенных кое-как, почти наугад, человек, которого я какую-то долю секунды держал на мушке, словно обо что-то споткнулся и упал как бы от удара увесистой дубины, и тут же у края вырубки мы навалились всей оравой на небольшую группу «тех», у кого уже были отрезаны все пути к отступлению.

Что было дальше? Мы взяли эту поросшую лесом высоту, выбили противника с занимаемых им позиций, прорвали линию фронта. Но запомнилось мне главным образом то, чего нам это стоило. Я вижу

санитаров, которые тащат плачущего от боли Семинариста по истоптанному полю, слышу также кричащего в голос Варецкого, который нашел на отшибе, в орешнике, тело сержанта Собика. Мы старательно пересчитали его раны, прежде чем положили на носилки, чтобы отдать последний долг. Не один из нас плакал тогда, и никто не стыдился слез. Семь ран — семь смертельных глубоких ран получил сержант Собик из первой кадровой бригады, этот названый и доблестный брат моей матери.

Мы вырыли ему могилу. Отдельную могилу неподалеку от места, где он погиб, на самом краю леса и на последней высотке посреди широкого поля. Мы копали во ржи, а засыпая могилу, я думал, что пахать здесь всегда очень тяжко, кнут свищет как пули, а лошади надрываются оттого, что неподатлива земля, и окрики пахаря несутся по долине к дороге и реке.

Около полудня вокруг могилы Собика выросло целое кладбище. Мы отняли для него землю, предназначенную под хлеб. Но иначе быть не могло, сам майор велел нам позаботиться о том, чтобы братья наши и товарищи лежали в месте достойном и тихом, с видом на широкую долину, в глубине которой горела деревня, на невысокие холмы и прозрачную речушку.

«Тем» копали одну общую яму пленные. Однако я выпросил у поручика Кароля разрешение похоронить одного из убитых собственными руками и отдельно. Поручик, хоть и неохотно, разрешил и очень строгим тоном предупредил, что в надлежащее время еще поинтересуется, откуда взялась эдакая сердобольность. Я выслушал его со смирением и пристыженный. Но еще нашел время и силы отыскать того паренька с бескровным лицом, которого настиг между высоким буком и хилой березкой. Он лежал так, как я его оставил, и не было ему дано легкой смерти: пальцы сжимали лесную траву, подбородок торчал к небу, и только в глазах застыло какое-то спокойное удивление. Я закрыл их, потом перетащил тело на опушку. Варецкий-капрал прикрикнул на меня, но я сослался на разрешение поручика, и тогда он только сплюнул и посоветовал поторапливаться. И я заторопился. Я еще раньше приглядел подходящую воронку от снаряда — в ней и предал его земле неподалеку от нашего погоста. Захотелось мне также узнать, кем был он, но нашел при нем только крестьянскую трубочку из вишневого корня, православную иконку, бумаги и письма, слепленные уже черной кровью, табак, несколько сухарей да каплю водки во фляге. Все это ничего мне не сказало. Я опустил легкое тело на дно воронки, сложил ему руки на груди и всунул между ними иконку, а потом, не глядя, принялся сыпать землю на лицо, на лоб и грудь, куда попало. Кое-кто из наших начал шутливо похваливать мою работу, но, к счастью, Варецкий, пожалуй в чем-то понимавший меня, отогнал их, и я остался один. Я отдавал себе отчет в том, что мне еще не раз аукнется эта нелепая затея с похоронами. Однако не отступил. Из остатков той самой березки, что пошла на крест для Собика, вытесал небольшой и скромный, но вполне приличный православный крестик. Утоптал землю, утрамбовал небольшой холмик, укрепил крестик. А потом дал зарок больше никогда уже не откалывать подобных номеров.

Я помню, как он тогда глядел на меня. И, конечно же, он ни в чем не был передо мной виноват. Как и я перед ним. Не промахнись он, когда мы столкнулись лицом к лицу, я лежал бы теперь в сухой, прогретой солнцем земле рядом с Собиком и многими другими, для которых тот день оказался последним днем бытия. Потому и сказал я над его могилой: я имел право убить тебя, мне велели сделать это во имя Отчизны. И тем самым дали право святое и великое. Ибо, по

моему разумению, так и только так — убивая и жертвуя собой,— я мог сражаться за свободу и независимость Речи Посполитой, за дело, которое в миллион раз грандиознее того, что произошло между мною и тем парнишкой. Я имел такое право, был обязан и вынужден убивать так, как учил меня сержант, дорогой мой наставник и командир: метким прицельным огнем, штыковым ударом, броском гранаты. И в конце концов я перестал думать о нем и даже начал корить себя за столь неразумно сыгранную роль могильщика, тем более что малыш Козуб не простил мне этого и до тех пор потешался над моей бабьей жалостливостью, пока я не подсунул ему под нос кулак.

Из зачитанного впоследствии приказа явствовало, что мы взяли два станковых пулемета и сто восемьдесят пленных. Мы свершили — как утверждал Комендант — немало героических подвигов, среди которых на почетном месте оказался и предпринятый в одиночку доблестный рейд светлой памяти сержанта Собика Станислава на пулеметное гнездо русских. Майор лично произнес речь над могилой старого вояки, а весь взвод плакал, о чем я уведомил мать в первом своем фронтовом письме. Столь же красочно я описал и его смерть, хоть никто ее не видал. Я подчеркнул, что он был таким же героем, как и ее любимый брат, и пусть она не беспокоится — уж я постараюсь заменить их обоих на алтаре отчизны.

В тот же самый вечер мы расставили одиннадцать крестьянских столов в тени огромной старой липы, к стволу которой сам майор прикрепил им лично изготовленный бумажный плакат с надписью: «Слава любимому вождю!» — и прямо под ним собственной персоной уселся Комендант.

До линии фронта была тысяча шагов, а до родины — мы верили в это — не больше, а меньше. И мы слушали речи и тосты, питая безграничную любовь к Коменданту и такую надежду, что мороз подирал по коже. Так было — и тогда не могло быть иначе. А вина хватило не только господам офицерам, но и нам, отряженным в официантскую команду. Когда же с Варецким и Козубом мы возвращались ночью на свежее кладбище, неся в руках бутылки, а в душе месть и злобу, я загладил свою вину: несколько раз крепко выругавшись, плюнул на ту, вражью могилу и, пожалуй, даже опрокинул бы и растоптал мною же вытесанный крестик, если бы Варецкий в сердцах не двинул меня по шее и не оттащил силой к могилам сержанта и Семинариста.

По целой бутылке вылили мы под березовые кресты как Собику, так и Семинаристу, хотя последний при жизни уже от одной стопочки начинал заговариваться.

Почти полная луна висела прямо над нашими головами. Из недр ночи доносился далекий и тяжелый гул артиллерии, и земля вокруг нас дрожала, словно вконец усталое животное. Мы стояли у могилы Собика. Первым заплакал Козуб, потом я. Между тем Варецкий — мужик высоченный и крепкий — не обронил ни слезинки. Но голос его дрогнул, когда он призвал нас поклясться, что мы вовек этих геройских могил не забудем.

И мы дали такой обет все трое, клянясь всем, чем дорожили, и своим солдатским счастьем, что будем каждый год возвращаться сюда, пока живы и пока хватит сил, о чем забыли, пожалуй, через месяц, если не раньше,— на иных кладбищах и у иных могил.

Но тогда Варецкий, обращаясь к могилам сержанта и Семинариста, говорил долго и витиевато, стуча себя в грудь и мешая скорбные слова с матерными. Под конец мы исполнили для усопших несколько задушевных песен и, когда луна зашла за лес, повернули

назад, к живым, в свое расположение, шагая в молчании и тихой грусти.

Ночевать предстояло в одной из двух огромных барских конюшен, и все хорошие места были уже заняты. От лошадей здесь остался только терпкий запах навоза и пота. Мы с Козубом малость осоловели, и Варецкий затолкал нас в огромные ясли, уложил на доски, едва прикрытые соломой, а сам отправился по своим делам: разыскивать в бараках для дворни дородную, но еще молодую и аппетитную бабенку, с которой уговорился еще днем.

Козуб уснул сразу. Я прислушивался: со стороны барского дома, где располагалось и еще гуляло командование, плыла музыка, кто-то лихо барабанил по клавишам, вальс сменялся мазуркой, мазурка — вальсом, и даже можно было различить звонкий мелодичный женский смех. Мир колыхался, как язык колокола. Я не мог уснуть. Думал об отправленном домой письме. И о том, что остался жив и мне уже никого не жаль, ни Собика, ни многих других, ни тем более человека, которого пригнали из далеких краев для того, чтобы я пригвоздил его к земле старательно отточенным штыком. Но тут же вспомнил другого, который неминуемо убил бы меня, если бы не Козуб. Только теперь я припомнил, кто спас мне жизнь. Меня охватил стыд — хотелось немедленно и горячо поблагодарить его. Но Козуб спал глубоким и непробудным сном, а когда я, наконец, растолкал его, он ничего не мог вспомнить и не понимал, о чем идет речь. Не желая слушать никаких объяснений и благодарностей, он ругался на чем свет стоит, думая, что его глупо и издевательски разыгрывают. И снова мгновенно уснул, оглушительно захрапев, как и полагалось в конюшне: совсем по-лошадиному. А я не мог уснуть, ибо вдруг привиделась змея, впившаяся в толстую шею убитого Козубом человека. Мною овладела беспросветная, невыносимая тоска, и не смог я в тот час отринуть ее. Я давно уже не молился, и потому тщетной оказалась жалкая попытка сотворить молитву. И напрасно вспоминал я своего отца-героя, за которого, наконец, начал мстить царским солдатам,— впрочем (так мне подумалось), какое отношение имел к нему заколотый мною парнишка?

Ночь давила меня. Я снова слышал предсмертный крик Семинариста, видел дым, взвившийся над купой старых грабов, глядел в остекленевшие мертвые глаза Собика и снова прилежно засыпал могилы и вытесывал березовые кресты в тщетной и замороченной спешке, пока не явился мне некто чужой, хоть и знакомый, вероятно, святочный Черт или даже царь Ирод и препроводил меня к стопам убеленной сединами, но еще молодой моей матери, сидевшей пред одним из алтарей нашего древнего храма, тем самым, на котором в золоте, в цветах сиял нетленной святостью огромный лик Иоанна Евангелиста. Я принялся что-то торопливо объяснять матери. Говорил громко, простирая руки,— она не слышала меня, не замечала. Я закричал в великом страхе и боли, по-прежнему безответно, не удостоенный ни единого ее взгляда, и лишь недалекий и знакомый голос наших батарей помог мне избавиться от тяжести этого видения и уснуть спокойно.

Было мне тогда от роду шестнадцать лет и пять месяцев. Поэтому привыкал я легко и быстро. Быстрее, чем думал, свыкся со смертью Собика. Забыл также крик Семинариста, широкое поле молодой ржи и купу старых грабов. Когда же поручик Кароль вызвал меня наконец к себе, чтобы выяснить доподлинно, по каким причинам я сердобольно занялся погребением убитого мною врага, солдата царя-поработителя, я не моргнув глазом, без запинки попотчевал его заранее сочиненной сказочкой. Глядя прямо в суровые очи поручика Кароля, я

заявил, что так повелела мне моя солдатская совесть, поскольку пригвожденный штыком к земле человек крикнул мне в свою последнюю минуту по-польски, на польском языке. Крикнул: «Не убивай!» Но уже поздно было отводить удар.

Я смотрел прямо в глаза поручику с застывшим и очень серьезным лицом. И все-таки голос мой дрогнул, ибо вдруг показалось мне, что я действительно услышал такие слова из уст убитого. Поручик же, выслушав меня, встал, на мгновенье зажмурился, а потом возложил руки мне на плечи.

— Помни! — сказал он и спросил еще, не ослышался ли я.

Я стоял перед поручиком Каролем в позе, выражающей грусть и почтение. Но не скрою и того, что в душе довольно ехидно посмеивался над его слюнявой сентиментальностью и легковерием.

— Так было! — произнес я твердо.— Так было, гражданин поручик! Не обманул меня слух, и память тоже не обманывает. Не знал я, гражданин поручик, что... убиваю соплеменника.

— Помни,— сказал с искренней болью поручик.— Не забудь,— сказал он,— но пойми.

Он объяснял мне пространно и неуклюже, что бывают такие случаи, когда не успевают проснуться ни совесть, ни милосердие. Он растолковывал, что братоубийство уже более ста лет является уделом нашего народа, но именно теперь пробил наш час, и собственной саблей, штыком или пулей мы добудем вожделенную свободу. Поэтому-то, уже окрепшим голосом предупредил он меня: впредь я не должен поддаваться никаким слабостям. Он понимал меня, в сущности, даже слишком хорошо и не удивлялся смятенности моих чувств. Но помни, говорил поручик, что существует только одна великая цель на этой нашей войне, более важная, чем любые сомнения и человеческие муки. И, следовательно, если когда-либо повторится столь жестокая минута, надлежит помнить единственно и исключительно о самом важном и не поддаваться жалости, не щадить ни себя, ни других, даже будь то брат или родной отец.

Я обещал поручику помнить его наставления. И действительно запомнил их очень хорошо. Они поддерживали меня все те годы. Я рос и мужал, заглушая в себе всякое милосердие и слабость, избавился от угрызений совести. Впрочем, для них не было места ни на одном из полей тех битв, в которых я участвовал. В какой-то из них погиб поручик Кароль — не могу точно вспомнить, когда именно. Пожалуй, это случилось в канун большого броска на восток. Помнится только, что был уже октябрь и мы снимали поручика темной ночью с проволочного заграждения, на котором он провисел несколько мучительных часов. Мы пошли за ним втроем, добровольно: Варецкий, санитар Цыбульский и я. Он еще дышал, когда мы снимали его с проволоки, но это были последние минуты. В противолежащем окопе нас услышали — вверх взмыла ракета, и над нашими затылками довольно густо засвистели пули. Санитар Цыбульский начал спокойным голосом творить отходную, пока Варецкий не утихомирил его тумаком. Мы волокли носилки по вспаханному артиллерией полю, раскисшим бороздам и воронкам от снарядов, протаскивали сквозь собственные заграждения. Я боялся. Оба мы с Варецким боялись по-настоящему и проклинали свое глупое тщеславие, побудившее нас добровольно оказать поручику эту последнюю услугу. В конечном счете наша смелость и милосердие оказались напрасными. Поручик скончался у нас на обратном пути — тихо, без единого слова, мы даже не заметили когда. И все же нам удалось дотащить его до окопа, о чем было упомянуто в приказе по полку и за что мы удостоились крепкого рукопожатия полковника, а также кое-каких мелких поощрений, как-то:

трех добавочных порций рома, двух офицерских обедов и освобождения от караульной службы на трое суток.

Над могилой поручика речь держал майор, в задымленное тучами небо грохнул залп, вот и все. Откровенно говоря, я не оплакивал поручика, хотя бы потому, что он сам мне это запретил. Не проронил также ни слова в его защиту, когда Варецкий сказал мне — и только мне,— что поручик сам себе такую смерть накликал. Оба мы так думали, однако оба вызвались копать офицерскую могилку и выкопали глубокую яму, которая тут же на штык затекла водой. Гроб тяжело плюхнулся в нее, а мелкий дождь хлестал нам прямо в глаза, и трудно было разобрать, кто отирает с лица воду, а кто слезы, ибо до недавней поры очень любили в нашей роте поручика Кароля.

Я не вступился за него, когда капрал Варецкий после тройной порции рома сказал мне без обиняков, что поручик заслуживал такой жестокой и долгой смерти.

— А ты тоже,— добавил он тихим голосом,— ты тоже, сынок, опасайся проволоки. Ведь и я боюсь ее.

Я не нашелся, что сказать. Поскольку и сам думал об этом и ничего тогда не боялся так, как проволочных заграждений. Меня преследовала картина: люди, распятые на проржавевшей проволоке, и я уверовал, что нет хуже смерти, чем вот такая, хоть уже и повидал всякое, было из чего выбирать и чего бояться.

А Варецкому я не ответил по той причине, что, в сущности, не только поручик, но и я, да кое-кто еще из наших, и сам Варецкий в какой-то мере заслуживали худого слова. Поручик более других, ибо это он отдавал приказ. Но и те из наших, кто его приказ выполнял, тоже своего заслуживали.

Было это за две недели до смерти поручика. Сразу же после одной из атак русских на наши позиции. Те сперва шли резво, артиллерия не поспела с заградительным огнем, а они бежали крича вплоть до второй линии наших проволочных заграждений, и только тут пулеметный огонь прижал их к земле. Они залегли в раскисших бороздах и воронках от снарядов. Потеряли двух офицеров, и напрасно звал их за собой огромный бородатый унтер. Атака захлебнулась, заговорила наконец и наша артиллерия. Они повернули вспять, неся большие потери. А трое из них, самые отважные, подбежавшие ближе всех, как раз и остались на проволоке. Один тут же умолк и замер навсегда. Двое других были еще живы. Они кричали своим — звали на помощь. Особенно этот огромный и бородатый унтер, очевидно раненный в ноги, проявлял упорную живучесть. Дергался среди колючек, кричал сорванным, зычным мужицким басом, размахивал руками. Второму удалось выпутаться из колючей сети, но он остался на месте, по всей видимости, ослабел и не мог уже подать голос. Только время от времени подымал руку вверх и медленно покачивал ею, просил о помощи.

Мы глядели на них без всякой радости, Варецкий первым — и тут же вслед за ним новый старшина роты сержант Новак — дал людям негласный приказ, чтобы никоим образом не мешали «тем», когда они пожелают забрать своих раненых с нашего предполья. Но поручик Кароль рассудил иначе. Он выбрал трех солдат —Козуба и братьев Гурских — и велел им идти через проволочные заграждения за этими двумя живыми русскими — взять их в плен. Все мы знали: поручик имел на это право и принял мудрое решение. Пленные — здоровые или раненые — очень тогда требовались штабу, ибо последние два дня и две ночи на передовой у русских царило оживление, что, возможно, означало концентрацию сил перед большим наступлением и сулило нам тяжкие и вовсе не шуточные испытания. Значит, приказ

поручика был предусмотрителен и разумен. А между тем выполнять его не нашлось добровольцев, и поручику, заикавшемуся от скрытого гнева, пришлось назначать людей самому.

Ветер дул с востока, неся дождь, мелкий и чертовски холодный. Мы видели, как ловко и быстро Козуб и Гурские проползли под первой линией наших заграждений и как, заметив их, огромный бородач угрожающе замахал кулаками и что-то закричал своим. Казалось, поручик рассудил мудро. Но в противолежащем окопе, очевидно, не дремали и раскусили намерения поручика Кароля. Оттуда немедленно открыли нечастый, но очень меткий огонь. Козуб вернулся в окоп быстрее, чем из него выкарабкался, а младший Гурский принялся вопить и плакать, как дитя: пуля попала ему в самую середину ладони.

— Вот как? — крикнул поручик.— Прекрасно! Хорошо, господа!

Мы еще не отвечали на огонь русских, ибо — как бы ни был хитер и умен приказ поручика — у тех было больше прав на своих раненых. Однако поручика обуял несправедливый и яростный гнев. Он созвал лучших стрелков роты — в том числе Яроша, Варецкого, рыжего Франека и меня,— расставил нас в наиболее удобных местах и приказал никого не подпускать к раненым. Варецкий, выслушав этот приказ, сплюнул через плечо, но поручик прикинулся слепым и глухим, только очень побледнел, повторил команду голосом тихим и спокойным и стал между мной и Варецким, чтобы проследить за добросовестным выполнением приказа. Я знал, что Варецкий оставит цель без внимания, будет стрелять в белый свет. Однако понятия не имел, как поступать мне самому. Попробовал пробудить в себе злобу к тем, по чьей милости многие из нас отправились прямехонько в сырую землю. Но попытка оказалась тщетной. Я глядел прямо перед собой — на предполье, на просторные перепаханные войной луга. Увидел, как бородатый унтер, наконец, сполз с проволоки, снова слышал его крик. Он приподымался на руках, скалил зубы, пробовал ползти, но это требовало слишком больших усилий. Другой раненый укрылся в какой-то глубокой борозде, и мы его уже не видели. Между тем бородач оставался на просматривавшемся с обеих сторон бугорке, гораздо ближе к нам, чем к своим окопам. Слишком далеко загнала унтера его одержимость и удаль. Теперь он расплачивался за это, и в голосе его слышалась нестерпимая боль.

Поручик стоял возле нас, грыз ногти и присматривал, как выполняется приказание. Вот почему, когда через некоторое время над противолежащим окопом замахали белым полотнищем санитары, мы открыли огонь. Окоп опустел, словно братва не хотела глядеть на нашу непутевую работу. Варецкий ругался громко и остервенело. Поручик что-то твердил про себя почти беззвучно, но я расслышал: пленный, мне нужен пленный. И, наконец, все заметили четыре бурые фигуры, которые в меркнущем свете дня стали пробираться к своим раненым, и каждый из нас понял, что по-настоящему хороши и отважны те четверо, идущие на помощь. И тут же их окоп отозвался голосами многих винтовок. Нас явно хотели предостеречь и удержать от охоты на четырех санитаров. Но это распалило поручика, и не только его, ибо тут же поднялся крик, что сражен Ярош, что он мертв. Рыжий Франек завопил, чтобы никому не давали спуску, и сам поручик подхватил винтовку Яроша, который был уже немолодым, спокойным человеком. Меня тоже, наконец, обуяла ярость, но и тогда и сейчас я мог бы чем угодно поклясться, что не моей была та пуля, которая все-таки настигла черного бородача и от удара которой он даже вздыбился на колени, а потом снова рухнул лицом в землю.

Не я его сразил, и не моя это вина. Некоторые приписывали ее мне, но это скорее поручик или даже сам Варецкий, закадычный друг

убитого Яроша. И еще скажу, что смерть бородача окупила жизнь остальных. Поручик велел в конце концов прекратить огонь, и мы уже спокойно смотрели, как те, совсем не прячась, несут второго раненого.

Наступила минута затишья, даже дождь прекратился.

Мы смотрели в молчанье, как один из этой четверки вернулся потом за черным бородачом и взвалил его себе на спину, словно крест.

Поручик удалился, мы же по-прежнему молчали, глядя, как санитар Цыбульский закрывает глаза добряку Ярошу, которому угодило точно в левый висок. Пожалуй, вслед за этим, через день или два после смерти поручика, тронулся весь наш фронт и мы пошли вперед, снова проложив себе дорогу очень трудной и кровопролитной атакой, во время которой я снова увеличил свой военный счет — и не хочу вспоминать этого дня.

Я спрашиваю себя: сколько их было? Скольких довелось мне сразить на первой моей войне? Спрашиваю и не нахожу ответа. Я был молод, мужал и рос, не зная милосердия и страха, а также познал радость убийства. Помнится: пытался их считать, но это не был счет точный и добросовестный. Теперь же, по прошествии без малого пятидесяти лет, вижу и помню лишь нескольких из них, но даже это чрезмерно тяжкий груз для дряхлой моей памяти. Ибо знаю, что удалось мне забыть немало плохого, немало правды о первой моей войне, на которой меня, еще мальчишку, частенько похваливали в солдатских и офицерских блиндажах. Я мужал и рос, считался одним из лучших стрелков батальона, получил капральские лычки, а в рукопашных стычках мало кому удавалось отразить мой штык, всегда старательно отшлифованный с помощью крестьянского бруска, который был личной собственностью Козуба и пользоваться которым разрешалось лишь самым близким друзьям. Итак, я все более натаскивался в том суровом ремесле, которому меня некогда учил сержант Собик и которое легко мне давалось, поскольку, за исключением дня боевого крещения, не верил в собственную смерть, хоть и не раз встречался с нею лицом к лицу.

Шли месяцы, годы, я взрослел, набирался опыта и, когда нас отводили в тыл, таскался вместе с первым бабником батальона капралом Варецким в поисках стоящих женщин, которые, снисходя к юному моему возрасту, охотно — впрочем, не без некоторого стыда и жалости — приголубливали меня. Раньше других получил я и свою первую медаль. Вручал ее, что было весьма лестно, сам полковник Эдвард, произнеся при этом своим тоненьким голоском немало слов, красивых и волнующих. Я же, подобно другим, гаркнул: «Во славу отчизны!» от всего сердца. Ибо так мы думали и так верили все — даже спившийся Парикмахер и все более мрачнеющий Козуб,— верили всем сердцем, что слава и свобода отчизны уже не за горами и что после ста с лишним лет неволи именно мы шаг за шагом приближаемся к независимой Польше — и никаким человеческим, божьим или императорским веленьям не свернуть нашего легиона с многотрудного славного пути. И хоть лицо поручика Кароля уже забывалось, наставление его я помнил: нет места для жалости и совести, если впереди лучезарная цель, столь достойная надежды и веры.

Мы повторяли себе, что только рана или смерть способны остановить нас на этом нашем пути — но уж, конечно, не те, кого мы убивали и кто, повинуясь царским приказам, шел против нас... Сперва я считал их, потом перестал о них думать. Скажу даже, что старался о них забыть. Однако остался в памяти тот первый мой человек. Его я не смог забыть.

Несмотря на это, я поначалу толком не понимал вопросов матери, которая непременно хотела узнать от меня, кем был тот первый, уби-

тый в небольшом лесочке, между буком и березкой,— тот, о ком я так недостойно лгал поручику Каролю, утверждая, якобы он заговорил со мной в минуту смерти языком соплеменника, что не было и не могло быть правдой. Я понимал, что он что-то крикнул в последнюю свою минуту. Но, пожалуй, не по-польски, нет, не по-польски. Я заглушил тогда его голос ударом штыка и своим собственным криком, и быть не могло иначе, если я хотел выйти живым из этой схватки.

Мать хотела знать все, а я не мог и не хотел поведать всю правду. Был уже март, когда я получил десять дней отпуска и поехал домой с двумя медалями и левой рукой на перевязи. Неопасной была эта царапинка от осколка на левом предплечье. Но у Блюма я утверждал, что едва удалось заслонить сердце,— ведь никто же под бинты не заглядывал. Мне не особенно верили — и только она одна, мать, сразу поверила, когда кто-то сердобольно повторил ей эти бредни. Она, однако, не плакала и даже в момент самой встречи, едва увидав, уже заулыбалась мне — сильная, отважная и очень гордая своим сыном. Гладила перевязь, на которой покоилась уже зажившая рука, нежно ласкала мундир пехотинца, целовала медали, нашивки капрала и польского орла на фуражке. И сразу же после такой радостной встречи пала на колени перед деревянным распятием и просветленным голосом возблагодарила бога за счастье, в котором он, в безграничном своем милосердии, не отказал ей. Заплаканная Агата тоже преклонила колена рядом с ней, а мне, мучимому жаждой, голодному и глубоко растроганному, пришлось довольно долго ждать, прежде чем они закончили свои молитвы и, снова вспомнив обо мне, угостили свежим хлебом, яичницей на сале и целительным самогоном, взятым заимообразно у Котарбов. Покоряясь матери, я едва преклонил колена перед маленьким Деревянным и перекрестился. Был я в те дни счастлив, искренне любил мать и Агату, но до чего же коротка была та побывка!

Обе — мать и Агата — слушали с превеликим трепетом и гордостью мои рассказы о войне. Поначалу я поведал им кое-что: и о том первом дне, и о первом человеке, о том, каков бывает огонь тяжелых гаубиц, что такое минные поля и как жестоко может вымотать тридцатикилометровый марш — бросок по раскисшей дороге. Я подвыпил, расчувствовался от их присутствия и поэтому не молол чепухи о распрекрасной службе воинской-солдатской. Коснулся правды. Агата смотрела на меня тупо, но на лице матери я заметил ужас и страх. Понял, что так нельзя. И в конце концов начал рассказывать, как здорово нам служится и какие мы лихие да бессмертные — одна царапинка за целый год фронта,— а уже основательно за полночь принялся разучивать с ними самую главную на земле песню: «Первая бригада — стрелецкая армада», потом слушал, как ее поют грудными женскими голосами, сразу на два голоса и очень задушевно.

Назавтра день выдался теплый, прямо-таки весенний. Я вышел на улицу в одном мундире, поблескивая медалями, пуговицами и орлом на фуражке, важно козыряя направо и налево, и достойнейшие в городе люди приостанавливались, чтобы поздороваться, улыбались, пожимали руку. Ничего в этом не было удивительного — я один, единственный в целом городе носил форму польского легионера, служил в Первой бригаде, и я один среди живых и мертвых имел право называть себя польским солдатом. Уже около года народ наш был предметом великого торга — царь, равно как германский император и почтенный австро-венгерский старикан тщились переплюнуть друг друга в благодеяниях, которыми одарят где-то, кого-то и когда-то за польское пушечное мясо. Но только мы, люди Коменданта, добились польского знамени, команд и мундиров, только мы (так объяснял я) способны ценой кровавого пота своего завоевать свободу и независи-

мость отчизне, а кто этого не видит и не понимает, тот слеп или рехнулся. Дом наш в те дни был полон народа, и ежедневно, зачастую уже с утра, меня приглашали к Блюму. Я позволял угощать себя, но не слишком щедро. Ибо трезвым голосом хотел приветствовать прибывающих в дом гостей, поскольку наносили визиты столь важные персоны, как бургомистр с дочерьми и братом, оба доктора, новый приходский ксендз со старым викарием, а также семейства такие значительные, как Рокицкие или Балицы, в том числе даже прекрасная Магда, вдова царя Ирода. Все они прибывали, чтобы разузнать о Первой бригаде и Коменданте, о нас всех, о наших битвах и победах,— а я все говорил да говорил часами и рассказывал то, чего они ждали. Ведь от меня требовали не правды — той злосчастной правды, что вываляна в навозе, грязи, крови и гное, правды о размозженных и растерзанных человеческих телах, о семи смертельных ранах сержанта Собика, о вспоротых штыками грудных клетках и животах. Никто бы не захотел этого слушать, и сам я не смог бы рассказать такое. Вот и разглагольствовал я, семнадцатилетний, перед отцами города — и куда больше во всем этом было вранья и бахвальства, нежели правды. Некоторые спрашивали о Коменданте, словно желая знать заранее, перед кем надо будет — в этой грядущей свободной и независимой отчизне — верноподданнически пресмыкаться и ломать шапку. Другим я говорил о ратной страде, героических подвигах и разбросанных по полям солдатских могилах. А мать напоминала людям, что не только сын ее повинуется приказам Коменданта, но и родной ее брат, внимая тем же приказам, принял смерть солдата и героя. Говорила она это спокойно, без слез и слушала все, что я рассказываю, исполненная великой преданности и гордясь мною. Но, несмотря на это, очевидно, многое запомнила в тот первый вечер, когда я открыл ей немало жестокой правды о войне. Пожалуй, именно поэтому она пришла ко мне поздней порой, в предпоследнюю ночь перед моим отъездом. Пришла встревоженная и оробевшая, с совершенно нелепым делом: спросить, кем в действительности был и откуда явился тот, первый мой человек, которому я нанес смертельный удар.

В голосе ее уже слышались слезы, а я все ее не понимал.

— Кем был? — спрашивала она и просила: — Скажи.

В тот вечер уже начались проводы, и поэтому я довольно долго просидел у Блюма за выпивкой и жратвой. С гор дул ветер, несущий сырость, и от его гула и треска мутилось в голове. Я был сыт по горло, пьян, решительно не понимал, что ей от меня понадобилось. А она стояла надо мной и выспрашивала: кем он был, кем был тот парнишка?

Откуда я мог знать? Я высмеял ее мягко и по-сыновьи, сказал, что письма и бумаги слиплись от крови и ничего нельзя было из них вычитать. Объяснил далее, что солдат ведать не ведает, кто в роковой час становится супротив него, ведь это не драка из-за межи, а великая мировая война, исторические события. Но мать, словно не слыша и не слушая моих объяснений, торопливо задавала все новые и новые вопросы: как выглядел? Сколько ему могло быть лет? Не звал ли мать? Мог ли убить меня?

Она стояла надо мной в черной шали, с заплетенными на ночь сильно поседевшими волосами. В тусклом свете лампы выглядела дряхлой и убогой, а в глазах блестели крупные слезы. Но меня все-таки охватил гнев.

— Чего вы хотите, мама? — крикнул я.

И не понизил голоса, объясняя, что чуть не принял смерть от его руки и, цельсь он чуть пониже, в грудь, а не в голову, она бы, возможно, не увидела меня здесь и даже никогда не нашла бы моей могилы.

— Не увидела бы тебя здесь? — переспросила она едва различимым шепотом.

Закрыла глаза, и слезы потекли по ее лицу, она, как слепая, принялась ощупывать мой лоб, колючие щеки, сжатые губы. Я испугался, притих. Тогда она дважды прошептала мое давно забытое, ласково уменьшенное, младенческое имя, а потом разрыдалась, умоляя, чтобы не уезжал, остался с матерью и сестрой, чтобы не возвращался в часть, не обрекал себя на муку солдатскую и утром же написал своим командирам — а то и самому Коменданту,— и да внемлют они материнской просьбе и разрешат единственному сыну остаться со своей матерью-вдовой, болящей и несчастной.

Я оттолкнул ее руки от своего лица. Великий гнев овладел мною. И я крикнул во весь голос — кем же она хочет меня сделать: дезертиром или трусом? Ведь сама же учила ненавидеть поработителей, сама водила на мессы за упокой души казненных героев. А кто разучивал со мной первые, стародавние солдатские песни? Кто рассказывал про деда-повстанца и учил по-рыцарски любить отчизну? Я криком кричал, добиваясь, чего же теперь она от меня хочет,— и кричал так громко, что в конце концов прибежала Агата и увела ее с собой, плачущую тихо и умиротворенно, словно уже примирившуюся и с моей солдатской долей, и с неминуемой смертью (так она прошептала) — той верной смертью, к которой я так спешу и рвусь.

А я заливался таким же злобным смехом, с каким мы некогда гоняли по рыночной площади пьяного Выкрутаса. Я знал свое: не истина глаголет устами матери, а глупый и малодушный страх. И все-таки долго не мог уснуть, мучимый стыдом и неугасшим гневом, подспудной, но неотступной тревогой. Я не был уверен, шепнула ли она что-либо о верной смерти или мне это только померещилось. Кончилось тем, что я пошел в холодную кухню, нашел бутылку, растопил плиту и почти до рассвета шарил по горшкам, утоляя ночной голод и запивая тревогу ночного часа. Раздумывал и о возвращении на фронт. Наступала дружная оттепель, поэтому я думал о том, как окопы зальет водой и каких жестоких мучений будут стоить переходы по раскисшим дорогам. Но была и такая минута, когда я — зная наверняка, что это невозможно,— страстно захотел остаться в этом доме, осиротевшем, но таком теплом, сухом и безопасном. Пожалел, что зря повысил голос на мать, но тут же мне стало стыдно за нас обоих. И я начал ругаться и проклинать себя, убоявшись последнего прощального часа.

Однако я не обманулся в них обеих — в матери и Агате. Они проводили меня на станцию снова гордые, выпрямившиеся и улыбчивые. Мать даже надела шляпу, а к черному пальто приколола белую и красную ленточки — цвета польского флага. При этом говорила без умолку, громким голосом, и смеялась, чтобы люди слышали и видели, как геройски мы расстаемся. И только когда поезд тронулся, я заметил, что она закрыла лицо руками. Именно такой в последний раз я ее видел и запомнил.

Мне было двадцать лет и неполных пять месяцев, когда Агата закрыла ей глаза, а письма о болезни, кончине и похоронах так никогда и не нашли меня. Был я тогда уже на второй своей войне. На нее отправил меня Комендант, а точнее — в ту пору уже Начальник независимого государства.

Шли мы сперва как на парад, древним путем короля Болеслава Храброго, поскольку путь этот лежал прямо на Киев. Но к тому времени, когда Агата писала и отправляла свои траурные послания, весь наш фронт уже начал разваливаться, рассыпаться в пух и прах, пропадали не только письма, но и целые полки и дивизии, и наше отчаян-

ное сопротивление все больше превращалось в беспорядочное, позорное бегство. И хоть это была уже вторая моя война, я впервые с отчаянием и ужасом начал постигать, что такое настоящий разгром. Впервые же стал думать о Коменданте и Начальнике иначе, чем прежде. Еще без неверия и тем более без той ненависти, которая пришла позже. Но уже с большой долей сомнения и неуверенности.

Это была и вина и заслуга Варецкого. Мы встретились снова — старые унтеры,— на этот раз в кое-как сколоченной и пополненной мальчишками 38-й добровольческой дивизии. У меня уже были лычки младшего сержанта, и капитан Адамец посулил мне, что в Киеве я получу Боевой крест и звание сержанта. Он обещал также похлопотать после победы, чтобы такого бравого воина, как я, приняли в офицерское училище, которое широко распахнет передо мной свои врата и поможет со временем выдвинуться.

Варецкий, слушая мою похвальбу, только качал головой да посмеивался, хотя дело было еще в дни победоносного наступления, задолго до первого поражения и бегства.

До чего же изменился этот некогда лучший стрелок и разведчик батальона, первейший бабник полка. Он по-прежнему был капралом — офицерам не нравились его дерзость и продувная физиономия. Варецкий становился все небрежнее. Не следил за мундиром, пуговицами и сапогами, все более опускался, превращаясь в полкового сачка и симулянта, первого в охоте за скудной жратвой, какую можно было раздобыть в тех краях у запуганных и бедствовавших крестьян.

В ту пору мы еще стремительно продвигались на восток. Однако Варецкий уже тогда спрашивал меня сердитым голосом, справедливы ли цели этой войны и каков будет ее подлинный итог.

— Скажи,— спрашивал он,— зачем нас туда гонят? Объясни себе и мне,— смеялся он,— чего ради мы премся в эти дикие степи?

Злил он меня страшно, я грозил кулаком и кричал на него, словно на какого-нибудь недотепу-новобранца. Два или три раза мы едва удержались, чтобы не растерзать друг друга когтями и зубами, с ненавистью в сердцах. Но ведь это был тот же Варецкий, с которым я шел когда-то в огонь и воду, с которым в двенадцатый день ноября 1918 года мы слушали приказ, провозглашавший свободу и независимость народа и государства. И я переставал злиться и кричать, спрашивал только, помнит ли он, как сам тогда — на Замковой площади — плакал в три ручья. Спрашивал также, кто нас привел к тому дню и кто нам его преподнес.

Варецкий смолкал, уходил от меня, тащился к поварам, довольно ловко отыскивал также шинкарей, торговавших из-под полы спиртом и водкой. Он был не намного старше меня — всего лет на шесть или семь, но уже лысел и тучнел, как старик, зарастал щетиной и грязью. Наконец, я выложил ему прямо в глаза, что он живет как свинья, а говорит как предатель. Думал, он схватится за штык или нож и произойдет нечто скверное и жуткое, но хоть такой ценой пробудятся в нем былая сила и задор. Не тут-то было. Варецкий только сплюнул мне под ноги, пожал плечами. И снова принялся трясти над котелком толстую мозговую кость, а заросший подбородок его лоснился от жира.

— Да,— сказал он без злобы.— Сладко ты поешь, уважаемый господин унтер. Завоевали мы под его предводительством свободу. Зачем? Чтобы сразу же лезть по его приказу на чужую землю и за чужим хлебом.

Я завопил, что не чужая это земля. Мне было двадцать лет, и я не забыл рыцарских романов. Помнил также генеральские речи и полковые инструктажи первых дней войны. И поэтому прокричал ему в лицо, что во имя королевской... давней королевской Польши от моря

до моря идем мы по стопам гетманов, Скшетусского и Володыевского и что ради этого ничьей крови не жаль — ни моей, ни его, ни чужой. Я, пожалуй, так хорошо это запомнил, что кричал не только наперекор ему, но уже наперекор и самому себе. Он же понимал шаткость моих доводов, вероятно, лучше меня самого. Насвистывая «Первую бригаду», Варецкий выколотил жирный костный мозг в котелок, угостил меня едой и выпивкой. Я ел и пил. И помалкивал.

Было это, помнится, где-то между Винницей и Киевом, на небольшом, до основания обглоданном войной хуторе, где мы застали только стариков, женщин и детей. С женщинами — как гласила молва — уже побаловались наши уланы. А жандармерия обнаружила двух большевистских комиссаров, мужчину и женщину. Старый, изможденный мужичонка с лицом, иссушенным голодом, показал нам за околицей — на краю неглубокого яра — горку желтоватой земли. Пошли мы с Варецким к этому яру, навстречу луне и теплу осенней ночи. Из степи тянуло сладковатым ароматом, и я затосковал по лугам Заречья. Упала звезда. Варецкий первым прервал молчание. Сказал мне, наконец, прямо, о чем думает: что именно из-за второй нашей войны, которую Начальник объявил Советам и их революции, он — Варецкий — утратил всю прежнюю веру и преданность Коменданту. Он присел на эту кучку глины, закурил трубку.

— Подумай, господин унтер. Подумай, Янек,— просил он меня с глубокой грустью.— Подумай и пойми: едва народ опомнился и начал вставать на ноги, он дал нам войну вместо хлеба. В моем доме теперь голод. Скажи: сколько таких домов в Польше?

Я тогда не мог ответить ему. Выругаться или поднять на смех. А уже следующей ночью нас разбудил внезапный сигнал боевой тревоги. Пришло известие о прорыве фронта, о том, что конная армия Буденного без труда вклинилась в наши боевые порядки, слишком растянутые, лишенные снабжения и неготовые к отпору. На рассвете неподалеку от хутора вдруг поднялась стрельба. Кое-кто из господ офицеров в одних кальсонах и нательных рубахах бросился к лошадям, пока сам полковник, задыхаясь от ругани и кому влепив плашмя саблей, а кому кулаком, не разогнал их по своим местам. Стычка была незначительной: по нашим с Варецким подсчетам, было их не больше двух эскадронов с двумя или тремя тачанками. Но и она стоила нам нескольких солдатских могил и смерти хорошего офицера, капитана Адамеа.

С этого дня началось отступление. Нет, не отступление это было, а бегство, беспорядочное и позорное, все более отчаянное. Ночь и день, день и ночь шли мы на северо-запад, к еще удерживаемой нашими, охранявшейся бронепоездами железнодорожной линии. Мы с Варецким добровольно перевелись в прикрывающую отход роту, которой полковник придал старейших кадровиков и целых пять станковых пулеметов. Но им не довелось поработать. Нас не атаковали. На горизонте появлялись небольшие группы конницы и спокойно следовали по нашему маршруту. Нетрудно было понять их осторожность: не здесь, а наверняка в другом месте должен был замкнуться огромный котел, в котором наш полк — если не вся распыленная в паническом бегстве дивизия — ляжет под огнем, под сабельными ударами и копытами, посреди широкой степи. Мы знали: дело дрянь, надвигается буря. И несмотря на это, именно тогда в Варецком проснулся прежний вояка, и лишь благодаря ему, а не кому-либо другому наша рота сохранила какое-то присутствие духа и достоинство в этом неустанном марше. Однако передо мной он не ломал комедии. Посоветовал, чтобы мы оба попросту приготовились к смерти, ибо после того как некоторые наши полки порезвились на этом киевском направлении, нечего было ждать

снисхождения. И я обещал себе и ему, что не попрошу пощады — буду сражаться, пока не зарубят. Таково было мое окончательное решение.

Мы тогда ошиблись. На другой день добрели до железнодорожной ветки. С севера уже заходила широким полукольцом красная конница, но нам удалось поспеть вовремя. Более того, нас обещали эвакуировать с очередным эшелоном, и действительно, к концу дня подошли со стороны Винницы два почти пустых состава, прикрываемые бронепоездом. С юго-востока надвигалась черная буря, неся желтые грозовые тучи. Из их тени выскочила кавалерия и тачанки. Мы грузились в вагоны под огнем, как загнанные бараны. Бронепоезд начал бить из орудий по степи, и бой закончился прежде, чем низринулись первые молнии июньской грозы.

Поезда шли на запад. Вначале они довольно часто останавливались, подбирая убегавших вдоль полотна людей. Потом для беглецов больше не осталось места. Мы отворачивались от солдат, бредущих на запад без оружия, надежды и достоинства. Варецкий уже тогда принялся ругать и поносить эту войну во весь голос, пока майор не вызвал его к себе и не пригрозил судом и суровым приговором. Он умолк, но я, наконец, начал его понимать. Не было ни воды, ни пищи. В одном из последних вагонов обнаружились два случая брюшного тифа. Поручик Яронь застрелился.

Над зеленым степным простором стояло солнце, проплывали высокие белые облака. Великолепная весна переходила в лето.

В бой мы вступили снова после трех дней бегства. Произошло это на линии Буга. Матери тогда уже не было в живых. Я об этом не знал, но и во мне умирало все, чему я поклонялся в юности, что было великой ее силой. Несмотря на это, мы с Варецким еще раз вызвались добровольцами в пулеметную команду, хоть и понимали, что ее обрекают на уничтожение.

Нам предстояло прикрывать подступы к броду — до последнего патрона и последнего издыхания, и труднее всего было ждать. Мы видели, как позади нас, на противоположном берегу реки, натягивают колючую проволоку, преграждая путь на запад не только надвигающемуся противнику, но и нам. Впервые я видел тогда, как Варецкий, уйдя в заросли лозняка, пал на колени и со сложенными по-крестьянски руками молился сосредоточенно и долго. Я же написал коротенькое и веселое письмо матери и попросил Варецкого отослать его, если не смогу сделать это лично. Он согласился без возражений, потом мы оба старательно умылись и побрились, над чем никто не осмелился посмеяться, и многие ребята последовали нашему примеру, хотя доброй половине почти нечего было брить.

Первая атака обрушилась на нас перед рассветом, в густом тумане, который, однако, быстро рассеялся. Мы лежали на широкой, заросшей кустарником отмели. Даже окопались, что, в сущности, не имело ни смысла, ни значения. И знали, что второй волны нам уже не остановить. Главный удар кавалерии пришелся по нашему левому флангу. Там погиб поручик Карась и более половины несчастных, перепуганных мальчишек, которые легко вызывались добровольцами на любое дело и еще быстрее погибали, поскольку не хватило времени подучить их военному ремеслу.

Первую атаку произвел всего один эскадрон. Когда же на краю недалекого леса показалась более крупная группа кавалеристов, ребята с левого фланга пустились наутек через реку, прямо на наши прикрывающие брод заграждения. Варецкий тщетно пытался остановить отходящих трусов. Несколько их переправилось по мелководью, а один, угодивший в глубокое место, утонул. Мы видели его, слышали крик, но уже некогда было заниматься спасанием на водах. Из леса тучей

высыпала конница и, не обратив на нас внимания, повернула на север. Следовательно, оставался выход разумный, но довольно малодушный: замереть, притаиться в лозняке, сделать вид, будто нас нет. Но это было невозможно, и я, приняв на себя командование после смерти поручика, дал приказ открыть огонь. Я знал: конец близок. Три станковых пулемета, пятьдесят штыков — таков был наш актив. Но ведь полученный нами приказ гласил: драться до последнего. Значит, мы должны были это делать. Едва мы дали несколько очередей, как они двинули на нас лавой, не менее трех эскадронов, и была это вторая и последняя схватка. Схватка, в которой погиб Варецкий и из которой кроме меня живыми вышли только четверо юнцов, и то лишь потому, что они вовремя попрятались в кусты, за что я обязан был отдать их под суд и чего не сделал.

Земля гудела под копытами все громче и страшнее. Не помог и огневой заслон, впрочем, довольно жидкий, которым попытались прикрыть нас с другого берега. Я понимал их: они снова готовились к отступлению и предпочитали приберегать боеприпасы ради спасения собственной шкуры. Наша третья машинка умолкла — кончились патроны. А те были уже в ста, пятидесяти, тридцати метрах, оставались считанные секунды. Падали лошади, я успел еще заметить нескольких всадников, свалившихся перед нашими ячейками. Я подал команду примкнуть штыки, крикнул: «Огонь!» Потом увидел прямо над собой яростное лицо всадника, который широко замахивался из-за левого плеча. Успел подставить под этот удар ствол винтовки — лишь конец клинка скользнул по левой ключице. Я упал на землю. Увидел, как гибнут другие, как двое полосуют Варецкого, нашел в себе силы дослать патрон и выстрелить, выстрелить метко. Я радостно вскрикнул, ибо вслед за моим выстрелом всадник привалился к лошадиной шее и уронил шапку. И тут я понял, что убил женщину. Варецкий же от удара второго кавалериста опрокинулся навзничь. Я не хотел, не мог больше смотреть. Лежал, уткнувшись лицом в сухой, душивший меня песок.

Очнулся я лишь от ночного холода, которым тянуло с реки. Один из тех юнцов, что прятались в ивняке, кое-как перевязал меня. Ночь сердобольно прикрыла нашу переправу на левый берег. Я ежеминутно терял сознание. Уходила из меня кровь, уходила жизнь. Левый берег пустел, но для меня нашлось место в одном из санитарных фургонов, а два или три дня спустя я был уже далеко от фронта, в приличном и чистом военном госпитале под Варшавой. Впрочем, мне не повезло, ибо меня почти сразу же перевели в инфекционное отделение. У меня оказался тиф.

Так я и закончил вторую свою войну, на которой убил, как мне кажется, только одного человека — всадника-женщину. Тем не менее получил второй Боевой крест — не имею понятия за что. Получил и звание сержанта, что побудило по выходе из госпиталя начать хлопоты о зачислении в офицерское училище, в чем, благодаря протекции прежнего полкового командира, мне не было отказано. Следовательно, передо мной — как выражался покойный капитан Адамец — открывалась широкая дорога. По этой же причине я начал постепенно забывать предостережения Варецкого. Тем более что, в конечном счете, наш Начальник как-то выиграл эту злосчастную войну. Так, по крайней мере, приказывали нам думать, так писали газеты, да и мне самому удобнее жилось с этими понятиями до того самого дня, когда мы, солдаты Начальника, оказались под хмурым небом лицом к лицу с демонстрацией рабочих, плотью от плоти которых был мой отец. Она двигалась медленно и с песней. Мелодию ее я знал, но слова тогда еще были мне чужды.

Первый залп мы дали в воздух. Колонна остановилась, но задние ряды напирали на передние, из толпы раздался также сухой треск одного или двух пистолетов. Капитан рявкнул: «Пли!», а я тогда еще хорошо помнил наказ Собика, что огонь следует вести не механически, а прицельно.

Но когда понял, что и на сей раз не истратил патрона впустую и заметил, как человек в серой блузе, которого секунду назад держал на мушке, кашляя кровью, валится на черную панель, грохнул своей винтовкой о мостовую, вырвал оружие у соседа слева, бросился на второго и третьего в ряду, пригибая стволы их винтовок к земле. Однако не предотвратил третьего, самого кровавого залпа. Схватили меня, кричащего в голос, под руки и за шиворот вывели из строя, передали жандармам.

Защищать меня перед военным трибуналом должен был худощавый поручик в темном пенсне и белых перчатках, лицом и голосом удивительно напоминавший поручика Кароля. Он сказал мне прямо, что при обычном ходе дела за спектакль, какой я устроил, можно поплатиться разжалованием, поражением в правах, лишением всех привилегий и орденов, а также примерно десятью годами крепости. Говоря это, он морщил лоб и рассеянно сам себе поддакивал.

— Неужели десять лет?— спросил я и повторил:— Десять лет?— давая себе обещание, если не удастся бежать, покончить с собой.— Точно?

Поручик усмехнулся, покачал головой. Спросил, умею ли я слушать умные советы и доброжелательные рекомендации. Не дал мне даже попытаться объяснить, почему я нарушил присягу и по каким треклятым причинам переметнулся на сторону взбунтовавшегося сброда. И улыбался при этом так, словно сам все прекрасно понимал, знал суть дела гораздо лучше меня. Только строго-настрого приказал мне прикидываться простачком, говорить мало, оправдываться перед судом неуклюже и с неподдельной тупостью: ничего, мол, не знаю и не помню, как все началось и чем кончилось.

— Ни слова больше,— говорил он тихим, умным голосом.— Не знаю, не помню... не помню, не знаю.

Поручик запретил мне также ссылаться на какие-либо старые заслуги. Это блюдо он берет исключительно на себя и уж сумеет приготовить его и подать суду на стол в сто раз лучше меня самого. В заключение уже совсем тихим шепотом упомянул, что главная надежда на благополучный исход не имеет никакого отношения к делу, а также к нам обоим, к показаниям, объяснениям и защите. А именно: председатель трибунала издавна и горячо ненавидит обвиняющего меня прокурора.

Не ошибся этот умный защитник и хороший человек. Я уже говорил: меня выпустили из крепости ровно через двенадцать месяцев.

— А я,— сказал мне как-то Шимонек,— дал бы тебе пятнадцать лет. Не за то, что швырнул винтовку на землю, но за то, что вообще обратил ее против рабочего класса. Не пятнадцать,— поправился он,— а двадцать.

Это было летом сорок седьмого года, когда я попросил у Теофиля рекомендацию в партию. Гораздо раньше Шимонек узнал от меня все, что я только мог и сумел рассказать. В этих рассказах я не обошел ни злосчастной второй своей войны, ни того, что выстрелил (и вдобавок метко) в безоружного человека, справедливо требовавшего хлеба.

И когда я все это ему выкладывал, он не плевался, не кричал, не швырялся приговорами. Только сердито бормотал про себя да покачивал головой, словно над могилой чужого человека.

Теперь же я просил его о вещи серьезной: о рекомендации, а он?

Сперва составил ее и подписал, а на следующий день принялся измываться над моей биографией, попрекать меня худшими ее днями и годами. А также растолковывал себе и мне, как безрассудно и забывая о бдительности поступает, давая мне эту рекомендацию, следовательно, ручаясь за меня с моей неудачной жизнью перед партией — перед самой партией.

Он успокоился лишь после того, как я сунул ему в руки его бумажку и сказал, что пойду к кому-нибудь другому искать поручительства,— возможно, кто-либо из испанских, мадридских ветеранов меня припомнит и сочтет достойным человеком. И что, пожалуй, не только там найду справедливость.

Мы сидели погожим летним днем неподалеку от Вислы, в тени развесистого дерева. Мне хотелось встать, плюнуть и уйти. Я не выносил, почти ненавидел тогда Теофиля. Понимал, что он сконфужен, и даже жалел его, но все же не мог простить ему столь опрометчивых и безжалостных упреков в том, чего я и сам не в силах предать забвению. И примешивался тут еще один нелепый момент: сам-то Шимонек по причине плоскостопия никогда не был солдатом, жил и рос среди людей, сызмальства учивших его настоящему делу, к которому мне пришлось идти через чужую и свою кровь, через невзгоды войны, ратный труд и душегубство, преодолевая собственную слепоту и неведение.

Какое же он имел право так строго судить меня? Как бы поступил на моем месте, очутившись лицом к лицу с надвигающейся под грозное пение толпой?

И ведь я за все это расплатился не скупясь. По заданию и с ведома партии застрелил провокатора, ибо так уж мне было суждено — смерть перечеркивать смертью. Потом отправился в долгое, двадцатилетнее изгнание, лишая себя всякой надежды на тихую, оседлую жизнь, семейное счастье и женский присмотр.

— Я очень многим тебе обязан, Теофиль,— сказал я,— но не всем. Знаю, что тебя убивали. Что на следствии в гестапо ты держался как настоящий герой. Но меня, Теофиль, не только убивали. Мне еще приказывали убивать, сперва во имя правого, потом неправого дела. А когда, наконец, я научился отличать добро от зла, мне опять пришлось убивать... под Мадридом и на Оксивье. Скажи, старина, кому жилось легче? И скажи мне: случалось тебе когда-нибудь убить человека?

Я знал, что Теофиль, выпив больше своей нормы, имел обыкновение упоминать о каких-то боевых операциях и покушениях, о том, как добывал оружие и принимал сброшенные с самолетов грузы, и прочее, и тому подобное. Правда же была иной, я бы сказал — прекраснее. Теофиль работал исключительно в «технике», в подпольных типографиях, а когда после провала в 1944 году его сцапало гестапо, прошел через муки следствия героически и ничем себя не запятнал, а затем был участником антифашистского подполья и в Освенциме. Но ему казалось, что этого мало. Что он недостаточно героически пережил войну. Поэтому иногда, хоть и очень редко, он давал понять, что рукам его не чужда тяжесть надежного автомата и что не одна очередь выпущена им по немцам. Потом, на трезвую голову, Теофиль мучился от стыда, запрещал вспоминать об этом, отрекался от своих рыцарских историй, как апостол Петр от Христа в предрассветный час. Именно потому я спросил его без всякой жалости:

— Скажи теперь всю правду, дорогой Шимонек: убил ли ты когда-нибудь человека? Убил ли, зная наверняка, что это сделал ты, а не кто-либо другой?

Он не ответил. Сунул мне в руки рекомендацию, и мы с ним не

разговаривали целых два или три дня. Но это было молчание, лишенное и тени обиды или злобы, куда более сближающее и сердечное, чем все возможные человеческие слова. И кажется мне также, что именно в это время окончательно определилась между нами и окрепла та дружба, которую я поныне вспоминаю с горячей любовью к Теофилю Шимонеку — к этой тощей, кургузой и поблекшей личности с моржовыми усами и безжизненно помутневшим глазом (второй красовался неестественной своей голубизной в глазнице, размозженной некогда каблуком гестаповца), ко всем его чудачествам и многим недостаткам, но пуще всего ценя его кристальную человечность, более глубокую и щедрую, чем у очень многих таких хороших и близких мне людей, как садовник Мартин, боцман Иохансон, отец Антуан, Василий Жубин и, наконец, названый брат моей матери, сержант Собик Станислав, первым учивший меня ремеслу пахаря и жнеца войны.

И все-таки я обманул Шимонека. Обманул тем же способом, каким не раз удавалось мне обмануть собственную память и совесть. Ибо сказал Теофилю то, что повторял многократно самому себе: нет худшей участи, чем быть обреченным убивать. И это правда.

Я изведал немало. Прошел четыре войны и очень долго скитался. И говорю по совести: никогда не забывал возгласа Семинариста «не убий!». А между тем убивал не только по чужому приказу, но и по своей воле, собственному выбору и искреннему желанию. Убивал как солдат: пулей, прикладом и штыком, связкой гранат, пулеметной очередью. Казареса убил обыкновенным бандитским ножом. Застрелил провокатора — в упор, с двух шагов и глядя ему в лицо, когда он падал, хватаясь за левый бок и только раз успев охнуть. А еще убил — сам того не ведая — женщину.

Огромен этот счет, и, наверно, можно было бы его приумножить. Собственно говоря, в какой-то мере из-за меня погиб отец Антуан, и можно было бы, подводя общий итог, прибавить к нему дела, совсем мне не известные либо выветрившиеся из памяти. Ведь я многое позабыл, к тому же бывают на войне такие минуты, когда невозможно разобраться, убил ты кого-нибудь или нет? То ли ты, то ли сосед, то ли, наконец, кто-то совсем чужой и незнакомый.

Итак, повторяю: велик мой счет, и тяжелое это бремя для одряхлевшей моей памяти. Но раз уж я так скулю и сетую на судьбу людей, которых время и обстоятельства вынуждали убивать, то должен также признаться, что порою убийство приносит радость. Жестокую, мимолетную, зато самую неподдельную. Радость убийства. Радость уничтожения. Радость, порождаемую огнем, кровью и пожарами. Я вкусил ее с избытком. Я начал приобщаться к ней с шестнадцати лет. Осваивал ее прилежно и преуспел в этой науке. По той же, в частности, причине, выйдя из крепости, я чуть было не сделался преемником Сурыся — того самого, что убивал извозчиков, чтобы торговать их лошадьми, и прожил недолго, но весело. Ведь я превосходно умел убивать. Не хватало лишь знакомств среди барышников, и в лошадях я не разбирался. А что, кроме этого, могло помешать? Я очень был близок к такой карьере. Ибо совсем уже не верил, что жизнь моя когда-нибудь наладится. Не доверял я тогда поучениям артиллериста Ковалика. И на всю страну смотрел в ту пору снизу, со дна, как на сплошную свалку, куда люди Начальника вышвырнули еще одну ничтожную кость — меня самого со всем моим невежеством, темнотой и одиночеством.

Спасли меня тогда Костецкие. Проведенные у них годы незабываемы. Они дали мне приют и семейное тепло. Благодаря им я учился думать и понимать, как отличают добро от зла. Благодаря Марианне уразумел, что может быть горячая и верная любовь между мужчиной

и женщиной. И, наконец, с помощью старика Костецкого овладел азами замечательного искусства — печатного дела. Я уже готовился сдавать экзамен на подмастерье, то есть уже был близок и готов к тому, чтобы начать личную, семейную и по-умному оседлую жизнь. Мы ждали этого все трое: Марианна, ее отец и я.

Однако судьба так круто повернула, что я не успел и не смог вполне возместить им свой огромный долг. Но все-таки скажу: я вправе верить, что известную, а может и немалую, часть счета мне удалось покрыть. Хотелось бы верить, что они узнали об этом, что в конце концов все четверо — даже Марианна — поняли, что я для них сделал. Но, в сущности, могу лишь надеяться, верить или предполагать. Никто из них мне этого уже не подтвердит, а Шимонек, который позднее и в военные годы дружил со старшим из братьев Костецких, ничего и никогда не слышал обо мне, а также и о дочери Марианны.

Несмотря ни на что, я вправе предполагать, что оплатил часть долга. Если они не узнали об этом — не моя вина. Но я все-таки возместил долг! В тот самый день, когда по собственной воле и охоте вызвался ликвидировать провокатора, предателя и шпика, из-за которого в те годы много хороших людей отправилось не только за решетку, но прямиком в сырую землю. Я спрашиваю себя: зачем я это сделал? Первый ответ довольно правдив и прост: потому что младший из братьев Костецких — Роман — вызвался на это дело и открыл мне свою тайну. Хвалился ею, говорил о ней как о гулянке или обычной драке. А я видел, что он ничего не знает и не понимает. Глядел на него, слушал его мальчишескую похвальбу, и мне становилось все страшнее. Он был моложе меня на четыре года и две войны. Едва разбирался в оружии и понятия не имел о том, как убивают.

В тот вечер я убежал из дому. Допоздна шатался по городу. Заглянул в один, затем во второй кабак. Из третьего удрал от каких-то девок. А потом не мог до утра сомкнуть глаз. Наконец, все-таки принял решение: к вечеру следующего дня мне удалось отыскать нужных людей из окружного комитета. Там обо мне уже кое-что слышали. Хоть я еще и не состоял в партии, но уже прошел проверку во время забастовок, а кроме того, несколько месяцев проработал в «технике», благо для выпуска листовок и воззваний не требовалось диплома подмастерья. Я знал, что мне начинали верить. За меня ручался сам старик Костецкий.

Я не знал этих людей — на встречу с ними меня привел в какую-то частную квартиру один из наших распространителей подпольной литературы, и едва я заикнулся о том деле, сразу же и очень строго они принялись допытываться, от кого и когда стало мне известно о плане ликвидации. Я поступил как и следовало: выдал простодушно и безмерно глупо разоткровенничавшегося Ромека. Сказал, что узнал об этом два дня назад и именно от него. Я был прав. Он не смел похваляться подобным заданием даже перед самым закадычным другом. По их лицам я понял, что он свое получит, но несмотря на это, засыпал парня без всякого сожаления. А разговор между тем продолжался в повышенных тонах, поскольку я не скрыл своего мнения о подборе добровольцев для такой работы. Работы необходимой, крайне трудной и достаточно грязной. Тогда один из них спросил, стуча кулаком по столу, нет ли у меня в кармане кандидатуры получше? Но он ошибся. Мы оба ошиблись. Раньше я полагал, что достаточно только засыпать Ромека, а дальше все пойдет своим чередом: экзамен на подмастерье, свадьба с Марианной, возможно, даже первенец. Поэтому решил также, что, выдавая Ромека, сам рисковать головой не стану. Но раздался этот вопрос. Я молчал, и они перестали глядеть на меня, а тот, что был постарше, что-то зашептал другому. О моем присутст-

вии словно забыли. И вот тогда, полный гнева и сознания собственной вины, наперекор себе, но по своей воле я сказал им, что если они способны оказать такое доверие — пусть берут меня.

Довольно долго пришлось мне ждать в другой комнате, пока они советовались, а потом столь же долго отвечать на великое множество вопросов. Я не скрывал ничего — кроме того, что касалось Ромека. Не хотелось перед кем-либо разыгрывать роль милосердного Иисусика. Впрочем, я искренне ненавидел его в тот час. Ведь из-за его треклятой мальчишеской болтовни я нарушал плавное течение своей жизни, шел навстречу чужой или собственной смерти, самого себя лишал покоя. Но под конец прозвучал также вопрос: почему сам вызываюсь на эту нужную, но черную работу? Я сказал правду — не всю, но чистую: дескать, виновен и вины еще не стер со своей, допустим, совести. Скверно, сказал я, искупать одну смерть другой. Но таково уж мое решение, и пусть они удовлетворятся подобным объяснением. Напомнил также, что прошел две войны, хорошо разбираюсь в оружии и вряд ли растеряюсь, попав в сложный переплет. Добавил, наконец, последний аргумент — фальшивый, но необходимый: что одинок и, если даже попадусь, не подведу родню. Впрочем, я имел право лгать, поскольку ничего не знал о беременности Марианны, а в глазах полиции и суда мог сойти за приблудного и бродягу, за грехи которого Костецкие не ответчики.

Спустя три дня мне показали того человека. Установили также время и место операции. Продумали довольно толково все детали. Обсудили и план побега на тот случай, если меня опознают. Наконец, я получил оружие. Маленький бельгийский браунинг, калибр 6,35— для стрельбы в упор лучше не придумаешь. Я знал эту изящную игрушку, когда-то чистил точно такую же покойнику Адамецу. В заключение мне велели еще раз хорошенько подумать, причем уже окончательно. Я ответил, пожалуй, чересчур громко и весело, что это уже позади — больше думать не о чем.

В случае провала мне предлагалось бежать в Гданьск, откуда с помощью надежных людей меня должны были переправить (скорей всего по морю) за границу. Если же это не удастся — молчать на следствии, а на процессе обвинять своих обвинителей.

Выслушав эти добрые советы, я ответил, что наверняка смогу вести себя достойно и с пользой для дела. И очень хотелось самому в это верить, да только не получалось.

Но вот в ушах моих зазвучали иные слова и названия: Гданьск, Гамбург, Осло, Ленинград. Я словно очнулся, передо мной распахивался совершенно новый мир. Меня пугали и принятое решение, и тот момент, когда придется стрелять. Однако нового мира я не боялся. Меня начали манить далекие края и неизвестность.

Но это длилось лишь мгновение, и я уже снова отчетливо представлял, как меня, промазавшего, хватает полиция и как я затем, следуя по стопам отца, подымаюсь на эшафот. Я возвращался домой, но шел туда уже с предчувствием близкого несчастья, которое сам себе уготовил.

Марианна сразу почуяла, что стряслась какая-то беда. Я не умел, не научился ей лгать. Ни словом не обмолвился о Ромеке, но во всем остальном признался. Мы были дома одни. Я хотел скрасить недобрую весть наиболее хамским способом — попросту затащить ее в постель. Но тут она бросилась на меня с кулаками, крича и рыдая. Проклинала свою любовь ко мне и всю нашу совместную жизнь. Она кричала: «Боже мой, за что?» Кричала: «Будь проклят!» Отталкивала меня, плакала долго, плакала все тише, словно над могилой. И лишь тут я

понял, что, в сущности, произошло между нами, но понял, конечно, далеко не все. Не мог даже предположить, что она ждет ребенка. А Марианна уже знала об этом. Для нее в тот вечер я был только виноватым. Ведь я не мог никому из них сказать: получайте, возвращаю вам долг, отдаю вам брата и сына. Я мог только сбежать из дому. Вернулся я под утро. Она ждала меня уже спокойная, встретила словами: «Все будет хорошо». Так было целых два дня, и любил я ее сильнее, чем когда-либо. Марианна попросила, чтобы я рассказал все отцу. И я сделал это в последний вечер. Он и слова не проронил в ответ, а она все уверяла себя и меня, что мы будем вместе, всегда вместе. Она повторяла: я знаю, что так будет, и твердила эту святую ложь до последней минуты расставания.

Я не мог уснуть в тот вечер. Начал бояться. Боялся, что не смогу этого сделать. Мною овладел беспросветный, давящий страх. Ведь я собрался возместить долг, а взвалил на себя новый.

Из-под двери кухни, где спал старик Костецкий, пробивался свет, я пошел к нему и попросил закурить. Он дал мне табаку, нарезал для двоих хлеба, намазал смальцем, налил в фаянсовые кружки чаю. Пригласил жестом к столу. Видимо, он уже готовился ко сну — был в одной рубахе и полотняных кальсонах с завязками у щиколоток. Час или два назад, когда я сказал ему, что меня ждет завтра, он повел себя так, словно не расслышал моих слов. Однако теперь решил потолковать со мной.

Я не в силах точно воспроизвести наш разговор. Помнится, он рассказывал о своей жизни, о смерти жены, о детстве Марианны и горячей ее любви ко мне. Впервые дал мне понять, что с самого начала знал, что было между нами, и решил предоставить во всем разобраться нам самим. Он говорил неторопливо и тихо, обстоятельно прожевывал хлеб и запивал чаем. От него веяло мудрой печалью и мудрым спокойствием. Под конец спросил, очень ли мне страшно. Я мог честно ответить, что теперь страх меня уже покинул и завтра я, пожалуй, смогу совершить то, что обязан и что необходимо сделать. И даже радуюсь новому испытанию и жду минуты, когда, наконец, загляну в гнусные глаза того подлого человека.

— Радуешься? — спросил он.

Я не ответил.

— Радуешься? — повторил старик Костецкий, опуская глаза.— Ты лжешь мне, сынок. Ты только сейчас перестал бояться. Завтра тебя, вполне возможно, порадует то, что ты обязан сделать и сделаешь. Но помни: ты взялся за дело очень важное, необходимое и тяжелое. И я предостерегаю тебя: не радуйся тому, что свершишь. Не ищи в этом радости.

Хорошо помню, как голос его в эту минуту внезапно дрогнул. Пристыженный, я молча смотрел, как он утирает глаза.

— Ты берешь на себя,— продолжал он,— очень много, и я должен похвалить тебя за это великими словами, но мне трудно: мы полюбили тебя. Потерять тебя будет для нас тяжелым ударом.

Я ничего не смог ему ответить на эти слова. Только поцеловал по-сыновьи обе его руки. Потом мы еще долго сидели у стола. Он читал, а я в последний раз разобрал и смазал свой бельгийский браунинг. Работу эту закончил на рассвете и тихонько встал из-за стола, чтобы не потревожить старика Костецкого, который уснул над своей книгой.

День рождался чистый и теплый. А я, вернувшись в прихожую, где стояла в нише моя койка, нашел там Марианну. Она шепнула: все будет хорошо. Никогда она не была со мной такой ласковой, шептала самые нежные наши слова.

Я уснул прежде, чем она ушла. Спал тяжело, без сновидений. Проснулся рано и лежал, прислушиваясь, как Марианна готовит и раздает завтраки, как свистит Ромек и напевает, бреясь, старик. Я притворялся спящим, пока не ушли мужчины. Не хотел с ними прощаться. Загадал: если не попрощаюсь — наверняка вернусь к ним. И глаза открыл лишь после того, как Марианна села возле койки. Она сказала, что любит меня. Была спокойна и исполнена доброты. Запрещала мне о чем-либо говорить. Все будет хорошо, шептала.

Потом мы только молчали. На случай побега мне требовался чемодан со всем необходимым. Марианна его приготовила — заштопала носки, проверила рубашки, выгладила их, положила вместе с ними отцовский свитер, свой теплый шарф, куртку Ромека и внушительный сверток с харчами. Я наблюдал за ней, старательно бреясь, и не отказывался ни от каких подарков. Думал, отправится ли со мной и в какую дорогу этот фанерный чемоданчик, обвязанный для прочности бечевкой и обшитый холстом. Я повторял про себя гданьский адрес, по которому должен был явиться, пересчитал деньги, просмотрел документы с чужим именем, фамилией и местом рождения.

Марианна на минуту вышла за табаком и папиросной бумагой. Вернулась с покрасневшими веками, а я спрашивал себя, попаду ли по этому адресу к надежным людям, увижу ли море, которого никогда не видывал, и выплыву ли на его просторы — молодой, свободный и неуязвимый. Между тем я здорово проголодался, и Марианна накормила меня обильным горячим завтраком. По своему обыкновению, она напевала в кухне народные песни и танцевальные мелодии. Помнится, пела «Рамону».

День был такой же, как и рассвет: чистый и солнечный. Близился полдень, когда мне предстояло выйти из дома. Я надел праздничный костюм, белую рубашку, даже шляпу и галстук. Так мне велели, и был в этом свой смысл. Наконец, мы с Марианной поцеловались. Я объяснил, на какой вокзал и перрон она должна привезти мой чемоданчик и как долго там ждать. Она еще раз шепнула: все будет хорошо, и закрыла за мной дверь.

В час дня я был на месте — в боковой, довольно тихой улочке, где жил тот человек. Было установлено, что по субботам он возвращается домой к обеду между часом и двумя. А была именно суббота, погожая и веселая, в самый раз развлечься на Белянах, поплясать на свежем воздухе. Я ждал в подворотне, из которой хорошо просматривался конец улицы, откуда должны были дать условный знак: идет. Когда кто-нибудь входил в подворотню, я завязывал шнурки либо поправлял букет цветов, с которым якобы поджидал девицу. Так я и сказал дворничихе, которая вышла осведомиться, что делаю и кого жду в ее подворотне. Ответ ей понравился, но пришлось выйти на тротуар. Оставалось всего несколько минут до половины второго, когда я вдруг похолодел: меня миновал, а потом остановился, словно бы для разговора, мастер из моей типографии, человек безобидный, но любивший пунктуальность и послушание. Он спросил, почему я не был на работе, и даже повысил голос, поскольку я смотрел не на него, а в конец улицы. Там показалась пролетка, а следом — тележка точильщика, который подавал мне знак, выкрикивая: «Ножи-ножницы точить, ножи-но-о-жницы! Кому? Кому?»

Надо было решать: то ли отказаться от задания из-за этого, будь он проклят, знакомого человека, то ли, вопреки всему (уже наверняка обрекая себя на бегство) отбросить букет и достать из кармана свою игрушечку.

Оставались считанные секунды. Я буркнул какое-то бранное слово ошеломленному моей дерзостью мастеру. Отстранил его, ибо

уже заметил того человека, выходившего из-за угла на другой стороне улицы. Точильщик продолжал тянуть свою песенку. Мимо меня скользнула стайка хихикающих гимназисток. Из пролетки с трудом вылез седой тучный ксендз с усталым лицом. Извозчик о чем-то спросил его, облобызал ему руку. И, опережая того человека, шла в мою сторону красивая девушка с огромным лохматым псом на поводке.

Время мое истекло. Я сунул цветы потерявшему дар речи мастеру и, сняв шляпу и нежно улыбаясь, устремился прямо к девушке с собакой, чтобы не вызвать у того никаких подозрений. Девушка смотрела на меня сердито, с брезгливым недоумением. Она замедлила шаг. Это было очень кстати. Тот уже глядел на меня, но без всякой настороженности. Собака зарычала под намордником. Я же думал только об одном и, разминувшись с девушкой, выхватил из кармана свою игрушку.

Он слишком поздно понял, зачем я перед ним остановился. Даже не успел отпрянуть. Крикнул: «Нет!» после первого выстрела. После второго только охнул и свалился. Третий выстрел я произвел всего с нескольких сантиметров, и от удара пули голова его подпрыгнула. Лоб у него был в поту и крови. Руки разрывали на груди сюртук. Послышался крик девушки и ошалелый лай собаки, извозчичья лошадь, испуганная стрельбой, рванулась с места в карьер, гимназистки на той стороне улицы пронзительно завизжали, над моей головой захлопали окна, кто-то (уж не знаю — мужчина или женщина) завопил: «Полиция! Полиция!» Я хотел для пущей уверенности выстрелить еще раз и сделал это с огромной жестокой радостью в сердце, а потом вдруг испугался и его смерти, и своего будущего, и страх обратил меня в бегство. Оттолкнув чьи-то руки, я бросился в глубь улочки, к воротам проходного двора. Где-то вдали уже раздавались первые полицейские свистки.

Я юркнул в идущие вдоль вала сады. Удирал уже увереннее, к счастью, никому не попадаясь на глаза, и спустя несколько минут, показавшихся бесконечными, вышел на людную и совершенно спокойную улицу. Я запыхался, губы у меня пересохли, лицо пылало. Чтобы перевести дух, зашел в тихий, почти совсем пустой костел. Опустился на скамью, закрыл лицо руками. В глубине висело огромное и роскошное распятье: все в золоте, вплоть до гвоздей и терниев, увесистая капля крови — и та была щедро позолочена. Я внимательно присмотрелся к нему. Обошел храм степенным шагом богомольного, но любознательного туриста. Даже бросил несколько монеток в кружку для пожертвований на неимущих. Я не торопился, хотя, вполне возможно, жизнь моя висела на волоске,— такой вариант тоже не исключался.

Выйдя из костела, я сразу же наткнулся на элегантную пролетку. Нанял ее. Велел везти себя окольным путем к Гданьскому вокзалу. По дороге остановил извозчика возле лавчонки, торговавшей табаком и газетами. Прошел через нее в заднюю комнату. Там уже сидел бродячий точильщик и второй секретарь окружкома. Точильщик утверждал, что узнавший меня мастер выкрикивал мою фамилию. Все было ясно. Секретарь коротко поблагодарил несколько напыщенными словами за выполнение столь ответственного задания и велел немедленно уехать ближайшим же идущим на север поездом.

Я сдал оружие, еще раз проверил паспорт, документы и вернулся в пролетку с толстенной буржуйской сигарой в пасти и пачкой газет на дорогу. Бежать предстояло вторым классом, тоже по-буржуйски и с форсом. Потому и на вокзал ехал, вольготно развалясь, дымя сигарой, с ленивой и самодовольной усмешкой на физиономии.

Я еще не думал о Марианне, дожидавшейся на платформе с убогим чемоданчиком. Думал о далеком путешествии, которое уже начиналось; радовало меня и даже забавляло воспоминание о проклятом шпике, которого страх лишил всякой возможности сопротивляться, о покатившей опрометью пролетке и смазливой истеричке, которая металась вместе со своей разъяренной собакой.

Передо мной раскрывался огромный мир, море, которого я еще не видывал, и все тогда представлялось простым и ясным. Через год выпишу к себе в дальние края Марианну, и даже если на нашу долю выпадут опасности и невзгоды, ведь мы будем преодолевать их вместе. Я колыхался на мягком сиденье и упругих рессорах, ловил девичьи улыбки, помахал рукой какой-то блондинке.

Только подойдя к Марианне, дожидавшейся на второй платформе, я понял, как бессовестно лгу и ей, и себе, полагая, что вскоре мы будем вместе, всегда вместе. И до чего же стало горько. Свернул я с перрона к кассам, выправил себе билет до Гданьска, а ей до четвертой или пятой станции. Она надела свое лучшее платье в горошек и даже одолжила у кого-то шляпку и перчатки. Конечно, это было разумно: изображать влюбленных молодоженов, парочку, поглощенную только собой, ни о чем не думающую. Холщовый чехол скрывал убожество обвязанного веревкой фанерного чемоданчика. Кондуктор застал нас целующимися уже в пути. Многозначительно кашлянул, улыбнулся, пожелал счастливого путешествия. Вот тогда-то, после его ухода, Марианна не выдержала и вдруг разрыдалась. Я не знал, что сказать, как утешать, и, пожалуй, был такой момент, когда я с некоторым облегчением подумал, что вскоре мы расстанемся, а время успокоит ее печаль и мою совесть.

Я смертельно устал, был пуст внутри, словно гипсовая кукла. Уснул на ее плече. На прощанье Марианна сказала: «Мы снова будем вместе».

Она стояла, освещенная солнцем, посреди платформы маленькой станции и махала белым платком. Фигурка ее уплывала все дальше, терялась и меркла,— и, собственно, больше я о Марианне ничего не узнаю, кроме того, что родила она внебрачную дочь по имени Янина, а впоследствии, уже под фамилией своего законного супруга, жила долго и счастливо, считаясь образцовой патриоткой, а также хорошей женой и матерью.

Я же два дня спустя стал помощником кочегара на шведском грузовом пароходе, и так начались мои долгие скитания по морям. В Гамбурге, куда меня направили, я никого не нашел по адресу, который было велено заучить. Не исключено, что я его неправильно запомнил, теперь, по совести, в этом уже трудно разобраться.

Пароход под названием «Дора» был суденышком небольшим, но чистым и работящим. Мне повезло: я понравился боцману Иохансону, который, жестоко коверкая польские слова, сказал мне, что мать его была полькой. Благодаря ему я попал на борт, а потом заговорили (внизу и даже на мостике), что я принес «Доре» счастье. Сразу же в Гамбурге подвернулся очень выгодный фрахт в Аден, а в Адене ждали всего два дня подходящего предложения в Лиссабон. Возможно, мне следовало бы остаться в Гамбурге и любой ценой установить связь с подпольщиками. Получилось иначе. Время шло. Иохансон строго, но добросовестно учил меня морскому делу, я постепенно забывал о суше и о том, что меня с нею связывало. И в конце концов вышло так, что я целых полгода не давал о себе знать Марианне. Тогда я оправдывал это необходимостью, даже своей обязанностью соблюдать осторожность. Ныне думаю, что подобное объяснение со

держало изрядную долю лжи. Еще не вполне осознанной, но непростительной.

Марианне я дал о себе знать только после нового, 1924 года. Послал ей роскошную, красочную открытку с видом Амстердама, на которой черкнул несколько слов, хоть и в кабаке, но заливаясь искренними слезами. Впрочем, не помню, точно ли я ее отправил. А если и отправил, то откуда-нибудь издалека и словно в пустоту и мрак.

Из Амстердама пошли в Средиземное море, и как будто тогда выдалась довольно продолжительная стоянка в Валенсии.

То были дни большого карнавала 1924 года. Иохансон водил меня по прекрасному городу. Мы не смыкали глаз несколько суток подряд. И очень долго и радостно вспоминали потом этот город. Тот самый город, куда я прибыл двадцать лет спустя прямо из африканского лепрозория, чтобы начать свою первую войну с Гитлером.

Подходил к концу сентябрь 1936 года. А следовательно, было мне тридцать шесть лет и восемь месяцев — почти тридцать семь. Я уже считал себя человеком бывалым. Все-таки годы надрывался, словно каторжный, в трюмах таких плавучих гробов, как «Клеопатра» и «Белая звезда». Прошел через муки долины Киапу и страдания Милосердия Господня. Казалось мне также, что я достаточно хорошо познал войну и военные невзгоды.

Однако я заблуждался. Пришлось познавать войну заново и с азов, на земле и на воде, не подвластную человеческому разуму и отшибающую память. Истинно говорю: только обе эти войны с Гитлером — и та, названная испанской, и та, которую именуют второй мировой,— научили меня многому такому, о чем я и понятия не имел. А ведь я лично повидал не так уж много, действительно немного. Разве что раньше других начал узнавать, что готовят и собираются навязать человечеству фашисты, Oberkommando des Heeres, вдохновители, сообщники и солдаты Гитлера.

Начал я свое образование в конце октября 1936 года в Мадриде.

Да, это был Мадрид, город, превращенный бомбардировочной авиацией в кровавое месиво. Я смотрел на него: днем все было серо от перемолотой в прах известки, камня и кирпича, от пепла и дыма. Все было серо: глаза мужчин, волосы женщин, трупы детей. Лишь по вечерам Мадрид мерцал красновато-бурым светом, точно действующий вулкан. И с интервалами в три-четыре часа появлялась новая волна бомбардировщиков: немецкие «юнкерсы» и «дорнье» под прикрытием «хейнкелей», итальянские «капрони». В среднем от сорока до пятидесяти машин в каждой волне.

Признаюсь: прежде я не знал, что значит бояться неба. Не знал, в сущности, что сулит даже небольшая бомба, которую летчик сбрасывает на цель, собственно, не являющуюся никакой реальной целью. Ибо сбрасывает ее вслепую на город, кажущийся с высоты безлюдным,— и тогда целью оказывается все что угодно: храм, зверинец, школа, бордель, лечебница, цирк, музей либо приют, а обычно и чаще всего — человеческое жилище, дом, которому фугаска пробивает перекрытие за перекрытием, выворачивает внутренности, выставляя напоказ рассеченные комнаты, обуглившуюся мебель, обои, путаницу арматуры, труб и балок, пока, наконец, не добирается до подвалов, где прячутся безмолвные или вопящие, погруженные в молитву или пьяные люди, кого она либо милостиво убивает сразу, в первую же минуту, либо заставляет медленно умирать под грудой щебня, который не успевают разгрести вовремя. Я видел это и желал убивать, не испытывая в те минуты ничего, кроме всепоглощающей ненависти к этому рокотавшему моторами небу, которое терзало город и его обитателей. Повторяю: я приучался к этому впервые. Ни на од-

ной из своих войн, ни в одной из адских переделок я не знавал чувства ненависти столь беспощадного и тщетного, ненависти ко всему, что рождалось и дозревало на этом испанском полигоне надвигающейся мировой войны.

А ведь это было только начало. Подходил к концу третий месяц фашистского мятежа против республики. Для меня же завершался войны месяц первый.

Сначала меня хорошенько прощупали — кто таков и что за доброволец. Объяснять пришлось долго, но мне поверили. И сразу отправили в Альбасете, где формировались Internationales[1]. Однако на полное укомплектование этой части времени не хватило. Четыре колонны четырех генералов двигались на Мадрид, и Франко громогласно обещал, что возьмет столицу 7 ноября, в день девятнадцатой годовщины Октябрьской революции. Поэтому прямо из учебного лагеря в Альбасете наши едва укомплектованные роты и формирующиеся батальоны начали перебрасывать на самые горячие участки — на рубежи реки Мансанарес, в королевские сады и Университетский городок.

Я попал в роту, называвшуюся балканской, которой командовал австриец, комиссаром был украинец и в которой говорили еще на восьми языках. Штурм города, терзаемого бомбовыми ударами, продолжался с первых дней ноября. Сначала мы защищали Французский мост, где личный состав роты сократился на одну пятую. Потом в Каса дель Кампо отстаивали каждый метр земли, и мне уже не счесть и не вспомнить потерь. Помню: на нас шли цепи африканского легиона, двигались танки, в течение пяти минут погибли пять человек, пытавшиеся остановить их динамитными патронами, а потом под наши радостные возгласы эти машины горели вместе с экипажами.

С шестого ноября мы занимали оборону в Университетском городке среди опустевших клиник, белых зданий и великолепных садов. В течение десяти дней не давали себя оттеснить, на одиннадцатый отбили несколько больничных корпусов и взяли в плен двадцать восемь человек. Не знаю, долго ли они прожили, но, пожалуй, дольше, чем те из нас, кто попадал в руки противника. Наверняка дольше — и думаю, что кто-либо из их числа, возможно, вспоминает и поныне те дни, о которых я говорю. Франко четырежды менял сроки взятия города и, наконец, замолчал, словно выдохся. На нашем же участке несколько дней царило относительное затишье.

И вот с 14 ноября мы стояли лицом к лицу: часть Пятого полка испанских коммунистов, а также три роты Internationales и батальон рифов, которые сменили основательно потрепанный полк африканских легионеров.

Под вечер семнадцатого числа рифы предприняли еще одну попытку прорвать нашу оборону. В районе анатомического театра дошло до рукопашной, заработали штыки и ножи, и все-таки мы даже малость продвинулись вперед.

С этого вечера стало по-настоящему тихо. Мы были так близко друг от друга, что «юнкерсы» нас не трогали, боясь поразить своих. У нас воцарилось спокойствие, и тогда же появился на ничейной земле сухонький старичок, седой, как одряхлевший тюлень. Копошился он совсем не прячась, был словно подслеповат и тугоух. Рифы постращали его несколькими выстрелами. Не испугался. Не услыхал также, как мы его окликали. К вечеру скрылся в подвале анатомического театра.

По-прежнему было тихо.

[1] Интернациональные бригады *(исп.)*.

Девятнадцатого на рассвете с той стороны раздались всего два или три выстрела. Мы молчали. Я тогда стоял на посту неподалеку от анатомического театра. Утро было туманное, и вдруг впереди, прямо перед собой, я увидел этого старика; он волок за ноги труп Вичо, болгарина из Бургаса, молодого и красивого парня из тех, что одинаково хорошо поют и пляшут — и воюют.

Я свалил старика на землю, ударил. Он почти не защищался, не понимая, за что его бьют. Брызгая слюной и тряся головой, старик принялся объяснять, что он просто сторож при анатомическом театре и собирает в морг трупы тех, что помоложе да помускулистей, чтобы в анатомичке (когда там возобновится работа) имелся достаточный запас тел, необходимых для науки и занятий со студентами. Я прогнал его, и мы занялись похоронами Вичо.

У Вичо было спокойное лицо и аккуратная ранка над переносицей. Это был уже седьмой наш боец, получивший пулю в голову на протяжении этих последних дней затишья.

Схоронили двадцатилетнего болгарина рядом с другими во дворе терапевтической клиники, у великолепной цветочной клумбы.

А потом я попросил у капитана Гульды отпуск на сутки. Хотелось попросту побыть в тылу, потолковать с людьми, выпить винца побольше, чем это было возможно на передовой. Хотел повидать семейство Хименесов, но вернулся я в роту, никого не повидав и отпуска полностью не использовав. Снова явился к капитану Гульде с особой просьбой. Я напомнил ему о том, что было уже известно всем и о чем он знал не хуже нас. За последние спокойные дни погибло семеро наших от прямого попадания в голову. А это могло означать лишь одно: между нами и противником, на ничейной земле, промышляет какой-то незаурядный охотник. Я попросил, чтобы мне разрешили заняться этим одиночным стрелком.

Капитан Гульда, обалдевший от усталости и бессонных ночей, пожал плечами в ответ. Повторил общеизвестную сказочку о том, что, во-первых, любой риф бьет ласточку влет, а во-вторых, любой риф, отправляющийся на встречу со смертельным врагом, берет с собой лишь один патрон, поскольку больше ему для расправы не требуется.

Мне не хотелось это слушать. Я прервал капитана, повторил просьбу. Он рассердился, закричал, что не допустит никаких ковбойских выходок. Я гнул свое. И поддержал меня в конце концов комиссар Максименко, украинец из-под Тернополя, человек угрюмый, но мудрый. Капитан уступил.

В ту ночь — с 19 на 20 ноября — не было ночи над Мадридом. С семи часов вечера продолжался непрерывный налет тяжелых машин, и от стоящего над городом зарева у нас на передовой было светло, как в полнолунье. При таком свете легко было стать мишенью даже для среднего стрелка.

Капитан Гульда назвал меня идиотом. Конечно, не без основания. Если снайпер дежурил и ночью — если, к примеру, их было двое и они подменяли друг друга, то я наверняка отправлялся на собственные похороны. Однако те семеро погибли в дневное время. Я долго прикидывал: где, в каком месте следует искать этого стрелка, охотившегося за нашими головами. Советовался с чехом Гавличеком и с Максименко, мы сошлись на том, что он, возможно, укрывается в развалинах сожженной медицинской библиотеки. На чердаке. Там прежде всего следовало его искать.

Так мне снова довелось отправиться на охоту, как некогда в Африке за ловцом душ. За спиной у нас непрерывно пылал и гудел Мадрид. Максименко дал мне свой маузер. Взял я и нож. Избавился от

шинели. Крепко затянул поясной ремень, сбросил тяжелые башмаки, а Гавличек из Будейовиц одарил меня бесценным сокровищем: парой очень толстых носков. Я решил выйти только под утро, в час самого крепкого сна — в ту пору, когда часовые не слишком бдительны и когда поднимается туман.

Минула полночь. Начался двадцатый день ноября. Гудело небо над центром и северными кварталами Мадрида.

В 1958 — нет, в 1959 году Тадеку велели сделать на уроке истории доклад об испанской войне. Подобрать необходимую литературу было сложно, и я вызвался помочь, чтобы парню не мотаться по библиотекам. Тадек обрадовался, написал для меня на бумажке множество вопросов и улизнул в город. А я уселся с этим листком. Выведенные его аккуратным почерком вопросы следовали один за другим. Его интересовали: день возникновения в Испании правительства Народного фронта, механизм и масштабы вмешательства Германии и Италии, фазы преобразования фронтов, даты и характеристики основных битв, тактика и стратегия Коммунистического Интернационала в годы испанской войны, роль Лиги Наций и помощь Советского Союза борющейся республике.

Я сидел над этой бумажкой потрясенный и дурак дураком. А когда Тадек вернулся, только развел руками. Он глядел на меня и, насколько помнится, куда больше, чем я, сгорал от стыда. Попытался помочь мне — сказал, что нет смысла мучиться нам обоим, тем более что ему обещали нужные книги в библиотеке.

Работал я тогда в вечерней смене, возвращался довольно поздно. Видел, как он просиживает ночи над докладом о войне, на которой я пробыл свыше двух лет и все же не смог бы своим рассказом о ней занять одного школьного урока, а значит,— поведать о делах первостепенных, важнейших, главных. Я терялся в них. Не помнил дат, видел, кроме самого себя, лишь разрозненные боевые эпизоды, обрывки фактов, смерть отдельных людей, мелкие фрагменты великих событий. За то, что я видел и помнил, Тадек получил бы, скорей всего, «неудовлетворительно». Но тогда он был уже одним из лучших в классе — умел работать и старался. Поэтому и получил за свой доклад высшую оценку, а также пятерку в четверти. И лишь много дней спустя все-таки попросил рассказать ему что-нибудь об испанской войне. Что-нибудь, как он тогда выразился, настоящее.

О чем я должен был ему рассказывать? Конечно, не о девушках, убитых под Питресом. Так о чем же? О резне на Гвадалквивире? О мадридцах, погибших от бомбежки? Битве под Уэской, от одних воспоминаний о которой веет смертью и поражением. О том, как франкисты умели убивать пленных и как на улицах Мадрида расправлялись со шпионами и с теми, кого принимали за шпионов?

В тот вечер мне не хотелось рассказывать. Возвращалась давняя ненависть, и я не смог бы объяснить ему значение ее и силу. Я обещал рассказать в другой раз. Однако Тадек заупрямился. Присел к столу, подпер кулаками подбородок — ждал.

Я подошел к окну. За стеклом моросил мелкий дождь последних дней ноября 1959 года. Над городом, над Варшавой стояло спокойное зарево осеннего вечера. В конце концов я завел речь о том, как Франко многократно переносил сроки взятия Мадрида, как посылал воевать против испанского народа немцев, итальянцев, наемный легион, мавров и рифов.

Не клеился у меня в этот вечер рассказ. Чувствовал я себя не наилучшим образом, побаливало сердце. С языка срывались слова незначительные, стертые и захватанные. Я говорил: мы сражались, защищали, отражали, овладевали. Угнетала меня дистанция между

той незабвенной правдой и немощностью моих слов и фраз. Я прекрасно видел: Тадек почти сразу же заскучал и пожалел о своей просьбе. И только при слове «рифы» встрепенулся. Тадек не знал, что это такое, не сталкивался с ними, даже трудясь над докладом. А мне припомнились те три спокойных дня в Университетском городке, смерть Вичо и других ребят и, наконец, история моего ночного поиска.

— Рифы, что это такое? — спросил Тадек.

Сначала я рассказал ему то, что сам слышал на политзанятиях в нашей роте, которые некогда проводил комиссар Максименко. Я объяснил: рифы — это берберское племя, обитающее в горах Эр-Риф на севере Марокко и прославившееся своими героическими восстаниями, особенно последним, самым крупным восстанием в 1921—1926 годах, которое жестоко, огнем и железом было подавлено испанцами и французами.

— Это довольно простое дело, сынок,— повторял я давнишние слова Максименко.— Представь себе: те же самые генералы, которые в двадцать шестом году рубили рифам головы и разоряли их деревни, как муравейники, через десять лет пришли к ним и сказали: ступайте теперь на Мадрид, там засели ваши убийцы. И нет ничего удивительного в том, что рифы пошли. И бывали очень жестоки. Понимаешь?

Он утвердительно кивнул головой, а я вернулся в Университетский городок, к тем нескольким дням передышки, которые стоили нам шести человек, получивших пулю в лоб,— Вичо был седьмым, вспомнил старика из анатомического театра и, наконец, тот предрассветный час, когда отправлялся на обстоятельно продуманную, трезво и спокойно спланированную охоту. При этом объяснил Тадеку, что не питал ненависти к тому человеку.

Он прибыл в Мадрид по своей воле, но прежде всего по незнанию, понятия не имея о людях, которых ему предстояло убивать. А убивать он умел. За три дня прямым попаданием в голову убил семерых — двух чехов, словака, грека, двух сербов и болгарина.

Он сам не ведал, что творит. И погибнуть он должен был именно из-за этого неведения. Я хотел его убить. Требовал от себя этого.

Теперь Тадеуш смотрел на меня с величайшим вниманием.

Я заговорил о той минуте, когда очутился всего в ста метрах от сгоревшей библиотеки, небольшого дома с закопченными стенами, где должен был найти того, кого искал. Моросил мелкий дождик, над городом вновь зачастили взрывы, и земля дрожала без устали. Время шло, но я не ощущал — быстро или медленно. Зарево над Мадридом постепенно меняло оттенки. С востока уже давно пробивались первые лучи мглистого рассвета. А я еще был очень далеко от цели. Все полз в тени невысокой стены, огораживающей несколько небольших павильонов. Было тихо. Вдруг со стороны противника послышался какой-то разговор, и гортанный голос необычайно отчетливо разнесся по земле. Я замер, уверенный, что меня обнаружили и что я окажусь восьмым в общем итоге последних трех дней. Но потом сообразил: этот короткий обмен фразами прозвучал слишком мирно для того, о чем я думал и чего боялся.

Передо мной была плоская, длинная полоса ничейной земли. Несколько кустов, цветочные клумбы, газоны парка, обглоданные огнем обрубки стволов. Увидев все это, я решил отступить. Я попросту просчитался — преодолеть открытое пространство было невозможно. До сих пор я продвигался с величайшей осторожностью и очень медленно. И мерз все сильнее. Куртка на спине промокла от дождя, а руки одеревенели настолько, что мало было бы от них толку, если бы сей-

час пришлось хвататься за маузер или за нож. Была, значит, и такая минута, когда я решил вернуться и даже повернул вспять. Но тут понял, что уже преодоленные восемьдесят или сто метров столь же оголены и смертельно опасны, как и те, которые еще впереди. Поэтому я снова повернул к библиотеке и сказал себе, что вряд ли уцелею, следовательно, не стоит чрезмерно искушать судьбу и заботиться о том, когда погибну — за минуту до рассвета или когда уже рассветет. Я говорил с самим собой тихо или шепотом. Говорил: иди вперед, пошевеливайся, трусливая падаль, продвигайся дальше — вон до той клумбы, до того дерева, еще дальше, иди, hijo de puta, ходячий покойник!

А ведь я боялся. Боялся и шел вперед. Заставлял себя вспоминать развороченный затылок Бранко Водича, рану Вичо, разбитый лоб Иоланиса. Продолжал бояться, но уже начинал все яростнее ненавидеть охотника — убийцу и палача. Дождь полил пуще, входил в силу. В его нарастающем шуме можно было двигаться быстрее. Кроме того, я хорошо знал, что в этот ночной час и под таким дождем самый бдительный часовой трет глаза, нахохливается, перестает думать, прислушиваться и вести наблюдение. Длится это обычно минуты три-четыре. Но и этого достаточно, если ты готов на все, если ненависть начинает вытеснять страх и собственная жизнь представляется куда менее важной, чем то, чего хочешь добиться любой ценой, а значит, и ценой жизни.

Я был уже в двадцати, в десяти метрах от библиотеки. На востоке явно развиднялось, красно-бурое свечение горящего города бледнело, словно выцветало. Еще минута, полминуты — и вот я уже на пороге библиотеки. И тут сердце подкатило прямо к горлу. В сероватом отблеске восходящего дня я различил в вестибюле среди щебенки и пепла четко протоптанную тропу. Сунул руку за пазуху, чтобы отогреть пальцы. Над моей головой подала голос какая-то птица, и лишь добрую минуту спустя я понял, что это вовсе не птица, а песенка дождя в пробитом желобе.

Руки согрелись. Я вытащил из-под куртки маузер, снял с предохранителя. Осторожно ступил на проторенную в вестибюле тропу.

Она привела меня в первый зал. Я остановился на пороге и увидел человека. Он спал сидя, привалясь к стене, охраняемый от дождя уцелевшей плитой перекрытия. К противоположной стене была приставлена высокая лестница — значит, по ней он и взбирался на чердак библиотеки, к небольшому оконцу, из которого видел нас достаточно хорошо, чтобы убивать одиночными выстрелами — меткими выстрелами: в переносицу, в висок, в лоб, в затылок.

Я смотрел на него. Он был молод, пожалуй, очень молод. Лицо смуглое и худощавое, с резкими чертами, очень усталое. Возле него стояла прислоненная к стене винтовка, лежали подсумки. Дышал он спокойно, спал сном тяжелым и глубоким, хотя поздний ноябрьский рассвет уже сменялся утром.

Дождь прекратился. Поднимался туман. Наплывал с недалекой реки. Бомбежка стихла, но откуда-то со стороны Мансанареса отозвалась артиллерия. Я знал: это последние секунды. Больше ждать невозможно.

— Ты убил его? — спросил Тадек.

Спросил таким голосом и с таким выражением лица, что мне пришлось ответить: «Нет». Затем торопливо и нескладно я принялся объяснять ему, что ошибся,— этот человек не спал, а, очевидно, был тяжело ранен и умер от потери крови.

Тадек встал из-за стола, поблагодарил, принялся готовить ужин, и мы уже больше никогда не возвращались к этому уснувшему бер-

беру, который прибыл в Мадрид, чтобы убивать неизвестно кого и умереть неизвестно за что.

В эту ночь я долго не мог уснуть. Болело сердце. Я думал о берберском пареньке, который должен был умереть.

Из-за его смуглого, резко очерченного лица выглядывали другие. Мать допытывалась: «Кем был тот парнишка?» Я слышал крик Семинариста. Старик Костецкий говорил, что я взваливаю на себя тяжелое бремя. Собик ревел: вперед! Я видел смерть Варецкого и того всадника, у которого из-под мужской шапки вывалились длинные женские косы. Снова я был безоружен перед лицом собственной памяти. Вернулся ко мне также сентябрь тридцать девятого года.

Пришлось подняться и принять лекарство. Чтобы не потревожить Тадека, я вышел на кухню. Там было довольно прохладно. Я надел свитер, потом набросил на плечи пальто. Поставил чайник, отрезал кусок хлеба, намазал смальцем. Попытался раскрыть одну книгу, потом другую. Не получалось. Ничего не получалось: слова и фразы не вязались воедино. Все, что читал когда-то внимательно и жадно, сейчас расплывалось в бессмысленное и невнятное бормотанье.

Солдаты Гитлера говорили со мной на старом немецком жаргоне: Kriegsdeutsch! Артиллерия била с суши и моря, рвалась шрапнель, гранаты, мины, строчили станковые и ручные пулеметы, автоматы. Оглушительное и жестокое бормотанье войны обрушивалось на нас, на заросли Оксивья и овраги Бабьего Яра, а мы, их защитники, все чаще умолкали и затихали — раненые, убитые и еще живые, теряющие рубеж за рубежом, вынуждаемые не наступать, а защищаться, не держать оборону, а отчаиваться.

16 сентября 1939 года к четырем часам у нас оставалось уже только по десяти, по пяти, по одному патрону. Цепь черных мундиров надвигалась спокойным шагом и уже в открытую, наконец, раздался последний выстрел на этом участке: наш полковник вскинул руку к правому виску, и кровь хлынула на заросшую щеку, на воротник, на эполет.

Потом настал восемнадцатый день сентября. Я оттонял воспоминания о нем, но ничем не смог заслониться от эсэсовцев, построившихся длинной шеренгой на фоне соснового бора, в лучах заходящего солнца, словно позировавших для большой семейной фотографии. Мне хотелось, очень хотелось оттолкнуть от себя эту далекую, но отчетливую картину. Но мною овладевали вялость и бессилие. Я видел тот чистый и прозрачный день сентября сквозь страницы книг, стены домов, сквозь ночь, и дождь, и гигантскую толщу минувшего времени.

Утро восемнадцатого сентября было пронизано солнечным светом и прозрачно, как вода горного родника. Впервые за много дней мы услыхали в ветвях птичьи голоса.

Еще перед выходом из главного лагеря для военнопленных нам сообщили, что нашу группу направляют ремонтировать дороги и мосты, за что мы будем получать дополнительное питание и даже вознаграждение. Я побывал в Испании и уже кое-что знал о черных мундирах. Но все же вызвался добровольно в эту рабочую команду. Я был в гражданской одежде. Так проще бежать, скрыться среди обыкновенных людей, обмануть погоню.

Нас пригнали в какой-то сосновый лес, к обычному проселку, развороченному гусеницами танков. На дороге поджидал грузовик с шанцевым инструментом. Мы полагали, что нам прикажут заравнивать рытвины. Ждали команды. Некоторые начали оглядываться по сторонам. Мы получили лопаты и заступы — это могло заменить оружие. Но охрана была многочисленной, и расставили ее толково. По-

том подъехали на автомобиле три развеселых офицерика. Двое были в черном, третий, тоже молоденький, в мундире вермахта, но скроенном с особым шиком. У него явно заплетались ноги, тем не менее он держал в левом глазу монокль с такой прусской надменностью, словно был по крайней мере полковником, а не заурядным обер-лейтенантом.

Послышались первые приказы. Привезенный офицерами переводчик лающим голосом объявил, что прежде чем приступать к ремонту дороги, надлежит вырыть вдоль нее яму глубиной в два метра и такой же ширины, а длиной в шестьдесят метров.

— Для кого эта могила? — громко спросил молодой парень и тут же свалился от удара прикладом. Охрана завопила: los, los, schnell, schnell, los! Я помог подняться полуоглушенному парню с разбитым лбом. Был уверен, что теперь мне достанется, но ударивший его охранник уже только посмеивался над нами, словно над пьяной парочкой, ибо поволоклись мы с грехом пополам, зигзагами.

— Вот увидите,— сказал парень,— они нас перебьют. Сами себе могилу роем.

— Позвольте! — возмутился высокий и тучный господин, уже воткнувший лопату в землю.— Мы пленные. А пленных не убивают.

— Nicht sprechen![1] — крикнул стоявший поблизости охранник, молоденький парнишка с веселым лицом. Я ждал его удара. Дал бы сдачи лопатой. Наверняка поднялась бы стрельба и все бы погибли — раньше, но хоть в бою. Однако немец, словно разгадав мои мысли, отступил на несколько шагов, и его веселое лицо еще пуще засияло.

Мы взялись за работу. Она не спорилась. Вдоль рядов понесся шепот: «Для кого эта могила?» Однако кое-кто отвечал:

— Мы пленные, пленных не убивают.

Возле офицерской машины разгорелась какая-то веселая и дружеская перепалка. Сверкнула на солнце пузатая бутылка. Солнце поднималось все выше над тяжелой хвоей и золотыми стволами сосен. Переводчик объявил, что чем раньше мы завершим работу, тем быстрее получим горячий и обильный обед. Один из офицеров весело нам улыбнулся, закивал головой.

— Alles gutes! — крикнул он.— Все хорошо.

Солнце все тяжелее давило на наши затылки. Но мы работали все быстрее и старательней. Я уже кое-что слыхал в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах о черных мундирах. Но эта война только начиналась. С противниками мы сталкивались лишь в бою. Никто еще не знал, как поведет себя немецкий солдат на оккупированной земле.

Когда подвезли кухню, я сам поверил, что пленных не убивают. Офицерики, совсем развеселившиеся от коньяка, проверили нашу работу и, хотя яма была готова только наполовину, разрешили повару раздавать пищу.

— Ordnung ist Ordnung[2],— засмеялся толстяк, утверждавший, что пленных не убивают.

— Ja, ja! — ответил весело один из офицеров.— Ordnung ist Ordnung und Ordnung muss sein![3]

Пища была вкусная. Просто великолепная. К тому же кормили до отвала. Офицеры, устроившись в тени, выпивали, закусывали аккуратно и элегантно. Мы же расселись на краю рва, свесив в него ноги. Охрана тоже присела. Наступила минута разрядки, разговари-

---

[1] Не разговаривать! *(Нем.)*

[2] Порядок есть порядок *(нем.)*.

[3] Да, да! Порядок есть порядок, и должен быть порядок! *(Нем.)*.

вать не запрещали. Над ямой послышались даже веселые голоса, смех. Розданные поваром котелки мы надраили до блеска песочком, белым прибалтийским песком. Он принимал их с добродушной улыбкой. К кухне были припряжены две рослые выхоленные лошади с лоснящимися боками. Повар снял с их морд торбы с овсом, ласково похлопал, пояснил, что он из баварских крестьян, которые умеют ухаживать за лошадьми гораздо лучше, чем тупые пруссаки или легкомысленные пьяницы с берегов Рейна. Он уехал, весело покрикивая: «Bis zum Abendessen!»[1], попыхивая трубкой с длинным чубуком, и еще помахал нам издали рукой.

И тут кончилась идиллия. Офицер в черном принялся кричать на охрану. Натравил ее на нас, точно свору, спущенную с поводков. Я передал по цепочке команду: не торопиться, изображать спешку, но не спешить, тянуть до вечера или до ночи. Я помышлял о побеге. Однако немногие поняли мой замысел, и наверняка подавляющее большинство и мысли не допускало о бегстве под огнем автоматов. Повар, уезжая, крикнул: «Bis zum Abendessen». Многие были заинтересованы в ужине, сытном, как и обед, и поэтому торопились закончить работу еще до наступления темноты. Тут нечему удивляться, и я не вправе обвинять их в нелепой наивности или дурацкой слепоте. Я сам не понимал, к чему клонится дело и какова цель нашей работы. Все это невозможно было предусмотреть.

Мы закончили свою работу около шести, когда с моря потянуло предвечерней свежестью. Ров был чисто вылизан и словно отутюжен. Офицеры, шагая на негнущихся ногах, проследовали вдоль канавы. Им нравилось, они качали головами, один даже похлопал нескольких пленных по плечу. Обер-лейтенант с моноклем объявил зычным голосом: «Ganz gut gemacht». Остальные повторяли эти слова: «Ganz gut gemacht, sehr gut gemacht!»[2]. Затем приказали сложить в кузов грузовика лопаты и заступы. Все это было выполнено четко. Мы начали поглядывать в ту сторону, откуда должна была подъехать кухня. Высокий толстяк смеялся во весь голос: «Что я говорил? Народ цивилизованный, пленные это пленные, я знаю закон, господа».

Раненый парень почувствовал себя плохо. Я подошел к солдату, спросил, можно ли больному прилечь на минуту. Тот улыбнулся вполне любезно и ответил, что только после поверки,— и тут же по приказу одного из офицеров охрана принялась выстраивать нас на поверку: по росту, спиной к сосновому бору, лицом к заходящему солнцу.

Мы выстроились довольно быстро и слаженно. По команде рассчитались, как на самой обычной поверке. Позади нас был ров, выкопанный в сыпучей песчаной почве, но, несмотря на это, аккуратно подчищенный, с ровным дном и отглаженными стенками, охрана выстроилась против нас. Из леса доносился предвечерний гомон птиц. Один из офицеров — пожалуй, самый молодой — проверил через переводчика, совпадают ли данные вечерней поверки с данными утренней: никто не умер, не заболел и не сбежал. Офицер объявил нам через переводчика благодарность за добросовестное выполнение приказа. При этом улыбался и долго покачивал головой. Обер-лейтенант вермахта подошел к нему, вынул из глаза монокль, о чем-то спросил, понизив голос и с той подчеркнутой серьезностью, какую обычно напускают на себя пьяные. Тот утвердительно кивнул. Потом они предложили друг другу сигареты.

Заходящее солнце светило нам прямо в лицо. На его фоне сол-

---

[1] До ужина! *(Нем.)*

[2] Хорошо сделано, очень хорошо сделано! *(Нем.)*

даты из охраны казались черными силуэтами. Мы не видели ни их глаз, ни лиц.

— Und wo ist unseres Abendessen?[1] — выкрикнул веселый голос в конце шеренги.

— Wa-a-as?! — рявкнул офицер.— Was?

Воцарилась зловещая тишина.

А потом прозвучала команда:

— Feuer! — И еще раз: — Feuer![2]

Я пережил тогда свою собственную смерть. Не представляю, каким образом одному мне удалось вернуться к живым.

Историю эту я знаю только с чужих слов. А случилось так потому, что после расстрела из соседней деревни пригнали мужчин засыпать ров, уже в темноте и при уменьшенной охране. Кто-то услыхал мои стоны. Тайком от немцев меня извлекли из ямы. Потом я целый месяц провалялся у очень хороших, говоривших на тяжеловесном, незнакомом мне кошубском наречии людей, которые спасли мне жизнь и о которых я знаю лишь то, что уже в 1941 году всю эту семью вывезли в Освенцим. Это была довольно молодая супружеская пара, мальчик лет десяти и его сестренка, чуть постарше.

Уже много лет упорно и тщетно разыскиваю я следы своих убийц.

Массовое захоронение обнаружили еще до моего возвращения на родину. Между тем поныне не удалось установить, какая часть и по чьему приказу свершила черное дело, отняв жизнь у двухсот человек. Известно было одно, что это сделали эсэсовцы Эберхардта. И ничего более.

Я неоднократно наведывался в Комиссию по расследованию гитлеровских преступлений. Дважды стенографировали мои показания— в 1947 и в 1955 годах. Три отпуска подряд я потратил на поиски свидетелей расстрела. Нашел двух мужчин, которые закапывали наш ров. Но никто из них не знал, какая часть учинила расправу, а тем более не могли они знать фамилии офицеров, которые (так мне кажется, вернее, я убежден) исключительно по своей воле и ради собственного развлечения во время веселой попойки велели своим людям погожим сентябрьским днем убить двести пленных.

После почти двадцатилетних поисков я знаю о них столько же, сколько знал в восемнадцатый день сентября тридцать девятого года. Все они были очень молоды, упитанны и элегантны, а также веселы. Сегодня я, пожалуй, не узнал бы их в лицо. Не знаю, живы ли они или война отплатила им за нас. Хочу верить, что так именно и случилось. Но мне кажется, что они живы. Возможно, жив только один, возможно, двое.

Я редко думаю о них. Но всякий раз это воспоминание ложится невыносимо тяжелым камнем на душу.

Однажды был у меня любопытный разговор с сотрудником Комиссии по расследованию. Он, видимо, в тот день плохо себя чувствовал, словно задыхался, лицо его блестело от пота.

Когда я спросил о своем деле, он встал из-за стола, заваленного папками, подошел ко мне.

— Уважаемый,— проговорил он сердито.— Я помню: вас интересуют двести пленных, которые расстреляны в районе Оксивья восемнадцатого сентября. Верно?

— Да,— подтвердил я.

— Уважаемый,— продолжал он.— У меня тут тысяча фамилий,

[1] А где наш ужин? *(Нем.)*

[2] Огонь! *(Нем.)*

две тысячи, три тысячи. Не жертв. Преступников, убийц, палачей — называйте их как хотите. Тех, которые убивали тысячи. Не тысячи, а десятки тысяч. Послушайте,— он все повышал голос.— У меня здесь их дела, имена, адреса. У меня сотни свидетелей их преступлений. И что? Ничего! Ничего!

Это «ничего» он уже выкрикнул.

Я молчал. Не находил и слов для ответа. Он вытер лоб, закурил сигарету, развел руками.

— Посудите сами,— произнес он уже безразличным голосом и очень устало.— Где я найду этих ваших... которые расстреляли двести человек... если невозможно добраться до всех тех десятков тысяч, чьи имена и адреса установлены, которые живут по ту сторону angenehm und gemütlich [1], служат, получают пенсию, носят ордена? Уважаемый, поймите!

Я вышел в коридор, он догнал меня уже возле лестницы.

— Не сердитесь,— попросил он.— Я скверно себя чувствую. Не сердитесь.

— Я вовсе не сержусь,— сказал я учтиво.

Мы пожали друг другу руки. Он велел зайти через некоторое время. Я согласился. И потом посещал Комиссию всего три или четыре раза. Принимал меня уже новый сотрудник. О том, другом, мне не хотелось спрашивать. Наконец, я сам сказал себе: «Хватит!» — только настоятельно просил, чтобы меня вызвали, если что-нибудь прояснится относительно двухсот пленных, которых, как правило, не убивают. Спокойный молодой человек обещал учесть мою просьбу, и с тех пор я жду. Жду, зная, что напрасное это ожидание. Что же касается воспоминаний о том дне, то они оживают все реже, но с той же остротой и силой. Порой из-за них я восстаю против собственной слабости. Ибо охватывает меня бессилие перед лицом жестокости этого мира, и возвращаются ко мне эти лица и голоса — я вижу улыбку Лори, глаза Марианны, смерть Варецкого и спящего молодого рифа, обступает меня неразбериха дел и событий, сквозь которые я брел, изнемогая от усталости,— и снова я смотрю на золотые стволы сосен, слышу команду: «Feuer! Feuer!». И тогда я пью. Чаще всего в одиночестве и без всякой пользы.

Тадеуш, который неоднократно слышал о моих напрасных поисках и видел, каким я возвращаюсь из Комиссии, кому я часто рассказывал о том далеком дне моей смерти, подсказал мне мысль, не лишенную смысла. Он сказал — и это было вполне логично,— что те трое офицеров, тогда еще очень молодые и носившие невысокие чины, со временем, видимо, продвинулись по службе, приобрели вес и вошли в доверие к начальству и что развлечение, которое они устроили себе восемнадцатого сентября, наверняка не было единственным и последним. А значит (продолжал он), следует предполагать, что росли их звания и возможности, что им поручали все более крупные задания и поэтому если за пять лет войны они не погибли, то наверняка по своим делам угодили в списки преступников, и, возможно, тот из них, кого покарало правосудие, ощутил, как ему перехватывает горло намыленная веревка.

Вполне возможно. Да, я не исключаю такого варианта. Но чужда мне и какая-либо уверенность. Знаю только, что я один из тех миллионов, кому ничего не известно о том, свершилось ли справедливое возмездие. И ведь речь идет не о какой-то исключительности моего дела. Знаю, что за годы последней войны многим довелось пройти через собственную смерть. Я неоднократно набирал в типографии для

[1] В довольстве и сытости *(нем.)*.

газет и книг доподлинные истории, к которым мог бы добавить ту — свою, похожую на них как две капли воды, столь же грозную в воспоминаниях, сколь бесцветную и плоскую, когда она облекается в слова.

Минуло свыше четверти века с того момента, когда кто-то в нашей шеренге воскликнул веселым голосом: «Und wo ist unseres Abendessen?» — в ответ на что раздалась команда: «Feuer!». Но мне часто видится тот парень двадцати с небольшим лет от роду, в черном мундире, фуражке, сдвинутой на затылок, с обыкновенным человеческим лицом. Вот он встает на цыпочки, вскидывает правую руку и вопит почти мальчишеским голосом: «Feuer! Feuer!», а те двое начинают ему аплодировать, и аплодируют ему полсотни автоматов, пятьдесят молодых людей, беспрерывно нажимающих на спусковые крючки, хлещущих очередями по длинной шеренге еще ничего не понимающих, усталых от работы и довольных коротким отдыхом мужчин, один из которых только что спросил: «А где же наш ужин?», что многих рассмешило, прежде чем мы услыхали крик: «Огонь!» — прежде чем успели понять, что огонь этот летит к нам, обрушивается на нас, словно гром небесный и вселенский пожар.

Каждый раз воспоминание это вызывает чувство бессилия. И страха. Но не страха перед собственной смертью, через которую я прошел. Нет в этом страхе и ненависти. Постепенно забываются трое юнцов и пьяная, добродушная их веселость, с которой они велели нас убить. Я не требую возмездия и не думаю, чтобы напился от радости, если бы получил уведомление, где фигурировали бы номер части, фамилии и нынешние адреса убийц. Ибо страх охватывает меня именно оттого, что я могу встретиться с тремя мужчинами в расцвете сил — одинокий и единственный свидетель их преступления, до смешного беззащитный перед лицом именитых нюрнбергских или мюнхенских адвокатов, ничего не значащий свидетель совершенно незначительного (по сравнению с другими) события, отгороженного стеной времени, присыпанного пеплом лет.

Страх просыпается, когда думаю, что люди эти живут и никто из них не предъявил самому себе счета за тот день. А значит, живут спокойно. Отринув всю скверну прошлого, оставив себе лишь отрадные его дни. Так проходит время. Один, другой, третий отмечает свое пятидесятилетие sehr gemütlich und angenehm, und sehr, sehr lustig[1] и очень, очень по-человечески — в кругу многочисленного семейства, в достатке, почти не ведая повседневных забот. А иногда они предаются воспоминаниям о великих днях на съездах ветеранов, при орденах, под сенью знамен. Звучат лозунги и речи, фанфары и духовой оркестр, и дружно постукивают кружки о дубовые столы в такт незабвенным боевым песням, которым уже обучены дети и которые необходимо разучить с внуками.

Впрочем, я виню не их непосредственно и не на них указую. Но спрашиваю у себя и у них: кто уготовил им такую судьбу? Наделил их военной молодостью, веселой жестокостью и умением беспощадно наслаждаться убийством. И кто впоследствии преподнес спокойную и благополучную зрелость, разумный образ жизни, leben und leben lassen[2] и раз в год фанфары, марши и песни в старинных погребах под дубовыми сводами. Да, не их самих обвиняю я, хотя имею на это право самое бесспорное: право убитого. Хоть это и правда, что я выжил, но, в сущности, по-прежнему принадлежу к тем двумстам плен-

[1] В сытости и довольстве, и очень, очень весело *(нем.)*.
[2] Жить и давать жизнь другим *(нем.)*.

ным, которые были расстреляны неизвестным подразделением из корпуса Эберхардта в восемнадцатый день сентября 1939 года.

Сейчас мне шестьдесят шесть и десять месяцев — без малого шестьдесят семь. Жил я долго, порой счастливо. И на сей счет высказал почти все три года назад, в одной из аллей кладбища на Повонзках, над гробом своего ровесника Теофиля Шимонека.

Немного нас было на этой последней встрече: вдова, старшая дочь, несколько родственников, друзей и товарищей. С земли тянуло холодной сыростью. С неба обрушивался высушенный морозом ветер, и люди, совсем окоченевшие, сердитые и несчастные, едва слушали, как я увязаю над этим гробом в напыщенных и скучных словах, столько раз говоренных, никем до конца не дослушанных. Но я все-таки не уступал, не отрывая глаз от иззябших лиц, и говорил, говорил, что вся его жизнь была прямой магистралью... что была она исполнена надежды и добросовестного труда, что жил ты, Теофиль, долго и счастливо, поскольку...

Поскольку мы оба заслуживали таких слов. Не мы одни, но и мы тоже — он и я. Что из того, что произносил я нелепые фразы, что не мог выразиться точнее? И, наконец, что из того, что не такой уж продолжительный и не такой уж безоблачный жизненный путь Шимонека отнюдь не был прям, а являл собой неимоверную мешанину, усложненную переплетением страха и мужества, падений и взлетов, глупости и стремления понять, одержимой верности, неотвязных опасений и упоения победами? Не раз и не десять задавались мы вопросом, не напрасно ли многие годы своей жизни не желали знать иных прав, кроме права на упрямую, страстную, постоянно возрождающуюся веру в ту систему очеловечивания человечества, истоками которой были немецкая классическая философия и учение английских экономистов, наши и чужие восстания, тюрьмы, эшафоты, битвы за нашу и вашу свободу, труды двух великих мыслителей, идеи и борьба Ульянова, залпы в Университетском городке и затем, затем — все радости и беды, страхи и всплески отваги и все те годы, которых никто не имеет права отбросить и которых мне нельзя было замалчивать также и здесь, над гробом Теофиля, в шуме черных елей и обнаженных берез, ибо мы прожили их как могли, честно определяя цену и цель человеческой жизни.

Я увязал тогда в напыщенных словах, теряя концы и начала фраз, повторяясь все чаще и безнадежней, чтобы, наконец, произнести заключительную фразу о том, что жил он долго и счастливо,— чего уже никто не слушал и не услышал, кроме Тадека, который отворачивался от меня и стискивал зубы от стыда. Так было три года назад.

А в нынешнем году, когда по традиции мы отправились вместе с Люцией на могилу Теофиля, чтобы в последний день поминовения усопших зажечь несколько плошек и возложить веночки из бессмертников, Тадек спросил меня, хорошо ли я помню свою речь, произнесенную над этой скромной могилой. Мы отошли в сторонку, чтобы Люция по своему обыкновению могла поплакать о муже, жалобно, но умиротворенно. Я ответил Тадеку, что помню, и тогда он, не дожидаясь дальнейших моих слов, произнес отчетливо, что все-таки понял, о чем я тогда думал и чего не сумел выразить своими словами. Он посмотрел на меня и дважды утвердительно кивнул.

Тогда — вопреки нашим обычаям — я обнял его за плечи и прижал к себе.

ВЭНЬ И-ДО

Перевод с китайского ГЕННАДИЯ ЯРОСЛАВЦЕВА

Палитра жизни

Я полагал, что жизнь —
Бумажный лист бесцветный,
Но на листе цвета
Все больше мне заметны:

Зеленый пособил
Развитью моему,
Дал красный сердцу пыл,
Направленность уму;
Цвет синий — целомудрие внушал,
Цвет розовый — надеждой окрылял,
А верности учила желтизна —
О, как она в палитре сей важна!
Познал и серый цвет я — цвет печали,—
Его разводов не было вначале...
О смерти возвестит мне черный цвет —
Его пока что на бумаге нет.

И что ж, бесцветный лист?
Нет, красок пестрота!
Так полюбил я жизнь,
Любя ее цвета.

Снег

Бесчисленное множество цветов,
Пушистых, легких, нежно-шелковистых,
Ночь тихо-тихо сбросила с небес,
Из них к утру соткала покрывало,
Накрыла мир, истерзанный, усталый,
Крыш рыбью чешую похоронила,
Поверх оставив только синь дымков.

Вы, вьющиеся синие дымки,
С душой поэта окрыленной схожи:
Она из тесной оболочки тела
Стремится ввысь, в небесные чертоги.

И все живое, что во мгле ночной
Среди деревьев пряталось, дрожало,
Покуда злая вьюга мир топтала,—
Вдруг,
Белое увидев покрывало,
Восторженно кричит:
«Конец войне!
Зима, поняв тщету своих атак,
Сама вдруг белый выбросила флаг!»

Видение

Мхи, сорняки
Или зелень пушистая злаков?
Или зеленая рябь застилает мой взор?
Долго в окошке вагонном
Пейзаж одинаков:
Сонный, зеленый
Плывет-наплывает простор...

Это хлеба —
Неоглядное море Страданий,
А над волнами, на шее, длиннющей, как жердь,
Вдруг голова
Со всклокоченными волосами —
Стайка густых тополей,
Заслоняющих смерть...

За тополями
Под солнцем иссохшие руки
Вертят колодезный ворот — священен их труд!
Струйки живительной влаги —
Даянье за муки.
Всех, кто отмучился, лег —
Тополя стерегут.

Лёссовый холмик
Под тощими кронами спрятан,
Душ отдыхающих вечен и сладок покой.
Вот за святые труды
И бесценная плата:
Нет ни тревоги,
Ни боли тебе никакой!..

Осенние краски

Сальное дерево розовым стало,
Вся хризантема в цвету,

Слышу я: дикие гуси вспорхнули,
Звонко кричат на лету!..

Как чудодейственный меч из Бинчжоу [1].
Я отточил мой стих.

Им по земле провожу, срезая
Осени красоту!

Лу Ю [2]

Быстрых вод виноградно-бордовый поток
Золотистой рябью сверкает;
Совершенство резное, кленовый листок
Кувыркается, плавно витает...
Не один — краснокрылый кружит хоровод
Над струями чешуйчатых вод!

Темно-бурые листья к зеленому мху
Льнут мясистой лапой медвежьей,
Суетливые белочки где-то вверху
Корм к зиме припасают свежий.
С ветром западным спорили долгую ночь
Покрасневшие листья каштана,
И от веток родных отрываются прочь,
Обретенной свободою пьяны;
Поутру, торопливо с каштаном простясь,
Улетают, смеясь и кружась.

Красноглазые голуби с пестрым крылом,
Серебристые, с пухом красивым,
Белоснежные,
С черным вороньим пером,
С изумрудным на спинках отливом —
На карниз опустились
и, там прикорнув,
Дремлют, сунув под крылышко клюв.

По вселенной живительный воздух разлит.
Ребятишек пестрая стая
Многоцветьем рубашек в глазах мельтешит;
Средь коричных деревьев мелькая,
Проступают цветистые пятна и краски...
То не рыбки ль, снующие в ряске?

Это мачты судов на реке Хуанпу [3]?
Нет,
в свинцовом дыму небосклона
Вижу я тополей облетевших толпу.

---

[1] Мечи и ножи, изготовлявшиеся в старинной области Бинчжоу (нынешняя провинция Шаньси), издавна считались лучшими в Китае.

[2] Лу Ю (1125—1210) — крупный поэт эпохи Сун в Китае. Вэнь И-до избирает эпиграфом его стихотворение «Осенние думы» (перевод И. Голубева).

[3] Хуанпу — приток реки Янцзы, служащий гаванью для судов, заходящих в шанхайский порт.

Лишь один, и поныне зеленый,
Подбоченясь по-княжески, гордо стоит,
Отраженный водой голубою.
Все глядит и глядит он в озерный нефрит,
Откровенно любуясь собою.
Чем не князь! Желтизна препоясала стан,
Подчеркнув и осанку, и сан.

Луч зари улыбнулся и —
озолотил
Мир, дремавший, как нищий в подвале.
Все двенадцать изгибов хрустальных перил
От улыбки луча заиграли.
В ветках акаций — желтое золото,
В гуще каштанов — красное золото,
А на березах — белое золото...
Желтые, красные, белые блики
Соединились в восторженном клике,
Захохотали.

Только это уже не деревья!..
Скорей —
Облака янтаря и агата,
Облака — предсказатели добрых вестей,
Разодетые ярко, богато.
Овевает их ветер, а солнечный свет
Осыпает дождями монет.

Не деревья, а башни растут из земли
И Запретного города [1] стены;
Над террасой терраса маячит вдали
Из майолики драгоценной;
На карнизах поют
колокольчиков-птиц
Серебристо звенящие хоры.
Не деревья —
здесь, праздничен и светлолиц,
Золотой Императорский город.
И бледнеет пред ним,
Как пред солнцем свеча,
Самого Лин Ян-гуна парча.

Буйство красок осенних... Природа творит
Огнетворною кистью великой:
Ни стеклянную розу
Notre-Dame de Paris
Ни ангелов fra Angelico [2],
Ни турецких ковров многоцветную нить
С этой сказкою не сравнить.

---

[1] Запретный (Императорский) город — комплекс дворцовых сооружений в центре Пекина, построенный в начале XV века, резиденция китайских императоров; кровли дворцов и башен Запретного города украшены золотисто-желтой глазурованной черепицей, ярко сверкающей на солнце.

[2] Фра Анджелико (прозвище Беато Анджелико, 1387—1455) — итальянский художник эпохи Возрождения.

Буйство красок осенних... Природа творит
Все неистовей — ярче и шире,
И желаньем несбыточным сердце горит —
Жить в ее романтическом мире.
Я хочу,
чтоб таких же расцветок халат
Мне Ткачиха на небе [1] соткала,
Чтобы радуга красок
ласкала мой взгляд
И об осени напоминала.
На халате носить?
Нет, и душу поить
Мне вином этих красок — отрада;
Апельсинам дано
То вино сохранить
И лиловым кистям винограда.
Где еще оно может храниться? —
Лишь в стихах Ли Шан-иня [2] и Китса,
Лишь в курильнице «Семь ароматов»,
Лишь в «Богеме» Джакомо Пуччини.

Как осенние эти деревья,
Жизнью красок я жил бы отныне!..

[1] Ткачиха на небе (Небесная ткачиха) — название созвездия; согласно народным легендам — дочь Небесного императора, которая живет на небе, недалеко от Млечного Пути, и ткет драгоценные небесные ткани сказочной красоты.

[2] Ли Шан-инь (813—858) — известный поэт эпохи Тан, золотого века китайской поэзии.

ДЖОН О'ХАРА

Дело Локвудов

РОМАН

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

КНИГА ПЕРВАЯ

По воскресеньям горожане, отправляясь на своих машинах за город, заезжали взглянуть на стену Джорджа Локвуда. Случалось, что издали они видели и самого Локвуда, который занимался тем же, чем и они. Он бывал там ежедневно и не пропустил ни одного дня с тех пор, как первая лопата вонзилась в землю.

Он никогда не заговаривал с рабочими, никогда не жаловался на их медлительность, никого не хвалил и ни к кому не обращался лично, хотя и знал почти всех. Бывали дни, когда он, приехав на стройку и окинув взглядом стену, тотчас отворачивался и возвращался к своей машине. Рабочие знали: сделано мало, хозяин недоволен. А бывало и так: приедет утром и останется; лишь в полдень шофер отвезет его домой пообедать, а потом привезет обратно и оставит на стройке до вечера. Когда это случалось, всем рабочим в конце дня выдавали по доллару. Никаких объяснений не требовалось — и так было ясно, что хозяин доволен. Иногда эти долларовые премии выплачивались шесть дней кряду, а иногда их не бывало по целым неделям.

Стену строили из кирпича. Два фута толщиной, восемь футов над уровнем земли. Поверх кирпичей предполагалось положить еще двухдюймовый слой бетона и в нем укрепить железные пики на расстоянии двенадцати дюймов друг от друга. Стена представляла собой сооружение порядочных размеров: она окружала тридцать акров земли.

Земля тут обрабатывалась постоянно с начала восемнадцатого столетия. Это был слегка отлогий возвышенный участок, прежде занятый под ферму Оскара Дитриха, а теперь ставший собственностью Джорджа Локвуда. Когда-то Дитрихи расчистили акров двадцать, а остальную территорию (на юге, в возвышенной части, на востоке и на западе) оставили под лесом. Земля там не считалась пригодной для посевов, поэтому ее использовали в последние десятилетия для выпаса голландских коров.

Джордж Локвуд строил стену в специально вырубленной лесной просеке, поэтому лес примыкал к ней с обеих сторон на юге,

востоке и западе. Джордж Локвуд распорядился обсадить деревьями также и переднюю, то есть северную, сторону участка, имея в виду окружить его сплошной стеной из леса и кирпича.

Тридцать акров земли — это было не все, чем владел Джордж Локвуд: он купил у Дитриха все двести акров да еще лес, расположенный к югу от фермы. Те, кто интересовался намерениями Джорджа Локвуда относительно фермы Дитриха, узнали о них прежде, чем стена была достроена: он продал голландских коров и сельскохозяйственный инвентарь и снес жилой дом, коровники и службы. Через месяц фермы Дитриха как не бывало. Усадьба, просуществовавшая более ста лет, исчезла за несколько недель. Некоторые считали, что грешно и стыдно так поступать с фермой, некоторые даже называли это преступлением, другие же говорили, что Оскар Дитрих, наверно, взял хорошую цену. Этот человек всегда знает, что делает. Он переехал в долину Лебанон и приобрел там новую ферму.

Вскоре после этого Джордж Локвуд нанял еще рабочих — эти занимались уже не возведением стены, а сносом старой изгороди Дитриха, камней, столбов с рельсовыми пасынками и проволоки. Время шло, и воскресные посетители видели своими глазами, как методически стираются последние следы старого хозяйства. И вот в одно из воскресений — это было в середине мая — они обнаружили, что стена полностью закончена, а проезд внутрь перекрыт высокими временными тесовыми воротами. В одну из створ была врезана дверь с американским замком и с надписью: «Вход воспрещен».

Все лето любопытные крутились вокруг владений Локвуда, но поскольку ворота оставались закрытыми, никто не видел того, что происходило за стеной, но все знали: Джордж Локвуд строит дом.

Никого из жителей Шведской Гавани, расположенной в двух милях к востоку от имения, не удивило решение Джорджа воздвигнуть высокую кирпичную стену с острыми пиками наверху. Что необычно для других, говорили они, то обычно для Джорджа. Они правильно угадали, что он начнет с сооружения стены: он не хотел, чтобы люди видели, какой дом он себе строит. Договор на строительство стены Локвуд заключил с подрядчиком из Шведской Гавани, а для строительства дома пригласил главного подрядчика из Хейгерстауна, штат Мэриленд, у которого были свои плотники и каменщики. Строить водопровод взялась фирма из города Рединга, электропроводку делала одна филадельфийская фирма, столярные работы внутри дома были заказаны итальянцам из Нью-Йорка, штукатурные работы, покраску и наклейку обоев производили мастера из Форт-Пенна, крышу взялась крыть артель из Гиббсвилла, планировкой сада занимался архитектор из Уэстбери (Лонг-Айленд), а подъездные дороги строила компания из Порт-Джонсона. Рабочих, которые жили в радиусе пятнадцати миль от стройки, ежедневно доставляли на грузовиках. Подрядчики, мастера и рабочие, приехавшие издалека, жили в гостиницах и пансионатах Гиббсвилла и Шведской Гавани. Договариваясь с субподрядчиками, главный подрядчик предупреждал: «Имейте в виду, что мистер Локвуд сам не вмешивается в чужие дела и не желает, чтоб в его дела совались другие. Когда дом будет готов, он хочет, чтобы местные жители по возможности держались подальше. Потому он и платит такие деньги, что хочет уединения и чтоб работа была первый сорт. Надо отдать ему справедливость, он не торгуется за каждый доллар. Когда я хочу оплатить сверхурочную работу...» Субподрядчики и рабочие, прибывшие уже после завершения строительства стены, быстро прикинули, во что она обошлась, и кое-кто из них пожалел, что не запросил более высокой платы за свою работу. Раз человек способен по-

тратить двадцать, тридцать тысяч на одну стену, то вряд ли он будет торговаться за несколько лишних сот долларов. Но не все субподрядчики рассуждали так. Кое-кто из них уже имел дело с богатыми людьми и знал, что богатый человек может пойти на большие расходы ради чего-то необыкновенного, но он знает, что ему нужно, и своего не упустит.

Вскоре эти люди убедились в том, что их догадки относительно Джорджа Локвуда были верны. Как и прежде, он бывал на стройке ежедневно, при любой погоде — в легкой летней шляпе, льняном полотняном костюме и с тростью, которая казалась лишней для человека его возраста. Ему было немногим более пятидесяти лет. Он прохаживался по территории стройки, лазил по лестницам и шатким настилам, отвечая на приветствия встречных кивком головы и не произнося ни слова, кроме «извините», если оказывался у кого-нибудь на пути. Он не покидал стройки даже в самую жаркую погоду — лишь время от времени подходил к бачку с водой и, отпив из общего ковша, обмахивался шляпой и вытирал тонким шелковым платком шею под воротничком. Он никогда не задерживался подолгу на одном месте, но на каждом из участков стройки бывал по нескольку раз в день. Ничто не ускользало от его внимания. Рабочие довольно быстро поняли, что если Джордж Локвуд зачастил на один и тот же участок, значит, он что-то заметил. И верно: на следующий день мастер участка обязательно заставлял что-нибудь переделать. Распоряжения мастерам поступали от субподрядчиков, а эти, в свою очередь, получали их от главного подрядчика. Главный подрядчик был единственным человеком, с которым Джордж Локвуд разговаривал о делах стройки.

У Роберта Брэкенриджа, главного подрядчика, был на территории стройки сарай, где помещались грубо сколоченный стол, несколько складных стульев, множество футляров с чертежами, огнетушители, аптечка, телефонный аппарат, походная кровать, охотничье ружье шестнадцатого калибра, несколько керосиновых ламп, дубовый шкафчик для бумаг, расписание поездов Пенсильванской железной дороги, календарь страховой компании, аппарат для охлаждения воды, доска, на которой висело множество ключей с номерками, и керосинка с двумя фитилями. Сарай этот был единственным местом, куда Джордж Локвуд заходил посидеть. Рабочие, которым случалось проходить мимо, слышали через занавешенные окна обрывки разговора, но ничего особенного не узнавали, кроме того, что Локвуд называл подрядчика Робертом и что он отлично разбирался в чертежах и в технической терминологии. Когда кого-нибудь из субподрядчиков вызывали для беседы, говорил уже только Роберт Брэкенридж, а Джордж Локвуд молча покуривал трубку или сигарету и одобрительно кивал головой.

Во время сильных дождей мастера и рабочие укрывались под парусиновым тентом; там же они завтракали, сидя на штабелях строительных материалов, боявшихся дождя. Рабочие, съехавшиеся из самых разных мест, редко общались между собою, разве что электрики с электриками и плотники с плотниками. Но всех их одинаково интриговала загадочная фигура того, кто оплачивал счета. Люди эти были мастерами своего дела, хорошо зарабатывали и вели себя независимо, с тем чувством спокойной гордости, какое испытывает американский мастеровой, умеющий сделать то, за что Джордж Локвуд платит деньги, но чего не умеет делать сам. Они ценили его за уважительное отношение к их труду и считали, что лучше работать у него, чем у тех, кто любит донимать рабочих дружескими разговорами и мелкими придирками. Им не потребовалось

много времени на то, чтобы безошибочно распознать в нем человека, который разбирается в строительном деле и знает цену мастерству, поэтому не так уж и важно, что они его не любили. Через несколько месяцев дом будет закончен, они уедут работать в другие места, но память о Джордже Локвуде останется. Они не забудут, что он хорошо им платил и не ущемлял их самолюбия; не забудут случай, когда он убил двух ядовитых змей своей тростью — той самой тростью, которая, как они полагали, была единственным признаком его хозяйского чванства; не забудут, как он однажды помог им, когда одного из каменщиков хватил солнечный удар и он свалился с лесов. Локвуд велел отнести его под навес, объяснил его товарищам, как массировать запястья и лодыжки пострадавшего, и, сходив к малярам за скипидаром, стал растирать ему затылок. Когда каменщик пришел в себя, Локвуд не дал ему встать, пока не приехал из Шведской Гавани врач и не проверил, нет ли у него сотрясения мозга и не повреждены ли кости. В те минуты никого из рабочих не удивило, что распоряжается именно Локвуд.

— Скипидар. В жизни такого не слыхал,— заметил один из них.— И откуда он все это знает?

— Он много чего знает,— отозвался другой.— Ему и Боб Брэкенридж не нужен. Скорее наоборот: он нужен Брэкенриджу.

Спустя два дня, когда каменщик вновь вышел на работу, Джордж Локвуд смотрел на него так, словно видел впервые в жизни, и быстро отвернулся, заметив, что тот хочет его поблагодарить.

В середине октября дом был закончен. Остались незавершенными только внутренние столярные работы, которыми занимались итальянцы из Нью-Йорка. Электрическое освещение и водопровод были в порядке, отопление тоже успешно выдержало испытание. Дом был готов для заселения, и Роберт Брэкенридж возвратился в Хейгерстаун с чеком в кармане.

Итальянцев было трое. Они плохо говорили по-английски и не общались с другими рабочими, разговаривавшими на английском языке или на верхненемецком диалекте и привыкшими свысока относиться к местным итальянцам. В Шведской Гавани итальянцев было немного, и использовались они главным образом на черных работах. Итальянские столяры, работавшие у Локвуда, носили под кожаными фартуками жилеты, брюки, шелковые рубашки, крахмальные воротнички и галстуки. Как только остальные рабочие разъехались, они перешли в комнату, предназначавшуюся для кабинета Джорджа Локвуда. И хотя они работали в доме одни, дверь комнаты всегда была на запоре — никого, кроме самого хозяина, итальянцы в нее не пускали.

Когда Брэкенридж и его рабочие уезжали, в этой комнате помещался большой камин, рядом с которым была большая дверь стенного шкафа. Брэкенридж предлагал для шкафа другое место, но Локвуд не согласился и настоял на своем. Теперь итальянцы сняли дверь, выпилили в шкафу пол и потолок и соорудили винтовую лестницу, которая начиналась в шкафу спальни Джорджа Локвуда— прямо над его кабинетом — и вела вниз, в подвал. Это позволяло Локвуду спускаться из спальни в подвал, минуя парадную и кухонную лестницы, и, если ему потребовалось бы, таким же манером переходить незаметно из спальни в кабинет. Стенной шкаф в спальне (Брэкенридж удивлялся его огромным размерам) теперь стал меньше, так как итальянцы перегородили его панелью. Эта панель, вставленная в пазы, могла быть поднята вверх, и тогда открывался доступ к потайной лестнице. Дверь шкафа в кабинете была заменена такой же панелью, выкрашенной в один цвет со стеной. Это была

по-прежнему дверь, только держалась она теперь на невидимых петлях и открывалась нажатием на пружину, скрытую под резной фигуркой. Дверь не могла открыться от случайного прикосновения или удара по фигурке: чтобы высвободить пружину, требовалось сначала повернуть эту фигурку как дверную ручку и потом с силой толкнуть вперед. Достаточно было нескольких капель машинного масла в год, чтобы механизм действовал исправно столько времени, сколько простоит дом; дом же, по расчетам Джорджа Локвуда, должен был простоять двести лет.

В подвале потайная лестница упиралась в скользящую панель, подобную той, что была в спальне. Как и в спальне, панель в подвале одновременно служила задней стенкой шкафа, который, согласно проекту, предназначался для хранения старой корреспонденции, оплаченных счетов, аннулированных чеков и прочих бумаг.

Наслушавшись вдоволь похвал своему искусству, положив в карман чеки, итальянцы дали обет молчания, перекрестились, весело попрощались с Джорджем Локвудом за руку и уехали обратно в Нью-Йорк. Теперь дом был уже почти готов для показа Джеральдине Локвуд.

Джордж Локвуд в последний раз — это было во второй половине дня в октябре 1926 года — окинул взглядом дом, гараж на четыре автомобиля, газон. В половине пятого он не спеша сел в свой маленький двухместный «паккард» и подъехал к железным воротам, заменявшим теперь тесовые. Диген, временный сторож из сыскного бюро, открыл ворота.

— Доброй ночи, мистер Локвуд. До утра.

— Нет, Диген, не до утра,— возразил Джордж Локвуд.— Завтра я буду спать. Все утро.

— Считаю это хорошим знаком. Что, все уже в порядке?

— Теперь слово за миссис Локвуд.

— Ну, что тут скажешь? Глаз радуется. В жизни никогда не видывал такого красивого здания. Вот дом так дом. Прямо дворец. Вы вправе гордиться, мистер Локвуд, истинное слово.

— Спасибо, Диген. Доброй ночи.

— Такое только в мечтах увидишь,— сказал Диген.— Еще раз доброй ночи, сэр.

Были уже сумерки, когда Джордж Локвуд подъехал к старому дому в Шведской Гавани, где он родился. Это было простое квадратное здание из красного кирпича, как-то неожиданно выраставшее посреди голого квадратного газона. Локвуд поставил машину в конюшне, где уже не держали лошадей, и, обогнув дом, вошел через парадную дверь.

На шум его шагов из кухни появилась Мэй Фриз.

— Какие новости, Мэй?

— Никаких, сэр. Никто не звонил, писем тоже не было.

— Значит, ничего не было.

— Только газеты. Куда вам подать чай?

— В кабинет. Не найдется ли у нас торта?

— Осталось немного бисквита, который вы ели вчера с мороженым.

— Вот и хорошо. Принесите мне бисквит вместо гренков.

— Бисквит вместо гренков с маслом?

— Да, Мэй. Бисквит вместо гренков с маслом. Сегодня я не хочу гренков с маслом. Буду есть вчерашний бисквит.

— Значит, бисквит,— сказала Мэй, уходя.

Джордж Локвуд поднялся к себе, вымыл лицо и руки, снял пиджак, надел вельветовый сюртук и старые лакированные туфли. Мэй

принесла на подносе чай и поставила перед ним на письменном столе.

— А почта-то все же была. Вот четыре письма,— сказала она.— Маргарет вынула их из ящика, пока я ходила на третий этаж. Могла бы по крайней мере сказать.

— Да уж, по крайней мере могла бы сказать,— согласился Локвуд.

— Бисквит-то почерствел немножко. Когда долго стоит, всегда черствеет.

— А я такой люблю. Не люблю, когда он клейкий.

— Постоит еще день — совсем испортится.

— А он не будет больше стоять. Я его сейчас съем.

— Как вы можете столько есть и не толстеть?

— Двигаюсь много. Все время занят.

— Это правда. Как новый дом?

— Готов. Поэтому я и ем бисквит.

— Готов? Совсем?

— Совсем. Теперь им займется миссис Локвуд.

— Когда вы повезете нас смотреть? Я хочу сказать: нас с Маргарет.

— Когда у меня будет настроение.

— Знаете, что я слышала? Впрочем, не я, а Маргарет. Это она мне рассказала.

— Что же она слышала и любезно рассказала вам?

— Уж не знаю, правда ли, нет ли.

— Не будете же вы пересказывать мне неправду.

— Говорят, будто одна сторона дома присела.

— Присела? То есть осела?

— Вы еще не переехали, а люди уже слухи начали распускать. Дайте вспомнить, что еще они говорили. Ах, да! Будто вы решили отдать свой старый дом под больницу.

— Вы умеете хранить тайну?

— Конечно.

— Так вот: я не знаю, как поступлю с этим домом. Не решил еще. Врачи хотят открыть здесь больницу. Это, видимо, вам и сказали.

— Нет, я слышала, что вы уже отдали его.

— Нет, не отдал.

— А новый дом садится?

— Не скажу.

— Значит, да. Верно?

— Я не стану ничего опровергать и не стану ничего подтверждать насчет нового дома, Мэй. Я ведь предупреждал вас об этом.

— Они только и делают, что болтают о вашем доме. С тех пор, как вы начали строить стену. Весь город болтает. Далась им эта стена.

— А разве до этого они не болтали?

— Наверно, болтали. Они всегда найдут тему.

— Вот именно.

— Верно. Всегда что-нибудь придумают. Не одно, так другое.

— Безусловно. Что вы еще хотели сообщить, Мэй?

— Что-то еще было.

— Ну?

— Я говорила вам, что к нам пришли по почте какие-то коробки?

— Нет.

— Из Нью-Йорка. И все — на ее имя.

— Наверно, что-нибудь для нового дома.

— Да! Вот что я хотела спросить.

— Спрашивайте.

— Хотя нет, не то. Это я уже спрашивала. Вот что: мы тут разговаривали с Маргарет насчет Эндрю и его жены. В новом доме они над гаражом будут жить?

— А что?

— Маргарет говорит, что не хотела бы жить там одна. Ночью без мужчины страшно. Мне-то что, я привыкла, потому что родилась и выросла на ферме, а Маргарет горожанка.

— Очень уж вы простодушны, Мэй.

— Почему вы так говорите? Может, простодушна, а может — нет. Все зависит от того, что вы под этим подразумеваете.

— Вами играют, как пешкой. Не вы, а Эндрю и его жена хотят знать насчет гаража. Эндрю уже больше года допытывается. Поэтому он и попросил Маргарет, чтобы она попросила вас узнать. Поняли, Мэй?

— Ах, вон что. Кажется, поняла. Ну, тогда не говорите. Пойду к Маргарет и скажу, что не сумела ничего узнать.

— Я и не собираюсь ничего говорить. Ни вам, ни Маргарет, ни Эндрю. Скажу тогда, когда сочту нужным. Вы с Маргарет живете у меня достаточно долго, так что пора бы уж знать. Но вы, видно, никогда этого не усвоите.

— Я-то усвоила. Я говорила Маргарет, что мы ничего не узнаем.

— Но она считала, что есть смысл попробовать.

— Да, она считала, что есть смысл попробовать. Почти буквально ее слова.

— Маргарет вечно хитрит. Но она забывает, что Эндрю хитрее ее. Ну, ладно, Мэй. Можете убирать со стола. Пойду приму ванну. Ужин — в семь тридцать. Что у нас на ужин?

— Телячьи отбивные.

— Хорошо. Да, не забыть бы: утром я буду спать. До десяти часов кофе мне не приносите.

— До десяти?

— До де-ся-ти. Лучше вам записать это на своей грифельной доске, когда вернетесь на кухню. Напишите: «Ему кофе в десять».

Она улыбнулась.

— Откуда вы знаете, что я напишу?

— Потому что взял себе за правило многое знать, Мэйбл Кристина Фриз, родившаяся двенадцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.

— Не говорите Маргарет насчет моего года рождения.

— Не скажу.

— Благодарю вас, сэр.

Она никогда не забывала говорить «сэр», начиная разговор с хозяином и кончая его; но поскольку она подозревала, что общение с нею приятно ему, то считала, что в ходе самой беседы соблюдать эту формальность не обязательно. Кроткая, трудолюбивая женщина, она начинала сознавать, что годы уходят и надо что-то предпринимать. Но за будничной работой, которая не была ей неприятна, хотя и отнимала много времени, она забывала об этом и все никак не могла сделать решающего шага. Впрочем, она и не представляла себе достаточно ясно, что, собственно, должна предпринять.

Джордж Локвуд просмотрел вечернюю гиббсвиллскую газету, сложил ее и оставил на привычном месте, где ее подберет Мэй. Потом встал, потянулся и направился было наверх, как вдруг услышал телефонный звонок. Он взял трубку.

— Алло! Ладно, Мэй, я сам. Алло!

Мэй, бывшая в это время в кухне, повесила трубку.

— Мистер Локвуд? Это Диген. Мэтью Диген. Помните — из охраны?

— Да, Диген.

— Вы меня хорошо слышите? Я из конторы звоню.

— Да, я слышу вас. Что там стряслось?

— Я решил, что лучше вам позвонить. Тут у нас несчастный случай. Очень тяжелый.

— Что за случай? Пожар?

— Нет, сэр. Тут один парнишка — не знаем толком, как его зовут... мертвый. Убился.

— Убился? На моей территории? Как он туда попал?

— Он и еще один подросток залезли на дерево с наружной стороны стены, со стороны Рихтервилла.

— С западной стороны. Ну и что?

— Этот парнишка, который мертвый, он залез на дерево и уцепился за ветку, что нависала над стеной.

— Над стеной нет ни одной ветки, достаточно крепкой, чтобы удержать человека.

— Вот поэтому он и убился. Ветка сломалась, и он упал на стену. Две пики вонзились в него, мистер Локвуд.

— А, черт! Значит, его прокололо?

— Я не расслышал, что вы сказали, мистер Локвуд.

— Пики пронзили его насквозь?

— Он закричал, и я побежал в том направлении, ну и увидел его.

— Вот черт! Он был жив еще?

— Ужасная история, мистер Локвуд. Он был еще жив. Я не мог достать его и снять со стены. Побежал за лестницей, но пока разыскал ее в подвале и вернулся, он уже не шевелился и лежал, перегнувшись через стену. Несчастный мальчик. Лет двенадцати — четырнадцати.

— А куда девался второй мальчуган? Конечно, убежал.

— Убежал, не успел я его задержать. Я кричал ему, но он не остановился, и я не стал его догонять.

— Ну, разумеется. Потом что — позвонили врачу?

— И в полицию штата. Одна из пик прошла рядом с сердцем, а другая переломила позвоночник. Слава богу, ему не пришлось долго мучиться. Бедняга. Наверно, это они за каштанами полезли.

— Сомневаюсь. Там у меня нет каштанов. Где сейчас тело мальчика?

— Полицейские распорядились увезти его в городской морг.

— В каком городе? В Шведской Гавани?

— Да, сэр. Чтоб его опознать, много времени не потребуется.

— Конечно. Второй мальчик обязательно расскажет о том, что случилось. Должно быть, дети фермеров.

— Да, сэр. Парнишка, который убился — на нем были рабочие штаны и войлочные сапоги. Позвонить вам, если я узнаю что-нибудь новое? Наверно, к вам приедут из полиции штата.

— Не надо, Диген. Меня не будет дома. Мне нужно срочно в Филадельфию. Сообщите в вашу фирму, что я позвоню туда утром, и, если возникнет дело, пусть полиция штата свяжется с мистером Артуром Макгенри из фирмы «Макгенри и Чэпин». Вы знаете, где она находится.

— Да, сэр. Если вы хотите дать мне свой адрес в Филадельфии...

— Я не знаю точно, где буду. Утром позвоню в вашу фирму. Жаль, что так случилось, Диген. Вам это было очень неприятно.

— Да, сэр. Из фирмы пришлют другого человека, он подменит меня сегодня. Не могу оставаться здесь на ночь, все думаю об этом несчастном мальчике.

— Поезжайте домой и старайтесь думать о чем-нибудь другом.

— Вот я и хочу попробовать. До свидания, мистер Локвуд.

— До свидания.— Локвуд торопливо поднялся к себе, переобулся, надел пиджак и уложил в небольшой саквояж вещи. Спустившись вниз, прошел на кухню и объявил: — Ужин отменяется. Меня вызвали по срочному делу в Филадельфию.

— Поезда-то уже не ходят,— сказала Маргарет.

— Поеду в машине.

Он закрыл за собой дверь, завел маленький «паккард» и выехал. Доехав до Рединга, свернул на вокзал поездов дальнего следования и, сославшись на двух членов правления местной железной дороги, отдал начальнику станции ключи от машины. Потом сел в подошедший поезд и уехал в Нью-Йорк.

Пройдет неделя, все уляжется, и он останется в стороне.

■

— А я только что собиралась звонить телефонистке и просить, чтобы меня не беспокоили,— сказала Джеральдина Локвуд.

— Кому вздумается тебя беспокоить? — спросил Джордж Локвуд.

Она удивленно взглянула на него.

— А ведь верно, кому? Я всегда прошу, чтоб меня не беспокоили. Но если подумать — кто станет звонить мне в три часа ночи или пять утра? Сама не понимаю, зачем я это делаю.

— Можно было бы понять, если бы ты просила не будить тебя, скажем, до десяти утра. Но просить, чтобы вообще не беспокоили,— это странно.

— А я вот каждый вечер, с тех пор как остановилась здесь, звоню телефонистке и прошу ее об этом. Они очень милы, здешние телефонистки.

— Да, здесь весь персонал очень мил. Я же говорил, что тебе здесь понравится. Я останавливаюсь в «Карстейрсе» уже двадцать пять лет подряд, со дня открытия гостиницы. Мне нравится, что она большая — и поэтому в ней не слишком дерут — и в то же время не такая уж огромная, поэтому и служащие тебя знают, и ты знаешь их.

— Наша семья всегда останавливалась либо в «Уолдорфе», либо в «Никербокере».

— Но вы-то с Говардом всегда останавливались в «Мэррей-хилле».

— Не всегда. Иногда и в «Уолдорфе». Мне даже как-то странно бывать в Нью-Йорке и останавливаться не в «Уолдорфе», а где-то еще. К «Мэррей-хиллу» я так и не привыкла. Этот отель больше нравился Говарду и его родным.

— Неплохой отель, только в последнее время стал приходить в упадок. Говорят, что дела его плохи. Как, впрочем, и дела Говарда Бакмастера.

— Не будем говорить о Говарде. Меня сейчас больше интересует, что тебя вдруг привело в Нью-Йорк. Если, конечно, ты готов объяснить.

— Я уже объяснил. Привело меня сюда желание сообщить тебе, что дом готов,— и сообщить не по телефону.

— Очень мило, только я не верю. Ты способен на неожиданные поступки, но ты не сентиментален.

— Разве?

— Так мне кажется, Джордж. Ты можешь быть романтичным, но не сентиментальным.

— В чем, по-твоему, разница?

— Этого я не могу объяснить сразу.

— Ну, приведи примеры того и другого.

— Погоди. Романтик может быть романтичным и при этом никогда не терять хладнокровия. Он все время думает. Сентиментальный же человек полностью во власти чувств. Человек может быть сознательно романтичным, но я не думаю, что он может быть сознательно сентиментальным. Ты совершил много романтических поступков. Наверно, и я тоже.

— По-твоему, ты сентиментальна?

— Вероятно, нет. Но все же более сентиментальна, чем ты. Говард был сентиментален и ни капельки не романтичен. Я думаю, романтики умнее.

— По-моему, умные люди не могут быть сентиментальны,— сказал он.

— Ты выразил эту мысль лучше. Ты так умен, что никак не можешь быть сентиментальным, но романтичным — да.

— Ну, так вот: я приехал в Нью-Йорк, побуждаемый романтическим, а не сентиментальным чувством.

— Хорошо. Согласна.

— Скучала по мне?

— В последние дни — очень. А всю прошлую и всю позапрошлую неделю так уставала, что еле добиралась до постели. Я же говорила тебе.

— Да.

— Это правда. Я обожаю ходить по магазинам. Покупать одежду и прочее. Но обстановку для дома... Купила все для спален, туалетных комнат и холлов второго этажа. И для столовой, маленькой гостиной и холла первого этажа. А вот с большим нижним залом ты должен помочь.

— Нет, я хочу, чтобы ты меблировала весь дом, кроме моего кабинета,— сказал он.

— Я не чувствую себя вправе. Зал предназначен для приема гостей, и там твое участие должно больше чувствоваться.

— Ты же будешь там хозяйкой.

— А ты хозяином. К примеру, я видела большую китайскую вазу. Пять футов вышиной, на тиковой подставке. Невероятно красивая и ужасно дорогая.

— Насколько ужасно?

— Пять тысяч.

— Не слишком дорого, если сравнить с некоторыми другими китайскими вещами.

— Но не для сельской местности. И каждый день у тебя на глазах. Она синего, темно-синего цвета, но не мрачная. Яркая. Узор же — светло-золотистый с черным. Прелестная вещь.

— Бери. Я вижу, тебе очень нравится. Что-то в этом роде как раз и надо поставить в юго-восточном углу зала.

— Мне бы не хотелось ставить ее там. Лучше бы с правой стороны. Сразу же, как войдешь из холла.

— Но тогда ты захочешь поставить что-нибудь и слева.

— Ах, милый, в этом-то и беда.

— Какая?

— Я должна кое в чем признаться.

— Признайся.

— Эта ваза — парная.

— Десять тысяч?

— Восемь тысяч за обе. Я уговорила их сбавить цену.

— Значит, еще одно признание?

— Да. Я их уже купила. Ну, вот. Думала, думала, как тебе сказать, а ты сразу и узнал. Ты просто *вынуждаешь* меня все тебе говорить, Джордж. Так уж получается. Как посмотришь на меня своими светлыми голубыми глазами, так я невольно начинаю говорить то, чего и не собиралась. Но ты позволишь мне оставить их, правда? Я уже придумала, на чем сэкономить четыре тысячи. На коврах в комнатах для гостей.

— Пусть эти вазы будут тебе подарком.

— Чудесно! К рождеству.

— Нет, это было бы несправедливо. Подарок к рождеству — особо. Будем считать вазы наградой за многие часы ходьбы по магазинам.

— Честное слово, я с радостью приняла бы их и как рождественский подарок.

— Между прочим, подарок к рождеству я для тебя уже заказал.

— Заказал? Это такая вещь, что ее надо было заказывать за два месяца?

— Да. Только не пробуй отгадывать.— Он встал.— Пойду приму ванну.

— Ты хочешь, чтобы я была с тобой, когда ты вернешься?

— Да,— ответил он и больше не взглянул на нее.

Как только он закрыл за собою дверь ванной, она погасила стоявшую у кровати лампу.

Вернувшись в комнату, он, не зажигая света, снял трубку и сказал:

— Говорит мистер Локвуд из номера тысяча сто двадцать. Прошу не соединять со мной никого до десяти утра. До десяти. Спокойной ночи.

■

Проснувшись, он посмотрел на спавшую на другой кровати жену; было начало девятого. Он встал, побрился и принял душ. Как только он появился в комнате опять, она открыла глаза.

— Доброе утро, милый.

— Доброе утро. Ты сейчас будешь завтракать? Я намерен завтракать сейчас.

— Который час?

— Без трех минут девять.

— Я крепко спала.

— Да. Так как насчет завтрака? Заказать тебе или еще спать будешь?

— Ну что ты. Закажи. А я пока умоюсь.

— Хорошо.— Он дождался, пока она закроет за собой дверь ванной, и снял трубку.— Доброе утро. Говорит мистер Локвуд из номера тысяча сто двадцать. Я хочу заказать завтрак, но по-прежнему прошу никого со мной не соединять. И не до десяти, как я говорил, а до одиннадцати. Никаких звонков. А теперь будьте добры, дайте мне буфет.

Он заказал завтрак: апельсиновый сок, гренки и кофе для жены; апельсиновый сок, овсяную кашу, яичницу с беконом, гренки, варенье и кофе для себя. Когда еду принесли, Джеральдина все еще была в ванной. Официант ушел, и Джордж Локвуд постучал ей в дверь.

— Завтрак прибыл.

Она тотчас вышла.

— Я не имею ничего против, когда официант обслуживает меня одну, но ужасно не люблю, когда он приходит и видит здесь тебя.

— Почему?

— Я невольно начинаю угадывать его мысли. Как бы почтительно они себя ни вели, в большинстве своем это — иностранцы, а ты знаешь, о чем они думают. Каждый мысленно спрашивает себя: спали мы с тобой в одной постели или нет.

— Я уверен, каждый иностранец полагает, что кое-что было. Если не прошлой ночью, так позапрошлой. Или будет в следующую ночь. Или, глядя на нас, думает, что я, пожалуй, старею, а у тебя есть любовник.

— Есть. Ты.

— Благодарю тебя, Джеральдина. Налить кофе?

— Да, милый, пожалуйста.— Она встала рядом с ним, выпила апельсиновый сок, взяла из его рук чашку кофе и села за столик напротив него.— Давно уже мы не завтракали вместе.

— Ты сама предпочитала, чтоб было так.

— Что делать? Ни одна сорокавосьмилетняя женщина не выглядит прекрасной принцессой, когда встает утром с постели. И все же мы теряем от того, что не завтракаем вместе.

— Возможно, в новом доме будет иначе. Встав с постели, я приму ванну и избавлюсь от бороды, ты себя приведешь в порядок, и мы встретимся, так сказать, за стаканчиком апельсинового сока.

— Мне нравится твой галстук,— сказала она.

— Да, вот что: я здесь пробуду с неделю.

— С неделю? Но ты почти ничего не взял с собой. Или багаж идет следом?

— Окажи мне услугу, а? Съезди в магазин братьев Брукс и спроси мистера Хантингтона. Я напишу на бумажке. Скажи Хантингтону, что мне нужно полдюжины сорочек. Когда ты назовешь себя, он будет знать каких. И потом привезешь их сюда. Сделаешь?

— Конечно. Мистер Хантингтон знает, какой материал, размер и прочее? Ты хочешь, чтоб я отправилась сейчас же?

— Сперва выпей кофе. Не мешало бы также надеть что-нибудь на себя.

— Ты и другого костюма с собой не привез?

— Некуда было класть, и времени не было. Потом, может, сам съезжу к Бруксам и куплю что-нибудь. Если поедем ужинать, так в клубе у меня всегда хранится вечерний костюм и все остальное.

— У Говарда тоже так было.— Она улыбнулась.— Помню, однажды он решил не брать с собой вечернего костюма, потому что у него в клубе уже был костюм. Но когда он попробовал его надеть, то оказалось, что не сходятся брюки — настолько он пополнел.

— Но я же не пополнел.

— Ты торопишь меня, да?

— Немножко,— подтвердил он.

— А что плохого в сорочке, которая на тебе сейчас?

— Ничего. Но ведь новые сорочки мне придется сначала в стирку отдать, понимаешь? Слушай, Джеральдина, уже десятый час, а мне еще надо позвонить мистеру Деборио и договориться, чтобы сорочки были готовы сегодня же. Мистер Деборио — это управляющий.

— Знаю. Смешной такой человечек. Но совершенно очаровательный.

Джордж Локвуд взглянул на жену.

— Ну, хорошо, милый, хорошо.

Когда она ушла, он выждал десять минут, потом позвонил гиббсвиллскому адвокату Артуру Макгенри.

— Обычный случай нарушения владения, Джордж. Диген говорит, что вокруг имения расклеены предупреждающие надписи и что он, Диген, был у вас за сторожа. Не вижу, в чем тут ваша вина. Вы не ответчик. Если хотите дать семье мальчика немного денег, я могу оформить нечто вроде отступной и заготовить расписку. На этом, я думаю, все и кончится.

— Сколько надо, Артур?

— Ну, долларов двести — триста. Семья у них большая. Я объясню им, что вы хотите дать денег на похороны. Как вы знаете, у этих людей всегда туговато с деньгами, и сто долларов уйдет у них на оплату счета похоронного бюро.

— Дайте им пятьсот.

Артур Макгенри засмеялся.

— Если вы дадите пятьсот, то родители и слез не так уж много прольют. Шутка ли, такое счастье привалит.

— Я не хочу, чтобы обо мне плохо думали. Кстати, от Джеральдины я это происшествие скрываю. В утренней газете есть что-нибудь?

— Да. Маленькая заметка на первой странице. Ничего сенсационного.

— Можно сделать так, чтобы помощник следователя закончил дело до нашего возвращения?

— По-моему, это несложно. Я поговорю с ним. Думаю, дня за два, за три мы управимся. Сегодня делают вскрытие. Причина смерти очевидна, и ни о каком преступлении не может быть и речи, если не считать нарушения владения. Помощник следователя — молодой врач по имени Миллер. Возможно, вы его знаете. Он приехал в Шведскую Гавань около трех лет назад.

— Я его знаю. Это один из тех, что приходили ко мне и просили отдать старый дом под больницу.

Артур Макгенри опять засмеялся.

— Тем более! Представьте себя на месте Миллера. Что бы вы сделали?

— Да, вы правы.

— Считайте, что дело уже прекращено. В эту самую минуту. Или, во всяком случае, после того, как я поговорю с доктором Миллером.

— Благодарю вас, Артур. Привет от меня Джо Чэпину.

— Ладно, Джордж. Кланяйтесь Джеральдине. Впрочем, пока не надо.

— Ваш поклон я приберегу на другое время, Артур. Еще раз благодарю.

Джордж Локвуд бегло, но внимательно просмотрел утренние газеты, проверяя на всякий случай, не привлекло ли это происшествие своей необычностью внимания нью-йоркских редакторов. Однако ни «Геральд трибюн», ни «Таймс» не сочли нужным напечатать ни строчки.

Не прошло и получаса, как вернулась Джеральдина, сопровождаемая посыльным.

— Благодарю, Боб,— сказал Джордж Локвуд посыльному.

— К вашим услугам, сэр,— ответил тот и, положив сверток на багажную скамейку, вышел.

— Мистер Хантингтон просил передать, что я могла и не ездить. Ты мог бы просто ему позвонить,— сказала Джеральдина.

— Как быстро ты управилась. Молодец, милая. Ты не знаешь этого Хантингтона. Когда я звоню ему или захожу лично, он принимается расспрашивать меня о своих клиентах, что живут в округе Лантененго, о моем брате, о племянниках и вообще обо всех, кого только может вспомнить.

— Вот почему ты заставил меня к нему ехать. А я-то удивлялась. Впрочем, у тебя на все есть свои причины, я уже изучила тебя.

Он позвонил слуге.

— А у тебя их нет? По-моему, они есть у каждого.

— Но не столько, сколько у тебя. Причем ты не всегда их раскрываешь, эти причины. Поэтому так часто и озадачиваешь людей.

— Но тебя-то я не озадачиваю? Во всяком случае, если ты просишь объяснить, я всегда объясню.

— Это правда, милый, но иногда я забываю попросить.

— Тогда в чем, собственно, моя вина? Если то, что я делаю, озадачивает тебя, попроси объяснить, вот и все. Что касается остальных, то мне на них наплевать. Я не обязан никому ничего объяснять. Ни мысли, ни слова́, ни поступки. И им это нравится. Нравится болтать о стене. Гадать, зачем она мне понадобилась и во что обойдется. Зачем я ликвидировал ферму Дитрихов. Вот люди! Это для них как бесплатные концерты духовой музыки.

— А все-таки зачем ты ликвидировал ферму Дитрихов?

— Я уже объяснял тебе.

— Ты очень смешно объяснил. То есть шутя. Ты сказал, что господствующие ветры дуют с запада и нам надоест нюхать коровий навоз.

— Однако тогда это объяснение, кажется, устраивало тебя. К тому же я говорил правду.

— Но есть, наверно, и другая причина.

— Да. Даже две. Во-первых, через несколько лет в низине наплодится множество перепелов, и мы будем располагать отличным местом для охоты. Пройдет одно лето, потом другое, вся территория зарастет лесом, и будет полно дичи. Вторая же причина вот в чем: Дитрихи обрабатывали эту землю так долго, что привыкли считать ее своей, независимо от того, кто ее законный владелец. Поэтому мне ничего не оставалось, как избавиться от них раз и навсегда. Как говорится, если крепки заборы, то и соседи хороши. Но я сделал нечто большее, чем крепкий забор. Я переселил своих соседей в округ Лебанон. Теперь, когда Дитрихи в сорока милях от нас, я полюбил их. Хорошего арендатора из Оскара все равно не вышло бы, если б он оставался на земле, которая раньше принадлежала ему.

— Как тщательно ты все продумал! Я бы никогда так не сумела,— сказала она.

— Тебе и не нужно было. Я начал об этом думать, когда мы еще только поженились. Я видел, что тебе не нравится старый дом в Шведской Гавани.

— Неправда. Во всяком случае, нельзя сказать, чтобы он мне не нравился.

— Ни одна женщина не захочет жить в доме, где прожила двадцать лет первая жена ее мужа.

— Но он был не столько ее домом, сколько твоим. Там родился ты и родился твой брат. Если он и принадлежал какой-нибудь женщине, то твоей матери.

— Бабушке. Мать никогда этот дом не любила. Прошло бы еще несколько лет, и ты невзлюбила бы его тоже. Даже больше, чем мать.

— Почему же мать не любила его?

— Могу лишь догадываться. Нам она никогда не говорила, что не любит дом.

— А тебя и твоего брата?

— Дети есть дети и остаются таковыми, пока не вступают в брак. Мать считала, что мой отец всегда прав, что бы он ни делал и ни говорил. Поступки родителей не подлежали ни обсуждению, ни критике. Критика исключалась вообще, даже в мыслях. Если мать замечала, что нам что-нибудь не нравится и мы строим кислую физиономию, то крепко хлестала нас по щекам.— Он потер свой гладко выбритый подбородок.— Да, ее пухлые ручки умели бить.

— По правде говоря, я рада, что нам уже поздно иметь детей. Мне во всяком случае.

— Мне тоже. Малыши проводили бы с нами рождество — многие годы. И вообще бывали бы с нами, когда нам хотелось бы, но *только* когда хотелось бы.

— Конечно. Хотя я не совсем то имела в виду, а впрочем...

— Я знаю, что ты имела в виду, Джеральдина. Ты не хотела бы обременять себя воспитанием младенца.

— Именно. И ответственностью.

— Я это знал.— В дверь постучали и сразу же открыли.— А, Питер!

— Доброе утро, сэр. Мэм. Я узнал, что вы у нас остановились, сэр, мистер Локвуд. Чем могу вам служить, сэр?

— Доброе утро, Питер. Видишь вот эту синюю коробку с желтой каймой? В ней полдюжины совершенно новых сорочек,— сказал Джордж Локвуд.

— Они должны побывать в прачечной, перед тем как мистер Локвуд наденет их. Да, сэр.

— Я знаю, что сегодня уже поздно...

— Ничего, сэр, можно специально попросить. Постирать, погладить, но не крахмалить и принести в номер не позднее восьми вечера, сэр? Надеюсь, мистер Локвуд не сдает еще и сорочки для вечернего костюма, сэр? В противном случае я не был бы так оптимистичен, сэр. Извините.

— Вечерних сорочек там нет, Питер.

— Тогда я забираю коробку с собой и, как говорится, окажу некоторое давление, сэр. Очень хорошо, сэр, спасибо, сэр. Мэм.

— Спасибо тебе, Питер.

— Спасибо вам, сэр.— Слуга вышел.

— Спасибо, зар,— передразнила Джеральдина.— «Зар». У него это слово похоже на «царь».

— Я думаю, это они в английской армии привыкают так говорить. Ну, так куда, моя дорогая, мы поедем сегодня вечером? Хочешь в театр?

— А обедать ты меня никуда не повезешь?

— Я полагал, что у тебя есть какие-то свои планы, поэтому собрался провести весь день в деловой части города.

— Я обедаю у Генри. С Мэри Чадберн. Если хочешь, присоединяйся.

— Да благословит тебя бог за то, что ты так добра к Мэри Чадберн. Но я не хочу мешать тебе делать это доброе дело. Обедай с Мэри, и господь воздаст тебе по заслугам.

— Мэри мне нравится.

— Она *всем* нравится. Кто может что-либо иметь против нее? Итак, большую часть дня я пробуду в конторе «Локвуд и К°».— Он поцеловал ее в щеку.— Я рад, что ты купила вазы. Они очень нам подойдут.

Он взял на руку пальто, помахал ей шляпой и ушел.

Личный кабинет Джорджа Локвуда был меньше остальных комнат в конторе «Локвуд и К°», но его никто не занимал даже временно. Его держали наготове на случай таких вот неожиданных приездов Джорджа. Он прошел прямо к себе, на ходу переговариваясь со служащими. По установившемуся порядку мисс Стрейдмайер постучалась и спросила, будет ли он диктовать что-нибудь.

— Не сейчас, мисс Стрейдмайер. Может быть, позже. Мой брат у себя?

— Да, сэр.

— Просмотрю сначала почту и поговорю с братом и потом, может быть, продиктую вам несколько писем. Вероятнее всего, после обеда. Вы очень хорошо выглядите для девушки, у которой только что удалили аппендикс.

— Еще в августе удалили. Я почти уже забыла.

— Надо было ложиться на операцию весной, а не во время отпуска.

— Я вообще не хотела ложиться и откладывала до последней минуты. И даже в последнюю минуту считала, что у меня не аппендицит, а просто спазм.

— Я же говорил вам прошлой весной.

— Вы были безусловно правы.

— Ну, а как вообще жизнь?

— Вообще?

— Ну, помимо работы.

— У меня есть друг.

— Это хорошо. Кто? Замуж за него выходите?

— Не знаю. Еще не решила. Если выйду, то уже не смогу здесь работать.

— Почему?

— Ясно почему.

— Не очень ясно, Мэриан. Вы не обязаны говорить ему все.

— Это верно. Но ему достаточно узнать хоть что-нибудь. Мужчины есть мужчины. Он не поверит, если я скажу, что все давно уже в прошлом.

— Видимо, да. А раз так, то зачем ему вообще говорить? Не надо. Можете верить, что я-то уж во всяком случае никому ничего не говорил. Ни единому человеку. Насколько я знаю, ни у кого в этой конторе нет ни малейших подозрений. А если они здесь не могли ничего узнать, то где еще? Мне кажется, вы боитесь меня, боитесь, как бы я не выболтал чего-нибудь.

— Нет. Я больше боюсь себя.

— Тогда я советую вам серьезно обдумать все наедине с собой. Признайтесь себе, что вы преувеличиваете значение того, что произошло два года назад. Тогда это не было важно, вы сами так говорили. Почему же теперь вдруг стало важно? Будьте честны, Мэриан. Это могло бы стать важным, только если бы вы влюбились в меня. Но вы же не влюбились. Когда я пригласил вас в четвертый раз на свидание, вы весьма решительно отказались. Разве я после этого приставал к вам?

— Нет. Вы вели себя очень хорошо.

— Ну так вот. Раз хорошо, значит хорошо. Беда, по-моему, сейчас в том, что вы влюблены в этого человека и до него никого не любили.

— Вы правы.

— Странная жажда самоуничижения появляется в человеке, когда он влюбляется. Не знаю, в чем тут причина, но и мужчины и

женщины в таких случаях склонны к чрезмерной откровенности. Может быть, таким способом они испытывают прочность любви? Но это жестоко по отношению к другому человеку и губительно для самого себя. Вы еще не съехали с той квартиры?

— Нет.

— Хотели бы, чтобы я навестил вас сегодня в четыре часа?

— Нет, не хотела бы.

— Ну, тогда вы избавились от меня. Видите, как все просто, Мэриан.

— А если бы я сказала «да»?

— Вы хотите попробовать сказать «да»? Меня влечет к вам так же, как и прежде.

— Но ведь ни одному из нас это ничего не дает, правда?

— Удовольствие. Ничего другого ведь не было.

— Да, вы правы. В сущности, это все, что было.

— Ведь и после меня у вас были мужчины, которые не давали вам ничего, кроме удовольствия. Были? До того, как вы сошлись с этим человеком?

— Да, было еще двое. Про них он знает.

— Значит, вы потому не сказали ему про нашу связь, что не хотите уходить с работы, боитесь, как бы он не подумал, что вы продолжаете быть моей любовницей.

— *Любовницей* я ничьей никогда не была. И вашей, конечно, тоже. Правда?

— Пожалуй, да, если учесть перерывы между теми тремя ночами, что мы провели вместе. Как ваш друг, к тому же гораздо старше вас, я советую вам выйти замуж за этого человека и продолжать здесь работать. Мне вы можете довериться, как джентльмену. Я искренне говорю. Даю вам слово, что больше никогда не буду просить встречи с вами за пределами конторы.

— Видимо, я придаю этому слишком большое значение.

— Да, раз это вас тревожит. Но я думаю, вы так близки к счастью, что вам надо действовать решительно. Выходите замуж, продолжайте здесь работать, а об остальном пусть позаботится будущее.

— По-моему, это хороший совет.

— Вы очень привлекательная женщина, Мэриан.

— А вы очень привлекательный мужчина.

— Подойдите ко мне.

— Лучше не надо. Мне кажется, вам лучше вызывать для стенографирования другую девушку. По крайней мере, сегодня.

— Хорошо. Пусть это будет мисс Торп. Она не отвлечет меня от дела.

Она вернулась в приемную, и Дэйзи Торп спросила:

— Что он на этот раз говорил?

— Ничего особенного. Он всегда дразнит или шутит.

— Он говорит гадости?

— Джордж Локвуд? Он выше этого.

Через несколько минут они увидели, как он прошел из своей комнаты в более просторный и элегантный кабинет, который занимал его брат.

— Привет, Джордж,— сказал Пенроуз Локвуд.

— Доброе утро, Пен. Ты свободен в обеденное время?

— Нет, занят, но ты можешь пойти со мной. Я обедаю с Рэем Тэрнером и Чарли Боумом.

— Этим еще что нужно?

— Ну, ты брось этот тон. Я не очень ясно себе представляю, с чем они придут, но знаю, какими делами они ворочают, и не прочь

подключиться. Но ты можешь не ходить, если не хочешь.

— Ты будешь разговаривать с ними от имени компании или от себя?

— И так и этак.

— Надеюсь, ты не станешь торопиться вовлекать компанию?

— Почему?

— Потому что, вовлекая компанию, ты должен, мне кажется, сначала спросить мое мнение.

— А я всегда спрашиваю. Но из-за тебя и мне и компании уже пришлось отказаться от ряда довольно выгодных предложений. Очень уж ты увлекся, черт побери, этим своим загородным имением. Кстати, как идет строительство?

— Закончилось. Можно уже обставлять.

— Октябрь. Что ж, надо отдать тебе должное. Ты говорил — к первому ноября. Так вот, я и говорю: почему ты считаешь, что судишь вернее, хотя ты сидишь в Шведской Гавани, а я здесь, где делаются дела?

— Я сужу не вернее, Пен, и я никогда этого не утверждал. И ни в чем не мешал тебе.

— Черта с два не мешал.

— Зря ты так говоришь. Действительно, не мешал. Все, что я делал — и буду делать впредь,— это заставлял тебя, так сказать, считать до десяти и, считая, учитывать все факторы. Собственно говоря, нынче на рынке такая конъюнктура, что, если сегодня ты упустил возможность, завтра тебе подвернется другая, не менее благоприятная.

— Да, если ты узнаешь о ней вовремя,— сказал Пенроуз Локвуд.— Но если про нее успевают услышать многие другие, то она становится уже не столь благоприятной.

— В данный момент почти все возможности выгодны, если ты не слишком жаден.

— Ну и считай меня жадным, если угодно. Но деньги-то я тебе зарабатываю?

— Да. И я тебе зарабатываю. Но, Пен, суть ведь не только в том, чтобы делать деньги. В наши дни кто их не делает — и в большом количестве. Не такая уж это премудрость.

— В чем же тогда премудрость?

— В том, чтоб удержать то, что имеешь.

Пенроуз Локвуд засмеялся.

— Удержать то, что имеешь? А можно поинтересоваться, во что тебе обошелся новый дом?

— Это не твое дело. Я же не спрашиваю тебя, на что ты тратишь свои деньги. И ты отлично знаешь, о чем я говорю. Удержать то, что имеешь, значит сохранить это на ближайшие двадцать пять, а то и на пятьдесят лет. К примеру, мы видим спад в автомобильной промышленности. Форд приказывает перевести рабочих на восьмичасовой рабочий день с двумя выходными. Принимая такое решение, он думает только о себе. А если так же поступят все крупные промышленники?

— Но такая мера может и оправдать себя. Она сократит перепроизводство и даст работу большему числу людей.

— Вот эту мысль он и хочет тебе внушить. Но разве ты не понимаешь, к чему это неизбежно ведет? Верно, прямым результатом такой меры будет, конечно, сокращение перепроизводства. Но если этому примеру последовали бы все крупные промышленники, то произошло бы всеобщее сокращение производства. Всеобщее сокращение в стране с высоким уровнем производства. Нет, ты не можешь перевести страну на пятидневную рабочую неделю, ибо это означало бы замаскированный социализм. Профсоюзы знают это и этого хотят.

— Я не очень тебя понимаю.

— А вот слушай. Переведя страну на пятидневную рабочую неделю, ты должен нанять больше людей. Но это будут уже люди без квалификации. Это будут плохие специалисты и лодыри, а платить им придется столько же, сколько и квалифицированным. Вот что, по-моему, получится, если разделить работу между бо́льшим числом людей. Ты вынужден будешь брать неквалифицированных людей. С таким положением я столкнулся, когда строил себе дом. Я не против, если хороший столяр получает высокое жалованье, но ведь такие же деньги приходится платить и лодырям. Теперь о тех, кто не имеет квалификации. Мне потребовалось убрать старую изгородь, и я нанял чернорабочих. Ты думаешь, они все одинаково хорошо работали? Нет. Примерно половина из них, правда, честно отрабатывала свои деньги, что же до остальных, то они вле двигались и старались сделать как можно меньше.

— Но какое отношение это имеет к фондовой бирже?

— Эх, Пен! Да чего будут стоить акции, если промышленные предприятия станут переплачивать своим рабочим? Цены на сырье тоже ведь возрастут, и тогда в стране начнется инфляция, как это случилось в Германии и Австрии. Там сейчас за пятнадцать центов, если считать на наши деньги, можно купить отличный маузер.

— Благодарю. Я уже наслышан об их инфляции.

— В таком случае тебе должно быть понятно, что значит удержать то, что имеешь. Иногда я задаюсь вопросом: хочу ли я и дальше наживать деньги на акциях?

— Что?!

— Впрочем, хочу. Я тоже жаден. А жаль. Таким, как мы с тобой, следовало бы выйти из игры на какое-то время. Но мы не выйдем. Даже думать об этом глупо. Великое множество акций продается сейчас по ценам, далеко не оправдываемым прибылью. Это — нездоровая практика. Она означает, что с нами — людьми, у которых есть деньги на покупку акций,— дело обстоит столь же скверно, как с рабочими. Рабочие вызывают инфляцию тем, что получают слишком много денег, а мы — тем, что взвинчиваем цены на акции до уровня, намного превышающего их реальную стоимость.

— Таких разговоров я тут довольно наслушался. Игра на понижение.

— Не думаю, что здесь только игра на понижение. Беда в том, что мы всего в двух шагах от биржи, а там все, что ни скажет человек, воспринимается либо как игра на понижение, либо как игра на повышение. Думать иначе вы, ребята, не можете.

— Я не маклер. Пожалуйста, не путай меня с ними.

— Нетрудно спутать. Ты рассуждаешь, как маклер. Откровенно скажу: не люблю я фондовой биржи. Не люблю опасной игры. Хорошо бы найти два-три предприятия и вложить в них капитал. Приобрести пакет акций по той цене, какой они стоят, и держать их лет двадцать—тридцать. А платить за них деньги, которых они не стоят, я не хочу. Слишком на многое взвинчены цены. Но я, к сожалению, не в силах противостоять соблазну и потому продолжаю покупать.

— Ты не больше меня противишься легкому заработку.

— Боюсь, что нет. В душе я скряга. Противно только платить по пятьдесят долларов за пятнадцатидолларовые акции. Кстати, как там сегодня дела?

— На бирже? Вот, смотри. «Эллайд кемикл» — 124, «Братья Додж» — 22 1/2, «Американ рэдиейтор» — 108, на два пункта ниже, «Йеллоу трэк» — 27 1/2.

— Ясно,— сказал Джордж Локвуд.— Где ты встречаешься со своими приятелями?

— У Рэя в конторе. Обед он велел принести туда. Если ты тоже идешь, мне придется позвонить ему. Ну, как?

— То, что я скажу, им не понравится.

— А ты молчи или не ходи совсем.

— Ладно, помолчу и послушаю. Для разнообразия,— сказал Джордж Локвуд.

Пенроуз Локвуд попросил свою секретаршу позвонить секретарше Рэя Тэрнера и сказать, что на обед к ним придет еще и мистер Джордж Локвуд.

— Как Джеральдина? Она ужинала у нас на прошлой неделе. Ты знаешь, наверно.

— Да.

— Уилме показалось, что она выглядит немного усталой.

— Она действительно устала. Закупала мебель для нового дома. Как Уилма?

— Хорошо. Может, поужинаешь у нас как-нибудь? Сколько ты здесь пробудешь?

— С неделю. Пришлось мне удирать из Шведской Гавани.

— Как так?

— Какой-то деревенский парнишка убился, черт побери, на моей территории.

— Когда?

— Вчера. Вчера во второй половине дня. Дом закончили, уехали, наконец, последние столяры-итальянцы, и я возвратился домой. Попил чаю и хотел принять ванну, а в это время мне звонит сторож. Мальчишка упал с дерева на стену и напоролся на две пики.

— На пики?

— У меня там сверху торчат пики. Ну, он на них и упал.

— Ужасно. Сколько ему было лет?

— Тринадцать-четырнадцать. Из большой семьи. Сын фермера по имени Зенер. Я ни в чем не виноват. Мальчишка залез ко мне на территорию — видно, что-то высматривал. А я сбежал из Шведской Гавани, чтобы не отвечать на вопросы и не присутствовать на следствии. Разговаривал с Артуром Макгенри — с юридической стороны у меня все в порядке. Но я стараюсь не иметь никаких дел с местными горожанами. Знакомство поддерживаю, но фамильярных отношений со служащими продуктовых лавок и с прочей публикой всегда избегаю. Мне не хотелось разговаривать с репортерами и отвечать на вопросы следователя. На это у меня есть адвокат. Между прочим, Джеральдина ничего не знает, так что ей — ни слова.

— Разумеется.

— Еще воспримет это как дурное предзнаменование. Ты ведь знаешь Джеральдину.

— Она все равно узнает.

— Но не сразу. Если я скажу ей потом, она не будет так потрясена. Если б она узнала вчера вечером, то почти наверняка сказала бы, что никогда не поедет туда жить. Проклятие на дом Локвудов.

— Ты так это называешь?

— Нет, конечно. Но в представлении других это выглядит так. Романтизируют злосчастную историю с воришкой. О чем ты задумался? Считаешь, что я не прав, называя его воришкой?

— Нет, не считаю. Наверно, он и был воришкой,— ответил Пенроуз Локвуд.

— Тогда что же гложет тебя? В мыслях ты блуждаешь где-то очень далеко отсюда.

— Нет. Я совсем рядом. У меня своя проблема. Ничего похожего на твою, но проблема.

— Могу я помочь?

— Думаю, да. Ты всегда был сообразительней меня по женской части. Может быть, ты подумаешь за меня. Сам-то я, кажется, думать разучился. По крайней мере, об этом. И из-за этого не могу думать ни о чем другом.

— Попробуем, Пен.

— Только не называй меня братишкой.

— Но мысленно-то можно, я думаю? Я хочу помочь. Не так уж много на свете людей, которым я хотел бы помочь. Итак, у тебя есть подруга.

— За всю совместную жизнь с Уилмой, а женаты мы с ней более двадцати лет, я ни разу не встретился с другой женщиной. Бывали моменты, когда, как мне кажется, я мог завести роман и один раз уже почти завел. Это было во время войны, на Лиг-Айленде, где стояла наша часть. Девушка, вернее женщина, из Филадельфии, жена одного моего знакомого, которого ты не знаешь. Но мы оба поняли, что это — только блажь, потому что в глубине души она любила своего мужа, а я — Уилму. И мы перестали встречаться. Сейчас, когда я об этом думаю, я вижу, что между нами не было ничего такого, за что ее муж или Уилма могли бы быть в претензии. Мы просто любили беседовать. За все время знакомства я поцеловал ее только раз, и после этого мы поняли, куда это может повести. Мы сразу же порвали отношения.

— И ты ни разу с ней не переспал?

— Я же сказал тебе. Поцеловал ее единственный раз — и только. Я не такой, как ты, Джордж.

— Откуда ты знаешь, *какой* я? Продолжай.

Пенроуз Локвуд встал и подошел к окну. Но взгляд его был устремлен не на дома деловой части Нью-Йорка, а в свое прошлое.

— Три года назад или чуть раньше я встретил молодую женщину. Ей немногим более двадцати лет. Интересная. Достаточно умная. Образованная. Кажется, из хорошей зажиточной семьи. Не из Нью-Йорка. Мне приходилось видеться с ней довольно часто, и постепенно, не отдавая себе в этом отчета, я начал испытывать к ней влечение. Видимо, здесь сыграло роль то, что мы часто виделись. И вот, встречаясь с ней повседневно, время от времени переговариваясь, я перестал смотреть на нее как на безымянную хорошенькую девушку и *скучал*, если подолгу не видел.

— Привычка.

— Конечно,— согласился Пенроуз Локвуд.— Как ты, наверно, догадываешься, она работала в одном из здешних финансовых учреждений. Однажды после работы я подвез ее на такси домой. Время у меня было свободное, и я зашел к ней.

— Это случилось три года назад?

— Собственно, уже почти четыре. До того дня в наших отношениях не было ничего личного. Она была для меня мисс такая-то, а я для нее — мистер Локвуд.— Он отошел от окна и сел в просторное вращающееся кожаное кресло, сложил руки на груди и вперил взгляд в свои ботинки.— Это необыкновенная женщина. Несмотря на свои двадцать три года, она уже была замужем, развелась и теперь живет снова под девичьей фамилией. После развода не захотела возвращаться в свой родной город к родителям и поступила на курсы стенографии и машинописи. С ее внешностью и умом квалифицированной стенографистке нетрудно найти в Нью-Йорке работу. Кроме того, она три года училась в университете, что ставило ее значительно выше обычных стенографисток, и поэтому ее назначили старшей в группе

— Никак ты не доберешься до сути, Пен,— прервал его Джордж Локвуд.

— Это потому, что мне еще не приходилось никому об этом рассказывать. Я хочу, чтоб и ты понял, что это — не дешевая, случайная интрижка. Ни с ее стороны, ни с моей.

— И тем не менее она скоро стала интрижкой, насколько я могу судить,— сказал Джордж Локвуд.

— Нам незачем вдаваться в подробности, верно? Я не очень горжусь собой. Мне тогда было сорок шесть лет, и я не имел оснований ломать свою жизнь. У меня прекрасная жена, хорошие друзья, много денег. Но когда я попадал в общество этой девушки, приезжал к ней домой, меня словно подменяли.— Он повернул кресло так, что снова оказался лицом к окну.— У нее в квартире стояло пианино. У меня дома оно тоже было, но я никогда к нему не прикасался, а тут начал играть. Она покупала ноты всех музыкальных новинок, и я играл, а она пела. У нее хороший голос, контральто. Я стал проводить у нее все субботние вечера. Не буду притворяться, Джордж, будто мы встречались только ради невинных развлечений. Это не так. Но связь эта вызывала во мне какое-то совершенно новое чувство. Прежде отношения с женщиной никогда не связывались в моем сознании с понятием любви.

— Ты был влюблен в эту молодую женщину?

— Я и сейчас влюблен — вот в чем дело,— сказал Пенроуз Локвуд.— Она собирается выйти замуж, и я готов пойти на все, лишь бы этому помешать.

— На все, кроме женитьбы?

— Не кроме, а включая женитьбу.

— Ты делал ей предложение?

— Да. Прошлым летом, когда она сказала, что у нее есть другой человек, который хочет на ней жениться. Потом она уехала в отпуск, и, пока ездила, у нее случился приступ аппендицита.— Пенроуз быстро взглянул на брата.

— Ничего, Пен,— сказал Джордж Локвуд,— я все равно уже догадался.

— Каким образом? Что я сказал?

— Когда ты говорил об ее способностях и о том, что она старшая в группе стенографисток. Да я и раньше начал догадываться. Ты же не со многими стенографистками видишься каждый день. Кроме того, мисс Стрейдмайер действительно самая интересная в нашей конторе.

— Как-то летом, когда мы были с ней вдвоем, она сказала мне о своем женихе.

— Ты переспал с ней тогда?

— Нет. Я хотел, но она не стала.

— Что она ответила, когда ты сделал ей предложение?

— Она сказала, что не пойдет за меня и что уволится с работы и я забуду про нее.

— А ты что сказал?

— Я посоветовал ей взять отпуск за свой счет и не появляться у нас, пока не захочется, лишь бы потом она вернулась.

— Зачем?

— Я знаю, что ей хорошо со мной. Если она хочет попытать счастья в замужестве, я не имею права препятствовать. Но я уверен, что ей захочется вернуть то, что было между нами. Ей будет этого не хватать. Три, даже почти четыре года нас связывали отношения, которые когда-то казались мне невозможными.

— Ты думаешь, она была верна тебе все эти годы?

— Вначале — нет. Но последние три года — да.

— Ты веришь ей на слово, Пен.

Пенроуз Локвуд улыбнулся.

— Она и слова мне не сказала. Я просто уверен. Этим-то и хороша неопытность, Джордж. Ты на моем месте был бы полон сомнений, потому что ты, так сказать, человек бывалый. Но этот опыт тебе обошелся дорого. Ты вынужден сомневаться в людях, ибо сам даешь им повод сомневаться в тебе.

— Это правда,— согласился Джордж Локвуд.— Я верю женщинам меньше, чем ты.

— О, ты законченный циник. И не только в отношении женщин.

— Циник, но всегда — оптимист. Итак, ты сказал, что у тебя есть проблема. Какая?

— Теперь уж и не знаю, есть ли она. Ты выслушал мои излияния — и спасибо. Мне это очень помогло. Все стало яснее. Мэриан выйдет за этого молодого человека замуж, и мне придется потерпеть немного. Но она вернется.

— А потом что? Ты на ней женишься?

— Да. Она имеет право испробовать тот путь, который перед ней открывается, и я не стану ей поперек дороги.

— В таком случае у тебя нет никакой проблемы. Надеюсь, ты не станешь жалеть, что доверился мне,— сказал Джордж Локвуд.

— Напротив. Я чувствую большое облегчение.

— Один только вопрос, Пен: что, если она не разочаруется в своем браке с этим молодым человеком?

— Ты, как всегда, предельно дотошен. А я уже начал недоумевать, почему ты не задаешь мне этого вопроса,— сказал Пенроуз Локвуд.— Я думал об этом. Боялся этого. Но теперь я понимаю, что подобные сомнения не вяжутся с тем, во что я действительно верю. Что я действительно знаю.

— Ну, раз ты так уверен...

— И циник же ты, Джордж. А ведь ты много теряешь из-за своего цинизма.

— Да, я знаю. Ну, ладно, пошли к Рэю Тэрнеру, в его солидную, отделанную красным деревом контору. Или, может, она отделана мореным дубом?

Братья одновременно поднялись с мест. Джордж Локвуд помог Пенроузу надеть пальто, и они отправились в кабинет Джорджа, где Пенроуз помог Джорджу надеть пальто. Потом Джордж взял брата под руку, и они пошли к лифту.

■

Оказалось, что кабинет Рэя Тэрнера отделан не красным деревом и не мореным дубом, а на современный лад — сучковатой сосной. Он был достаточно просторен, и официант из ресторана свободно вкатил туда буфетный столик с едой.

— Джордж, я уже забыл, когда мы виделись в последний раз. Не часто вы бываете в наших краях, и я рад, что сегодня вы с нами.

— Я же не здешний. Сельский провинциал,— сказал Джордж Локвуд.

— Говорят, помещиком заделались,— сказал Рэй Тэрнер.

— Я тоже слышал,— подтвердил Чарли Боум.— Однако этот сельский провинциал зарабатывает больше любого из нас. Чем тогда кончилось у вас дело с этими карбюраторами, если не секрет?

— Отнюдь,— ответил Джордж Локвуд.— Как говорят англичане, сорвали небольшой куш.

— Кто желает коктейль? — спросил Рэй Тэрнер.

— Я — нет,— сказал Чарли Боум.

— Спасибо, не хочу,— сказал Пенроуз Локвуд.

— А я, пожалуй, выпью мартини, Рэй,— сказал Джордж Локвуд.

— И я с вами за компанию,— сказал Рэй Тэрнер.— Смешать или потрясти?

— Потрясти, и посильнее. Я так больше люблю.

— И я тоже,— сказал Тэрнер.— Мы заказали омаров по-ньюбергски, господа. Одобряете, Джордж?

— Было бы грешно отказываться от такого блюда,— ответил Джордж Локвуд.

— Расскажите мне о вашем имении,— попросил Тэрнер.

— Что ж, я приобрел около трехсот акров земли. Через год-другой, надеюсь, у нас будет там неплохая охота.

— Лошади? — спросил Чарли Боум.

— Лошадей нет. Жена не ездит, я тоже давно бросил. В тех краях верховой ездой не увлекаются.

— С гончими на лис не охотятся? — спросил Боум.

— В радиусе пятидесяти миль — нет. Просто стоит на холме дом, окруженный с трех сторон лесом.

— А какого типа дом, Джордж? Мы вот все думаем, покупать готовый или строить,— сказал Тэрнер.

— Пожалуй, я назвал бы его локвудским колониальным стилем. Красный кирпич, два этажа, мансарда, подвал. Вход посредине. Очень простой дом.

— И сколько же комнат в таком доме? — спросил Боум.

— Восемнадцать. Глядя на фасад, этого не скажешь. С виду он кажется меньше. Кроме того, две квартиры над гаражом. Есть теннисный корт и небольшой плавательный бассейн. В дальнейшем построю еще флигель для гостей, где можно будет переодеться и в случае крайней нужды — переночевать. Вообще же мы не собираемся часто принимать гостей.

— В общем, основательно устроились,— сказал Тэрнер.

— Да. У нас много воды. Водится дичь. Встречаются олени. Растут фруктовые деревья. Если потребуется, мы можем подолгу оттуда не вылезать. Я всегда говорил: если уж строиться, то чтобы чувствовать себя потом в новом доме так, как чувствовали себя первые Локвуды, поселившиеся в этой стране.

— А когда это было, Джордж? — спросил Боум.

— Наш предок приехал сюда в начале восемнадцатого столетия. И был убит индейцами. Или считалось, что его убили индейцы. Но я уже достаточно вам наболтал. Брат просил меня говорить сегодня поменьше.

— Продолжайте, это же интересно,— сказал Боум.— Не знаю, как Рэю, но мне действительно интересно. Моя фамилия ведь раньше писалась Б-о-у-е-м. По-пенсильвански. Один из моих предков был... кажется, он был губернатором Пенсильвании. Но потом с ним случилась какая-то неприятность, и он уехал на Запад.

— Выпьем еще, Джордж? — предложил Тэрнер.

— Нет, благодарю, Рэй. Но вы пейте.

— Никогда не могу до конца оценить вкус мартини, пока не выпью по второму разу. Берите сами и ешьте, господа. Приступайте, я сделаю два глотка и нагоню вас.— Тэрнер выпил еще два коктейля и принялся за омара. Управился он с ним раньше гостей.

Сладкого никто не захотел, поэтому все встали и, налив себе кофе, уселись вокруг письменного стола Тэрнера.

— Пока вы не начали. Рэй. Если разговор будет конфиденциальным и я помешаю, то я могу уйти,— предупредил Джордж Локвуд.

— Да, разговор сугубо конфиденциальный, Джордж. Но я не хочу, чтобы вы уходили,— ответил Тэрнер.— Нам с Чарли сделали одно предложение. Как вы знаете, мы с ним не компаньоны, но время от времени работаем вместе, и из-за этого нас стали принимать за компаньонов.

— Я не вложил в фирму Рэя ни пятака. Так же как и он — в мою.

— Верно. Ни одна из наших фирм не причастна к этому делу. Понимаете, господа?

— Да,— сказал Пенроуз Локвуд.

— Ясно. Так вот что нам стало известно от одного из клиентов фирмы Чарли в штате Огайо. Этот клиент — не очень значительный, но старый — спросил Чарли, вкладывал ли он когда-нибудь капитал в небольшое, только начинающееся дело.

— Наш клиент — пожилой человек, отошедший от дел и живущий в одном из городков штата Огайо. Сельский адвокат. Среди местных жителей он пользуется очень хорошей репутацией, и через него мы приобрели ряд новых клиентов. Так что я выслушал его. Он сказал, что один его знакомый хочет начать дело. И вот что он мне дал.— Чарли Боум взял с письменного стола Тэрнера картонную коробку, открыл ее и, вынув какой-то предмет, завернутый в толстую фольгу, передал Пенроузу Локвуду. Потом взял еще один такой же предмет и передал Джорджу Локвуду.

— Разверните.

Братья сняли обертку.

— Похоже на конфету,— сказал Пенроуз Локвуд.

— Это и есть конфета. Откусите,— предложил Боум.

Братья Локвуды откусили и стали жевать, одобрительно кивая.

— Великолепно,— сказал Джордж Локвуд.— Я рад, что отказался от сладкого.

— Я вообще не ем конфет, но эта мне нравится,— сказал Пенроуз Локвуд.

— Алтей, шоколадная помадка, порошок какао и сверху — толстый слой шоколада,— сказал Джордж Локвуд.— Но к помадке, мне кажется, примешано что-то еще.

— Верно,— согласился Чарли Боум.— Но что? По совести говоря, я не знаю. Можно было бы сдать на анализ, но где гарантия, что химик не начнет производство таких конфет сам? Итак, вы согласны с тем, что они приятны на вкус. А по мне, так они — самые вкусные из всех, какие я когда-либо ел. А ем я их много: они отбивают охоту к спиртному. Рецепт придумала одна женщина из того же городка в штате Огайо. Мне бы хотелось пустить эти конфеты в продажу. Рэю — тоже. Увлекла нас эта идея.

— До такой степени увлекла, что мы уже прикинули возможные расходы на рекламу в масштабе всей страны. Сперва надо придумать хорошее название, потом приступить к делу. Журналы «Сатердей ивнинг пост» и «Кольерс». Детские журналы. Газеты. Плакаты. Анонсы в вагонах и автобусах. Найти человека типа Нормана Бел Гедеса, который придумал бы упаковку и форму конфеты. Сами конфеты ничего не будут стоить. Все деньги пойдут на рекламу. Создадим спрос на них еще до того, как эти чертовы конфеты увидят свет. Вот зачем нам нужны деньги. Что вы об этом думаете, Пен?

— Как вам сказать. Конфеты мне понравились, но я не стал бы вкладывать деньги нашей компании в рекламу. Они могут оказаться выброшенными на ветер. А что, если конфеты не станут покупать,— много мы вернем с рекламы? Ничего не вернем. Таково мое мнение. Возможно, Джордж думает иначе.

— В том, что касается денег компании, мое мнение не отличается от мнения брата. Ему ведь приходится думать не только о себе, но и о наших акционерах.

— Иными словами, вы отказываетесь,— заключил Тэрнер.

— Вы не совсем меня поняли,— возразил Локвуд.— Сколько вы предполагаете истратить и сколько вам вообще потребуется денег?

— Точные суммы засекречены, Джордж,— ответил Тэрнер.— Всего, возможно, что-нибудь около миллиона. Львиная доля этих средств пойдет на рекламу. Это я могу вам сказать, даже если вы не решитесь дать деньги.

— Можете рассчитывать на мой вклад в пределах ста пятидесяти тысяч долларов,— сказал Джордж Локвуд.

— Что? Вы шутите?! — воскликнул Тэрнер.

— Какие там шутки, когда речь идет о ста пятидесяти тысячах долларов,— возразил Джордж Локвуд.

— Вот это да,— сказал Чарли Боум.

— Пен, тебе тоже следует присоединиться. Вложи свои деньги,— сказал Джордж Локвуд.

— Боюсь, что не смогу,— ответил Пенроуз Локвуд.

— Пятьдесят тысяч?

— Извини, Джордж. Я понимаю, когда люди тратят деньги на рекламу реального товара, но рекламировать то, чего нет...

— Ты же ел конфету,— напомнил Джордж Локвуд.

— Но ведь они хотят сначала разрекламировать, а потом производить. Если бы речь шла о рекламе нового автомобиля, то в случае неудачи остался бы по крайней мере металлический лом. А тут ничего не будет. Извини, Джордж, не могу.

— Ну, а я с вами, господа,— сказал Джордж Локвуд.— Пен, ты свободен. У нас сейчас будет закрытое заседание.

Пенроуз Локвуд встал.

— Будь я проклят, если встречал когда-нибудь более загадочного человека. И этот человек — мой родной брат. Благодарю вас за обед, Рэй. Чарли, пока. И желаю вам удачи. Всем троим. Может, я еще пожалею, а может — и нет. Во всяком случае, у меня не будет бессонных ночей, когда в «Сатердей ивнинг пост» появятся рекламные объявления. До свидания.— С этими словами Пенроуз ушел.

— Ну что ж, Рэй, Чарли, познакомимся с вашим проектом. Кто еще участвует в этом деле, на каких условиях, договорились ли вы с кем-нибудь из крупных кондитерских фирм? А конфеты хороши. Остается приятный вкус во рту. Конечно, розничная цена по пятаку за штуку?

— Если в больших количествах, то можно заработать и на пятаках,— сказал Тэрнер.

— Обязательно в больших количествах,— сказал Джордж Локвуд.— Одна вот только загвоздка, хоть и небольшая.

— Какая, Джордж? — спросил Тэрнер.

— Вы видите, с каким энтузиазмом я берусь за это дело. Со мной всегда так бывает, и я не остываю. Но я не хочу, чтобы люди знали, за что я берусь и от чего отказываюсь. Это их не касается. Так что ни в каких официальных документах мое имя не должно фигурировать.

— О, это легко сделать,— заверил его Чарли Боум.

— В операции с карбюраторами участвовал капитал фирмы «Локвуд и К°», другое дело — мой собственный капитал. У меня нет желания афишировать ни свои неудачи, ни свои успехи. Не упоминайте меня в печати. Если это приемлемо, перейдем к делу.

Он просидел с Тэрнером и Боумом до вечера, и они хорошо по-

трудились. Джордж Локвуд задавал вопросы, Рэй Тэрнер без обиняков на них отвечал, а Чарли Боум сглаживал острые углы. Но в пространных объяснениях Боума неизменно содержалась частица информации, которой не было в более лаконичных ответах Тэрнера. Тэрнер вообще обладал бухгалтерским складом ума. Боум же, как выяснилось в процессе беседы, первое время вообще не питал особых надежд на успех и не уговаривал Тэрнера вкладывать деньги. Он и свое-то участие ограничивал скромной суммой в двадцать пять тысяч долларов, которыми не жалко было рискнуть. Но, беседуя с Тэрнером, Джордж заразил и Боума своим энтузиазмом, и тот скоро стал прочить будущему предприятию такой же неслыханный успех, какого добилась недавно фирма по продаже эскимо в шоколаде.

— И я об эскимо подумал,— сказал Локвуд.

— А я удивлялся, как это вы так быстро согласились,— сказал Рэй Тэрнер.

— Это сравнение сразу пришло мне в голову,— сказал Локвуд.— Правда, конфеты — не такая новинка, как эскимо, но у них свои преимущества.

— А именно? — спросил Тэрнер.

— Мороженое тает, конфеты же не требуют холодильника. Их можно ссыпать в кучу на прилавке табачного магазина, а эскимо — нет Розничному торговцу не придется затрачивать на дополнительное оборудование ни цента.

Тэрнер с улыбкой взглянул на Боума.

— Вы повторяете то, что три месяца назад говорил мне Рэй,— сказал Боум.

— Что ж, я человек практичный, как и Рэй. Смотрю на вещи с точки зрения того, сколько можно извлечь из них денег. Но отчасти мой энтузиазм основан на разговоре, который был у нас сегодня с Пеном. После этой беседы у меня окончательно созрела мысль поместить капитал в предприятие подобного рода. Правда, это весьма рискованно, но все же есть смысл попробовать. Устал я от фондовой биржи

— Не могу сказать, чтоб я устал от биржи,— сказал Чарли Боум,— но у меня появилась склонность играть на понижение.

Они условились встретиться на следующий день еще раз, и Джордж Локвуд пошел по Бродвею в контору «Локвуд и К°». Смеркалось. Служащие в большинстве либо уже разошлись по домам, либо прощались друг с другом, собираясь уходить. Мэриан Стрейдмайер сидела на своем месте. Когда Локвуд проходил мимо, она сказала:

— Ваш брат просил передать вам...

— Что именно?

— Что вы и миссис Локвуд ужинаете у него дома завтра в восемь часов вечера.

— Благодарю вас, мисс Стрейдмайер.

— Вы сегодня были так нежны друг к другу,— сказала она.

— Да? Вам это показалось необычным?

— Да. Особенно когда вы под руку отправились с ним обедать.

— Пожалуй, это в самом деле выглядело необычно — по крайней мере в конторе. Хотя вообще-то мы с ним очень близки.— Локвуд оглянулся на дверь кабинета брата и задумчиво добавил: — Я сделал бы для него, кажется, все.

— Очень мило,— сказала она и, понизив немного голос, прибавила: — Я передумала насчет сегодняшнего вечера, если вас это интересует.

— Я же говорил: в четыре часа. А теперь у меня уже нет времени.

— Ну, что делать,— сказала она.

— Не надо быть строптивой, Мэриан. Я не люблю строптивых женщин. Что еще вы хотели сказать?

— Ничего.— Она достала из ящика стола сумочку и вышла, не попрощавшись.

Локвуд зашел к себе в кабинет и закрыл дверь.

— Вот вы какая, мисс Стрейдмайер,— громко проговорил он. Потом сел за стол и продиктовал в диктофон резюме беседы с Тэрнером и Боумом. Кончив запись, вынул валик и спрятал в карман пиджака.— Не нравитесь вы мне больше, мисс Стрейдмайер.— Он постучал пальцем по диктофону.— Ни капельки не нравитесь.

Контора была пуста. Уборщицы еще не пришли. Он подсел к столу Мэриан Стрейдмайер и стал перебирать бумаги, стараясь ничего не сдвинуть. Содержимое одного из ящиков надолго задержало его внимание. Потом он посидел в раздумье еще немного, встал и шагнул за стеклянную перегородку, где была бухгалтерия. Взяв с полки книгу с надписью «Жалованье», он положил ее на стол и раскрыл в том месте, где была запись о жалованье и премиальных, полученных Мэриан Стрейдмайер за все время ее работы в фирме. Потом закрыл книгу и уже собрался положить ее на место, но вдруг передумал и снова открыл. Теперь его интересовали данные о жалованье других служащих, и тут он обнаружил, что Стрейдмайер была единственной сотрудницей, не имевшей вычетов в счет погашения ссуд. Все служащие брали ссуды хотя бы раз в год. Несколько человек, получавших более скромное жалованье, брали чуть ли не каждые две недели. Мисс Стрейдмайер не взяла ни цента. Видимо, она отлично укладывалась в свой бюджет.

Джордж Локвуд, покуривая трубку, обошел все комнаты конторы, потом остановился, достал из жилетного кармана блокнотик в кожаном переплете и с позолоченными уголками, раскрыл на нужной странице и направился к сейфу, стоявшему в комнате кассира. Найдя требуемую комбинацию цифр, он отпер сейф и распахнул дверцу. Потом взял ключ, висевший у него на часовой цепочке, и отпер ящик с надписью «Переписка о служащих». Достав личное дело Мэриан Стрейдмайер, он быстро разыскал перечень счетов из магазинов, которые, как это принято в торговой практике, требовали подтверждения фирмы «Локвуд и К°». Молодая женщина, зарабатывавшая сорок долларов в неделю, покупала в кредит во многих фешенебельных магазинах. «Люсетта Шэй» — небольшой магазин готового платья для изысканной публики, на цены которого жаловалась даже Джеральдина Локвуд. «Майлстоун и Лей» — небольшой ювелирный магазин для изысканной публики, не нуждающийся в рекламе. «Кимиото и К°», «Марчбэнкс лимитед», Бюро заказов на театральные билеты, «Парфюмер Эдуар». Все эти заведения расположены на Мэдисон-авеню и прилегающих улицах. О них знает только богатая, шикарная публика, любители дорогих вещей. На бланке «Марчбэнкс лимитед» даже не указано, чем занимается эта английская фирма.

Была половина седьмого, когда Джордж Локвуд закрыл сейф и отправился подземной дорогой в жилую часть города. Джеральдина лежала в ванне.

— Придется тебе выбираться,— сказал он.

— А я почти готова,— ответила она.— Как ты провел день с Пеном? Расскажи все, как было, и потом можешь спросить, что я делала.

— Слава богу, в новом доме у нас будет достаточно горячей воды.

— А разве в старом недостаточно? Звонила Уилма. Завтра она ждет нас к ужину. Я согласилась.

— Знаю. Пен передавал.

— Где ты был? Я думала, ты в конторе, а тебя не было, и никто не мог сказать, куда ты ушел.

— Пен мог, но он, я думаю, не захотел говорить. Мы обедали с ним у Рэя Тэрнера и Чарли Боума, а потом он ушел, а я остался с ними.

— Заработал много денег?

— Потенциально. Потенциально. А пока что выложил изрядную сумму.

Она вылезла из ванны и вытиралась, а он начал раздеваться.

— Надеюсь, это не намек. Я ведь опять была у мистера Кимиото и сказала, что мы берем у него вазы. Теперь уж окончательно. Он хочет отправить их багажом, один из его сыновей поедет тем же поездом, чтобы присутствовать при разгрузке и распаковке.

— Надеюсь, он так и сделает. Как Мэри?

— Это доказывает, что они высоко их ценят. Мэри Чадберн? Плачет. У Лоренса туберкулез, а она...

— У Лоренса? Какого Лоренса?

— У ее племянника. Старшего сына сестры Дугласа. Мэри так привязалась к нему.

— Мэри привязывается ко всякому, кто дает ей повод поплакать.

— Знаю, но она делает много добра.

— Что ж, может быть, она раздобудет парню новое легкое.

— Я вижу, ты не в духе, Джордж. Пустить тебе воду?

— Да, будь так любезна.

— Вот только накину на себя что-нибудь. Мэри спрашивала меня, все ли в порядке у Пена с Уилмой. Я ответила, что да, насколько мне известно. Тогда она посмотрела на меня этак покровительственно, и я сказала, что не ручаюсь, потому что я ведь из провинции. Но я не сумела выпытать у нее ничего. Что-нибудь там неладно, а я не знаю? Когда я была у них на ужине, то ничего не заметила, а впрочем, я ведь и не выискивала.

— На что же она намекала?

— Ясно на что. Как я поняла, либо у Уилмы есть любовник, либо у Пена — любовница. Одно из двух.

— Эта Мэри бросила в бак с горючим спичку, а сама убежала.

— Обычно она не сплетничает, если для этого нет оснований.

— Я же видел сегодня Пена, ни о каких неурядицах он не говорил. Значит, дело не в нем. Если же Уилма завела себе любовника, то это кто-нибудь вроде Рэнсида Мартина.

— Рэнсома.

— В семьдесят восемь лет он сравнительно безопасен. Так что пойди скажи Мэри, чтоб она либо рассказала тебе подробнее, либо перестала болтать. Не делай мне ванну очень горячую. Налей пополам с холодной.

— Я пополам и сделала. Принесли твои рубашки из прачечной.

— Зачем ты мне это говоришь? Разве я спрашивал тебя про рубашки?

— Надо же мне что-то сказать, чтобы рассеять твое плохое настроение. Ты стал такой раздражительный с тех пор, как приехал сюда, и это мне не нравится.

— Извини, Джеральдина.

— Я прожила слишком много лет в условиях, когда что-то по-

стоянно шло не так и мне приходилось принимать на себя удар. И за тебя я вышла вовсе не для того, чтобы начинать все сначала. Этому не бывать, Джордж. Можешь не заблуждаться на этот счет.

— Ты вправду рассердилась?

— Нет, милый, не рассердилась. Но это не значит, что я не могу рассердиться. Ты должен понять одно: если я стараюсь быть приятной — а стараюсь я почти всегда,— то не люблю, когда на меня огрызаются. Я чудесно провела вчера вечер, мне была приятна каждая минута, и под этим впечатлением я находилась сегодня весь день. Но ты можешь сделать человека и несчастным. Иногда ты становишься совсем чужим.

— Извини, дорогая. Весь день то одно, то другое...

— Вот примешь ванну, потом решишь, ехать ли нам куда-нибудь или поужинаем здесь. Меня вполне устроит и то и другое.

— Вот приму ванну — обсудим.

— Ты самый привлекательный мужчина из всех, кого я когда-либо знала.

— Я тебе нравлюсь?

— Сам знаешь, что нравишься.

— После двух лет супружеской жизни?

— Мне ты всегда будешь нравиться. Вероятно, я должна благодарить за это те сотни женщин, которых ты встречал перед тем, как выбрать меня.

— Никаких *сотен* женщин у меня не было, Джеральдина. Несколько женщин было, но сотен — нет.

— Как женщина, я не хуже любой из них, хотя, ей-богу, узнала об этом лишь три года назад. Поэтому, наверно, ты и увлек меня, Джордж. Для такого мужа, как Говард Бакмастер, большого темперамента не требуется, поэтому я понимаю тех, кто спрашивает: что в ней нашел Джордж Локвуд? Что я должна им отвечать?

— Можешь отвечать, что я отнюдь не считаю тебя вялой женщиной.

— Ну вот, ванна готова.

— Ты уже больше не сердишься?

— Надо же мне время от времени заявлять свои права.

Они поехали в Челси и в маленьком кабачке заказали итальянский суп и макароны с томатным соусом. Там к ним присоединился бывший товарищ Джорджа Локвуда по Принстону. Ресторанчик принадлежал одной семье и представлял собою длинный узкий зал, на обеих стенах которого были изображены уличные пейзажи итальянского городка. Перед фресками стояла белая деревянная решетка, долженствовавшая создавать иллюзию, будто смотришь на улицу из глубины сада. Живопись была настолько плоха, что никакой иллюзии не получалось. Но яркие краски и безукоризненная белизна решетки сглаживали впечатление от убогих фресок, подчеркивая добрые намерения хозяина и художника. Кьянти имело металлический привкус, свидетельствовавший о том, что оно хранилось в жестяных банках перед тем, как быть перелитым в оплетенные соломой бутыли, но еда была вкусная и обхождение приятное.

— Джордж, в городе болтают, что к тебе скоро обратятся за деньгами на строительство новой ночлежки,— сказал Нед О'Берн.

— Что?

— И будто собираются назвать ее «Карлтон-Маклеод».

— Ах, вот оно что.

— Или «Карбюраторный зал». Что же ты забываешь друзей-однокашников? Дал бы хоть знать о выгодном дельце.

— Когда мы с Пеном сами о ней узнали, ни один друг-однокаш-

ник, если он в здравом уме, не стал бы связываться,— ответил Джордж Локвуд.— Вы все так заняты куплей-продажей акций, что ничего другого и не видите. А мы с Пеном выпестовали эту идею. На полученные от нас гонорары адвокаты могли бы... приобрести несколько теннисных кортов.

— Золотых кортов,— сказал О'Берн.— Так говорят. В следующий раз, если подвернется что-нибудь в этом роде, вспомни и про меня.

— Не обещаю, Тед. Если дело выгодное, то я — то есть вместе с Пеном — целиком возьму его на себя. А если невыгодное, то как я буду потом смотреть в глаза своим старым добрым друзьям? Ну, а что ты мне предложишь?

— Дружбы ради, во избежание qui pro quo [1], могу предложить кое-что в порядке совета. Сегодня при закрытии биржи цена на эти бумаги остановилась на одиннадцати с четвертью пунктах, но я намерен держать их, пока она не поднимется до сорока. Это случится примерно в середине января, как раз к тому времени, когда придут счета за рождественские покупки.

— Это акции чего-то крупного?

— Разумеется, нет. По правде говоря, акций не так уж и много, чтобы заинтересовать таких вкладчиков, как ты. Но меня устроит и скромная сумма в полсотни косых. А потом я выйду из игры.

— А дальше что?

— Дальше? Я же спекулянт и этого не скрываю. Даю заработать кое-кому из друзей, рассчитывая, конечно, на взаимность, если и им подвернется что-нибудь. Но для тебя, Джордж, это мелочь.

— Пятизначное число — не мелочь, Нед. Мы только что закончили строительство нового дома, и, если найдутся желающие оплатить за меня расходы, я не стану возражать.

— Ну так присоединяйся.

— Спасибо, Нед, не стоит. А то я еще захочу выйти из игры раньше тебя и начну продавать, и ты мне этого никогда не простишь.

— Конечно, мне ни к чему, чтобы ты сразу же все и продал. Этак ты действительно расстроишь мои планы, так что лучше не ввязывайся. Но раз ты не собираешься участвовать, скажу тебе по секрету, о чем идет речь. Ты хоть последишь за развитием событий в ближайшие три месяца.

— Я буду молчать,— сказал Локвуд.

— Речь идет о «Магико».

— На конце «ко»?

— Да. Радиоприемник. Восьмиламповый. Двое чикагских парней изобрели приспособление, устраняющее почти все помехи, которые появляются в городах из-за множества стальных конструкций, электрических лифтов и так далее. Если то, что они говорят, правда, то сорок пунктов — далеко не предел. Но я удовлетворюсь и сорока.

— Хорошо. Но сразу же возникает вопрос: почему фирмы «Этуотер Кентс» и «Стромберг-Карлсон» сами не усовершенствовали приемник? Почему за него взялись какие-то чикагские парни?

— Ты помнишь, Джордж, что я никогда не участвовал в викторинах? Я же не собираюсь держать эти акции вечно. За что купил, за то и продаю. Пока суд да дело, я немного заработаю, а потом потихоньку выйду из игры и скроюсь. Быть может, эта затея провалится, но я-то уплыву в буквальном и переносном смысле. У меня есть цель. Когда я ее достигну — это произойдет через пять лет,— то куплю себе в Ирландии деревню, где родился мой дед, и стану там цар-

[1] Недоразумение *(лат.)*.

ствовать. Весь остаток жизни буду ловить горбушу и попивать виски. В сущности, по натуре я не стяжатель.

— Все понятно. У меня нет желания ехать в Ирландию, где я буду в численном меньшинстве, но то, что ты собираешься делать, я уже делаю.

Джеральдина Локвуд и Кэтлин О'Берн в это время разговаривали о своем, в частности о том, где что можно купить, но тут Кэтлин вдруг сказала:

— Я слышала вашу последнюю фразу, Джордж. Что вы такое уже делаете, а Нед только собирается делать? Мне хотелось бы это знать, чтобы иметь какое-то представление о планах Неда.

— Как, вы тоже не знаете планов мужа? — удивилась Джеральдина.

— Тоже? Ты всегда в курсе моих планов, Джеральдина,— сказал Джордж.

— Ничего подобного. Мне объявляют решения, а планов я не знаю.

Позже, когда они вернулись в гостиницу, Локвуд сказал:

— Ты удивила меня, сказав, что не знаешь моих планов. Ты действительно так считаешь или на тебя просто кьянти подействовало? Мне кажется, Джо малость подкрепляет его.

— О, я и без кьянти сказала бы то же самое. И даже без чая. А что?

— Ничего. Это одно из тех заявлений, которые женщины делают в присутствии посторонних, но никогда не делают с глазу на глаз. Когда муж и жена остаются наедине, подобные заявления приводят к спору. На людях же они стараются избегать споров. Стало быть, раз ты предпочла сказать это на людях, значит — не хотела спорить со мной. Спокойной ночи, Джеральдина. Я не буду тревожить тебя утром, так как уеду рано. Весь день пробуду в деловой части города. Позавтракаю в ресторане.

— Очень хорошо. Спокойной ночи, Джордж.

На следующий день после ужина у Уилмы Локвуды играли в бридж, поэтому размолвка между Джорджем и Джеральдиной не была замечена ни хозяином, ни хозяйкой. Когда они снова возвратились в свой номер. Джеральдина сказала:

— Если у них что-нибудь и неладно, я этого не заметила. Не знаю, что они подумали о нас.

— Вот именно. Завтра я возвращаюсь в Шведскую Гавань. Едешь со мной?

— Нет, благодарю. Если пришлешь за мной машину, то приеду в субботу.

— В субботу? Тогда я посоветовал бы тебе справиться через Эндрю, где состоятся в этот день футбольные матчи. Если играть будут в Истоне, Бетлехеме или Аллентауне, то ты надолго застрянешь в пути.

— Не беда, если и надолго.

— Дело твое.

— Быть может, к тому времени ты оттаешь. Но после длительной поездки и всего прочего, возможно, я буду изрядно холодна.

— И то и другое не исключено,— сказал он.— Если я не увижу тебя утром, то встретимся в субботу. Спокойной ночи.

Утром он оставил ей записку:

«Дж.! Сегодня я вышлю Эндрю в Нью-Йорк, чтобы завтра ты могла выехать в любое время, когда пожелаешь. Велю Деборио забронировать ему номер в гостинице «Рузвельт».

Дж. Л.»

Джордж Локвуд взял ключи от своего «паккарда» у начальника станции в Рединге и к середине дня был уже дома.

— Вымой «паккард», Эндрю, а потом поезжай в Нью-Йорк. В гостинице «Рузвельт» тебе забронирован номер. Когда приедешь, позвони миссис Локвуд в гостиницу «Карстейрс». Без сомнения, у нее будет уйма вещей, которые надо доставить домой. Она скажет, в котором часу вы завтра отправитесь. Возьми «пирс-эрроу», он самый вместительный.

— Миссис Локвуд не любит ездить на «пирсе», когда далеко. Она жалуется, что в нем продувает.

— Без «пирс-эрроу» ей не обойтись. Если будет холодно, пристегни по бокам брезент. И захвати с собой побольше теплых вещей.

— Я думаю, что «линкольн» так же вместителен, если никто не сидит сзади.

— Это все, что ты думаешь? Надеюсь, сам-то ты не против, если обдаст чуточку свежим ветерком?

— Я нет. Да вот миссис Локвуд. Она против.— Эндрю улыбнулся.

— Чему улыбаешься?

— Только между нами. Она рассердится, если узнает, что я вам это рассказываю. Дело не только в сквозняках. Она жаловалась, что когда ездит в «пирсе», то выглядит старой — как те старые леди, что ездят в «пирсах» по Гиббсвиллу. Кроме того, эта машина ужас сколько жрет горючего.

— Кто это успел поговорить с тобой, Эндрю? Агент по продаже «кадиллаков»? Флиглер? Если да, то напрасно стараешься. «Кадиллак» я все равно не куплю. Так что скажи своему Лютеру Флиглеру, что из вашего заговора ничего не выйдет. Ну как, будешь ты мыть «паккард»? Поедешь в Нью-Йорк?

— Никто другой вам не предложит за «пирс» семьсот долларов,— сказал Эндрю.

— Не стоит он семисот долларов. И за «кадиллак» просят слишком мало.

— А миссис Гофман предлагают за ее «пирс» всего триста. Того же года выпуска, что и наш. Старой миссис Гофман.

— Сейчас он больше и не стоит. Брось, Эндрю. Может быть, ты и заработаешь свои два процента, но не на «кадиллаке». В моем гараже ему не стоять.

— Ну, как знаете, сэр.

— Что-то я хотел тебя спросить, да забыл за твоими разговорами.— Джордж Локвуд стоял перед Эндрю, который, сняв ботинки, надевал резиновые сапоги.— Да, вот что: говорят что-нибудь об этом мальчике, который убился?

— Вчера вечером был суд.

— Ты имеешь в виду допрос у следователя?

— Да. В газете утром писали, что это — смерть от несчастного случая. Вчера были похороны. Я слыхал, вы на них деньги давали.

— Где ты слыхал?

— В городе.

— Это правда. Но людям ни к чему об этом знать.

— По-моему, вы хорошо поступили,— сказал Эндрю.— По закону не обязаны были, да для людей лучше.

— Я не потому это сделал.

— Понимаю. Поэтому и считаю, что вы хорошо поступили.

— Говори прямо. Что у тебя на уме?

Эндрю встал.

— Никто не может винить вас, и не на что мне намекать. Но

кое-кто поговаривает, что стена-де и так достаточно высока. Не было никакой нужды в пиках.

— Ясно. Что еще говорят?

— Больше ничего.

— А по-моему, было еще что-то.

— Да, было, но все в том же роде. Говорят, что не следовало вам ставить пики. Они и весной так говорили, и вот теперь, начиная со вторника, опять говорят. Что вы всю жизнь прожили в доме с низкой железной оградой — я ведь говорю то, что слышал. Это не мое мнение. Всю жизнь жили в открытую, на виду у людей, и вдруг решили строить дом в долине. Поставили высокую стену да еще сверху пики. И вдобавок ко всему снесли все постройки на старой ферме Оскара Дитриха. Один парень сказал: «Что это с ним стряслось, зачем ему захотелось прятаться?» — Эндрю помолчал.— Знаете, мистер Локвуд, я буду говорить с вами как мужчина с мужчиной. Я у вас работаю и доволен вашим отношением, поэтому защищаю вас. Но тут дело в другом.

— И спасибо, что защищаешь. В чем же тут дело?

— Вас-то мне нечего защищать.— Эндрю запнулся и с надеждой посмотрел на Джорджа Локвуда, как бы прося его помочь выйти из затруднения.

— Кого же в таком случае надо защищать, если не меня?

— Вашу жену. Миссис Локвуд. Это ее во всем винят. Вы-то прожили в этом доме всю жизнь, и родители ваши — тоже. Насколько я знаю, здесь родился ваш отец. Вот люди и говорят, что новый дом, стена, пики на стене и то, что вы снесли ферму Оскара Дитриха,— все из-за того, что вы во второй раз женились.

— Но это моя идея — не ее.

— Конечно. Только есть люди, которых невозможно в этом убедить.

— Я и не собирался никого ни в чем убеждать.

— Знаю. Я передаю лишь то, что люди говорят. Вы мало знались с жителями города, но они к вам привыкли.

— Моя первая жена тоже с ними не зналась. Почему же должна якшаться эта?

— Но у той была причина: она часто болела, и все это знали. А теперешняя миссис Локвуд — сильная, здоровая леди. Я передаю вам лишь то, что говорят.

— Ты приехал сюда из Нью-Йорка, Эндрю. Тебе еще мало знакома жизнь маленького городка.

— Однако мне здесь нравится.

— Да, но ты не знал, например, что когда моя мать вышла замуж за моего отца и переехала жить сюда, то городские жители считали ее выскочкой, потому что она разговаривала только по-английски.

— Как это понимать, сэр?

— Она была родом из Рихтервилла, всего в десяти милях отсюда, и кроме английского знала еще немецкий. Но отец плохо понимал этот язык, поэтому она и разговаривала только по-английски. А горожанам это не нравилось. Они обращались к ней по-немецки, а она отвечала им по-английски. Они осуждали ее за все, что бы она ни делала. И знаешь почему?

— Думаю, по многим причинам.

— Причина одна. Она была женой Авраама Локвуда, моего отца, который вздумал искать себе невесту в десяти милях отсюда. Теперь история повторяется. Но я рад, что ты за меня заступаешься. Полагаю, что и за миссис Локвуд — тоже.

— Еще как,— ответил Эндрю.— Одному парню даже по морде пришлось дать.

— За что? Он сказал что-нибудь о миссис Локвуд?

— Он взял свои слова обратно.

— Рыцарство — хорошее дело, но побереги себя. Доброй ночи.

— Доброй ночи, сэр.

Джеральдина Локвуд вернулась домой, в свою красную кирпичную коробку, на следующий день к вечеру.

— Ага, затопил камин! Как хорошо,— сказала она, входя в кабинет мужа.

— Это все, что ты можешь мне сказать при встрече?

— Ты хочешь знать, собираюсь ли я тебя поцеловать? Нет, не собираюсь. Я, кажется, простудилась: чихаю от самого Истона. Могла бы отомстить тебе и заразить, но я не такая зловредная. И потом — какое право ты имеешь на поцелуй? Ты вел себя по-хамски, Джордж, и мне это совсем не нравится.

— Возможно. Бывает.

— Так вот: мне это не нравится. Да, да, не нравится. А ты даже не извинился.

— Это избавило бы тебя от простуды?

— Не связывай простуду с моими чувствами. Простуда здесь ни при чем. Впрочем, нет. Почему ты послал Эндрю не на «линкольне»?

— Потому что в «пирс-эрроу», как я надеялся, легче простудиться.

— Этого я тебе не прощу, вот увидишь. Припомню все, что было в последние два-три дня. Пойду приму ванну и лягу в постель. И не утруждай себя, не приходи желать мне спокойной ночи.

— Хорошо, Джеральдина. Как тебе будет угодно.

— Где моя почта? Пришли посылки?

— Спроси у Мэй.

■

Одним из пассажиров вечернего поезда, прибывшего из Филадельфии в конце февраля 1921 года, был Бинг Локвуд, иными словами Джордж Бингхем Локвуд-младший, высокий стройный молодой человек двадцати двух лет. На нем были светло-коричневая шляпа и длинная енотовая шуба. Шуба была расстегнута, и из-под нее виднелся светло-серый английский костюм. Ноги были обуты в черные ботинки с гладкими носами, перетянутые черными союзками на подъемах. Он вышел из пульмановского вагона и, став на носки, посмотрел поверх толпы сначала в одну сторону, потом в другую. На перроне, по бокам от него, стояли великолепный английский вещевой мешок из свиной кожи и не менее великолепная теннисная сумка, тоже из свиной кожи. И одежда, и вещи этого человека отвечали последней моде, принятой у студентов-старшекурсников, но держался он сейчас без свойственного этой породе людей апломба.

— Привет, Джорджи. Погостить домой на субботу? — спросил Айк Венер, заведующий багажным отделением.

— Здравствуйте, мистер Венер. Не видели нашего Генри?

— Нет. Но я, правда, не искал его. И машины вашей не видел. Может, еще приедет.

Венер ушел, и скоро Бинг Локвуд остался на перроне один, все время поглядывая на часы. Прошло пять минут.

— Видно, придется тебе поразмять свои длинные ноги, Джорджи,— сказал подошедший опять Венер.— Или позвонить к тебе домой? Пойду позвоню, если хочешь. А ты пока здесь посмотришь.

— Нет, спасибо, мистер Венер. Пожалуй, пойду пешком.

— Может, что неладно, Джорджи? Дома что-нибудь не в порядке? Надеюсь, матери не стало хуже.

— Все хорошо, спасибо. До свидания, мистер Венер.

Бинг Локвуд прошел два квартала на восток, потом три квартала на юг и оказался у родительского дома. Отворив дверь, он вошел, оставил вещи, шубу и шляпу в холле и направился в кабинет отца.

— Здравствуй, отец.

Джордж Локвуд отложил вечернюю газету в сторону.

— Здравствуй, сын.

— Ну, вот и я.

— Вижу, что ты. Садись, чего стоишь. Не жди, когда тебе скажут, что делать.

Сын сел на стул и закурил.

— Давно ли перестал носить подтяжки? Или в Принстоне другая теперь мода?

— Неужели ты начнешь нашу беседу с того, что станешь критиковать мою одежду? — проворчал Бинг.

— Да с чего ни начни, почти все плохо. Разве нет?

— Наверно, да. Но не с подтяжек же начинать, черт побери.

— Ладно. Оставим подтяжки. Начнем с твоей манеры разговаривать.

— Ну, извини.

Джордж Локвуд встал, открыл лежавший на письменном столе серебряный портсигар и вынул сигарету. Хотел было закурить, но передумал, взял портсигар в руки, осмотрел со всех сторон и протянул сыну.

— Приятно было получить от тебя этот подарок. А теперь возьми обратно.

— Зачем? Я его выиграл, он тебе понравился, и я был рад сделать тебе подарок.

— Да. Но *как* ты его выиграл?

— Не дури, отец. Это же за теннис.

— Тебя вышвырнули из колледжа за жульничество на экзаменах, и, насколько я знаю, ты жульничал во всем.

— На чемпионате по теннису одним обманом победы не добьешься, черт побери. Ты замечал, что на возвышении сидит судья и все видит? Если не хочешь этой коробки — выкинь ее в мусорную корзину. Мне она тоже не нужна.

— Зачем ты вообще ехал домой? Мог бы не ехать, деньги у тебя есть. Мало опозорить семью, ты еще имеешь наглость разговаривать со мной таким тоном.

— Понятно. Значит, это ты не разрешил Генри встретить меня.

— У Генри сегодня свободный день.

— А сам ты, конечно, не пожелал ехать. Впервые за семь с половиной лет меня никто не встретил.

Джордж Локвуд фыркнул.

— Скажи на милость! Ты, может, думал, что мы с духовым оркестром выйдем тебя встречать?

— Ничего такого я не думал, и ты это знаешь, отец. Я заслужил наказание и, надеюсь, приму его как подобает мужчине. Но насмехаться надо мной, начинать разговор о каких-то подтяжках... Возвращать портсигар...— Голос Бинга дрогнул.— Право, отец...

— Ради бога, без слез. Час от часу не легче. То ругаешься, как извозчик, а то хнычешь, словно девчонка. Хочешь реветь — иди к себе в комнату.

— Больше не запла́чу. Я уже говорил тебе по телефону и скажу

еще: все отдал бы, если бы мог смыть это пятно. Лучше было завалить экзамен, чем обманывать.

— Или быть уличенным в обмане. Насколько я понимаю, однажды тебе это уже сошло с рук.

Сын в нерешительности помолчал.

— Дважды сходило с рук. Но я жалею, что не отдался на волю судьбы и не провалился.

— Верно. Если бы только провал, куда легче было бы устроить тебя в другое учебное заведение. Даже и обратно в Принстон дорога не была бы закрыта. А сейчас тебя не берут даже в Пенсильванский университет и в Бакнелл.

— Ты что, обращался и в Пенсильванский, и в Бакнелл?

— Говорил кое с кем из знакомых. Правда, в Бакнелл можно — только не в этом году, а в следующем. У твоей матери есть родственник, он баптистский священник в Уилкс-Барре.

— Я не хочу ни в Бакнелл, ни в какой другой.

— Ах, у тебя свои планы. Можно спросить какие?

— Я еду в Калифорнию. Буду там работать.

— В каком-нибудь банке, конечно?

— Чего ты добиваешься? Так и норовишь ударить ниже пояса. Нет, не в банке. Отец одного моего товарища по общежитию оказался добрее, чем родной отец. Он берет меня к себе на ранчо. На следующей неделе поеду. Могу уехать и завтра, если уж на то пошло.

— Почему же не уехать? Я не держу тебя.

— Ты и не можешь держать. Надеюсь, мы видимся в последний раз. Прощай, *отец!*

— Подожди минутку, пока ты не совершил еще свой драматический выход. Тебя мать там ждет. Что ты ей скажешь?

— Скажу, что получил место в Калифорнии и что завтра должен ехать.

— Я спросил лишь для того, чтоб у нас не было разнобоя. Это все, что меня волнует. Когда придешь наверх, имей в виду, что это, может быть, твоя последняя встреча с нею. Если ты долго пробудешь в Калифорнии.

— Как долго?

— Если пробудешь там год. Не расстраивай ее, иначе тебе придется отложить свой отъезд на несколько дней. Так что трагедий с ней не разыгрывай.

— Иначе, по-твоему, быть не может?

— Будь ты проклят! Не думай, что я это забуду.

— Ладно,— буркнул Бинг.

Увидев сына, мать сняла с головы чепец. Она сидела в кресле с высокой спинкой. На ней был халат, надетый прямо на ночную рубашку; ноги ее в домашних шелковых туфлях покоились на круглой ковровой подушке. Быстрым движением пальцев она поправила волосы и протянула к нему руки.

— Иди сюда, Джорджи, дай я отшлепаю тебя как следует. Ну, поцелуй меня.

Он поцеловал ее и сел в такое же кресло, стоявшее по другую сторону камина.

— Ты ужинал?

— Нет.

— Голоден, значит.

— Не очень. В Рединге на вокзале поел устриц.

— Ты уже разговаривал с отцом, я знаю. Я слышала ваши голоса, только разобрать ничего не могла. Конечно, он очень расстроен. Но он отойдет. Ты ведь помнишь Чарли Ларриби? Впрочем, я не уверена. Это

мой троюродный брат. Он как-то приезжал сюда читать проповедь в баптистской церкви и ночевал у нас. Тебе тогда было три или четыре года — не больше. Так вот: он изрядно преуспел как пастор, пастор-баптист, и я где-то прочла, что он стал одним из попечителей Бакнелла. Тогда я посоветовала отцу написать дяде Чарли и изложить все обстоятельства, ничего не скрывая, и попросить его, как христианина и священника...

— Знаю, мама. Отец говорил.

— Да? Я была уверена, что он скажет. Тебя зачислили на будущий год или, вернее, зачислят. Одним словом, возьмут. И ты получишь диплом. Всего один год, сынок.

— Не так уж важен мне этот диплом, мама. Довольно с меня колледжей.

— Я боялась, что ты так именно и скажешь. Но не торопись с решением. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что тебя берут в Бакнелл по протекции. Но куда бы ты ни поступил, тебе придется гораздо труднее, чем любому другому студенту. За тобой будут следить, как за зверем, и первый же неверный шаг... одним словом, ты понимаешь. Но именно поэтому ты должен пойти учиться. Это — лучший способ загладить то, что произошло в Принстоне. Смой с себя это пятно. Бакнелл готов предоставить тебе такую возможность, и я надеюсь, что ты поедешь, получишь диплом и докажешь Принстону, что ошибки пошли тебе на пользу.

— Да, мама, я постараюсь смыть это пятно. Но не с помощью Бакнелла. Я уверен, что они предоставляют мне эту возможность с самыми благородными намерениями, но колледжей с меня хватит. Взгляни на мои отметки за годы учебы: я еле-еле вытягивал, и то не всегда. В прошлом году я ведь тоже жульничал. И вообще мне не следовало поступать в университет, зря только тратили время и деньги. Может, это и хорошо, что меня поймали, хотя жаль, что так получилось почти перед самым окончанием. Еще бы четыре месяца...

— Но, возможно, это и к лучшему. Если бы ты закончил нечестным путем, то неизвестно, как бы это повлияло на твою дальнейшую жизнь. Ну, так каковы твои планы?

— Отец Стива Кинга, с которым мы вместе жили, говорит, что у него есть для меня работа.

— В Калифорнии? Такая даль! Туда целую неделю поездом добираться, сынок.

— Я ведь даже в Китай готов был уехать, а уж сколько туда добираться, я даже и не представляю себе.

— Чем же ты будешь заниматься в Калифорнии?

— Буду работать на ранчо мистера Кинга.

— Ковбоем?

— Нет, он не занимается скотоводством. Фрукты выращивает. Апельсины и прочее.

— Тебе это по душе?

— Не знаю. Сначала надо попробовать.

— Что ты будешь делать? Собирать апельсины?

— Наверно, да. Первое время. Он сказал, что я начну с самого низа. Чернорабочим. На тяжелых работах. Но если я хочу стать человеком, говорит он, то это возможно лишь таким путем.

— А с самим мистером Кингом ты разговаривал?

— Я получил от него письмо. Он ничего толком не говорит о моей будущей работе, только то, что работа будет тяжелой. А от Стива я знаю, что если он говорит «тяжелая» — значит, так оно и будет. Гребля для Стива — пустяки после лета, проведенного на ранчо.

Рука матери безжизненно повисла на подлокотнике кресла.

— Когда ты уезжаешь?

— Завтра.

— Я так и знала. Так и знала. Знала, что ты едешь сюда прощаться. Встань, Джорджи. Дай мне посмотреть на тебя. Повернись кругом. Ох, мой сын! Милый мой! — Она протянула руки, и он, став на колени, дал ей обнять себя.

— Не плачь, мама. Все-таки это ближе Китая.

— Не ближе. Для меня не ближе. И все же это не то, что война. Четыре года назад я ужасно боялась за тебя. Но сейчас войны нет. Для тебя начинается новая жизнь, и это замечательно. Ты ведь так считаешь, да?

— Да.

— Быть может, встретишь там хорошую девушку.

— Рано еще об этом говорить, мама.

— Не рано. Ты взрослее, чем тебе кажется. Жил ты весело, беззаботно, были приятные развлечения, теннис, товарищи... Но теперь, я думаю, все это кончилось.

— Верно, кончилось.

— А теперь сядь, я расскажу тебе об отце. Обо *мне* ты уже знаешь, я вижу, что знаешь. Вижу по тому, как ты бережно со мной обращаешься. Тебе отец сказал, да? Но это совсем не то, я должна сама тебе рассказать. Плохо у меня с сердцем. Возможно, я уже никогда не спущусь больше вниз. Но не можешь же ты оставаться здесь и ждать, пока со мной случится последний приступ. В таком состоянии я могу прожить годы. Так вот, о твоем отце.

— Ты хочешь сообщить, что он мне не отец?

Она засмеялась.

— В том, что он тебе отец, нет ни малейшего сомнения. Подумай о другом: как переменились времена, если ты задаешь мне такой вопрос. Что было бы, если б дядя Пен задал такой вопрос твоей бабушке!

— Времена не переменились. Это мы с тобой переменились.

— О, может быть. Кажется, что-то в этом роде сказал Шекспир. Во всяком случае, для того, чтобы ты понял своего отца, Джорджи, я должна рассказать тебе кое-что о нем. В том, что я скажу, нет ничего ужасного или скандального. Это лишь черта его характера. Он слишком много думает.

— Слишком много думает?

— Да. Ты похож больше на меня, я это поняла, когда ты был еще маленьким. А отец целиком ушел в себя и все думает, думает. Ничего не предпримет, пока не обдумает. И ему приятнее планировать, чем осуществлять свои планы. Не успеет подготовить себя к какому-нибудь делу, как уже теряет к нему интерес. Большое ли, маленькое ли дело — он его изучает. Ты обрати внимание, как он заказывает себе в ресторане еду. На это у него уходит уйма времени, сама же еда, кажется, не доставляет ему никакого удовольствия. Или как шьет себе новый костюм. Шесть раз примерит, а когда костюм готов, то месяцами без пользы висит в шкафу.

— Это я знаю.

— Есть и другое, чего ты, возможно, не знаешь. Теперь, поскольку ты выходишь в большой, чуждый тебе мир, я могу рассказать об этом. Хоть тут и нет ничего ужасного или скандального, но твой отец не всегда был мне верен.

— Ты хочешь сказать, что он вступал в связь с другими женщинами?

— Да. Не так часто, но и не редко. Правда, ненадолго, потому

что после года обдумывания и планирования он в конце концов терял к ним интерес.

— Что это за женщины?

— Разные. Я не всегда знала их в лицо или по имени, но когда они были, я это чувствовала.

— И ты ни разу не подала вида?

— Первый раз — подала. Ту женщину я знала, это одна из моих знакомых. Тогда мне казалось, что жизнь кончилась, все кончилось. Тем более что в то время я носила Эрнестину.

— Это было ужасно.

Она покачала головой.

— Нет. Когда он все объяснил, мне это не показалось столь ужасным.

— Как же он сумел тебе это объяснить?

— Сумел. И когда объяснил, то я поняла, что вышла замуж за человека, который не способен на сильное чувство. Поэтому и измены его не так уж много значат.

— Вот те на!

— Да, немного, поскольку... есть вещи, о которых не говорят. Муж и жена могут жить вместе многие годы, иметь детей и никогда не касаться этой стороны супружеской жизни. И мы с твоим отцом не касались, пока он не завел интриги с другой женщиной. И тогда у нас был разговор. Он сознался в измене и дал мне объяснение, показавшее ничтожность его чувства. Или любви, что ли. Да. Видишь ли, он сказал, что мужчина, раз узнавший женщину, уже не может обойтись без физической близости с другими женщинами. И он выбрал одну даму из нашего круга, так как если она вздумает устраивать ему сцены, то рискует потерять не меньше его.

— Он заводил интриги только с женщинами вашего круга?

Она улыбнулась.

— О, нет. *Такого количества* неверных жен не набралось бы.

— Значит, другим своим романам он давал иное объяснение?

Она покачала головой.

— Нет. Я больше не требовала от него объяснений. О своей первой связи он рассказывал с таким хладнокровием — я сразу поверила, что он говорит правду. Правду о себе — он даже не сознавал, насколько раскрыл себя при этом. И до сих пор не сознает. Это было так, точно он рассказал мне о какой-нибудь своей болезни. Как я, например, рассказала ему, что у меня с сердцем.

— Ну, а у него сердца нет.

— В этом смысле — да, сердца у него нет. Но пойми и другое: он во многих отношениях хороший муж. Я не променяла бы его ни на одного из тех, кого знаю. Он великодушен, предупредителен, ласков. И таким был всегда, а не только с тех пор, как со мной случился сердечный приступ. Всегда. То, что другим женщинам еще предстоит узнать, я уже знаю, он никогда никого не любил, ибо не может любить. И это знание принесет им горе, не может не принести. Сама-то я прошла через это уже много лет назад.

— Зачем ты мне все это рассказываешь, мама?

— На то есть причина. Дело не в желании посплетничать о твоем отце. Я стараюсь помочь тебе научиться понимать людей. Ты уезжаешь к чужим людям. Не удивляйся, если порой тебе будут непонятны их поступки. И не удивляйся поступкам отца. Он весь ушел в себя, и он очень несчастен оттого, что так много теряет в жизни.

— Видимо, я пойму это когда-нибудь позже.

— Во всяком случае сейчас не пытайся это понять. Вот подожди, встретишь человека, которого не поймешь, тогда и вспомнишь мои

слова. Женщины такого типа тоже ведь попадаются. Не только мужчины.

— Ты в своей жизни кого-нибудь любила?

— Твоего отца. Шесть лет. Потом узнала, что он за человек, и перестала любить. Но к тому времени родился ты, потом Эрнестина, и я стала любить вас и не жалела, что разлюбила отца. Я хочу, чтобы ты ехал в Калифорнию не только полный надежд, но и подготовленный к жизни. Ты можешь разочароваться в людях, разочароваться в тех, кого полюбишь. Если это случится, вспомни, что я прожила пятнадцать лет с мужчиной, которого перестала любить, и никто не знал, что я несчастна. Впрочем, большую часть времени я и не сознавала этого, разве что в те минуты, когда вспоминала о шести годах любви. Тебе ведь никогда не приходило в голову, что я несчастна, правда?

— Нет. Но иногда я задавался вопросом, как ты можешь быть счастлива с таким человеком, как мой отец. Дальше этого я не шел.

— И хорошо, что не шел. Дети должны думать, что их родители счастливы. Но ты теперь взрослый, скоро заживешь самостоятельно, так что некоторая утрата иллюзий тебе не повредит.

— У меня их не так много, как ты, может быть, думаешь. Особенно сейчас. В отношении себя, например, я вообще не питаю иллюзий. До прошлого года я считал себя честным. А потом оказалось, что ошибался.

— Ты был и остаешься честным. Но кое в чем ты, возможно, слаб. Большинству из нас присущи те или иные слабости. Разве тебе не приходилось читать о людях, которые вели тихую, благопристойную жизнь, а потом оказывались не в силах устоять перед соблазном? Брали из кассы все деньги и убегали. А тебе ведь не сорок пять лет, всего двадцать два года. Никому, кроме тебя самого, от твоего поступка не было вреда. Никто, в сущности, не пострадал от того, что тебя попросили из Принстона. Твой отец говорит о позоре, но он настолько оторвался от людей, что никто почти ничего о нас не знает. Конечно, он будет это скрывать от жителей Шведской Гавани, но он и всегда все от них скрывал, так что разница невелика. Будь он более дружелюбным, общительным человеком, молчание его бросилось бы в глаза, а так никто, кроме членов нашей семьи, не знает, что ты ушел из Принстона.

— Знают.

— Я говорю о Шведской Гавани.

— Я никогда больше не смогу вернуться в Принстон или встретиться со своими университетскими товарищами.

— Кто из них приходил прощаться, когда ты уезжал?

— Четверо-пятеро ребят.

— Ну и запомни этих ребят. А остальных забудь. Те четверо-пятеро постоят за тебя, а остальные не имеют значения.— Она вздохнула.— Да и никто не имеет значения.

— Ты устала?

— Да, немножко. По-моему, у меня еще что-то не в порядке, не только сердце. Хотя достаточно было бы и сердца. Какая это мука — быть инвалидом.

— Приляг, я пойду.

— Хорошо, иди. Перед тем как укладываться спать, загляни ко мне. Перед сном я обычно читаю. Читаю роман о женщине, начавшей жизнь заново. Но у нее судьба не такая, как у тебя. Она бежит с мужчиной из дому и потом возвращается, так и не став его женой. До этого побега она жила как Золушка, как гадкий утенок и — о чудо! Возвращается обновленной. Сколько уверенности в себе прида-

ла ей эта история! Автор книги — женщина, но я не верю ни одному ее слову. А еще я прочла книгу о жизни в Принстоне. О ней сейчас много говорят. Там вообще-то учатся когда-нибудь?

— Очень мало. Поэтому некоторым из нас и приходится жульничать на экзаменах.

— Ох, Джорджи!.. Впрочем, я тебя понимаю.

Еще с лестничной площадки второго этажа он заметил, что его вещи перенесены из холла в комнату. Однако, сойдя вниз, он увидел, что обеденный стол накрыт на одного. Он прошел в кухню.

— Привет, Мэй! Привет, Маргарет! Стол накрыт для меня или для отца?

— С прибытием,— сказала Мэй.— Для вас. Отец сегодня ужинает в Гиббсвиллском клубе. У него там какая-то встреча, так что ждать вас он не мог.

— Хорошо. Когда будет готово — скажите. Генри дома?

— У него сегодня свободный день.

— Кажется, я видел у него в окне свет.

— Он у себя, но у него сегодня свободный день,— повторила Мэй.

— Вот как,— сказал Бинг Локвуд и, подойдя к стенному телефону, нажал кнопку над надписью «Гараж»,— Генри, это Джордж.

— Какой Джордж?

— Джордж Бингхем Локвуд-младший.

— У меня сегодня свободный день.

— Начиная с завтрашнего дня я едва ли буду часто тебе докучать. Только завтра — и все. Из Принстона, штат Нью-Джерси, идет мой сундук. Его надо переадресовать на имя... возьми, пожалуйста, карандаш... на имя Джека Кинга, ранчо Сан-Маркос, округ Сан-Луис Обиспо, Калифорния.

— Не успеваю за вами. Названия-то все испанские.

Бинг медленно повторил адрес.

— Записал?

— Джеку Кингу, ранчо Сан-Маркос, округ Сан-Луис Обиспо, Калифорния. Вы, значит, не хотите, чтобы я привозил этот сундук домой. Я должен переадресовать его и погрузить в следующий поезд. Кто за это будет платить?

— Я уверен, что мой отец с удовольствием заплатит.

— А разве вы не можете отправить его по билету?

— Я еще не покупал билета.

— Тогда купите, и пусть Айк Венер переадресует сундук. Это упростит дело. И сэкономит большие деньги. Если вы знали, что поедете до самой Калифорнии, то почему не отправили сундук прямо из Принстона, вместо того чтобы делать такой крюк?

— Я не был уверен, что поеду в Калифорнию. А вот теперь уверен.— Бинг повесил трубку.

— Вы едете до самой Калифорнии? — спросила Мэй.

— До самой.

— А что случилось? Неприятности в колледже? — спросила Маргарет.

— Еще какие. Я жульничал на экзаменах.

— Ну, не шутите, скажите правду. В чем вы провинились?

— Я уже сказал: жульничал на экзаменах.

— Ладно. Не хотите — не надо. Может, из-за девушки какие неприятности?

— Скорее всего из-за выпивки,— сказала Мэй.

— Почему скорее всего? — спросил Бинг.

— Потому что девушек в ваш колледж не берут,— сказала Мэй.

— Находятся девицы другого сорта. Те, что околачиваются там, где побольше молодых парней,— сказала Маргарет.— Но мы из него все равно ничего не вытянем. Либо женщины, либо выпивка.

— А может, и то и другое. Мой племянник учится в Пенсильванском университете — так там есть общежития. И что в этих общежитиях творится, ты бы не поверила. А в Принстоне общежитие, наверно, еще хуже.

— Почему? — спросил Бинг.

— Потому что там учатся дети более богатых родителей и у них больше денег. Там гораздо хуже.

— Да нет, всего какую-нибудь неделю,— сказал Джордж.

— Одну неделю? — переспросила Маргарет.

— Да. Раз в году в Принстоне устраивают так называемую Неделю Оргий, когда вам разрешают приводить к себе в комнату кого угодно, кроме преподавательских жен.

— Когда же эта неделя бывает?

— Когда? В разные годы по-разному. Иногда осенью, иногда весной. Все зависит от студенческого совета. Вам объявляют, что Неделя Оргий начинается, мол, тогда-то. Большинство преподавательских жен уезжает на это время из города — на всякий случай.

— Лучше бы вам держаться подальше от женщин,— сказала Маргарет.

— Да ведь он уже взрослый. Ему двадцать два,— возразила Мэй.

— Взрослый, нет ли, дело не в этом. Видишь, какая у него неприятность. Вот уже и в Калифорнию едет.

Это был последний вечер Джорджа Бингхема Локвуда-младшего в родительском доме. Он ужинал один и ел то, чего не заказывал и не стал бы заказывать. Когда он зашел в комнату матери, та спала. Он позвонил трем девушкам в Гиббсвилл, но как-то так совпало, что все они ушли играть в бридж и дома их не ждали раньше полуночи. Он распаковал и вновь упаковал вещевой мешок, принял ванну, лег в постель и заснул с книгой в руках. Он не слышал, когда вернулся отец, не слышал, как к нему заходила мать, как открывала окна и гасила свет.

Проснулся он в шесть часов. Побрился, оделся и позавтракал в последний раз на кухне. Маргарет уговаривала его есть больше. После завтрака он поднялся наверх, постучал и вошел в комнату матери.

— Ты едешь в восемь сорок шесть? — спросила она.

— Да. Спасибо, что открыла окна. Это ведь ты сделала?

— Ты так крепко спал. Тебе надо было выспаться. Напиши мне с дороги. Наверно, ты поедешь через Чикаго, но вряд ли тебе захочется навестить там наших знакомых.

— Думаю, вряд ли.

— Составь список того, что надо для тебя сделать. Шубу твою я велю сдать на хранение. Она тебе пока не понадобится. А когда придет сундук, я скажу Генри...

— С ним я уже договорился.

— Телеграфируй мне, когда приедешь в Калифорнию, а потом, когда обоснуешься, напиши подробнее. Я хочу знать все. Деньги нужны?

— Нет, спасибо.

— Но если когда-нибудь понадобятся...

— Знаю. Еду я налегке, потому что там мне потребуется только рабочая одежда. Джинсы.

— Джинсы?

— Рабочие штаны, только без нагрудника. Там их называют «ле-

вис». В Сан-Франциско есть магазин, владельца которого зовут Леви. Это я все от Стива узнал.

— Мать Стива живет тоже там? На ранчо?

— По-моему, да. Но ты не пиши ей, мама. Подожди, пока я обживусь немного и когда представится случай. Адрес я тебе дам сейчас, но ты понимаешь, почему я не хочу, чтобы ты писала миссис Кинг.

— Конечно. С Эрнестиной я за тебя попрощаюсь.

— Да, пожалуйста. Ну? Кажется, я слышу шаги Генри.

— Да. По-моему, мы обо всем условились.

— Обо всем. Надо спешить, не будут же они из-за меня держать поезд. Береги себя. Я буду писать, и ты мне пиши.

Она проницательно посмотрела на него.

— Все к лучшему. Я в этом уверена. Ничего из того, что тебе действительно нужно, ты здесь не оставляешь. Моя любовь едет с тобой и с тобой останется. Ты это знаешь, мой мальчик.

— Да, мама. Это я знаю.— Он нагнулся и поцеловал ее. Она погладила его по голове — всего один раз.

— Торопись. Храни тебя господь.

Едва он сел в вагон, как поезд тронулся.

А его отец в это время стоял у окна в комнате его матери. Он был уже одет. Она вышла из ванной и легла в постель.

— Доброе утро, Агнесса.

— Доброе утро.

— Он уехал.

— Да, уехал, и я его больше не увижу.

— Это еще неизвестно.

— Тебе это так же хорошо известно, как и все остальное. Как и то, что вчерашнего вечера я тебе никогда не прощу.

— Агнесса, послушай меня, пожалуйста. Здесь две стороны вопроса, будь справедлива.

— Какие там две стороны! И не в справедливости дело, Джордж. Это — тот случай в твоей жизни, когда нечего было думать, думать, думать. Какой прок от твоих раздумий? Ты лишил моего сына возможности побыть дома хотя бы еще одну ночь. Не будь тебя здесь неделю или месяц, я могла бы ему как-то помочь. Не знаю, что ты ему сказал, но это факт, что он не мог больше здесь оставаться. Уж если ты не хотел отнестись к нему по-человечески, то хотя бы уехал куда-нибудь, дал мне возможность рассеять у него чувство, будто он прокаженный.

— Он был настолько любезен, что пожелал мне смерти.

— Что ты ему сказал? Что побудило его к этому? Не говори. Я не хочу слушать.

— А мне очень хочется сказать тебе.

— Не надо.

— Ты пользуешься своим положением больной.

— Каким положением? Что это за положение, которым я пользуюсь? Я знаю, что со мной будет. Знаю, что жить мне осталось самое большее год. Или ты мог бы и этот срок укоротить на несколько месяцев? Самое плохое ты высказал, кажется, вчера вечером. Что еще ты можешь сказать? Что-нибудь такое, что вызвало бы у меня новый приступ? Но ты воздерживаешься, потому что не хочешь воспользоваться моим положением, тем, что я больна? Какой же ты лицемер, Джордж Локвуд. Я искренне поражаюсь.

— Благодарю.

— Вот когда я раскусила тебя. Хоть и поздно, но раскусила. По крайней мере, умирая, буду знать, кто ты есть. Ты делаешь вид, будто тебе безразлично, что о тебе думают люди, но это неправда.

Никто в мире не придает мнению посторонних большего значения, чем ты. Ты и не сноб, и не аристократ. Ты просто трус, который боится, как бы о нем что-нибудь не узнали — хорошее или плохое. Ты думаешь, что если люди будут знать про тебя хорошее, то узнают и плохое. Только и всего.

— Значит, во мне есть и хорошее?

— О, да. Я даже сказала твоему сыну, что ты великодушен, предупредителен, ласков.

— Уверен, что это не произвело на него никакого впечатления.

— Я сказала ему это не ради тебя, а ради него же. В жилах мальчика течет твоя кровь, и он будет месяцы, годы удивляться самому себе.

— Тем не менее он хочет моей смерти.

— Уж *ты-то* знаешь, что это значит, когда человек хочет чьей-то смерти, но не может ускорить ее.

— Считаю твои слова незаслуженным оскорблением. Я хотел посоветоваться с тобой насчет будущего Джорджа.

— Тебя некому слушать, Джордж. Так что нет смысла говорить.

— Пусть будет по-твоему, Агнесса. Ты всегда разговариваешь таким тоном, будто абсолютно уверена, что сам господь бог записывает каждое твое слово. Уж если на то пошло, так мы с тобой оба трусы.

— Уйди, прошу тебя.

Подбадриваемая письмами сына и дочери, Агнесса Локвуд пережила зиму и весну, но когда наступила августовская жара, она уже не смогла выдержать. И несколько последних писем сына не помогли. Он писал нерегулярно и каждый раз вскользь упоминал о какой-то девушке по имени Рита да рассказывал про погоду в округе Сан-Луис Обиспо. Фамилии Риты он не называл и писал о ней так, словно матери все уже было известно из предыдущего письма. О калифорнийской погоде он писал, что жара там никогда не спадает и была бы просто невыносимой, если бы не близость Тихого океана. «Иногда мы с Ритой улучаем минуту и ездим купаться». Агнесса Локвуд намекнула, что ей хотелось бы узнать об этой Рите подробней, но новых сведений не поступило.

— Наверно, какая-нибудь испанка,— предположила Эрнестина.— В Калифорнии много жителей испанского происхождения.

— Я бы не хотела, чтобы он женился на католичке,— сказала Агнесса.

— Да ведь это всего лишь догадки. Сам-то он ничего такого не пишет. Он же не говорит, что хочет на ней жениться.

— Не он, так она может захотеть.

— Еще бы! Надо быть дурой, чтобы не захотеть. Но тогда он предупредил бы тебя, мама.

Девушка видела, как мать боролась с духотой и зноем в эти жаркие дни конца августа. Гул электрических фенов не давал ей спать, но и без циркуляции воздуха ей было трудно. Однажды поздним вечером — это было в пятницу — она вдруг уронила голову на грудь и скончалась. Эрнестина Локвуд послала брату телеграмму:

МАМА УМЕРЛА ПОХОРОНЫ ПОНЕДЕЛЬНИК ЦЕЛУЮ ЭРНЕСТИНА.

Через неделю от брата пришел ответ:

БЫЛ ОТЪЕЗДЕ ТЕЛЕГРАММУ ПОЛУЧИЛ СЕГОДНЯ ПИШИ ЦЕЛУЮ ДЖОРДЖ.

Она подробно описала ему все, как было, и через две недели получила от него ответ:

«20 сентября 1921 г.

Дорогая Тина!

Большое спасибо за письмо и за газетные вырезки с извещением о смерти и похоронах мамы. Этой вести можно было ожидать, но когда она в конце концов пришла, я обнаружил, что она застигла меня врасплох. Конечно, тебе пришлось ужасно тяжело, но мы можем утешать себя тем, что она не слишком страдала. Больше всего ее мучило то, что она не могла выходить за пределы своей комнаты, и я искренне убежден, что она предпочла бы умереть, чем прожить так еще год.

У меня есть для тебя другая, более приятная новость. Причина запоздалого получения твоей телеграммы заключается в том, что я взял несколько свободных дней и отправился в свадебное путешествие. Да, 18 августа я женился на Рите Кольер. В письмах маме я несколько раз упоминал ее имя, так что эта новость не явилась бы для нее (и, надеюсь, для тебя) полной неожиданностью. Рита прекрасная девушка, на год моложе меня, кончила колледж Милласа cum laude[1] (в противоположность ее супругу). Потом преподавала в школе недалеко отсюда. Ее родители, м-р и м-с Дэвид Кольер, живут в Лос-Анджелесе. Отец — химик, служит в «Сан-Исидро петролеум корпорейшн». Родом он из Кливленда, штат Огайо, окончил университет Уэстерн Ризерв. Мать тоже из Кливленда. Ее девичья фамилия Ван-Митер. Она тоже училась в Уэстерн Ризерв. Так что, как видишь, я попал в семью интеллигентов. Я рассказал им, за что меня выгнали из Принстона, но они, оказывается, уже запросили обо мне одного своего знакомого принстонского преподавателя, когда увидели, что у нас с Ритой дело пошло всерьез. Так что они знали и не возражали против помолвки, а лишь настаивали, чтобы мы не спешили с регистрацией брака, пока я не буду в состоянии содержать жену.

И вот теперь брак состоялся. Мне не хотелось волновать маму, но дело в том, что я работаю не на ранчо. У мистера Кинга нефтяное дело, а ранчо, адрес которого я вам дал,— только его хобби. Первые два месяца я ездил на грузовике, возил трубы и тому подобное, а потом меня сделали кладовщиком. Жалованье мне платит «Сан-Маркос петролеум компани» — компания мистера Кинга. Жил я сначала в пансионате в Сан-Луис Обиспо, а сейчас мы сняли домик. Адрес на конверте. Мне выдали премию за внедрение новой системы учета инвентаря, которая дает возможность любому человеку сразу установить, сколько буров и другого оборудования имеется в наличии и где используется действующий инструмент. Мистер Кинг был здесь единственным человеком, знавшим, что у меня есть дополнительный источник дохода, пока я не сказал Рите и ее родителям. При следующем повышении я, вероятно, уже получу возможность работать на нефтяных полях, где сумею по-настоящему поучиться нефтяному делу. Мистер Кольер рекомендовал мне несколько книг по специальности, и я их приобрел, но учиться трудно. Рита помогает мне в этой «домашней работе», но признаюсь, часто я засыпаю, не прочитав и страницы. Не знаю, когда мы с тобой увидимся, если ты сама не завернешь ко мне, когда будешь в наших краях. Но Риту, я надеюсь, ты увидишь скоро. Вот несколько фотографий. Пиши, пожалуйста, и сообщи, чем ты занимаешься.

Целую, Джордж.

---

[1] С отличием *(лат.)*.

Прилагаю чек. Пожалуйста, закажи цветы, и пусть их положат на могилу мамы в день ее рождения, 22 октября. От кого цветы — писать не надо. Она будет знать и так.»

«Конечно, будет знать»,— подумала девушка.

■

Джорджу Локвуду было около пяти лет, а его брат Пенроуз еще не вышел из младенческого возраста, когда здоровье их деда, Мозеса Локвуда, сильно пошатнулось. Он настолько ослаб, что уже почти не решался ходить в свою контору на Док-стрит, всего в нескольких кварталах от дома, поэтому все бумаги, требовавшие его внимания, носили ему в домашний кабинет.

Все дни дед проводил дома или во дворе. Просыпался он рано, так что прислуге, чтобы приготовить ему чай, приходилось вставать по очереди в пять часов утра. В погожие дни он выходил во двор — подтянутый, одетый так, будто шел на службу, и тихонько прохаживался среди розовых кустов и вязов — то трогал пальцами цветы, то останавливался у какого-нибудь дерева и рассматривал его от корней до самой макушки; время от времени он садился отдохнуть на дубовые кресла и скамьи грубой работы, специально расставленные в разных местах усадьбы. Если дождь, снег или сильный холод мешали ему выйти из дому, он бродил по комнатам, останавливаясь перед статуэтками, фарфоровыми вазами и часто натыкаясь на прислугу, занятую уборкой. В доме стало многолюдно. У его сына Авраама было теперь двое маленьких детей, появились две прислуги, няня и кучер. В кухне и в других помещениях всегда суетились люди; но где бы Мозес Локвуд ни появлялся, он приносил с собой тишину. С его приходом все тотчас почтительно умолкали, ожидая, что он скажет. Но он в большинстве случаев ничего не говорил и, поскольку они продолжали молчать, чувствовал себя лишним. Он и действительно был лишним среди них.

Кучера Рафферти Мозес Локвуд не любил за то, что тот косо смотрел на его визиты в конюшню (как будто старик ходил туда шпионить). Из-за этого Мозес лишился возможности навещать лошадей. Не то чтобы он очень любил лошадей, но все же это — живые существа, которые умеют слушать и которым можно что-то сказать. Его сын Авраам, единственный оставшийся в живых из тех четверых, с кем Мозес Локвуд провел большую часть своей жизни, по утрам спешил и часто исчезал на целый день, а то и на несколько дней, если этого требовали его новые дела в Филадельфии. Аделаида, жена Авраама, была приятной молодой женщиной, но все ее время занимали заботы о детях и хозяйстве, и у нее почти никогда не было ни одной свободной минуты, чтобы присесть и поболтать со стариком. Прислуги были сестрами-негритянками из Рихтервилла, и если Мозес — белый человек — завязывал с ними разговор, то они глядели на него так, что он сразу понимал, какие подозрения бродят у них на его счет, хотя ему было уже шестьдесят пять лет и у него подгибались в коленях ноги. Только у одного человека всегда хватало времени на Мозеса Локвуда — у его внука Джорджа. Появление в семье нового младенца, требовавшего внимания матери, и постоянная занятость отца способствовали тому, что между мальчиком и дедом возникла та взаимная заинтересованность в общении, которая сближает людей. Старик рассказывал наполовину выдуманные истории из своего давнего прошлого; некоторые из них особенно полюбились мальчику, и если Мозес, пересказывая их, допускал отклонения от первоначального варианта, то Джордж поправлял его. («Дедушка, ты сказал, что

у индейца было ружье, а в тот раз говорил, что томагавк. И что ты его застрелил».) Эти разночтения и поправки мальчика забавляли старика, и он стал нарочно вкрапливать в свои рассказы новые элементы, обтачивая смекалку ребенка. Мама была мамой, папа был папой, а дедушка — рассказчиком, у которого смешное ухо, удивительное искусство плеваться и интересный шрам на левом виске. («Тебе пробили ухо пулей, да? А потом отрезали мочку? А может — просто отстрелили?») Во время прогулок по саду Джордж набирал в чашку вишен и угощал деда. Яблоки старик кусать не мог. Он доставал из кармана ножик и, сняв с плода длинную вьющуюся ленту кожуры, разрезал его на маленькие ломтики и вдвоем с внуком ел. Они никогда не скучали, ибо всегда находили тему для разговора. («Почему ты не даешь мне дотронуться до шрама? Тебе больно? Это тоже от пули, дедушка? Дедушка, покажи мне свои зубы. А когда ты был маленький, тебе тоже покупали зубы?») Старик рассказывал мальчику о деньгах («Это пенни: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эти монетки, вместе взятые, стоят столько же, сколько вот эта одна. На нее можно купить столько же конфеток, сколько на все эти пенни»), немного о цветах («Никогда не ломай их, а отрезай ножницами, иначе они не будут расти») и об американской истории («Линкольна застрелили за то, что он заставил Джона Уилкса Бута отпустить своих рабов»).

Однажды во время семейной ссоры (самой неприятной из всех, когда-либо происходивших на глазах у Джорджа) мальчик из чувства товарищества сразу принял сторону деда. Ссору начала его мать.

— Мистер Локвуд, когда вы намерены сдержать слово и сломать стену? — спросила мать.

— А ты не торопи меня, сударыня.

— Два года — срок немалый. Вы же обещали сломать.

— Про обещание что-то не помню. Я сказал: поговорим.

— Мистер Локвуд, это обман. Вы виляете.

— Сказала бы уж, что вру,— и дело с концом!

— И сказала бы, если бы не ребенок... Джордж, иди поиграй.

Приученный повиноваться, мальчик вышел из комнаты, но остался за дверью в холле.

— Так вот, мистер Локвуд,— продолжала мать.— Либо стена будет убрана в ближайшие полгода, либо мы отсюда уедем.

— Мой сын никуда не поедет.

— Вот и ошибаетесь, мистер Локвуд. Авраам тоже хочет убрать стену. Я не желаю, чтобы мои дети росли за тюремной оградой. Так помните, мистер Локвуд: полгода.

— А кто будет платить за слом и за уборку кирпичей?

— Я заплачу, вам это ничего не будет стоить.

— Могла бы вложить свои деньги в более полезное дело.

— А мне никто не указ — на что тратить собственные деньги, мистер Локвуд. Могу и новый дом себе построить. Увезу с собой детей и мужа, а вы тут сидите за своей стеной.

— Ладно, ломай, черт с тобой.

— А вы с подрядчиком договоритесь?

— Договорюсь. И расходы оплачу.

— Мистер Локвуд, я не вредная, но я не хочу, чтобы мои сыновья росли как в тюрьме. И так уже люди смеются над Джорджем, а потом и над младшим будут смеяться.

— Никогда не слыхал, чтобы над моим внуком смеялись.

— Так вы же ни с кем не встречаетесь. А я слышала. Говорят, что он у нас вроде... придурковатый.

— Говоришь, что не вредная, а позволяешь себе такие слова.

— Так это же люди, зачем мне-то наговаривать на ребенка.

Джордж мало что понял в этом разговоре, но несколько дней спустя на территории дома появились рабочие и приступили к длительной, шумной и увлекательной работе по разборке стены и укладке кирпичей в штабеля, которые потом грузили на повозки. Мальчик не смог уговорить деда выйти во двор понаблюдать за рабочими: старик не желал ни выходить из дому, ни посмотреть в окно на двор, который теперь — без стены — выглядел так странно, ни даже понаблюдать за рабочими, строившими на месте стены железную ограду, которая была ненамного выше его внука. Большую часть времени старик проводил теперь в своей комнате, куда ему приносили даже еду. Никаких историй он уже мальчику не рассказывал — на это, как он говорил, у него не было времени. Так продолжалось около месяца. Потом дед вдруг изменил своим привычкам. Каждое утро он выходил из дому и отправлялся сначала в парикмахерскую, а оттуда в бар при «Биржевой гостинице», где оставался до конца дня. Вечером за ним заезжал Рафферти, отвозил домой и помогал добраться до его комнаты.

Через год Мозес умер, так и не рассказав больше внуку ни одной истории. Но к этому времени Джордж уже поступил в первый класс и попал в общество ровесников и ровесниц. На похоронах было много солдат. Дед лежал в гробу, накрытом американским флагом. Гроб стоял не на катафалке, а на каких-то дрогах, запряженных четверкой лошадей. На двух лошадях сидели верхом солдаты. На кладбище солдаты стреляли из винтовок в воздух, а один играл на трубе. Отец Джорджа был в солдатской форме — так же, как многие другие мужчины, хотя они и не были военными. Когда похороны закончились, Джордж увидел немало настоящих солдат, приехавших из-за города. Многие из них были пьяны.

Второй его дед, живший в Рихтервилле, не был рассказчиком, но все равно у него бывало интересно. Неподалеку от Рихтервилла находились две фермы, где разводили пони, и гроссфатер [1] Хоффнер (он хотел, чтоб его называли именно так) часто брал Джорджа туда, чтобы показать лошадок и покатать в блестящей коляске, запряженной четверкой пони. И всегда обещал: вот будешь постарше, у тебя будет свой пони. Иногда Джордж встречал в доме гроссфатера Хоффнера своего двоюродного брата Дэйви Стоукса (он был на год старше), который тоже приезжал навестить деда.

— Тебе гроссфатер собирается подарить пони? — спросил его однажды Джордж.

— Обещал, но я ему не верю,— ответил Дэйви и рассказал Джорджу, что такие же обещания получили еще несколько двоюродных братьев, из которых одному уже одиннадцать лет. Но гроссфатер все тянет с покупкой. Джордж возненавидел Дэйви за эти слова и продолжал верить гроссфатеру. Он рассказал об этом матери и ко дню своего рождения получил пони вместе со сбруей, рессорной двуколкой и санками. Через несколько недель Дэвид Стоукс тоже получил пони.

— Кто мне подарил пони? Гроссфатер? — спросил Джордж у матери.

— Можно сказать, что да.

— Но это правда?

— Пожалуй, да. А почему тебе так важно это знать? Получил пони, и ладно.

— Потому что я хочу сказать об этом Дэйви.

— Тогда — нет. Пони подарили тебе мы с папой. Но гроссфатер

---

[1] По-немецки — дедушка.

оплатил мою долю расходов. Так что можно сказать, что он тоже участвовал в покупке.

— А должен я благодарить гроссфатера?

— Нет, не должен.

— Значит, он не дарил, раз ты не велишь мне его благодарить.

— Ты — как папа. Замучаешь вопросами. Не говори со мной больше на эту тему.

Дэйви Стоукс, получив пони, сказал Джорджу, что это — подарок родителей, а не гроссфатера.

— Гроссфатер — большой врун,— сказал Дэйви Стоукс.— Глупый немец и большой врун. Это мой отец сказал. Он говорит, что все немцы сквалыги.

— Твоя мать тоже ведь немка.

— Уже нет.

— А говорит по-немецки.

— Не может быть,— возразил Дэйви.— Ей отец не разрешает.

— А она все равно говорит. С моей матерью. Они же сестры.

— Все знают, что сестры.

— Все, да не все. Твоя мать разговаривает с моей по-немецки, а ты и не знаешь. Значит, ты не все знаешь.

— Зато мой дед не убивал людей, а твой убивал.

— Мой дедушка был на войне солдатом.

— Это все, что ты знаешь. Ха-ха-ха. Твой дед убил двух человек.

— Потому что он был солдатом. И отец был солдатом.

— Ха-ха-ха. Твой дед убил двух человек до того, как стал солдатом. И его арестовали.

— Неправда. Он убил индейца.

— Как бы не так. Он убил человека, который был должен ему деньги. Ха-ха-ха.

В тоне Дэйви было столько насмешки и столько самоуверенности, что Джордж Локвуд решил проверить у отца.

— Папа, а правда, что дедушка убил человека? Двух человек?

— Кто тебе сказал?

— Дэйви. Он говорит, что дедушку арестовали тогда.

— Это твой дядя, наверно, болтает. Ну что ж, рано или поздно ты все равно узнал бы,— сказал Авраам Локвуд.— Да, дедушка убил двух человек.

— Индейцев?

— Нет, не индейцев. Белых. Задолго до моего рождения один человек попытался ограбить дедушку. Прокрался с ножом к нему в номер гостиницы, а дедушка, чтобы спастись, застрелил его. Это было давно, до того, как я родился. Тогда было небезопасно ходить ночью по улице, а твой дедушка был констеблем, полицейским.

— Но его же не могли арестовать, если он был полицейским, правда?

— И полицейского можно арестовать. Любого человека арестовать можно. Даже если его зовут Стоукс.

— И дедушку арестовали?

— Да. Ты еще не знаешь, что такое суд.

— Суд?

— В суде судья решает, виновен человек или нет. Судья и присяжные. Двенадцать присяжных и судья. Они решают, виновен человек или нет. И они решили, что дедушка *не* виновен.

— А человек, в которого стрелял дедушка, умер?

— Да, умер. Но дедушка не виноват. Когда ты будешь старше, я объясню тебе. Сейчас ты еще мал и не поймешь.

— Дэйви понимает.

— Нет, не понимает.

— Но он сказал, что дедушка застрелил двух человек, и ты сказал то же.

— Он все-таки не понимает, что такое закон, суд. Его отец и не подумал ему объяснить. Очень плохо, что его отец вообще рассказывает о таких вещах.

— Ты зол на дядю Сэма?

— Н-нет. Конечно нет, сынок. Но Дэйви не должен был слушать, о чем говорят взрослые. Маленьким нельзя подслушивать, а он слушает то, что не положено слушать.

— Ты поссоришься с дядей Сэмом?

— Конечно нет.

— Папа, а индейцев дедушка убивал?

— Нет. Мятежников убивал, а индейцев — нет.

— А он мне говорил, что убивал.

— Не знаю, что он тебе там говорил, только чаще всего он выдумывал.

Мальчик вспомнил, что истории деда в процессе пересказа варьировались, однако в основе своей они не менялись. Ему хотелось спросить отца, откуда он знает, что дед выдумывал свои истории, если не слышал их, но задать такой вопрос он не решился.

Известие о том, что в семье Сэмюела Стоукса ведутся подобные разговоры, обескуражило Авраама Локвуда. Правда, он понимал, что женитьба Сэма на Саре Хоффнер (так же, как и последующая женитьба самого Авраама на Аделаиде Хоффнер) означала лишь установление родственных уз между Рихтервиллом, Шведской Гаванью и Гиббсвиллом. Но поскольку в эту родственную связь вступали самые влиятельные семейства Гиббсвилла en bloc [1], самое влиятельное семейство Рихтервилла и самое влиятельное семейство Шведской Гавани, то Авраам Локвуд считал, что, принимая решение жениться на девушке из северной части штата, он поступает весьма мудро с точки зрения возможности стать значительной, если не главной, фигурой в жизни своего округа. Таким образом он заключил желанный союз с гиббсвиллской олигархией, избежав необходимости ухаживать за гиббсвиллской девушкой и не вызвав тем самым ни у кого подозрений. Более того, женившись на представительнице Рихтервилла, он обезоружил циников. Он полагал, что проложил себе дорогу в гиббсвиллскую олигархию тихонько, как бы через заднюю дверь. И вот теперь, узнав о разговорах в семье Стоукса, он обнаружил, что никакой дороги не проложил. К тому, что сказал Дэйви Стоукс, он отнесся более серьезно, чем, казалось бы, следовало отнестись к словам маленького сплетника. Сэм Стоукс — неотъемлемая часть этой олигархии; когда он будет старше, то займет подобающее место в деловой и общественной жизни Гиббсвилла, хотя пока ему отводится более чем скромная роль в клане Стоукс—Хофман—Чэпин; поэтому Авраам Локвуд и сомневался в способности Сэма высказывать мнение, противоречащее мнению старших и влиятельных членов клана. Ему никогда не стать ведущей фигурой в городе Гиббсвилле и в округе Лантененго вообще — Авраам Локвуд давно уже понял, что Сэм Стоукс не сможет помешать ему занять то место, которое принадлежит сейчас Питеру У. Хофману.

Однажды, только однажды Авраам Локвуд пошел на шаг, вызвавший недовольство Питера Хофмана. Как-то Гарри Пенн Даунс во время беседы в Гиббсвиллском клубе посоветовал отцу и сыну Локвудам обратить внимание на дела их банка в Шведской Гавани, в

[1] В целом *(франц.)*.

частности на уменьшение вкладов. Это давало основание подозревать, что некоторые бизнесмены в Шведской Гавани нарочно придерживают деньги, чтобы учредить новый банк. В разговоре были названы имена четырех торговцев, и у Мозеса Локвуда возникла мысль сразу же принять решительные меры; но Авраам Локвуд, будучи сторонником более гибкой тактики, предпочел сначала побеседовать отдельно с каждым из четверых. Разговор он начинал так; он-де «получил информацию», что данный человек ведет переговоры с Питером Хофманом об открытии нового банка (слова «получил информацию» были выдумкой — никакой информации у него не было). Затем Авраам «проявлял чуткость» и говорил, что если его собеседник намерен учредить новый банк с помощью *иногородних,* то для этого должна быть причина. Если же причиной к тому было лишь желание помочь некоему гиббсвиллскому банкиру стать конкурентом банка Шведской Гавани, то Авраам Локвуд и его отец чрезвычайно этим огорчены. Авраам Локвуд старался показать, что он никому не угрожает. Он добивался лишь, чтобы его собеседник признался в сговоре с Питером Хофманом. И в трех случаях из четырех предположение Авраама подтвердилось. В его распоряжении было теперь три имени, которые он мог назвать, явившись к Питеру Хофману.

— Доброе утро, сэр,— сказал Питер Хофман.— Чем могу быть полезен?

— Очень многим, сэр,— ответил Авраам Локвуд.— Но вопрос в том, захотите ли вы. Несколько лет назад мы с отцом открыли в Шведской Гавани банк...

— Минутку, сэр. По-моему, банк учредили другие, а вы с отцом вступили в него потом и взяли под свой контроль.

— Такое мнение существует, я знаю, сэр. Но факты подтверждают обратное. Мой отец и мой дед, а позднее мой отец и я занимались банковскими операциями, которых в течение нескольких лет никто другой в Шведской Гавани не осуществлял.

— И весьма доходными операциями.

— О, да. Мой дед, мой отец и я занимались бизнесом не в оздоровительных целях. Так же, как и те, кто все эти годы брал у нас в кредит. В том числе и вы, мистер Хофман.

— Верно.

— Договорились. Но, разумеется, всякое доходное дело вызывает у людей стремление к подражанию. Вы и сами в этом убедились, сдавая в аренду богатые углем земли. Вы и ваш отец когда-то пользовались этим правом почти монопольно, но нашлись люди, особенно в Филадельфии и Нью-Йорке, увидевшие, что это дело выгодное, и ставшие вашими конкурентами.

— Как говорится, конкуренция — жизнетворная сила, выковывающая профессионала.

— И гибель иных профессионалов, когда конкуренция становится слишком жестокой. Могу я продолжать, сэр? В Шведской Гавани началось движение за открытие нового банка. И кто же, мистер Хофман, начал это движение? Это движение начали люди, пользовавшиеся у нас кредитом, разбогатевшие и теперь решившие, что раз они преуспевают, то почему бы не отобрать у Локвудов их дело и не поделить его между собой?

— Логично. Их можно понять.

— Но в Шведской Гавани не происходит ничего такого, о чем не знали бы мой отец и я. Не прошло и недели, как мы узнали, что кое-кто захотел не только создать нам конкуренцию, но и назвать себя банком. Когда мы начинали, нам не приходило в голову называть себя банком. Это было бы слишком самонадеянно с нашей сто-

роны. Мы не были банком. И мой отец с дедом, и мы с отцом давали взаймы наши собственные, а не чужие деньги. А эта кучка людей намеревается давать взаймы деньги вкладчиков, и это обеспокоило моего отца.

— Вот как?

— Да. Дело не только в том, что некоторые из этих самозваных банкиров — мелкая сошка, не заслуживающая доверия нашей фирмы. Моего отца обеспокоило другое: что, если этот новый банк лопнет? Кто от этого пострадает? Пострадают вкладчики.

— Мозес Локвуд беспокоится о вкладчиках нового банка! Трогательная забота, мой дорогой сэр. Весьма трогательная.

— Будем считать, что вы этого не говорили, сэр. Прошу выслушать меня до конца. Это обычная вежливость. Я не утверждаю, что беспокойство отца было вызвано сентиментальными причинами. Он руководствовался интересами дела. Если этот банк лопнет, то *мы все* разоримся, поскольку это банкротство наверняка будет означать конец Шведской Гавани. Ведь если люди, работавшие с нами, положат свои деньги в этот новый, ненадежный банк и он лопнет, откуда же они возьмут средства, чтобы вносить нам арендную плату? Это не единственный источник нашего дохода, но источник солидный. Вы знаете, какой капитал мы в него вложили.

— Могу себе представить.

— Когда мы с отцом вошли в дело, то избавились от некомпетентных, с нашей точки зрения, людей и, как вы выразились, взяли все под свой контроль. Без нас просто не было бы никакого банка.

— А тем временем вы, конечно, продолжали заниматься ростовщичеством.

— Естественно. Мы могли рисковать собственными деньгами, тогда как банк не может себе этого позволить.

— Вон как вы все повернули. Это любопытно.

— Поворачивайте, как вам угодно, но это факты, мой дорогой сэр. Факты. Столь же очевидные, как наличные деньги.

— Это если на них смотреть вашими глазами, мистер Локвуд.

— Если смотреть глазами отца и моими глазами. А у нас с ним больше оснований судить о фактах, чем у других, кем бы они ни были — торговцами из Шведской Гавани или магнатами из Гиббсвилла. Попробуйте оспорить хоть что-нибудь из сказанного мной.

— При желании я мог бы оспорить все.

— О, да. Могли бы. Из самолюбия. Но станете ли вы отрицать, что вынашиваете план помощи некой группе лиц в организации нового банка в Шведской Гавани?

— Да кто вы такой, молодой человек, чтобы приходить ко мне в контору и требовать, чтобы я что-то оспаривал или отрицал?

— Кто я такой? Я — законнорожденный сын человека, который сам пробил себе дорогу, который служил своей стране и был тяжело ранен при исполнении служебных обязанностей. Первого среди первых. Человека большого мужества, иначе он не остался бы в живых. И более того — человека незапятнанной деловой репутации. Незапятнанной, мистер Хофман. Повторяю: незапятнанной. А можете ли вы сказать то же самое о Поле Ульрихе?

— О Поле Ульрихе?

— Не притворяйтесь, мистер Хофман. Пол Ульрих — один из ваших сообщников.

— Не нравится мне это слово — сообщник.

— А какое слово вам нравится? Ни одно из слов не понравится, если я употреблю его применительно к кому-нибудь из ваших дружков.

— Мне и это слово не нравится, как не нравятся ваши манеры.

— А вот другие говорят, что манеры у меня отличные. Я отработал их в университете и довел до блеска в вашингтонском обществе. Так что прошу не жаловаться на мои манеры, мистер Хофман. Тем более что манеры Пола Ульриха вообще не отличаются изысканностью. То же можно сказать и о манерах Сайруса Райхелдерфера. Или вы считаете Сайруса Райхелдерфера вторым лордом Честерфилдом? Всякий раз, когда он приходит ко мне просить денег, я вынужден открывать окно. Сайрус страдает тем, что студенты-медики называют «жирной перхотью». Но я не отказывался иметь с ним дело и время от времени выручал его, какие бы ни были у него манеры и какая бы кожа ни была у него на голове, мистер Хофман. Однако я против его сговора с вами.

— Как вы смеете, сэр!

— Я вам оказываю услугу. Если этот человек способен действовать за моей спиной, то он так же будет действовать и за вашей. Назвать вам еще имена, мистер Хофман? Я знаю: вы полагали, что работаете в глубокой тайне. Но двух ваших соучастников я вам уже назвал. Могу назвать еще.

— Вы меня оскорбляете, сэр. Я вынужден попросить вас...

— Покинуть вашу контору. Очень хорошо. Знаете, куда я отсюда пойду? Возвратившись в Шведскую Гавань, я, пожалуй, нанесу деловой визит Вильгельму Штроцу. Вильгельму Штроцу. Скажу Уилли, что вы отрицаете наличие какой-либо договоренности с ним. Мистер Хофман, я никогда не пытался отобрать у вас ваше дело, но я отберу его, если вы будете пытаться отобрать у меня — мое. До свидания, сэр.

С тех пор разговоры о втором банке в Шведской Гавани прекратились. Питер Хофман, хотя и не был приветлив с Авраамом Локвудом, при встречах в Гиббсвиллском клубе раскланивался с ним и называл по имени. Соответственно Авраам Локвуд решил, что спор из-за банка не оставил горького осадка; но решил он так потому, что был молод и незлопамятен. Кроме того, из этой первой стычки с гиббсвиллской олигархией Авраам Локвуд вышел победителем и, будучи в высшей степени удовлетворен и окрылен своей победой, не пожелал, в силу присущего ему честолюбия, останавливаться на достигнутом. Думая лишь о будущем, он не придавал значения урону, причиненному его победой самолюбию Питера Хофмана, престижа которого прежде никто не оспаривал. Авраам Локвуд был прав, говоря, что знает людей, но Питера Хофмана он не знал. И жизнь научила его. Мелкотравчатый Сэмюел Стоукс открыл Аврааму ту истину, что связь семейства Локвудов с правящим кланом округа держится лишь на тоненькой ниточке — на его браке со свояченицей того же мелкотравчатого Сэмюела Стоукса. Авраам Локвуд допустил ошибку, какие редко допускал в деловой сфере: он переоценил свой успех.

Но он редко повторял свои ошибки. Осознание того, что его брак принес столь ничтожные результаты, не ослабило его решимости использовать в своих интересах малейшую возможность. Ничего, что Авраам Локвуд находится еще на самых дальних подступах к олигархии Питера Хофмана; настанет время, когда место Хофманов займут Локвуды, и тогда общественный вес людей будет определяться их близостью к этим последним. Авраам Локвуд не был убежден, что эта смена произойдет при жизни его поколения, и сам он, вероятно, не успеет стать новым Питером Хофманом. Пока что господствующее положение в округе занимают Хофманы, у которых не только есть родственники в самом Лантененго, но которые к тому же свя-

заны со знатными семействами Муленбергов и Вомельсдорфов (живущих в южных округах), чьи родословные восходят к давним временам. Авраам Локвуд, не знавший точно происхождения своей бабушки, хорошо понимал сложность поставленной им перед собой задачи, но у него было два сына (Джордж и Пенроуз), и он рассчитывал во всяком случае дожить до того времени, когда одного из них (или обоих) признают столпом власти в округе. Разумеется, этим его планы не ограничивались: когда-нибудь, в далеком будущем, представители его рода прославятся на всю страну и на весь мир. Возможно, это случится тогда, когда сам он уже не сумеет воспользоваться плодами своих трудов, однако он не намерен был отказываться от поставленной цели.

Авраам Локвуд понимал, что его дети и дети его детей будут иметь больше веса, если займут ведущее положение у себя в округе, чем если вольются в какое-то нью-йоркское или филадельфийское семейство. Питер Хофман — человек, лишенный фантазии, его притязания дальше округа Лантененго, по всей вероятности, не шли. Но Авраам Локвуд намеревался не только занять место Питера Хофмана в округе — оставаясь гражданином Лантененго, он намеревался распространить свое влияние шире. Будущие Локвуды навсегда сохранят за собой Лантененго и Шведскую Гавань в качестве опорной базы, они не должны расставаться с Пенсильванией, Лантененго, Шведской Гаванью — это означало бы утратить исключительность, стать как все. Тем самым Авраам Локвуд как бы делал себя герцогом и передавал свое герцогство детям. Его широким замыслам была присуща одна привлекательная черта: не преуменьшая значения денег, он не считал, что надо непременно стремиться к накоплению огромных состояний, какие накапливают в Филадельфии и Нью-Йорке. Важно воспитать своих сыновей так, чтобы они научились ценить деньги и главное — делать их. Но образцом для подражания он втайне избрал Морриса Хомстеда. Хотя Моррис Хомстед не принадлежал к числу тех, с кем Авраам Локвуд стал бы поддерживать деловые связи (Хомстед не склонен был ни увеличивать свой капитал, ни заниматься биржевыми спекуляциями, ни помогать кому-то делать деньги), но именно такого типа миллионерами Авраам желал бы видеть своих сыновей. У Авраама Локвуда были все основания верить в свою способность сколотить капитал, нажить состояние и потом научить Джорджа и Пенроуза распорядиться наследством так, чтобы, став независимыми и ничем никому не обязанными, они могли сами решать, в каких правлениях состоять, куда ехать послами, в какие игры играть и с чьими женами спать.

Это было за двадцать лет до конца столетия. Авраам Локвуд понимал, что его расчеты на ось Гиббсвилл — Шведская Гавань — Рихтервилл оказались ошибочными, но ему нечего было опасаться гиббсвиллской олигархии. Да, он заблуждался насчет Питера Хофмана и возлагал неоправданно большие надежды на ось трех городов, но отцовское наследство и капитал, который он умножал своими силами, служили ему хорошей защитой от гиббсвиллских денежных воротил. Зная, что эти люди думают то же самое, он мог позволить себе дружеский жест. Его отец и тесть Леви Хоффнер на его месте объявили бы этой скрыто враждебной группе войну, но Авраам Локвуд был лучшим стратегом. Признавая свои заблуждения насчет Питера Хофмана, он был убежден в правильности оценки других представителей этой группы. Он справедливо относил их к низшему разряду, основываясь на том, что за тридцать лет никто из этих людей не оказал серьезного сопротивления самодовольному деспотизму Питера Хофмана. И вот Авраам Локвуд попросил Хофмана о встрече,

зная, что любопытство старика возобладает над его импульсивным желанием не встречаться.

Когда Авраам Локвуд вошел в кабинет Хофмана, тот не встал. Он лишь повернулся к нему в своем вращающемся кресле и сложил руки на животе.

— Добрый день, сэр.

— Добрый день, мистер Хофман.

— Ну, что там у вас в рукаве на этот раз?

Авраам внимательно осмотрел свой рукав.

— Пара грязноватых манжет и пара запонок — подарок милой мамы: она преподнесла их мне, когда я закончил университет. Но если вы спросите, что у меня в шляпе, то я дам вам другой ответ.

— Заяц, конечно,— сказал старик.

— Нет, сэр, я не фокусник.— Авраам достал из шляпы бумаги и протянул Хофману. Тот не шевельнулся.

— Расскажите своими словами. У меня глаза болят.

— Это проект платного моста. Чертежи сделаны вчерне, но расчеты точные.

— Платного моста?

— На излучине реки, между вашим городом и Шведской Гаванью. Знаете этот изгиб и дорогу, что тянется вдоль русла, а потом, за фермой Клаузера, идет круто вверх?

— Знаю.

— Так вот, мост сократит расстояние между нашими городами почти на целую милю и даст возможность миновать два крутых подъема, где обычно приходится отдыхать лошадям. Он обойдется в тридцать пять тысяч.

— И будет снесен первым же паводком.

— Такой мост не снесет.

— Ну и валяйте стройте,— сказал старик.

— Это дело обещает доход, мистер Хофман. Уже теперь. А по мере расширения наших городов прибыль будет расти. Со временем либо округ, либо штат обязательно этот мост купит.

— Что ж, деньги такие у вас есть. По наследству от отца вы получили гораздо больше. Вы ведь еще не все истратили?

— Отнюдь. Капитал отца я более чем удвоил.

— Вот как? Заявление, я вам скажу, беспрецедентное.

— Я не стал бы его делать, мистер Хофман, если бы не был убежден, что вы и без меня прекрасно осведомлены. Но я вижу, вы не хотите дослушать меня.

— Мне только непонятно, мистер Локвуд, зачем вы ко мне пришли. Вы можете построить этот мост сами, без моей и вообще без чьей-либо помощи. Да, ваш план мне кажется действительно перспективным. Но зачем вы ко мне-то пришли?

— Из вежливости. Вы являетесь одним из лидеров Гиббсвилла, а мост соединит наши два города. Прибыль, которую он принесет, не сыграет существенной роли ни для вашего состояния, ни для моего.

— Стало быть, вы считаете себя одним из лидеров Шведской Гавани.

— У меня больше денег, чем у любого частного лица в городе. И больше, чем у любых *двух* граждан Шведской Гавани. А может быть, и у *трех*. Я следую теперь вашему примеру.

— Поясните, пожалуйста, вашу мысль.

— Я *даю* жителям города больше денег, чем кто-либо другой. Вы это делаете в Гиббсвилле, а я — в Шведской Гавани. Сейчас я могу себе это позволить.

— Но я-то привык вести дела не один и делиться тем, что имею.

— Я тоже, мистер Хофман. Возможно, вы этого не знаете, но мой отец построил лютеранскую церковь. Кроме того, мы дали денег на строительство государственной школы в Саут-Уорде. Я говорю «возможно, вы этого не знаете», хотя уверен, что не знаете в самом деле. Да и вообще мало кто знает. Я забочусь о будущем Шведской Гавани и считаю, что ее будущее и будущее Гиббсвилла связаны между собой.

— Хочу задать вам один вопрос. Что вас держит в Шведской Гавани, когда вы можете нажить себе состояние в одном из больших городов?

— Я думаю, то же, что и вас в Гиббсвилле. Может же человек быть привязан к своему родному городу. Если же он легко с ним расстается — на то должна быть причина. А у меня есть причина любить свой город, и я никогда из него не уеду.

— Вы меня удивляете, мистер Локвуд.

— Не понимаю почему, мистер Хофман. Вы ведь не очень хорошо меня знаете. А может, и вовсе не знаете... Ну, я отнял у вас достаточно времени. Вы заняты, я — тоже. До свидания, сэр.

Он встал, вложил бумаги обратно в шляпу и направился к выходу.

— Мистер Локвуд, дайте мне взглянуть на ваши чертежи,— остановил его старик.

Так они пустились в совместное плавание. Это событие усилило враждебное к нему отношение со стороны родственников, но недружелюбие завистников компенсировалось возросшим авторитетом Локвуда среди его сограждан в Шведской Гавани. Старик Хофман не скрывал, что идея строительства моста принадлежит его более молодому партнеру, которого он стал звать просто Авраам. Остальные, менее значительные члены клана, видя это, пошли дальше и уже называли Локвуда Эйбом. На церемонии открытия моста (алую ленту дали перерезать Джорджу Локвуду) Эйб Локвуд, увидев Сэмюела Стоукса, не осмелившегося не прийти на торжество, расплылся в самой дружеской улыбке.

■

Отец, не имеющий планов на будущее, правит семьей по праву отца; отец, имеющий такие планы (как это было в случае с Авраамом Локвудом), не ограничивается обычными отцовскими функциями, а вторгается во все сферы семейной жизни вплоть до мелочей, если они влияют тем или иным образом на осуществление его замыслов. Жена посвящается в планы мужа лишь по его доброй воле; ни за какие поступки, даже самые безрассудные, он перед ней не в ответе. В те времена и особенно в той географической и социальной среде муж и отец никакой критики не терпели. Жена могла критиковать мужа с немалым риском для себя. Разводов почти не бывало. Если жена, оказавшись в невыносимых условиях, от отчаяния обращалась в суд, то она не могла рассчитывать на поддержку родителей, не говоря уже о друзьях и знакомых. Но даже и решившись на этот шаг, она почти наверняка натыкалась на судью, являющегося противником разводов. Женщина, задавшаяся целью во что бы то ни стало освободиться от мужа, могла добиться этой свободы лишь ценой позора: надо было ославить себя прелюбодейкой, чтобы муж сам подал в суд и получил развод.

В таких условиях браки, естественно, отличались прочностью, власть мужа и отца была абсолютной, и девушки, готовившие себя в жены, знали, на что идут. Если Аделаида Хоффнер в день свадь-

бы ее сестры Сары и сомневалась в том, что та уживется с Сэмюелом Стоуксом, то эти сомнения были чисто теоретическими. Теоретическими и бесполезными, поскольку изменить то, что произошло, было все равно невозможно. Девушки радовались браку как сбывшейся мечте, но будущая жизнь с мужем представлялась им весьма неопределенно.

Аделаида Локвуд полюбила своего мужа в первые же месяцы после свадьбы, однако ее смущал его совершенно необъяснимый жгучий интерес к появившимся у них детям.

Отцу ведь не обязательно заниматься воспитанием младенцев — свою власть он успеет показать и потом, когда дети вырастут. Но Авраам Локвуд этого не признавал, он начал руководить воспитанием своих сыновей с самого их рождения. Питание, режим сна, температура воды в ванне, система наказаний и поощрений — ничто не ускользало от его внимания. Объяснял он такое свое отношение к детям лишь тем, что он-де из «новых» отцов, более активно участвующих в воспитании потомства. Аделаида, у которой не было серьезных поводов протестовать, не считала этот довод убедительным и находила объяснение в том, что муж возлагает на своих сыновей большие надежды. Дальше этого ее понимание намерений мужа не шло.

Планы Авраама Локвуда начали претерпевать изменения после того, как он оставил мечту проникнуть в филадельфийское общество. Несмотря на членство в клубе «Козыри», он недолго тешил себя иллюзиями относительно места, которое в действительности занимал во внеуниверситетской жизни своих клубных товарищей. Он не разделял мнения Томаса Фуллера (1608—1661) о том, что человека делают джентльменом хорошие манеры и деньги, и не был согласен со своим современником Джоном Кардиналом Ньюменом, утверждавшим, что джентльмен — это человек, никому не причиняющий зла. Общение Авраама Локвуда с университетскими денди убедило его в том, что Фуллер сверх меры циничен, а Ньюмен — недостаточно циничен, но что ни тот, ни другой не смог дать точного определения джентльмена. Сначала в университете, потом в период службы в Вашингтоне и, наконец, в послевоенные годы Авраам Локвуд продумывал свои планы с большей тщательностью, чем могло показаться на первый взгляд. Он имел все основания считать, что в браке ему повезло: женщина, которую он выбрал себе в жены, была неплохо воспитана, финансово обеспечена и достаточно образованна, но в какой-то момент своей жизни он понял, что его замысел заключается не только в том, чтобы вырастить из своих детей джентльменов. Джентльменами, по Фуллеру, стать можно, но это — не конечная цель, а только эпизод, шаг к общественному положению, которое должны занять потомки его сыновей. Авраам Локвуд знал, что его внуки и правнуки не будут носить никаких титулов, но если его замыслы осуществятся, то имени «Локвуд из Шведской Гавани» им будет достаточно. И он все больше преисполнялся уверенности в том, что цель, которую он перед собой поставил, будет достигнута в третьем поколении.

Замыслы Авраама Локвуда были не просто замыслами, ибо замысел — это лишь способ достижения цели, и не просто честолюбивой мечтой, ибо мечта — это лишь стремление. Его целью было создать Дело, иными словами — династию, берущую начало от Мозеса Локвуда. Он приступит, вернее, уже приступил к созданию своего Дела, видя в нем смысл и стимул своей жизни и жизни членов своей семьи. Допуская, что отец убил тех двух людей с заранее обдуманной целью, Авраам Локвуд не испытывал ни стыда, ни даже нелов-

кости. Убийство, как таковое, никогда не мешало тому или иному семейству занять определенное место в истории: это был метод, с помощью которого короли оставались королями, а бароны становились герцогами. Так или иначе, будущие историки, по-видимому, воздадут должное храбрости, проявленной Мозесом Локвудом в первой битве на реке Буль-Рэн; пока же, в представлении Авраама Локвуда, его отец и без того выглядел героем и человеком дела, да и сам Авраам намерен был удерживать за собой репутацию человека дела и знатного гражданина; что же касается более отдаленного будущего, то он добьется того, чтобы на его сыновей смотрели как на джентльменов, и как на деловых людей, и как на покровителей искусств, и как на представителей третьего поколения лидеров своей общины, и как на первое поколение, которому общественность страны присвоила титул «Локвуды из Шведской Гавани». Иногда он жалел, что у него всего два сына, хотелось бы ему иметь их больше — тогда он мог бы направить их в разные сферы деятельности: в юриспруденцию, медицину, богословие, на военную службу. Но, с другой стороны, когда много детей, то, естественно, и больше шансов вырастить какого-нибудь подлеца — ведь не может же отец уделять пятерым или шестерым мальчуганам столько же внимания, сколько уделяет он сейчас Джорджу и Пенроузу.

Пока Авраам хранил свои замыслы в тайне. Желание мужа сделать Джорджа юристом, а Пенроуза — банкиром было бы понятно Аделаиде, но как объяснишь дочери Леви Хоффнера Дело? Он даже не стал и пробовать. К тому же Аделаида могла и не согласиться с планами мужа в отношении детей, а он высоко ставил ее способность влиять на них. Мальчики любили мать — и не без основания. Она выглядела красивее большинства других женщин. Обращалась с сыновьями строго, но справедливо, всегда лечила их ссадины и ушибы, успокаивала, если они чего-нибудь пугались, и не была по своему интеллекту настолько выше их, чтобы не понимать их мелких повседневных забот. Она много делала для того, чтобы им было хорошо, и мягко, без нажима приучала их к дисциплине и безусловному повиновению приказам отца. Авраам мог рассчитывать на ее поддержку даже в тех случаях, когда она не была всецело на его стороне.

Все годы обучения в начальной школе мальчики вели образ жизни, не отличавшийся от образа жизни их сверстников. Это не значило, что Авраам Локвуд стремился привить сыновьям чувство равенства с другими людьми — напротив: он хотел как можно раньше отправить их в частную школу-пансионат и так спланировать их каникулярное время, чтобы им некогда было общаться с сыновьями тормозного кондуктора, носильщика и учителя. Но он не желал, чтобы его сыновья росли этакими учеными уродцами, неженками, привыкшими цепляться за материнскую юбку. Он считал, что детей следует с раннего возраста знакомить с представителями разных социальных слоев города, чтобы, когда подойдет время и они займут отведенное им место в Деле, они никому не показались чужаками или пришельцами. Его отец, а еще больше дед располагали сведениями о каждом жителе города и поддерживали с ним деловое знакомство, так же как и он сам. Его сыновья не будут помещиками, живущими вдали от своих земель, они последуют примеру тех землевладельцев — нетитулованных дворян, которые предпочитают жить в своих поместьях и знают окрестных жителей. Словом, Джордж и Пенроуз неплохо вступали в жизнь.

Дело Авраама Локвуда не было чем-то мелким, докучливым и почти совершенно не мешало его текущим финансовым делам. Мысль

о Деле, как хороший ориентир, лишь облегчала ему принятие решений — больших и малых — относительно воспитания детей, несмотря на протесты, которые время от времени заявляла его озадаченная жена. Как ни странно, мальчики с возрастом воспылали к отцу, неожиданно для него самого, такой сыновней любовью, что любовь эта показалась их матери даже несколько болезненной. У нее они искали тепла и ласки, а у него — одобрения своих поступков. Этот худой раздражительный человек, много раз отказывавший им в их просьбах, был, однако, тем позитивным фактором в их повседневной жизни, действие которого они ощущали на себе, даже когда втайне нарушали его приказы. Любовь детей служила Аврааму наградой за тот интерес, который он к ним проявлял и который они, по молодости лет, воспринимали как должное, не раздумывая о причинах.

Закончив в 1887 году восьмой класс, Джордж без разговоров отправился в школу св. Варфоломея. Этот шаг, имевший для Дела его отца большое значение, потребовал тщательной подготовки. Школа, о которой идет речь, к тому времени была уже достаточно старой — она существовала около тридцати лет и почти все выпускники ее поступили в Гарвард, Йель, Принстон, в Пенсильванский университет, в университеты Дартмута, Уильямса, Виргинский или в духовные семинарии. Она находилась в ведении епископальной церкви и была расположена в восточной части штата Массачусетс. Все учащиеся, за исключением небольшой группы южан, были выходцами из штатов Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд и Делавэр. Гарри Пенн Даунс и Моррис Хомстед тоже устраивали своих детей в школу св. Варфоломея, хотя сами не были ее питомцами. Это обстоятельство в какой-то мере повлияло на Авраама Локвуда, но оно не было главным при выборе учебного заведения. Главным было то, что эта школа находилась в одном из штатов Новой Англии, а также то, что ее выпускники поступали потом в солидные университеты. Авраам Локвуд уже решил, что его сыновья пойдут в Принстон, но хотел, чтобы у них были друзья также в Гарварде, в Йельском и Пенсильванском университетах. Поскольку большинство оканчивавших школу св. Варфоломея поступало в Гарвард и Йель, то возможность таких дружеских связей обеспечивалась сама собою. Авраам Локвуд постарался избежать какого-либо намека на то, что он подражает Даунсу и Хомстеду, поэтому не стал просить их о помощи при устройстве сыновей в школу св. Варфоломея, а обратился к Габриелу Бромли, заместителю ректора школы при церкви св. Троицы в Гиббсвилле, и к Джо Кэлторпу, своему однокурснику,— оба они были личными друзьями ректора школы св. Варфоломея.

И вот осенью 1887 года старые друзья — Моррис Хомстед, Гарри Пенн Даунс и Авраам Локвуд — оказались в спальном вагоне поезда, который отправлялся в Бостон. Сыновья Хомстеда и Даунса, впервые увидевшие сына Локвуда, встретили незнакомца с нескрываемой враждебностью, чем ввергли в немалое замешательство всех трех отцов. Это был первый случай, когда Дело Локвуда натолкнулось на препятствие, и первый случай, когда он ощутил прилив любви к сыну и ненависти к обидчикам — чувства, какие испытывает родитель при виде оскорбленного ребенка. И за эту глупую жестокость сына Гарри Пенну Даунсу суждено было впоследствии заплатить жизнью.

Но несмотря на столь малоприятное начало своей карьеры в школе-пансионате, Джордж Локвуд оказался у ректора на отличном счету. В первый же год мальчик быстро выдвинулся в число наиболее успевающих по алгебре и латыни и стал одним из лучших бегу-

нов в классе. Его комната содержалась в порядке, он был опрятен, а по дому скучал лишь до тех пор, пока администрация не признала публично его успехов в науке.

■

Каждому мальчику в школе св. Варфоломея выдавали за пятьдесят центов (эта сумма включалась в их счета среди расходов на учебники и мелкие нужды) по небольшой деревянной шкатулке четыре дюйма высотой, двенадцать дюймов шириной и шестнадцать дюймов длиной. К шкатулке была приделана накладка, и за отдельную плату — пятнадцать центов — мальчику выдавали замочек и два ключа. Один ключ оставался у него, а другой он отдавал старшему наставнику. Неприкосновенность шкатулки уважалась. Никто из учеников не имел права вскрывать шкатулку товарища, равно как и учитель не мог открыть ее без разрешения владельца.

В шкатулках мальчики хранили свои личные сокровища: письма, перочинные ножи, сладости (хотя это было запрещено), запасной воротничок, запасные запонки, шнурки для ботинок, семейные фотографии, каштаны, наконечники к индейским стрелам, медали за академические и спортивные достижения, дневники, часы, цепочки для часов, марки, деньги (хотя это было запрещено), прядь волос приглянувшейся девочки, выходные галстуки. Со слов старших учеников мальчики знали, что учителя время от времени открывают шкатулки в их отсутствие, если возникают подозрения, что там хранятся трубки, табак и непристойные фотографии. Хотя сладости и деньги держать в шкатулках запрещалось, за это нарушение правил никто не наказывал: учителя делали вид, будто они не заглядывают в шкатулки, поэтому мелкие деньги — меньше доллара — и сливочные конфеты не считались серьезной контрабандой. У каждого из мальчиков было для своего ключа особое потайное местечко, а некоторые даже вешали его себе на шею. И никто не осудил бы мальчика, отошедшего со своей шкатулкой в уголок, чтобы соседи по комнате не увидели ее содержимого; зато насильственное вскрытие шкатулки товарища рассматривалось как оскорбление действием и нарушение морального кодекса, принятого самими учениками. Почти все мальчики ставили свои шкатулки в определенном месте, поэтому если у кого-то ее трогали, то это сразу же замечалось. «Кто передвинул мою шкатулку?» — громко спрашивал мальчик, и уже в этом его тоне слышалась угроза, что нередко приводило к ссоре, а то и к драке. Высшим проявлением доверия со стороны мальчика было показать своему другу хранящиеся у него в шкатулке сувениры и безделушки, однако бывали случаи, что даже закадычные друзья на протяжении всех лет совместного обучения ни разу не показывали друг другу своих шкатулок.

Таким образом, обыкновенная шкатулка, предназначавшаяся для хранения предметов первой необходимости — сапожного крема, щеток, расчесок, носовых платков,— превратилась в школе св. Варфоломея в уставный предмет, освященный традицией. Выпускники всегда увозили шкатулки домой и иногда пользовались ими даже в университетах. Среди учащихся уже были такие, которые пользовались шкатулками отцов. И вот тут-то Фрэнсису Хомстеду и Стерлингу Даунсу, чувствовавшим себя достаточно уверенно в родном городе, пришлось довольно скоро узнать, что такое унижение: кое-кто напомнил им, что у них-то шкатулки *новые*, а не отцовские.

Шкатулка Джорджа Бингхема Локвуда, с выжженными на крышке при помощи каминной кочерги инициалами и фамилией, была, пожалуй, единственной в своем роде. В отличие от других шка-

тулок, она не походила на свалку множества разных вещей, а была разделена на четыре отделения, в каждом из которых аккуратно складывались более или менее однородные предметы. Для этого Джордж велел вырезать в длинных стенках шкатулки поперечные пазы, в которые были вставлены три перегородки, образовывавшие четыре отделения. В первом отделении помещались его серебряные часы с цепочкой, воротничок, запонки и булавки, во втором — платки и галстуки, в третьем — деньги и почтовые марки и в четвертом — письма от родных, мыло и одеколон. Если не считать перегородок, шкатулка и ее содержимое не открывали ничего необычного взору любопытных учителей. Несколько мелких монет — вот и вся контрабанда. Взглянув на все это, учитель тотчас захлопывал крышку.

Однако в шкатулке было еще кое-что — двойное дно. Внутренние перегородки не только делили ее на отсеки, но и скрывали секрет. Их можно было вынуть из пазов, выложить вещи на стол и, перевернув шкатулку вверх дном, слегка постучать по ней — «внутреннее дно» вылетало, а вместе с ним и тайные сокровища Джорджа: две золотые монеты достоинством по пять долларов каждая и десятидолларовая бумажка. Обладание такой большой суммой могло бы привести к исключению из школы, и никакое объяснение не удовлетворило бы ни учителей, ни ректора.

Джордж Локвуд (за годы обучения в школе св. Варфоломея ему так и не дали никакого прозвища) получил свою шкатулку во время общей раздачи через неделю после прибытия. Первые четыре месяца он прятал в ней то, что некоторые мальчики имели обыкновение брать у других: мыло, расчески, крем для обуви и т. д. Зная, что в шкатулке нет ничего интересного, он не искал в ней утешения в минуты меланхолии и, поскольку помнил наперечет все, что в ней находилось, развлекался лишь тем, что, уединившись от людей, запирал и отпирал замочек. Но спустя две-три недели он выяснил, что учителя иногда открывают шкатулки без ведома владельцев; это вторжение в личную жизнь возмутило его настолько, что, внимательно присмотревшись к своей шкатулке, он придумал план борьбы. На рождество он взял шкатулку домой и попросил местного столяра за пятьдесят центов соорудить в ней перегородки и второе дно. Столяр был мастером своего дела. Он соорудил уже немало таких тайников в письменных столах, комодах и сундуках своих заказчиков, так что заказ Джорджа пришелся ему весьма по душе («Што вы держите там, Шорши? Любофные письма, да?»). Джордж положил в свой тайник рождественские подарки деда и бабушки Хоффнер (золотые монеты) и отца (десятидолларовую бумажку) и с чувством ликования возвратился в школу св. Варфоломея. Это был вызов ищейкам-учителям. Раз в неделю он открывал свою шкатулку и иногда замечал, что его вещи просматривали. Но недаром столяр славился своим мастерством: за все четыре года, что Джордж учился в школе, спрятанные деньги так и не были обнаружены.

Близких друзей у Джорджа Локвуда, можно сказать, не было, хотя вообще друзей было много. И переменил он их столько же, сколько сменилось товарищей по комнате. Школьникам разрешалось подбирать себе товарищей по комнате только с переходом в последний класс, и, хотя по правилам можно было выбрать двоих, Джордж выбрал только одного, предоставив выбор другого старшему наставнику. Он же выбрал Стерлинга Даунса, который и принял приглашение. Вначале Джордж относился к Стерлингу не лучше, чем тот относился к нему, но во втором классе они несколько сблизились. А на третий год Джордж пожалел Стерлинга, как жалели его все ученики. В том году отец Стерлинга покончил с собой.

Менее чем за десять лет совместной деятельности Гарри Пенна Даунса и Авраама Локвуда их общий капитал, участвовавший в спекулятивных сделках, вырос с десяти до шестисот тысяч долларов. Этого удалось добиться в значительной степени (но не исключительно) путем купли-продажи акций, за курсами которых следил Даунс. Время от времени Авраам Локвуд предлагал ликвидировать те или иные акции, забирал свою часть прибыли, вкладывал деньги в другие ценные бумаги или в недвижимость, а потом ждал, когда Даунс придет к нему с новым предложением. Авраам Локвуд никогда не отказывался вступать с Даунсом в партнерство, но не всегда давал столько денег, сколько тот просил: иногда ему не хотелось рисковать, а иногда у него просто не было свободных денег. Однако вряд ли у него возникали сомнения в том, что Даунс — опытный спекулянт. Десять тысяч долларов, а потом — шестьсот тысяч долларов составляли лишь основной капитал; весь же капитал, принадлежавший партнерам, был гораздо больше. За годы совместной деятельности каждый из них заработал на биржевых операциях более миллиона долларов.

Они с самого начала вместе делали деньги, но наибольшие доходы получали в последние годы, когда отношения между ними стали более прохладными, чем прежде. Даунс не знал, чем объяснить такую перемену, никак не предполагая, что его друг Локи обиделся на грубый выпад Стерлинга против Джорджа. Потом, подумав, решил, что холодно-равнодушное отношение Локвуда объясняется его занятостью другими финансовыми делами, но коль скоро Локвуд продолжал вкладывать в их спекуляции свои шестьдесят процентов, Даунс мог обойтись и без любезностей. Не то чтобы Локвуд был груб, но в последнее время он вел себя не по-приятельски и реже стал встречаться с Даунсом за обедом или ужином. Однажды Даунс решил было сделать дружеский жест и попробовать сойтись с Локвудами ближе (его жена не была знакома с Аделаидой, а сам он видел ее только на свадьбе), но вынужден был отказаться от своего намерения: Марта Стерлинг Даунс и вообще-то не жаловала гостей, а женщину из северной части штата, не умеющую правильно произносить английские слова и, наверно, не знающую, что такое Филадельфийская ассамблея, тем более встретила бы без восторга. Так что Даунсу пришлось отказаться от мысли об установлении с Локвудом более коротких отношений, и он продолжал встречаться с ним в конторе — либо у себя в Филадельфии, либо у него в Шведской Гавани.

На эти встречи Локвуд обычно приходил с точными данными о состоянии их финансовых дел. «Ты заработал тридцать тысяч, я — двадцать,— сообщал он.— Давай снимем прибыль». Прежде, когда Даунс предлагал подержать акции еще немного, Локвуд, как правило, уступал. Но бывали и исключения: Локвуд мог заупрямиться. В таких случаях Даунс соглашался с ним. До весны 1890 года острых разногласий между ними не возникало.

Когда они встретились в конторе Даунса, Локвуд, не теряя времени, сказал:

— Гарри, давай продадим сахарные акции.

— Зачем? По-моему, они не внушают тревоги. Мы сорвем на них большой куш, Локи. Такого выгодного дела у нас еще не бывало.

— Значит, мое мнение совсем не в счет?

— Конечно, в счет. Но на этот раз ты ошибаешься. Ты слыхал о Хавемейере?

— О Хавемейере — нет. Но я знаю об Американском банке и других лопнувших банках, не говоря уже о филадельфийской компании страхования жизни. Я хочу на время выйти из игры. Сам ты можешь поступать как хочешь, но мою долю отдай. Сто двадцать тысяч.

— Не могу,— сказал Гарри Пенн Даунс.

— Почему?

— У меня нет этих денег.

— То есть как?

— Нет у нас никаких сахарных акций. Я тебя обманывал. Я ничего не покупал. Очень не вовремя ты просишь денег.

— Как видно, именно сейчас и время.

— Нет. Прежде я был честен с тобой, Локи, и зарабатывал для нас обоих.

— Куда ты девал деньги?

— А это уж не твое дело, черт побери. Довольно и того, что я признался в мошенничестве. Но я скажу тебе. Я проиграл их в покер.

— Проиграл сто двадцать тысяч в покер?

— Больше.

— Где? Кому?

— В «Юнион лиг». Неважно кому. Хотя при желании ты и это можешь узнать.

— Наверно, могу. Но так крупно не играют даже в «Юнион лиг». Я не знал, что ты состоишь в этом клубе. Думал, ты — в Филадельфийском.

— Я член Филадельфийского клуба, но, наверно, долго им не пробуду. Я разорен, Локи. У меня есть дом, есть вот эта контора — и все.

— А год назад ты стоил больше миллиона.

— Верно, стоил. И выигрывал в покер. Но потом пошла плохая карта, а я все играл. Причем с игроками, от которых мне следовало избавиться.

— Почему ты не играл с ними в вист?

— Эти люди играют только в покер, в вист не играют.

— Ты хочешь сказать, что проиграл больше миллиона долларов в покер?

— Да, именно это я и хочу сказать.

— Как это можно? Впрочем, конечно, можно.

— Я потерял четыреста тысяч за одну ночь. Потом поехал в Нью-Йорк, где встретил кое-кого из тех же самых людей, и проиграл им еще почти столько же.

— Тех же самых? Ты не имел права играть с ними. Они будут играть до тех пор, пока от них не отвернется фортуна.

— Я имел такое же право играть с ними в карты, как и играть против них на бирже. Не забывай, что было время, когда я обыгрывал их и в покер, и на бирже.

— Сколько же времени ты играл при таких высоких ставках?

— Около трех лет.

— Ты должен был сказать мне.

— Не считал нужным. На твою долю я все равно зарабатывал.

— Знают ли в Филадельфии о твоих проигрышах?

— Думаю, да.

— А жена?

— И она теперь знает. Вот что, Локи: что ты намерен предпринять? За решетку посадить ты меня, конечно, можешь.

— Могу. Только это не поможет мне вернуть сто двадцать тысяч.

— Не поможет.

— Ты говоришь, что разорен. Ну, а дом? Тогда я твой дом возьму.

— Э, нет. Дом я давно перевел на жену.

— Что же, милый друг, получается? Если бы я просто подарил твоей жене дом, ты счел бы это оскорблением, но ведь этого ты, в сущности, и добиваешься.

— Может быть. Считай как хочешь.

— Иначе рассматривать это, Гарри, я не могу. Если всем известно о твоих крупных проигрышах, кто тебе поверит в долг хотя бы пятнадцать центов? В этом городе — никто. Здешние квакеры отвернутся от тебя, если ты у них попросишь.

— Уже отвернулись.

— Скажут: «Ты был нечестен, Гарри». Но я-то почему должен терять свои сто двадцать тысяч? Потому что ты раздарил все деньги нью-йоркским мультимиллионерам? Они не были ни твоими друзьями, ни партнерами. Эти люди старше нас, очень богаты. А в проигрыше остался твой старый друг и партнер. С какой стати я должен дарить Марте Стерлинг дом? Она даже не узнала бы меня, если бы зашла сейчас сюда. Нет, брат, поищи себе простака где-нибудь еще. Ты даже не удостоил меня чести хотя бы показать кого-нибудь из своих игроков.

— А что будет, если я все-таки откажусь?

— Ты знаешь, Гарри, что мой отец убил двух человек.

— Да, слыхал. Ты собираешься убить меня?

— Вряд ли. Но этот факт омрачал мне всю жизнь. Могу я стать членом Филадельфийского клуба?

— Нет.

— Вот видишь. И не потому, что лично я в чем-то провинился. Ты вот состоишь и в Филадельфийском клубе, и в Ассамблее, а мне туда никогда не попасть, хотя моего отца и оправдали. А ведь ты украл у меня деньги, много денег. Даю тебе месяц срока, чтобы достать шестьдесят тысяч. Это — половина того, что ты мне должен. В конце концов, мы вместе спекулировали, и пусть это будет наша общая потеря.

— Что ж, Локи, я думаю, это благородно. На большее я не имею права рассчитывать. Но я не стану просить Марту отдать тебе дом и прекрасно понимаю, что мне негде взять шестьдесят тысяч.

— Подумай. Может быть, тебе еще повезет. Неужели друзья-мультимиллионеры не поверят тебе в долг? Дай им расписку.

— Нет. Проигравший должен расплачиваться чеком сразу же после игры. Мы начинаем с покупки фишек на десять тысяч долларов, а чека на такую сумму я подписать сейчас не могу.

— Своди меня к ним как-нибудь. Может, я выиграю.

— Не могу. Они меня больше не зовут.

— Ну, тогда нам с тобой не о чем, видимо, больше говорить. Надеюсь, через месяц ты достанешь шестьдесят тысяч. Искренне надеюсь. Между нами все кончено, но я надеюсь, что ты снова станешь на ноги.

— Спасибо, Локи. Извини, что так вышло.

— Вышло скверно,— сказал Авраам Локвуд, вставая.— Как ты думаешь, Гарри, имею я право рассчитывать на честный ответ, если задам тебе еще один вопрос?

— Вероятно.

— Ты ведь потратил деньги не только на игру в покер, так?

Даунс погладил подбородок.

— Так.

— Ты спекулировал еще на чем-то, не ставя меня в известность?

— Да.

— Ты заботился о моем благе? Не хотел, чтобы я терял капитал?

— Как легко мне было бы сейчас тебе солгать. Нет, Локи, я не думал о твоем благе. Я часто занимался сделками, считая, что ты не обязан знать о них.

— Почему же? Мы ведь договаривались, что я буду знать обо всем, что тебе кажется выгодным.

— Будем считать, что я сделал мысленно оговорку.

— С самого начала?

— По-видимому, да. Можешь теперь сказать, что ты обо мне думаешь. Что я всегда был мошенником.

— Ты сказал это за меня. Что же, наконец-то мы поняли друг друга.

— Не совсем. Тебя, Локи, я никогда не понимал. Не знал, чего ты хочешь. И сейчас не знаю. Знаю только, что деньги для тебя — это не все. И положение — тоже не все.

— Я бы сказал, но сейчас мне кажется, что моя цель не стоила того, чтобы ее добиваться. Сейчас она мне кажется просто глупостью. Впрочем, что тут говорить загадками. До свидания, Гарри.

— До свидания, Локи. Руку мне подашь?

Даунс встал.

— Не могу, Гарри. Желаю тебе удачи, но руки подать не могу.

— Ладно. Понимаю. Рука у меня грязная. Нечистая рука.

— До свидания, Гарри.

Когда Авраам Локвуд шел на вечерний поезд, в скороговорке мальчишки-газетчика, выкрикивавшего новости, он услышал имя Г. П. Даунса. Он купил газету и прочел больно ранившее его, но не удивившее извещение о том, что Гарри покончил с собой выстрелом в ухо, сидя за письменным столом в своей конторе. Газета не могла совсем умолчать об его причастности к биржевым делам, но явно старалась не связывать самоубийство с недавними крахами ряда банков и страховых компаний. Сев в поезд, Авраам Локвуд порадовался тому, что едет домой, в Шведскую Гавань, дальше, дальше от Филадельфии! Он считал, что точно знает меру своей ответственности за самоубийство Гарри Пенна Даунса: он дал своему другу и партнеру последний толчок в спину. Но до того, как его путешествие домой закончилось, Авраам Локвуд еще раз вернулся к мысли о своем Деле. Нельзя обвинять Дело в гибели чьей-то жизни, ибо человек, ставший его невольной жертвой, знал, что делал: он воровал у Дела, чем подвергал опасности само Дело и угрожал благополучию одного из его будущих властителей — Джорджа Локвуда.

Ирония последовавшего приглашения, когда его сын Джордж избрал Стерлинга Пенна Даунса своим соседом по комнате, не осталась незамеченной Авраамом Локвудом,— доброта, проявленная из чувства жалости его сыном, показалась ему почти забавной. Но ирония ситуации интересовала Авраама Локвуда меньше, чем то обстоятельство, что один из Локвудов оказался на этот раз в красивом положении vis-à-vis[1] одного из Даунсов, а также то, что самоубийство Гарри явилось косвенным следствием его попытки помешать Делу. Эти два события — самоубийство Гарри Пенна Даунса и приглашение Стерлинга Джорджем — как бы подтверждали Аврааму Локвуду, что его Дело обрело черты респектабельности, стало подлинным établissement[2]. Оно, видимо, будет похожим на одну из тех частных банковских фирм, которые способны втянуть страну в войну или, точнее, на железную дорогу, угольную шахту, пороховой завод, где челове-

[1] По отношению *(франц.)*.

[2] Учреждением, институтом *(франц.)*.

ческая жизнь списывается, как издержки производства. Если же отвлечься от этих сравнений и взглянуть на Дело как оно есть, то самоубийство человека и красивый поступок мальчика неотделимы от общего плана построения династии.

В течение нескольких недель после самоубийства своего партнера Авраам Локвуд не раз с сожалением думал о том, что у него нет такого человека, которого он мог бы посвятить в тайну Дела. Аделаиду, как возможную наперсницу, он давно уже сбросил со счетов. Однажды, на короткое время, ему пришла в голову шальная мысль довериться Питеру Хофману, который, как человек, пользующийся властью, мог бы понять некоторые аспекты Дела, но Хофман — заурядная, лишенная воображения личность — и не попытался бы заглянуть в далекое будущее, где для него уже не будет места. Моррис Хомстед, сам член подобной династии, тоже понял бы некоторые аспекты Дела, но его династия уже существовала — ей было добрых триста лет, поэтому Дело Локвудов не показалось бы ему чем-то новым и интересным. Спокойная уверенность Морриса Хомстеда, унаследовавшего прочное место в истории Пенсильвании, вызывала у Авраама Локвуда чувство зависти и восхищения, поэтому на Морриса он смотрел скорее как на образец, чем как на наперсника. Таким образом, тайна Дела Авраама Локвуда оставалась тайной для всех. Не проник в нее и Гарри Пенн Даунс, хотя у него были смутные подозрения. Разумеется, рано еще было посвящать в суть дела и Джорджа Локвуда. Мальчик без восторга воспринял бы сообщение о том, что ему суждено руководствоваться интересами предприятия, будущее которого принадлежит его внукам, а не ему. Джордж — послушный мальчик, но он — Авраам это знал — не склонен к раболепству и не лишен воображения. Другое дело — его младший брат Пенроуз: тот уже усвоил привычку слушаться отца, матери и старшего брата. Авраам Локвуд был уверен, что эта привычка сохранится у него на всю жизнь. Пенроуз всегда будет кому-нибудь подчиняться и поэтому не представит опасности для Дела, пока будет надежный человек, влияющий на него в нужном направлении. И Авраам Локвуд ждал того времени, когда Джордж, женившись и обзаведясь детьми, созреет настолько, чтобы с пониманием отнестись к факту существования Дела, и станет его добровольным приверженцем. Но это время еще не настало.

(В Шведской Гавани часто говорили, что Авраам Локвуд — прекрасный отец.)

Поглощенный мыслями о Деле, о своем растущем состоянии, о других мужчинах, женщинах и детях, к которым он проявлял понятный интерес, о деньгах, Авраам Локвуд не имел ни времени, ни желания подумать о том, что происходит с ним самим. Планы, которые он втайне вынашивал, были, конечно, его личным делом, которому он предавался с поистине религиозным фанатизмом, но судьба затеянного им предприятия зависела от поступков, настроений и поведения других людей, а не только его самого. Поэтому Авраам Локвуд мало размышлял об Авраме Локвуде и был весьма удивлен, обнаружив, что таинственность, окружавшая Дело, и нежелание посвятить в него Аделаиду изменили характер его отношений с женой. Как будто Дело было любовницей, существование которой ему приходилось отрицать. Эта тайна, столь глубокая и неотделимая от его повседневных и ежечасных мыслей и поступков, вначале соблюдалась им из предосторожности, а потом коварно переросла в причину отчуждения. В жене происходили перемены, и то, что он не сразу их замечал, смущало его, пока он не понял, что причиной этого было Дело.

К этому времени Аврааму Локвуду исполнилось сорок девять лет. Он был здоров, богат, и ему было приятно уважительное отношение, которое он завоевывал, отстаивая свое положение в городе. Он не взвешивал своих сил и возможностей на различных этапах жизненного пути (скажем, после сорока или сорока пяти лет) и далек был от мысли замедлить ход теперь, когда так много еще оставалось сделать. Человек, замедляющий шаг, останавливается. Моррис Хомстед никогда быстро не шагал, ибо у него не было особой причины спешить; Гарри Пенн Даунс шел быстро, но потом замедлил шаг — или вынужден был замедлить,— ибо оказался недостаточно вынослив. По мнению Авраама Локвуда, Гарри Пенн Даунс прибегнул к бесчестной практике потому, что выбился из сил. Так или иначе, он вынужден был замедлить ход, а замедлив ход, вынужден был и остановиться.

Согласно обычаю, на похоронах самоубийцы присутствовали только его прямые родственники. Но спустя неделю Авраам Локвуд послал Марте Стерлинг Даунс записку с просьбой принять его, и она согласилась.

Во время последней встречи с Даунсом Локвуд сказал, что Марта не узнала бы его. Но поскольку теперь он предупредил ее о своем приходе, она ждала его и, когда он вошел следом за служанкой к ней в библиотеку, встала ему навстречу. Он шел к ней в смутном ожидании увидеть скорбящую вдову с заплаканными глазами, но достаточно было ему одного взгляда, чтобы убедиться, как сильно он ошибался.

— Здравствуйте, Локи,— сказала она.— Очень хорошо, что вы пришли. Я вижу, вы без жены.

— Не считал уместным. Вы с ней не знакомы, и сейчас не...

— Не время для знакомства. Вы правы. Садитесь, Локи. Я зову вас Локи, словно мы — старые друзья. Вы не возражаете?

— Мне это даже нравится.

— Я угощу вас чаем. Только чуть позже, хорошо?

— Хорошо.

— Я знаю, вы не пьете. Но если хотите, я могу предложить что-нибудь.

— Нет, благодарю.

— Я очень довольна, что наши сыновья в следующем году будут жить в одной комнате. Хорошо, что наше общение продолжается. Курите, если угодно. Я курю, так что мне это не помешает.

— Мне нечего курить. Я не ношу с собой сигарет.

— Вот, пожалуйста.— Она протянула ему крошечный серебряный портсигар. Он дал закурить ей и закурил сам.— Мне было приятно также узнать, что летом мы, кажется, будем вашими соседями. У вас есть коттедж в местечке под названием Ран, не так ли?

— О, да, уже несколько лет, как я его приобрел. Вы тоже туда едете? Это было бы очень приятно.

— Вы ведь знаете Уэстервелтов? Так вот, мистер Уэстервелт — мой двоюродный брат. Он любезно предложил мне воспользоваться его коттеджем. Ехать куда-то еще нам было бы не по средствам. Этим летом они уезжают за границу, так что все очень хорошо устроилось.

— У них — лучший коттедж в Ране. Знаете, что такое Ран? Пруд, искусственное озеро. Он принадлежит угольной компании, и таким людям, как Дж. Б. Уэстервелт, предоставлены там, естественно, лучшие помещения. Вам там понравится, если вы не против купания в холодной воде.

— Для меня это лучше, чем в океане. Ваша жена плавает?

— Нет. Вероятно, мы едем туда в последний раз. Следующее лето Аделаида хочет провести на берегу моря.— Локвуд замолчал. Она смотрела на него, не сводя глаз, и ему стало не по себе.— Что-нибудь не так, Марта?

Она засмеялась.

— Нет, что вы. Нет.— И опять засмеялась.

— Что вас так рассмешило?

— Этого я вам не скажу. Не могу. Даже через миллион лет не скажу. То, что я подумала, действительно смешно, и вас это позабавило бы, но лучше нам переменить тему — и побыстрее. Я невольно так уставилась на вас.

— Наверно, подумали о чем-нибудь приятном.

— Пожалуйста, не расспрашивайте меня больше. Лучше поговорим о Гарри. Вы много потеряли денег, Локи?

— Вы хотите знать сколько? Да, я потерял кое-что, но не это главное. О настоящих потерях я могу лишь догадываться. Я имею в виду прибыль от того капитала, которым Гарри должен был оперировать в наших общих интересах.

— Разумеется, я не знала этой женщины, даже в глаза ее ни разу не видела.

— Какой женщины?

— Ах, не притворяйтесь, Локи. Я все знаю, уже почти два года знаю, так что не щадите меня. К сожалению, вернуть эти деньги, как мне сказали, невозможно. По закону они принадлежат ей. Адвокаты говорят, что нью-йоркский суд не может заставить ее вернуть даже часть денег. Конечно, можно было бы склонить в нашу пользу пенсильванский суд, да много ли от этого проку? Она все равно в Пенсильвании не появится, и нет здесь у нее никаких вкладов. А вы с ней знакомы?

— Нет.

— Один адвокат сказал мне, что она совсем не такая, как я. Этим он хотел польстить мне. Но тут же стал расписывать ее женственность и, конечно, красоту. Интересно, много ли было других. Гарри любил распространяться на эту тему, но мне казалось, что он просто хотел меня шокировать. Есть мужья, которые полагают, что их женам нравится, когда их шокируют. Впрочем, я сама, наверно, его поощряла. Иногда в разговоре мы употребляли такие выражения, что потом стыдно было вспоминать. Бедняга Гарри! Как, должно быть, я ему надоела, воображая себя восхитительно порочной женщиной. А у него в это время была красивая любовница в Нью-Йорке. Красивая, женственная и молодая. Двадцати пяти — двадцати шести лет. И, наверно, не одна. Да. Мы с Гарри были слишком молоды, когда поженились. Он тогда только что кончил университет. Этот дом я продаю. Вы не хотели бы его купить?

— Дом чудесный, но далековато от Шведской Гавани.

— Купите, а меня сделайте своей любовницей. Разве вам не хотелось бы иметь любовницу, которую вы сможете навещать, когда бываете в Филадельфии? Конечно, я не красива и не молода. Но женственна. Этот адвокат взбесил меня тогда своей наглостью.

— Конечно, я куплю дом, если получу вас в придачу.

— Ну, вот мне и награда за наглость мистера Джонаса Рипли.

— И поделом вам, раз вы имеете дело с такими адвокатами, как Джонас Рипли. Я знал его только по университету — с тех пор мы фактически не встречались, но думаю, что он не очень изменился. Он из тех адвокатов, к которым обращаются за услугами только потому, что у них есть имя.

— В Филадельфии это — немаловажная причина.

— Я сказал вам что-нибудь обидное?

— Нет, нет. Мои суждения о них куда резче тех, которые вам когда-либо вздумалось бы высказать. Вы же знаете, я никогда не бывала особенно близка к этой своре. Впрочем, наверно, не знаете. За все годы, что вы с Гарри были партнерами, я так и не познакомилась с вашей женой. Да вы и сами здесь впервые, не так ли?

— Я бывал здесь в студенческие годы, но после войны вернулся в Шведскую Гавань и там остался.

— Правильно сделали.

— Почему?

— Если вы не женаты на девушке из Филадельфии, то обнаружите, что студенческая дружба не очень много значит. Эти ребята после колледжа возвращаются сюда и снова становятся филадельфийцами. Хуже всего, конечно, те, кто вообще отсюда не выезжал, а поступал вместо Гарварда или Йеля в местный университет. Так же ведут себя и бывшие члены вашего карточного клуба. Те, что носят в галстуках булавки в виде вопросительного знака.

— Клуб «Козыри». Он и до сих пор существует.

— О, я в этом уверена. Но мне известно также и то, что он существует не только для игры в вист.— Она улыбнулась и добавила:— Существовал.

— Вы улыбались вот так же, когда не хотели сказать, чему улыбаетесь.

— Тогда надо быстрее менять тему разговора.

— Ваша улыбка как-то связана с клубом «Козыри». Но вы не должны были ничего об этом клубе знать. *Моя* жена не знает.

— Значит, вы умеете хранить секреты лучше, чем это делал Гарри. По крайней мере, некоторые секреты. Я знаю о клубе «Козыри» *все*. Или, вернее, знала.

— Ну, раз вы знаете наши секреты, то почему не раскроете свой? Чему вы улыбались?

Она покачала головой.

— Нет, Локи. И через тысячу лет не скажу.

— Ага, вы делаете успехи. Только что вы сказали — через миллион лет. Может быть, я сумею, пока не ушел отсюда, сократить этот срок до ста лет.

— Через миллион, через тысячу — все равно никогда. Когда вы едете в Ран?

— Через неделю-две после окончания занятий в школе. Вы уже будете там в это время?

— Да, примерно. Этот дом — моя собственность. Он не входит в разоренные владения Гарри. Через неделю-две я объявлю о его продаже и уеду — пусть покупатели приходят сюда в мое отсутствие.

— Стало быть, вы решили не продавать его мне?

Она вдруг переменила тон.

— А что, если я приму ваши слова всерьез?

— Ваши я принял всерьез.

— Вы — нет. Но за мной укрепилась репутация человека, который говорит то, что думает, хотя и не всегда в свою пользу. Если бы я предложила себя в любовницы кому-нибудь из знающих меня мужчин, это было бы воспринято очень серьезно. И я отнеслась бы к своим словам серьезно. Я не очень молода и не очень красива, но ничего другого мне, кажется, не остается.

— Но сейчас-то вы говорите в шутку, хотя и выглядите серьезной.

— Почему вы так думаете? Став любовницей кого-нибудь из знакомых мужчин, я оказалась бы в лучшем положении. Есть муж-

чины, которые ухаживали за мной, добивались близости и до сих пор хотят ее. Как вы знаете, кроме этого дома или денег, которые я за него выручу, у меня ничего нет. Денег мне этих хватит, чтобы дать образование детям, но с чем я останусь через десять лет?

— Да, вы говорите серьезно.

— Это лучший для меня выход.

— И самый худший.

— В том смысле, что пойдет молва? Она уже идет. В Филадельфии обо мне всегда сплетничали, а когда застрелился Гарри, то сплетники взялись за дело вовсю. Женщины, не знавшие о том, что у него была любовница, решили, что любовника завела я. Впрочем, так оно и есть. Год назад я впервые в жизни завела себе любовника. Но он убежал, точно олень, как только пошли слухи, что Гарри разорился. Ну и побежал же он! И бежит до сих пор. Отправился в кругосветное путешествие. Разумеется, вместе с женой. До вас филадельфийские сплетни не доходят, а до меня доходят, даже когда они касаются меня лично. Только вот о моем испуганном фавне никто так ничего и не узнал. А теперь поговорим о другом.

— Я с надеждой жду предстоящего лета.

— Вы тоже хотите изменить тему разговора?

— Нет.

— Или возвращаетесь к старой?

— Да.

— Хотите поговорить обо мне и о том, как я мстила Гарри?

— Да.

— По-моему, эту тему мы уже исчерпали. Непонятно, как получилось, что мы вообще затронули ее. Не думаю, что я доверяю вам, Локи, но вы мне нравитесь. Или, может быть, наоборот: я доверяю вам, хотя не могу сказать, что вы мне по-настоящему нравитесь.

— Жаль. А вы мне нравитесь.

— Я это вижу. Свою жену вы не любите, правда?

— Кажется, нет. Уже нет. Мы ведь давно женаты.

— Были счастливы?

— Да. Я бы сказал — счастливы.

— Смотрите не зазевайтесь теперь. Подвернется какая-нибудь хитрая молодая штучка и окрутит вас вокруг мизинца.

— Сомневаюсь. Я не люблю хитрых молодых штучек. Да и вообще, хитрые женщины не по мне. Во время войны, еще молодым человеком, я достаточно их повидал. Среди них были, пожалуй, хитрейшие в мире. Из дипломатического корпуса в Вашингтоне. Для меня они чересчур хитры. Так что я поехал домой и женился на пенсильванской немке. Недурна собой. Умна. Но не хитрая. Хитрая девушка не годилась бы для моего...— Он чуть было не сказал «Дела», но осекся.

— Для вашего — чего?

— Ну, для жизни, для образа жизни, который я избрал себе.

— Но вы не это хотели сказать.

— Не это? Возможно.

— А что?

Он покачал головой и улыбнулся.

— Не скажу, Марта. И через тысячу лет не скажу.

— Сдаюсь.

— Покажите мне остальную часть дома.

— Можете осмотреть ее в мое отсутствие.

— Это будет не то.

— Верно, не то.

— Тогда после, когда будете готовы.

— Вы настолько богаты, Локи?

— Думаю, да. Но я не собираюсь завлекать вас деньгами. То, чего я хочу от вас, купить не смогу.

Она бросила на него быстрый, немного встревоженный взгляд.

— Не знаю, как вас понимать. Если это комплимент, то такой, каких мне не говорили еще ни разу в жизни.

— Как же еще меня понимать?

— Я благодарна вам за эти слова, но лучше бы я их не слышала. У меня другие планы.

— Забудьте о них.

— Нет. Дайте мне подумать.

— Итак, после первого июля я буду в Ране.

В первую же неделю июля она стала его любовницей. Он посадил ее в моторную лодку и причалил к южному пустынному берегу, хорошо видному с другой стороны озера. Выйдя на сушу, они углубились в лес.

Влажные волосы локонами падали ей на лоб, когда она целовала его уставшее тело. Теперь им были слышны голоса, доносившиеся со стороны коттеджей; некоторые слова звучали совершенно отчетливо. Скрипнула ржавая уключина лодки, проплывшей где-то совсем недалеко от них. Ухнула на карусели, на восточном берегу, духовая музыка. Зазвонил колокол на большом катере, отправлявшемся в очередной ежечасный рейс по озеру. Отдался эхом свисток электрического трамвая в Гиббсвилле.

— Странно, что вначале я не слышала никаких звуков,— сказала она.

— Ты бы оделась. Вдруг забредет сюда кто-нибудь из любителей пикников.

— Почему ты не подумал об этом сразу? — беззлобно спросила она.

— Потому же, почему ты не слышала никаких звуков.

— Хочется искупаться как есть. Вместе с тобой. Сплавать бы до самой насыпи и обратно. А потом полежать опять здесь вдвоем.

— Давай.

— Не смейся, а то я и вправду пойду. О, это было блаженство, Авраам Локвуд! Вообрази, как далеко мы от того берега.

— Четверть мили.

— Нет! Нет! Повернись спиной и представь себе, сколько пришлось бы шагать в обратном направлении.

— Весь земной шар минус четверть мили.

— Точно. Я рада, что наша первая встреча произошла в этом лесу. Как в саду эдема.

— Кстати, о саде эдема; на этой стороне озера водятся змеи, а они похуже любителей пикников.

— Почему же ты об этом не подумал раньше?

— Не мог же я думать о двух вещах сразу.

— Жаль, что здесь нечего больше смотреть. Сколько еще раз мы будем осматривать достопримечательности?

— Видимо, немного.

— Наберем ягод для твоей жены?

— Не надо. Я объясню ей, что мы искали ягоды и наткнулись на змею. Иногда они попадаются под кустами черники. Никогда не ходи по лесу без палки.

— Я не боюсь змей. Даже люблю их.

— Но они-то об этом не знают. И не пытайся их убеждать.

— Тебе не безразлично, что случится со мной?

— Нет.

— Знаешь, что со мной случилось?

— Что?

— Все. Я полюбила тебя.

— И я тебя полюбил.

— Да, и ты — тоже. На свой манер.

— Чем отличается моя любовь от твоей?

— У тебя мужская любовь, а у меня женская. Моя любовь — на всю жизнь. Ни один другой мужчина уже не сможет обладать мной. Клянусь. Тебе вот придется и дальше жить со своей женой, у меня же второго мужчины не будет. Ты и сам не откажешься от своей жены, а я не вынесла бы другого мужчины. Удивительное и неожиданное для меня чувство, но я действительно его испытываю. Оно появилось уже тогда, когда мы сели с тобой в лодку. Я не хотела, чтобы ты говорил, и ты молчал. В те минуты любое твое слово могло бы прозвучать фальшиво, и ты ничего не сказал. Как будто знал, как сильно меня влечет к тебе. Вот я говорю, говорю, а меня нервная дрожь пробирает. На следующей неделе я должна ехать в Филадельфию, и мы можем провести с тобой ночь в моей спальне. Хотел бы?

— Да.

Прежде Аделаиде Локвуд ни разу не приходилось видеть своего мужа прогуливающимся по улице с другой женщиной. Но за те две недели, что они прожили в Ране, он уже дважды уходил куда-то с Мартой Даунс под предлогом показа ей достопримечательностей. Аделаида Локвуд смотрела на жизнь предельно просто: если мужчина гуляет один с женщиной, а женщина гуляет одна с мужчиной и если они по нескольку часов кряду проводят вместе, вдали от людей, то оба они, стало быть, хотят встречаться наедине. Встречаясь же наедине, они, когда позволяет обстановка, предаются любви. Так расценила она и поведение мужа.

— Что там у тебя с миссис Даунс? — спросила она, когда пошла третья неделя их пребывания в Ране.

— Ты знаешь. Ничего у меня с ней нет. Она вдова Гарри, а я показываю ей здешние места.

— Я не верю тебе.

— Как хочешь.

— Немедленно прекрати это.

— Нельзя прекратить то, чего не было.

— Вот и прекрати, если еще не было.

— Она пробудет здесь еще неделю, не больше.

— Тогда нечего ей тут больше показывать. И приезжать нечего было. Здесь не место таким, как она.

— Не болтай глупостей. Джордж и ее сын в следующем году будут жить в одной комнате, а ее муж был моим старым другом и партнером.

— Хорош друг. Украл твои деньги и домой ни разу не пригласил. Чтоб ты больше не встречался с этой женщиной.

— Ты что, забыла, кто здесь распоряжается?

— Я никогда не вмешивалась в твои дела, но теперь приходится. Не хочу, чтобы семья рушилась. Ты был с ней близок, и нечего меня обманывать. Достаточно мне было взглянуть на вас обоих, чтоб догадаться. Да и по другим признакам видно. Не забывай, что я замужем за тобой уже двадцать лет, а женщину, двадцать лет проспавшую в одной постели с мужчиной, нелегко провести.

— Если только в этом дело, то не стоило и шум поднимать. Мы ведь с тобой не молодожены.

— Ах, перестань врать. Я сразу вижу, когда ты врешь. Мне не

приходилось встречаться со многими мужчинами, но двух-то я знаю: тебя и своего отца. Вас я достаточно изучила.

Аделаида Локвуд не поверила словам мужа и не оставила у него на этот счет никаких сомнений, так что ее обвинение, не будучи отвергнутым, осталось в силе. Обе стороны, по существу, признали его справедливость, и это, следовательно, привело к прекращению их супружеских отношений. Все годы, пока они были женаты, они спали на одной кровати, и вот теперь, когда между ними уже несколько ночей не было близости, она решила отделиться и устроила себе постель на веранде.

— Зачем ты это сделала? — спросил он.

— Я не хочу лежать с тобой в одной кровати. После этой женщины.

— Хочешь, чтобы об этом все знали? Прислуга, дети?

— Надо было раньше думать,

— Очень хорошо. Значит, отныне мы спим раздельно.

— А разве я сказала тебе не то же самое?

— Видимо, да.

— Что, если я заведу себе любовника?

— Я разведусь с тобой. Или уже завела?

— Нет, но мне хотелось знать, что ты скажешь.

— Теперь знаешь. Заведешь — подам на развод.

— Ты ведь не всегда бываешь дома, Авраам. Так что подумай.— Она скроила на лице приятную улыбку, не обещавшую, впрочем, ничего приятного.

— И кто будет твоим любовником?

— А все равно кто. Мало ли мужчин.

Он ударил ее по лицу.

— Мало ли мужчин,— повторила она. Он снова ее ударил.— Можешь бить, сколько хочешь, а я все-таки заставила тебя испугаться.— Она прикрыла лицо руками, ожидая новых ударов, но он сдержал себя.

— Я не испугался, а вот ты — побойся,— сказал он.

— Не угрожай, не испугаюсь. Ничего, поволнуешься для разнообразия. Поймешь, что это значит, когда увидишь меня в компании другого мужчины. Поедешь куда-нибудь и будешь сам себя спрашивать: «С кем она там?» Я-то знаю, с кем ты проводишь время, а ты не будешь знать, с кем я. Может, с кем-нибудь из твоих же знакомых, а может, с разносчиком из продуктовой лавки. Пока ты развлекаешься с миссис Даунс, я буду с разносчиком. Скажу, что уехала к отцу в Рихтервилл, а сама — на свидании в темном переулке. И не узнаешь с кем. Вот так, Авраам. Помнишь, что я тебе когда-то сказала? Может быть, я стану вроде твоей младшей сестры.

— Ты знаешь, где она кончила жизнь. В сумасшедшем доме.

— А ты и меня посади туда же. Но нет, не примешь ты на себя еще и этого позора. Ты боишься осрамиться, Авраам, хотя сам же все и начал. Я тебя знаю. Знаю, чего ты хочешь. И знаю твою слабость. Дети. Сыновья. Что ж, осрами меня, получи в суде развод. Но я не дура, Авраам. Тебе сыновья дороже всего, поэтому ты не причинишь мне больше никакого вреда. И не смей драться. Сегодня ты ударил меня в последний раз.

Он кинулся наверх, в их спальню, где у него хранился револьвер; но он забыл, где спрятал ключ от комода, и, пока искал его, импульс к убийству прошел. Для того чтобы найти ключ, ему надо было вспомнить, куда он его положил, вспомнить же можно было, лишь овладев собой. Задыхаясь от ярости и от бега по лестнице, он присел на край кровати и увидел на полу странные тени от своих

дрожащих рук, освещенных слабым светом настенной керосиновой лампы. Из детской доносилось посапывание спящего Пенроуза, у лодочного причала квакали лягушки. В соседнем коттедже засмеялась женщина, и ей в ответ, где-то в дальнем конце озера, тявкнула собака. На какой-то миг Авраам забыл, зачем пришел в спальню; вспомнил лишь тогда, когда осознал, что смотрит на ферротипный портрет отца, снятого вполоборота, чтобы не видно было изуродованного уха. Мозес Локвуд, убивший двух человек. Убил-то он больше, чем двух, но люди припоминали ему лишь тех двух. Теперь Авраам Локвуд вспомнил, где у него ключ, он нарочно убрал его подальше, чтобы ребята не баловались револьвером. Ключ висел за ферротипным портретом отца. Авраам отпер комод, разрядил револьвер и спрятал патроны в другой ящик. Потом запер оба ящика и повесил ключ обратно. Небольшая задержка один раз уберегла его от преступления, более продолжительная — убережет во второй раз. Да, она избежала смерти, отныне жизнь ее будет вне опасности. Но прежними их отношениям уже не бывать, не будет ни взаимных ласк, ни доброго слова, ни приветливых улыбок, ни других знаков внимания. Вот так она и будет жить, и эта жизнь убьет ее, разлюбившую его или лишенную его любви. Она не из тех, кто переносит ненависть, так что пусть мучается, чахнет, пусть умрет и не стоит на пути у Дела.

(Продолжение следует)

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

Истолкование старинной гравюры на дереве, изображающей поэтическое призвание Ганса Сакса

Перевод и вступление ЛЬВА ГИНЗБУРГА

Среди ранних произведений Гёте есть небольшая поэма, названная на манер древних трактатов: «Истолкование старинной гравюры на дереве, изображающей поэтическое призвание Ганса Сакса». Единственный раз на русском языке поэма была напечатана в гётевском собрании сочинений 1932 года в переводе Б. Ярхо, основательно забытом в наши дни: за сорок лет собрание сочинений, вышедшее скромным тиражом, стало библиографической редкостью, а самый перевод, при некоторых неоспоримых достоинствах, слишком уж буквален и отдает филологическим педантизмом.

Между тем поэма Гёте полна жизни, движения и того чувства гармонии, которое Гёте в искусстве ценил превыше всего. Не случайным было и его обращение к Гансу Саксу (1494—1576), чье творчество целиком выросло из немецкого городского фольклора. Сапожник по профессии, этот седой как лунь мейстерзингер из нюрнбергского сапожного цеха отличался редкостным нравственным здоровьем, трезвостью ума, демократизмом и нетерпимостью к порокам. Под гётевским пером образ народного, плебейского поэта, «славного мастера» обрел особое обаяние.

В своей причудливой поэме Гёте более всего оценил то свойство, которое роднит Ганса Сакса с Альбрехтом Дюрером — великим художником Возрождения: здравый смысл, умение видеть мир «во всей его правде и точности, во всей его жизненной сочности».

Примечательно, кстати, что никакой такой гравюры, «изображающей поэтическое призвание Ганса Сакса», в действительности не существовало: Гёте словами воспроизвел творческий почерк гравера — автора «Святого Иеронима» — редкий случай почти полного слияния двух искусств...

Стоит вчитаться в эту поэму еще с одной целью: в нарочито небрежных, как бы неряшливых строках, в очертаниях персонажей, в лирическом и философском подтек-

сте есть нечто, роднящее это раннее произведение создателя «Фауста» с немецким фольклором, с поэзией простонародья, которое по существу и выработало специфический лад исконного немецкого стиха.

У нас в России еще Фет обратил внимание на особенности этого лада, сугубо народного, когда писал, что немецкие стихи, «родившись в собственной народной утробе, несмотря на полировку, приданную им Виландом, Шиллером и Гёте, никогда не могли разорвать связи со средневековым Knittelvers Ганса Сакса...»

Впрочем, «полировка», о которой говорит Фет, была весьма относительной. Knittelvers — немецкий балаганный раек, с его спотыкающимся ритмом и наивными парными рифмами, словно предназначенный для скороговорок ярмарочных балагуров, этот с виду простодушно-дурашливый, а на самом деле рассудительный и кряжистый, плебейский стих оказался музыкально и эмоционально «сродни» стиху в гётевском «Фаусте», а в шиллеровском «Валленштейне» Knittelvers, которым написана вся первая часть трилогии — «Лагерь», вводит читателя в стихию Тридцатилетней войны.

Национальный дух, воплощенный в поэзии, выражается в ритмах так же, как в живописи он выражается в красках. Услышать эти исконные ритмы — таинственную связь между музыкой и смыслом — значит услышать биение народного сердца: такую задачу два десятка лет тому назад поставил передо мной Шиллер, когда на мою долю выпала радость переводить его ранние, еще неизвестные у нас стихотворения («Мужицкая серенада», «Вытрезвление Бахуса») и работать над переводом «Лагеря Валленштейна».

Подобно «Фаусту», «Лагерь Валленштейна» — итог, конечный результат шести- или семивекового развития немецкой поэзии. Им заканчивается «старина» и начинается новая эпоха. Изначально народное отношение к жизни и смерти, к религии, к историческим событиям и персонажам, нравственные народные идеалы, быт и фольклор — все это воспринято и представлено здесь в чистом виде, достоверно, без романтической экзальтации или иронии. Но железная хватка мастерства, изощренность искусства, подчинившего себе «изначальное», высоко поднимают Шиллера над его материалом.

Это доверие к «изначальному», как к первооснове творчества, вполне отчетливо выражено в поэме Гёте, предвосхитившего во многом шиллеровский подход.

Естественно, ближайшими соседями «Валленштейна» оказались поэты времен Тридцатилетней войны, которые «средь множества скорбей» создали великие поэтические свидетельства и великие духовные ценности. Эти свидетельства позволили еще острее понять силу шиллеровского историзма, достоверность его психологических характеристик, а подчас и обнаружить прямое лексическое или интонационное совпадение его трагедии с поэзией той эпохи.

Однако существовал еще какой-то общий поэтический знаменатель, позволявший сопоставить шиллеровские строки со стихами Грифиуса, Опица, Флеминга, Гергардта, Абрагама а Санта Клара или с песнями безымянных ландскнехтов, знаменатель, который сам Шиллер в прологе к своей трагедии определил как соединение поэзии с правдой, выражение жизненной правды средствами искусства — процесс, столь отчетливо показанный Гёте в его «Гансе Саксе».

Этот же знаменатель диковинным образом предстал передо мной в совсем уж далекой поэме «Бедный Генрих» Гартмана фон Ауэ (1195).

Когда-то Гауптман драматизировал эту поэму, снабдив свою пьесу подзаголовком «германское сказание». И действительно: в этой средневековой легенде, с ее крепкой земной основой и тягой к возвышенному, идиллической созерцательностью и драматизмом событий, простодушием и философичностью, поэзия и правда народной жизни поистине шествуют рука об руку. Именно эта поэзия и эта правда заставили Гартмана фон Ауэ, миннезингера, автора рыцарских романов, забыть о канонах рыцарской литературы и в острейшем, хотя и вовсе не назойливом конфликте столкнуть гордого феодала с простой и отважной крестьянской девушкой и показать путь к нравственному очищению. В поэме — реальные жизненные обстоятельства: в конце XII века проказа, лепра, буйствовала в Европе, уносила в могилу миллионы людей, от нее нельзя было укрыться ни в крестьянской хижине, ни за толстыми стенами феодального замка. Поисками спасительных лекарств занимались и самые просвещенные медики Монпелье и Салерно, и рыночные шарлатаны. Но в поэме Генрих чудесно исцеляется не только от проказы, а от еще более страшной болезни: от самомнения, преступного себялюбия, от паралича души.

Конечно, Гартман фон Ауэ использовал в своей поэме фольклорные мотивы, народные предания Швабии, однако, работая над переводом «Бедного Генриха», я становился свидетелем силы авторской личности и авторской воли, смело вторгающейся в фольклор. Автор нигде не растворяется в сюжете, возвышается над персонажами, с помощью отступлений (иногда помечаемых скобками) комментирует их поступки, выходит за рамки сюжета как на просцениум, чтобы начать прямой разговор с читателем, то есть прибегает к приему, который в наши дни принято называть «разрушением театральной иллюзии». Впрочем, и разнообразие ритмических ходов, и необычайная для того времени изысканность рифмы заставляют подумать о том, что поэтические новшества двадцатого века родились не на пустом месте, не с неба упали, а имеют свою давнюю историю и предысторию.

Так или иначе, у Гартмана фон Ауэ были свои основания надеяться на «им заслуженный почет» и просить,

чтоб вы, кто труд его прочтет,
воскликнули бы с жаром:
сей Гартман жил недаром!
Недаром жил, писал не зря,
и пусть небесного царя
с ним будет милосердье
за все его усердье...

Работа над «Бедным Генрихом», как и над предшествовавшей книгой переводов «Лирика вагантов», вновь убеждала в том, насколько неточны и превратны расхожие представления о средневековой литературе как о литературе мертвой, схоластической, целиком подчиненной церковным догмам. Напротив, средневековая поэзия в лучших своих образцах внушает утешительную мысль о непрерывности поступательного развития человеческого духа, который невозможно сжечь на кострах инквизиций...

Я рассуждаю сейчас о старине, а между тем речь идет не столько о старине, сколько о молодости человечества и его культуры. Есть старинная поэзия, есть и поэзия старины. Не оттого ли так привлекают нас улочки старинных европейских городов, старинные книги, картины, рукописи, старинные предания и напевы, что, приобщаясь к ним, мы приобщаемся к молодости европейской культуры, осознаем свою причастность к «священным камням Европы»?..

Известно, что к старине можно отнестись по-всякому. Немецкие националисты и расисты возводили национальную старину в культ, пытаясь соорудить с ее помощью некую духовную запруду. «Исконное», «истинно немецкое», «почва» объявлялись высшим этическим и эстетическим критерием, надменно и зловеще возвеличивалось «арийское начало», якобы заложенное в немецком фольклоре.

Стоит, однако, обратиться к первоисточнику, к немецким народным песням и балладам, чтобы увидеть, насколько народное творчество чуждо какой-либо национальной спеси, как высоки в нем чувства добра, социальной справедливости, братства между людьми. Недаром Гейне однажды сказал: «Тому, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, я советую прочитать их народные песни...»

Около ста лет тому назад в России вышла знаменитая антология Гербеля, которая включала в себя образцы немецкой поэзии с 1200 по 1877 год. Это была первая попытка представить русскому читателю поэзию немцев в столь полном объеме, собрав воедино наиболее удачные переводы, выполненные поколениями русских поэтов. Среди переводчиков книги читатель находил имена Крылова, Жуковского, Лермонтова, Тютчева, А. К. Толстого, Фета, Михайлова, Тургенева, Случевского, Аполлона Григорьева, Полонского — перечень достаточно красноречивый, как бы сам по себе подтверждающий верность пушкинского замечания, что русская поэзия «более и более дружится с поэзиею германскою».

«Сумрачный германский гений», столь внятный Блоку, отразился едва ли не в лучших творениях русской переводческой школы (включая переводы самого Блока), от Жуковского до Пастернака, чье исполнение «Фауста», может быть, с наибольшей силой проявило это причудливое родство муз.

В классической немецкой поэзии русских привлекла возвышенная духовность, обостренный интерес к человеческой личности, страстность философской мысли, богатство фантазии, крепость и мелодичность стиха.

...Всякий раз, когда приходится бывать в старинных немецких городах, так и тянет зайти в университетские библиотеки, по деревянным, скрипучим лестницам спуститься в лавки букинистов, где таятся сокровища. От этих порыжевших от времени книг исходит высокий дух гуманности, добра, мудрости.

А как сложилась песня, из чего состоит ее материя, пусть расскажет Гёте в своей поэме, новый перевод которой я решаюсь вынести на суд нашего читателя.

Офорты из альбомов Альбрехта Дюрера.

Воскресным утром в своей мастерской
Наш славный мастер вкушает покой.
Он грязный фартук бросил под стол,
Надел свой праздничный, чистый камзол.
И пусть почивают гвозди, клещи,
Дратва, шило и прочие вещи.
Пусть в день седьмый отдыхает рука
От иглы сапожной и молотка.

Но весеннее солнце как припечет —
И досуг его к новой работе влечет.
Чувствует мастер: в назначенный срок
В мозгу его вызрел некий мирок,
Дышит, живет, спешит отделиться,
От своего создателя удалиться.

Умен и зорок взгляд у него,
Притом он — добрейшее существо.
Ясным взором весь мир обнимет
И целый мир в себя он примет.
А речь-то, речь у него какова!
Легко, вольготно льются слова.
Музы его на пир приглашают:
Мейстерзингером провозглашают!..

Вот женщина молодая идет:
Пышные груди, округлый живот...
Да, на ногах стоит она твердо!
Держится царственно. Шествует гордо.
Не станет вилять ни хвостом, ни задом,
Вправо-влево рыскать взглядом.
В руке у ней циркуль, и обвита
Лента златая вокруг живота.
Венок из колосьев на лоб надет.
В очах — дневной, ослепительный свет...
Она обладает завидной известностью,
Зовясь Прямодушием, Достоинством, Честностью...

Она говорит: «В суматохе повальной
Ты, мастер, нрав сохранил похвальный,
Поскольку твоя голова ясна,
Поступки достойны, душа честна.
Мается дурью людское стадо,
А ты все поймешь, смекнешь с полувзгляда.
Люди хнычут, прибиты унынье сплошным,
А ты им представишь сей мир смешным.
Так, утверждая Закон и Право,
В суть вещей ты вникнешь здраво:
Прославишь набожность и честь,
Зло покажешь, каким оно есть.
Порок не прикрасишь и не пригладишь,
Издевкой Красоту не изгадишь,
А будешь видеть естество,
Как Альбрехт Дюрер видел его:
Во всей его правде и точности,
Во всей его жизненной сочности.
И поведет тебя гений природы

Сквозь страны, времена и народы,
И тебе откроется жизнь сама:
Ее диковинная кутерьма,
Людская возня, суета, мельтешенье,
Беготня, и гонка, и копошенье,
Так что род человечий порой
Ты примешь за муравьиный рой,
Однако на весь этот пестрый поток
Ты будешь смотреть, как смотрят в раек,
А потом все, что видел, людям изложишь
И, возможно, им взяться за ум поможешь...»
Она распахивает окно:
Всяческих тварей за ним полно!
Различны их виды, сорта и оттенки,
Как в ином его стихотворении или в сценке.

Мастер блаженствует у окна.
Развеселила его весна.
Меж тем, кряхтя, сопя, приседая,
В мастерскую старуха вошла преседая.
Сказать вам, кто это была? —
История, Мифология, Фабула!
Скрючена, сморщена, а на спину
Она взвалила себе картину —
Доску с диковинною резьбой,
Которую тащит она с собой.
Там господь в торжественном облаченье
Проповедует людям свое ученье,
И, конечно, Ева там и Адам
И Содом и Гоморра тоже там,
И образ двенадцати светлых жен
В зерцале чести отражен.
Там же — блуд, и разбой, и бесчинство черни,
И двенадцать тиранов, погрязших в скверне,
Справедливо наказанных божьей грозой...
И, конечно, там Петр со своею козой,
Недовольный вначале мироустройством,
Но затем совладавший с душевным расстройством.
И у старушки расписан подол:
Здесь случаи всяческих бед и зол,
А также примеры правды и света...

Наш мастер с улыбкой смотрит на это.
Он, можно сказать, бесконечно рад:
В хозяйстве подобные вещи — клад.
Все эти случаи и примеры,
Своей придерживаясь манеры,
Искуснейше он перескажет нам,
Как если б он все это видел сам...
Картинами редкостными влеком,
Мастер отдался им целиком,
Но вдруг над собою слышит он
Треск погремушки, бубенчиков звон.

Ага! Это Шут ему бьет челом:
Мартышкой вертится, блеет козлом,
А языком-то как бойко чешет!

Знать, байкой смешною его потешит.
Явился он чрезвычайно кстати,
Ведя за собой на длиннющем канате
Наиразличнейших дураков:
Дураков молодых, дураков стариков,
Дураков бедняков, дураков богатых,
Прямых и кривых, худых и пузатых,
Дураков грамотеев, дураков невежд,
Безнадежных, но полных дурацких надежд.
Размахивая бычачьим хвостом,
Шут погоняет их, как хлыстом.
А ну, пускай попарятся в бане!
Может, освободятся от дряни!
Являет Шут чудеса умения,
А число дураков растет тем не менее...

Наш мастер следить поспевает едва,
Кру́гом пошла у него голова:
Как обо всем этом рассказать?
Как это все воедино связать?
Да и слова подобрать какие,
Чтобы дела описать людские?
И где найти над собою власть,
Чтобы при этом в унынье не впасть
И не утратить душевного пыла?
Вдруг облачко к окошку подплыло,
И в комнату прямо с него сошла
Красавица Муза, чиста и светла,—
Лучезарностью правды его озаряет,
Силой действенной ясности одаряет.
Она говорит: «Я пришла сюда —
Благословляю тебя навсегда!
Пусть священный огонь, что в тебе таится,
Светлым, жарким, высоким костром разгорится,
Но чтоб жизнь тебя вперед несла,
Я бальзам для души твоей припасла:
Да упьется она красою,
Словно почка весенней росою!..»

И вот, обернувшись назад,
Он видит дверцу, ведущую в сад,
И там, за невысоким забором,
Видит Девушку с томным, поникшим взором,
Под яблонькой, перед ручейком,
Она сидит, воздыхает тайком
И преискусно плетет веночек
Из алых роз — к цветку цветочек,
Ах, кто обладателем станет венка?
Она и сама не знает пока.
Но что-то ждет ее впереди,
И оттого томленье в груди,
И мыслей смятенье, и взор этот влажный,
И вздох, печальный и протяжный.

Дитя мое, радость моя, поверь,
Все, что тревожит тебя теперь,
Превратится в усладу и в благодать —

Надо только милого подождать.
Ты увидишь: единственный твой придет
И забвенье в объятьях твоих найдет,
И будет взором твоим исцелен
Тот, кто был судьбой, как огнем, опален,
Пусть его лихорадит, пускай трясет —
Его лишь твой поцелуй спасет.
И от всех напастей освобожден,
К жизни будет любовью он возрожден.
Твое лукавство и плутовство
Не лекарство разве, не волшебство?..
И любовь остается навек молода,
И поэт не состарится никогда!..

Так наш мастер сладчайшее чудо зрит,
В этот миг над главою его парит
Дубовый венок среди облаков —
Награда певцу от грядущих веков.

И пусть к дьяволу тот попадет в кабалу,
Кто не воздаст ему честь и хвалу!

Критика

А. МУЛЯРЧИК

ПО РЕЦЕПТАМ ЛИТЕРАТУРНОГО СУРРОГАТА

(Современная «массовая беллетристика» в США)

«Массовая беллетристика», антилитература, чтиво... В русском языке не существует, по-видимому, термина, с должной точностью заключающего в своих границах тот огромный пласт печатной продукции, что существует параллельно с «большой литературой», имитирует ее, в чем-то оказывает на нее воздействие и видоизменяется в соответствии с общими закономерностями развития современной буржуазной культуры. Без этого обширного и пестрого вороха эрзац-товаров, рассчитанных на массовое потребление, ныне уже невозможно получить должное представление об идеологических процессах в странах Запада, и в первую очередь — в Соединенных Штатах Америки.

Коммерциализация — давняя и злокозненная болезнь американской культуры, не щадившая в XX веке даже самых видных ее представителей. Можно было бы привести немало примеров того, как почти гарантированный успех книг, написанных по нехитрым канонам литературной однодневки, толкал писателей США первой половины столетия на отступление от высоких принципов своего искусства. Новым фактором, изменившим с конца 50-х годов всю «литературную ситуацию» в стране, стал комплекс явлений, обозначаемых обычно словосочетанием «массовая культура», и связанная с этим «революция в книготорговле».

По данным статистики, оборот американских издательских фирм только за 1961—1966 гг. вырос вдвое, общий же тираж произведений художественной литературы к началу 70-х годов превысил 400 миллионов экземпляров, а число новинок (исключая переиздания) приблизилось к 10 тысячам. Из «страны, не читающей книг» (как говорили еще 30—40 лет назад), США превратились в крупнейшее в западном мире созвездие «галактики Гутенберга».

Но суммарные цифры всегда ненадежны, когда речь идет о капиталистическом «прогрессе», и еще в XVIII веке Вольтер сетовал на «изобилие, делающее нас невеждами». Несмотря на развитие полиграфии и миллионы учащихся в университетах и колледжах, глубокая, подлинно гуманистическая культура не стала характерной особенностью американской жизни. Более того, последние 10—15 лет показали, что наряду с расширением потенциального круга читателей растет разрыв между «серьезной» литературой и наступающим на нее многоликим безбрежным чтивом, снабженным лишь самыми общими внешними приметами художественного произведения.

Разумеется, отнюдь не «массовость» потребления сама по себе, а вполне целенаправленные, рассчитанные действия буржуазных идеологов по формированию общественного сознания создают угрозу духовным ценностям американского народа. Зачисление той или иной книги в разряд бестселлеров далеко еще не свидетельствует о дурном вкусе ее автора или покупателей. В 60-е

годы многие из действительно даровитых и «проблемных» писателей США становились на какое-то время идолами читательских масс. «Еще совсем недавно,— писал критик Н. Подгорец,— книга, ставшая бестселлером, а также имевшие успех пьесы или фильмы автоматически порождали подозрение в том, что их авторы лишены подлинного таланта, но зато очень ловко умеют подделываться под вкусы аудитории». За последнее же десятилетие не просто мимолетной злобой дня, но «книгами года» становились произведения С. Беллоу, У. Стайрона, Дж. Сэлинджера, Дж. Апдайка, К. А. Портер и других прозаиков. Нередко, разумеется, успех той или иной книги объяснялся и второстепенными обстоятельствами: подчеркнутой сексуальностью (как, например, у Апдайка), а то и снобизмом, следованием моде (трудно, скажем, поверить в то, что роман Дж. Барта «Козлоюноша Джаилс», окрещенный критикой «литературным лабиринтом», действительно читался десятками тысяч людей, приобретавших его в осенние месяцы 1965 года). Однако соответствие высокой оценки книги у демократической критики, исходящей как из идеологических, так и из эстетических критериев, ее коммерческому успеху на протяжении 60-х годов становилось постепенно скорее правилом, чем исключением. В то же время обратной силы эта тенденция не имела. Как и прежде, большинство бестселлеров составляют «боевики», рассчитанные на самую невзыскательную публику. «Наши книжные лавки забиты антикнигами, написанными практически ни о чем несуществующими авторами и предназначенными для людей, которые даже не заслуживают наименования читателей!» — этот рассерженный возглас, прозвучавший со страниц «Сатердей ревью», столь же справедлив, как и признание того, что 60-е годы обогатили литературу США многими значительными произведениями.

Теоретиками и практиками «массовой беллетристики» за минувшие годы разработано немало различных приемов, а точнее приманок, для того чтобы привлечь и удержать внимание нетребовательного либо слишком наивного американского читателя. Занимательность, доведенная до навязчивой сенсационности, псевдопроблемность и проповедь конформизма, подменяющие собой актуальность темы, наличие какой-нибудь обязательной «изюминки», чаще всего оборачивающейся в последние годы «клубничкой»,— таковы важнейшие признаки «антилитературы», этого колоритного пустоцвета, снабженного в соответствии с законами мимикрии многими внешними приметами настоящего, полнокровного искусства.

«Чтобы стать бестселлером, книга должна имитировать образцы классической прозы, быть реалистичной и избегать всякой «литературщины», то есть искусственности и заданности»,— так рассуждает вслух Дэвид Славит, он же Генри Саттон, автор романа «Эксгибиционист» (1967), где, быть может, в наиболее чистом виде продемонстрированы возможности так называемого «сенсационного реализма», к услугам которого наиболее охотно и часто прибегают в последние годы сочинители популярного чтива. Эта ветвь «массовой беллетристики» все исправнее выполняет функции, возлагавшиеся прежде на литературу подчеркнуто реакционного, охранительного склада. Внешний рисунок «классической» (в понимании, конечно, только Г. Саттона) прозы бытописателей средней руки — Г. Вука, С. Уилсона, П. Дефриса — действительно сохранен в «боевиках» конца 60-х годов, если не сделать, разумеется, поправки на почти полную обескровленность языка «подражателей» и крайнюю схематизацию психологических мотивировок. И уж полностью совпадают зато исходные идеологические установки Г. Вука, автора «Марджори Морнингстар», этого «бестселлера № 1» середины 50-х годов, и Ж. Сьюзен, романы которой «Долина кукол» (1966) и «Машина любви» (1969) преисполнены легкокрылого оптимизма как наиболее «американской» из всех философий XX века.

Хроника послевоенного двадцатилетия, поданная сквозь призму быта и нравов «звезд» кино и телевидения, актеров варьете, бурлеска, ночных клубов и появившихся лишь недавно секс-шоу,— таково содержание окрещенных «наркотиками от беллетристики» произведений Сьюзен, Саттона, Г. Роббинса, Г. Дейвис и им подобных. Построенные по единому плану, они поражают однотипностью сюжетных ситуаций, трафаретностью персонажей. Приключения крошки Дженнифер и ее подруг в кабинетах дельцов и на открытом воздухе загородных вилл («Долина кукол») вновь скопированы в рассказе о голливудской карьере Мерри Хаузман («Эксгибиционист»); «Притворщики» Дейвис (1968) и «Наследники» Роббинса (1969) — это точно куски одной гигантской анонимной саги, повествование в которой можно практически начать и кончить в любом месте. В новом романе Г. Саттона «Любитель подглядывать» (1969) рассказывается история основателя журнала «Плейбой» Хью Хефнера, вот уже много лет прокламирующего «философию массового гедонизма», предвосхитившую типичный для конца 60-х годов лозунг «вседозволенности».

Впрочем, сами творцы современного варианта «романа для горничных» не считают нужным скрывать своих подлинных намерений и творческих возможностей. «Все мы забавляем публику, отвлекаем ее от более прозаических и мрачных обстоятельств»,— так характеризует Саттон деятельность тех, кого без краски смущения он именует «бригадой навозных жуков от литературы». И тут же делает, быть мо-

---

А. МУЛЯРЧИК
ПО РЕЦЕПТАМ ЛИТЕРАТУРНОГО СУРРОГАТА

жет, наиболее красноречивое признание «литературного эксгибициониста», как бы подводящее черту под всеми возможными рассуждениями о генезисе современного американского бульварного романа и его объективной общественной значимости: «Я взялся за это дело ради денег, но ведь это вполне обычная вещь в нашем мире, построенном на свободной инициативе и питаемом стремлением к получению дохода. Для чего же мы тогда сражаемся во Вьетнаме, как не для того, чтобы защитить право каждого американца вести себя именно в соответствии с этими принципами».

Выдвинувшийся к концу 60-х годов на авансцену «поп-беллетристики» авантюрно-сенсационный роман Саттона и Сьюзен несколько потеснил, но, разумеется, не свел на нет другие разновидности «развлекательного чтения», имеющего глубокие корни в литературе США. Напомним, что в начале этого века кумиром сотен тысяч читателей, и особенно читательниц, был вовсе не Джек Лондон и не Драйзер, а Марион Кроуфорд, автор своего рода романтических репортажей изо всех уголков света. И в 20-е годы, годы славы Хемингуэя, Фицджеральда, Ш. Андерсона, Т. Уайльдера, с ними успешно соперничали Вудхаузы и Вудворты, Кервуды и Берроузы.

И ныне одним из наиболее устойчивых видов «каминного» или (в зависимости от времени года) «гамачного» чтения американцев остается традиционный исторический роман более или менее условного, «костюмного» свойства. Нафаршированные слащавой романтикой и «великими тенями» минувшего, легко находили путь к сердцу читателя повествования о предзакатных днях Испанской империи при Филиппе IV («Я, король», Ф. Кейз, 1966), об Англии времен короля Артура и волшебника Мерлина («Хрустальная пещера», М. Стюарт, 1970), о средневековой Венеции («Стеклодувы», Д. Дюмурье, 1963). Овеянная поэтической дымкой викторианская Англия, «старая милая родина», вставала из романов Дж. Фаулса «Женщина французского лейтенанта» (1969) и Р. Ф. Делдерфилда «Бог был англичанином» (1970), а о «доблестной эпохе» освоения Дальнего Запада и битв с индейцами можно прочитать в снабженной всеми приметами идеологии «подлинного американизма» «детской книжке» Ч. Портиса «Истинная выдержка» (1968). Наиболее «солидный» псевдоисторический роман в США тяготел, как и прежде, к древним и величественным цивилизациям. От первых послевоенных книг Л. Дугласа до недавнего опуса крайне плодовитой Т. Колдуэлл «Великий лев господа» (1970) библейская тема неизменно влекла к себе американцев. «Юлиан» Г. Видаля (1964) и «Источник» Дж. Миченера (1965) — вот одни из самых ходких книг десятилетия, успешно споривших за первенство в списке бестселлеров и с «серьезной» прозой, и с грошовыми, но притягательными боевиками.

Экзотика дальних стран и сумрачных эпох — родная стихия Миченера. В «Гавайях» (1959) по примеру Дж. Лондона он слагал свой собственный вариант «сказок южных морей», в «Караванах» (1963) открывал американцам неведомую для многих из них страну — Афганистан, опоясанный хребтом Гиндукуш, а в «Иберии» (1968) в стиле классических «записок путешественника» делился впечатлениями от современной Испании.

«Информативность» и компетентность — качества, обеспечившие признание у широкого читателя книг иллюстративно-исторического жанра, несмотря на довольно скромное художественное дарование их авторов. Стремление к точному знанию в сочетании с аппетитом на сенсацию стимулировало и авторов романов-биографий во главе с таким признанным «классиком жанра», как И. Стоун. Незаурядным мастерством отмечены его жизнеописание Микеланджело «Муки и радости» (1961) и роман об одном из первых президентов США Джоне Адамсе — «Те, кто любят» (1965). Однако в последней по времени книге Стоуна «Метания духа» (1971), посвященной З. Фрейду, особенно отчетливо сказался порок многих биографических сочинений: частные бытовые детали заслоняют человека, его деятельность и характер его отношения к истории.

Но познавательность и даже известная «проблемность» отдельных образцов «беллетристики для масс», как правило, мгновенно становились ширмой для недобросовестных литературных дельцов, в реакционных целях эксплуатировавших законный интерес читателя ко всему красочному, занимательному, «таинственному». В новейших вариациях готического «романа ужасов», представленного «Ребенком Розмари» А. Левина (1967), «Домом на Стрэнде» Д. Дюмурье (1969) и «Имуществом Джоэль Делани» Р. Стюарт (1970), чувствуется стремление поразить, шокировать воображение читателя леденящими кровь деталями, заключенными (как и в примере с книжкой Левина) в самую что ни на есть правдоподобно-бытовую обстановку сегодняшней Америки. Вполне могут выдержать конкуренцию с «Титом Андроником» Шекспира по количеству трупов и обилию пролитой крови такие «вершины» поп-литературы минувших двух-трех лет, как «сага об американской мафии» «Крестный отец» М. Пьюзо (1969), «Шайка, которая стреляла не сразу» Дж. Бреслина (1969) и первый прозаический опыт известного поэта Дж. Дикки «Избавление» (1970). «Перебирать большую часть современных романов — все равно что рыться в мусорном ящике: почти все, что попадается под руку, либо обветшало, либо дало трещину, либо потеряло всякую привлекательность... все это — поставленная на поток банальность, рассчитанная на мгновенное потребление и выбрасываемая за ненадобностью»,— так справедливо, хотя и резко, писал известный романист И. Коннел, как бы

подводя итог «параду» самых громких сенсаций в завершившемся десятилетии.

Активизация общественной жизни страны в 60-е годы сопровождалась значительным увеличением числа произведений, тяготеющих к жанру так называемой «политической прозы», выражающей подчас в наиболее откровенной форме идеи и взгляды крайних империалистических кругов США. Если до 1960 года книги на внутри- или внешнеполитические темы (подобные, например, «Некрасивому американцу» У. Ледерера и Ю. Бердика, 1958) сравнительно редко встречались в списках бестселлеров, то впоследствии обострение идеологической борьбы поставило на повестку дня американской реакции необходимость едва ли не конвейерного производства пропагандистских шлягеров типа «Кремлевского письма» Н. Бена (1966), «Зеленых беретов» Ч. Мура (1965) или «Случая в Северной Пальмире» Г. Солсбери (1962). Правда, некоторым «политическим романам», например, «Триумфу» Дж. К. Гэлбрейта (1968) или «Сенатору» Д. Пирсона (1968), нельзя отказать не только в правдоподобии, но и в резкой критике коррупции и конкретных политических акций административно-законодательной верхушки Соединенных Штатов. «Пирсон выкопал гораздо больше отвратительных фактов, чем любой «разгребатель грязи»,— вынужден был признать рецензент «Тайма», не преминув, однако, отметить, что книги ныне уже покойного вашингтонского обозревателя «скорее документ, чем беллетристика», и стиль их «весьма безжизнен». Однако подавляющее большинство авторов «политической прозы» составляют убежденные пропагандисты «американского образа жизни» и внешнеполитической доктрины США.

Самый знаменитый из них, А. Друри, сравнительно недавно завершил работу над тетралогией, состоящей из романов «По совету и с согласия» (1959), «Оттенки различия» (1962), «Чести достойный» (1966) и «Сохранять и защищать» (1968), каждый из которых неизменно расходился в сотнях тысяч экземпляров. Популярности гигантских по объему книг Друри содействовала прежде всего их буквально сиюминутная актуальность. Так, в навеянном страхом перед советским Спутником первом романе серии действие завершалось высадкой советских космонавтов на Луне, в связи с чем якобы возникла смертельная угроза для Америки. В книгах, написанных позже, в центре повествования — проблемы, специфические для минувшего десятилетия, в том числе становление молодых африканских государств и обострение расовой проблемы внутри самих Соединенных Штатов.

Убежденный сторонник официального «истеблишмента», Друри тем не менее щедрой рукой сыплет соль на язвы «больного общества», как все чаще именовали США в 60-е годы. Сюжет «Оттенков различия», например, связан с требованием ООН расследовать случаи расовой дискриминации в Америке. Опираясь на свое доскональное знание политической кухни конгресса и Белого дома, Друри на сотнях страниц детально расписывает подробности дебатов, интриг, махинаций вокруг столь щекотливых для «национального достоинства» осложнений. Но вот уступка мировому общественному мнению сделана: по предложению негра-конгрессмена Гамильтона принято решение ускорить десегрегацию.

Не менее фантастическая ситуация лежит в основе романа И. Уоллеса «Человек» (1964) — благодаря стечению обстоятельств президентом США становится негр, конгрессмен Дуглас Дилмон. Рисуя борьбу Дилмона с готовящимся предать его суду сенатом, Уоллес пытается даже набросать «психологический портрет» темнокожего президента. Положение Дилмона тем более затруднительно, что среди его противников не только белые расисты, но и националистическая группа «черных мусульман», а кроме того — почти обязательный в книгах подобного сорта «русский премьер», злоумышляющий против Америки.

Разумеется, «произведения» Уоллеса и Друри недостойны внимания художественной критики. «Я хватаю карандаш и бумагу и лихорадочно записываю всю ночь напролет, что только ни придет мне в голову»,— вот «метод» работы И. Уоллеса над своими политическими романами-мастодонтами, последний из которых, «Заговор», вышел в свет весной 1967 года. Недавняя же книга Друри «Трон Сатурна» (1971) выдержана в новом для него жанре «космическо-политической эпопеи». Тенденциозно освещая соперничество мировых держав в области исследования космоса, завершающееся первой американской экспедицией на Марс, это произведение служит ярким примером того, как «массовая беллетристика», по справедливому замечанию В. Щербины, «усиленно эксплуатирует всеобщий интерес читателей к космической теме, всячески извращая ее научный и социальный смысл».

Накаленная политическая атмосфера 60-х годов вызвала к жизни и немалое число так называемых «атомных утопий», авторы которых, случалось, резко выступали против угрозы всеобщему миру, исходящей со стороны военно-промышленного комплекса США. Генералы-заговорщики в известном нашему читателю романе Ф. Нибела и Ч. Бейли «Семь дней в мае» (1963), снедаемый «комплексом Герострата» начальник базы ядерных ВВС в книге Ю. Бердика и Х. Уилера «У последней черты» (1962), обезумевший президент из романа Ф. Нибела и Д. Флетчера «Ночь в Кэмп-Дэвиде» (1965) — перечень подобного рода персонажей американской литературы и кино (все эти произведения были экрани-

---

А. МУЛЯРЧИК

ПО РЕЦЕПТАМ ЛИТЕРАТУРНОГО СУРРОГАТА

зированы) можно было бы и продолжить. Однако полной официальной поддержкой в США пользуются книги совершенно иного, открыто пропагандистского звучания, в сознательно искаженном свете рисующие основные политические события и тенденции идеологической борьбы нашего времени.

После израильской агрессии летом 1967 года реакционный «политический роман» стал разносчиком идей сионизма и расовой исключительности. Книгу за книгой публикует С. Гейнем («Ночь опускается на город», 1967; «Место в стране», 1969; «Частная жизнь», 1971); одним из бестселлеров 1970 года становится переведенный с французского роман Э. Визеля «Нищий в Иерусалиме»; к проблеме консолидации «всемирного еврейства» обращается в «Зальцбургских встречах» (1968) и такой монополист в сфере «шпионского романа», как Х. Макиннес. В этом же ряду находится и творчество Л. Юриса — образец реакционной литературы, активно и целенаправленно противостоящей силам социализма и прогресса.

Л. Юрис — один из тех американских писателей, книги которых «обречены на успех» еще до того, как они написаны. Вместе с Роббинсом, Сьюзен, Макиннес и Уоллесом он претендует на титул «короля желтой беллетристики», и его романы служат, быть может, наиболее наглядным примером той эрзац-литературы, что стала в последние годы единственным видом чтения для очень многих читателей стран Запада. Конечно, у Юриса и ему подобных не найти ни полноценных художественных образов, ни психологической разработки конфликта, ни заботы о языке и стиле произведения. Цель номер один — идеологическая обработка умов, и достигается это с помощью единственного «рабочего» средства — напряженного сюжета, который вследствие спекуляции на актуальности темы едва ли не автоматически гарантирует кассовый успех любой, пусть самой ремесленной ее разработке.

И профессионалы «массовой беллетристики» умеют находить темы для своих произведений, им хорошо известен нехитрый механизм, управляющий первичными движениями человеческой психики. Неведомое всегда привлекает, и обыватель тянется к «высокой» политике, от которой, как он чувствует, во второй половине XX века зависит в немалой степени и его личное благополучие. Так возникает интерес к книгам Юриса — «Исходу» (1958), повествующему о первой палестинской войне, «Армагеддону» (1964), роману о «фронтовом городе» Западном Берлине, «Топазу» (1967), навеянному событиями «кубинского кризиса». В романе «КБ-7», пользовавшемся в США наибольшей популярностью в сезоне 1970—1971 гг., Юрис отвергает «локальность» как композиционный принцип своих прежних произведений. Действие книги как бы рассеяно во времени и пространстве: тут и Англия первых послевоенных лет, и джунгли Саравака, словно бы извлеченные из каменного века, и Восточная Европа, и Соединенные Штаты середины 60-х годов. Но все нити повествования стянуты к единому центру — обозначенному индексом КБ-7 помещению в лондонском суде, где в весенние месяцы 1967 года слушается, казалось бы, заурядное дело о клевете, скрывающее в себе, однако, тугой узел противоречий международной политики середины XX века.

Кто он, Адам Кельно? Всемирно известный гуманист, отдавший четырнадцать лет жизни улучшению доли туземцев Северного Борнео и отмеченный наградами британской короны, или же преступник-коллаборационист, ближайший подручный эсэсовца Адольфа Фосса, в котором нетрудно распознать скрывающегося и по сей день от правосудия врача-убийцу Й. Менгеле? Процесс по обвинению в клевете, возбужденный сэром Кельно против американского литератора Эйба Кэди, превращается в продолжение «нюрнбергских процессов» — в расследование действий нацистских вивисекторов, ставивших «научные» эксперименты на живых людях, заключенных бесчисленных лагерей смерти. И неожиданно истец превращается в ответчика: леденящими кровь показаниями свидетелей, неопровержимыми документами вина Кельно доказана. Этот патриот «Великой Польши», один из активистов националистического подполья, сохранившего верность лондонскому эмигрантскому правительству, был тем самым извергом в белом халате, что проводил операции по стерилизации и оскоплению на десятках узников концлагеря Ядвига (имеется в виду Освенцим).

Но антифашистский пафос непреложных фактов истории нужен Л. Юрису лишь для подкрепления его антикоммунистических спекуляций, для того, чтобы подвести базу под клевету на Советский Союз и другие социалистические государства.

Эйб Кэди (нет никаких сомнений в автобиографичности этого образа), добившись разоблачения Кельно, весьма откровенно рассуждает о том, как израильские войска «вышибли дух из кого следует». Речь идет здесь об израильско-арабском конфликте 1947—1949 гг., но конец романа Юриса символически приурочен к событиям «шестидневной войны» в июне 1967 года.

От преобладания нарочито абстрагированных «атомных утопий», тяготеющих, вообще говоря, к жанру научной фантастики, до прямой памфлетности и политической заостренности в духе откровенного антикоммунизма — такова основа эволюции «политического романа» в США в течение минувшего десятилетия.

■

Историческая дистанция — условие, совершенно необходимое для всякой претендующей на объективность оценки процессов и явлений, но уже сейчас 60-е годы представляются одной из самых ярких и, быть может, переломных эпох в контексте всей американской истории XX века. Небывалый размах освободительного движе-

ния, «бунт молодежи», рост забастовочной борьбы, бурные политические кампании — таков «передний план» широкой панорамы, зафиксировавшей также и серьезные изменения в моральном климате страны, углубление и нередко драматизацию кризисных симптомов, подчиняющих себе все более обширные сферы «американского духа».

«Никогда еще в истории Америки Zeitgeist не был столь благоприятен для гедонизма во всех его формах,— констатировал не так давно респектабельный ежемесячник «Харперс».— «Шокирующие шестидесятые» предоставили человеку широкий выбор. Кури, пей, вкалывай наркотик, обладай, барахтайся в грязной луже, делай все что угодно, а главное — не размышляй, нравственно это или нет, и не задумывайся над сутью объекта твоей страсти,— таковы основные заветы уходящего десятилетия». «Заголимся и обнажимся» — этот лозунг действительно с каждым годом все больше входил в плоть и кровь буржуазной культуры. «Секс пронизывает каждую частицу нашего мира, подчиняет себе рекламу, моды, драматургию, романы, поэзию,— писал в «Сатердей ревью» публицист Дж. Г. Пламб.— Никогда еще живопись и литература не были столь откровенными. Пары совокупляются на полотне художника, гомосексуалисты делают пассы на залитой огнями рампы сцене, лесбиянки удовлетворяют друг друга на протяжении 400 страниц печатного текста. Садизмом теперь уже никого не удивишь, а о сексуальном фетишизме говорят не моргнув глазом. Порнография в кино и в литературе измеряется уже на мили и тонны. Все знают, что мы находимся в центре сексуальной революции. Об этом нам снова и снова напоминают психологи, социологи, работники просвещения, ученые и доктора. Большинство приветствуют этот факт, некоторые протестуют, но даже церковники, бывшие гонителями «плотского греха», ныне смягчились и преисполнены сочувствия к заблуждающимся. И не только взрослые наслаждаются новой свободой. Невежество, как известно, тьма, и сексуальный инструктаж начинается уже в колыбели».

Этот красочный пассаж, несмотря на его шутливую местами интонацию,— одно из многочисленных высказываний американской печати на весьма серьезную тему. «Вторая сексуальная революция» (первый ее всплеск датируют концом 10-х — 20-ми годами) привела в движение не только моралистов и социальных критиков, но и целые отрасли промышленности; в свою очередь, ее возникновению и распространению в огромной степени содействовала обращенная к «человеку с улицы» книжная продукция фривольного, а чаще всего — откровенно порнографического толка.

В противовес «утонченной изысканности» конца XIX века литература США в новом столетии уже с самых первых шагов была преисполнена решимости покончить с лицемерием при показе всех обстоятельств, образующих в совокупности жизнь человека. «Сестре Керри» Драйзера, новеллам Ш. Андерсона, романам Кейбелла, Хемингуэя, Колдуэлла, Т. Вулфа пришлось выдержать немало нападок со стороны судебных властей, почтового ведомства и всевозможных «Обществ по борьбе с пороком». В послевоенные годы сфера изображения интимных сторон человеческого бытия неизмеримо расширилась и грань между «допустимым» и «непристойным», между «печатным» и «непечатным» словом практически стерлась. Мы не говорим сейчас о «серьезной» литературе, в которой, даже если речь идет о крайних проявлениях (в тех же «Супружеских парах» Апдайка или в романе «Жалобы Портного» Ф. Рота, 1968), трактовка эротической темы не самоцель и не имеет ничего общего с порнографией в прямом смысле этого понятия, то есть с сочинениями, целиком обращенными в сферу секса и «абсолютно в какой бы то ни было форме и степени лишенными облагораживающего общественного значения», согласно известной судебной формуле, возникшей еще во времена процесса над «Улиссом» Дж. Джойса.

Ряд судебных решений, снявших запрет с публикации в США «Любовника леди Чаттерлей» Дж. Г. Лоуренса, романов Г. Миллера и «Фэнни Хилл» Дж. Клиланда, одной из «вершин» порнографии в ее чистом виде, развязал руки предприимчивым дельцам от литературы и одновременно стимулировал их «творческое» воображение. К середине 60-х годов американский читатель уже был подготовлен к лозунгу «сексуальной революции» «просветительской» деятельностью журналов «Эрос», «Фэкт» и прежде всего «Плейбой», тираж которого за десять лет возрос до пяти с половиной миллионов экземпляров. «Каждый должен иметь право еще при жизни в зависимости от собственного желания побывать на небесах или в аду» — эти слова уже упоминавшегося Х. Хефнера как нельзя лучше подошли бы в качестве эпиграфа к первому подлинно «сексуальному боевику» современной «массовой литературы», роману Т. Сазерна и М. Хоффенберга «Кэнди», опубликованному летом 1964 года.

Кэнди, или «конфетка», как переводится ее имя,— это сверхнаивная девочка, доверчиво служившая своим телом каждой благородной и, главное, новомодной идее, с какой ей только случалось повстречаться— будь то расовое равноправие, свобода от колониализма, фрейдизм или дзен-буддизм. Роман Сазерна и Хоффенберга являл собой не только вереницу «постельных» сцен (причем авторам нередко удавалось с помощью фантазии выйти за пределы этого традиционного «фона»), но и довольно-таки злую издевку над многими святынями радикальной Америки, вступавшей в ту пору в один из самых драматических этапов своей истории. Нарочитое сочетание

А. МУЛЯРЧИК
ПО РЕЦЕПТАМ ЛИТЕРАТУРНОГО СУРРОГАТА

радикальных идей с «высшими радостями» секса становится к концу минувшего десятилетия испытанным изобразительным приемом в среде так называемого «культурного подполья» Запада, то есть представителей левацкого экстремизма в литературе и искусстве,— достаточно сослаться на особенно нашумевшие в США фильмы шведского режиссера В. Шёмана «Я любопытна» и «Тролль» и многочисленные публикации авангардистского ежемесячника «Эвергрин ревью» и издательств «Гроув» и «Олимпия пресс».

Еще каких-нибудь лет десять назад наиболее сложные и спорные произведения литературы Соединенных Штатов, говорившие о роли секса и насилия в современном мире («Иная страна» Дж. Болдуина, 1962; «Американская мечта» Н. Мейлера, 1965; и др.), преследовали прежде всего философские и художественные цели. Но уже вскоре старейшина американских авангардистов Генри Миллер заявил, что «битва за сексуальную революцию в литературе выиграна и молодым писателям-мятежникам следует отныне обращать свою энергию на проблемы более существенные». К концу десятилетия секс, это извечное пугало пуритан и ретроградов, из некогда грозной и таинственной неразгаданной «вещи в себе» превращается, благодаря услугам «массовой беллетристики», в обязательную начинку подчас даже просто пародийных произведений. По аналогии с «Фэнни Хилл» возникает неизмеримо более тщедушный «Фредди Хилл» П. Кэтлинга (1969), в жанре «сексуального романа» пробует свои силы Д. Гринсберг («Чьюздей», 1968) и, наконец, группа журналистов, укрывшихся за псевдонимом Пенелопа Эш, публикует своего рода литературный экзерсис «Незнакомка пришла голой», немедленно ставший едва ли не главной приманкой книжного сезона 1969—1970 гг.

Напечатанная в одно время с «Машиной любви» Ж. Сьюзен книжка Пенелопы Эш отличалась от нее несравненно более рафинированным слогом и рельефностью образов. Этой литературной мистификации нельзя было отказать и в известной оригинальности замысла: ее тринадцать глав составляет своего рода донжуанский список, но не героя, а героини, по имени Джиллиан Блейк, нимфоманки, перед натиском которой не в силах устоять ни один мужчина.

«Незнакомка» во многом схожа с «Кэнди» Сазерна и Хоффенберга — та же одержимость сексом, искусно варьируемым в пределах чисто условного сюжета, та же легкость языка и шутливость тона. Но если в свое время публикация «Кэнди» сопровождалась публичным скандалом и судебным преследованием, то в конце 60-х годов любая трансформация сексуальной темы была уже в порядке вещей. Шлюзы общественной морали и цензуры давно бездействовали, и поток эротических романов, антироманов, романов-исследований («Майора Брекинриджа» Г. Видаля, 1968; «Семь минут» И. Уоллеса, 1969; «Подпольное кино» Т. Сазерна, 1970) приобретал, казалось, неодолимую силу. «Порнография — главное направление современной «массовой культуры»... Засилие порнографии в капиталистических странах свидетельствует о глубоком нарушении социально-психологического равновесия — а это, в свою очередь, показатель крайне напряженной ситуации»,— обоснованно писал недавно один из советских исследователей данной проблемы. Применительно к Соединенным Штатам следует отметить, что колоссальное распространение сексуального чтива и других видов эскепистской литературы не смогло навязать нации атмосферу «спасительного конформизма». Напротив, 60-е годы были не только временем бешеного экспериментаторства по части сексуальной свободы (это утверждение уже превратилось в общее место в американской прессе), но и эпохой знаменательных социальных и идеологических сдвигов. Как показывают данные, приведенные, в частности, в книге В. Паккарда «Сексуальные джунгли», воздействие философии «либертинажа» на нравственность в США не имело столь разрушительных последствий, как можно было бы предположить на основании знакомства только с косвенными свидетельствами общественных процессов: книгами, периодикой и пр. С другой стороны, феноменальный успех романтизированной, слащавой «Истории одной любви» Д. Сигела, на протяжении всего 1970 и начала 1971 года занимавшей верхнюю строчку в списке бестселлеров, и поставленного на ее основе фильма говорил о том, что необузданность нравов и пресловутая «вседозволенность» не являются таким уж привлекательным и непреложным идеалом для американского общества, вступавшего в 70-е годы.

■

Опыт послевоенных лет, и в особенности минувшего десятилетия, показал, что «массовая культура» и, как составная ее часть, «массовая беллетристика» превратились в важный фактор, во многом определяющий содержание умственной жизни американской нации. Наступлению духовного «китча» противостоят, разумеется, и здоровые силы литературы США. Однако борьба между подлинной культурой и всевозможными ее суррогатами, опирающимися не только на новейшие технические средства, но и на активность манипулирующих общественным мнением реакционных сил, приобретает с каждым годом все более сложные формы. В литературе многое взаимосвязано, и уже сам факт распространения вширь деструктивных процессов не в последнюю очередь несет «ответственность» и за неровный пульс творчества даже признанных мастеров современной прозы.

Х. КЯМИЛЕВ

ПОЭЗИЯ НАЗЫМА ХИКМЕТА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

С приходом в литературу Назыма Хикмета, семидесятилетие со дня рождения которого отмечается в этом году, турецкое поэтическое слово достигло наибольшей высоты общественного звучания.

Художественное наследие его, столь многогранное и в то же время отличающееся органическим внутренним единством, еще не стало предметом глубокого и всестороннего идейно-художественного анализа. Советское востоковедение может гордиться тем, что именно в нашей отечественной науке заложены прочные основы новой отрасли туркологии — исследование литературного наследия Назыма Хикмета.

Менее всего изучены стихи поэта последних лет, которые являют собой своеобразный этап в его творчестве.

Мы не ставим перед собой задачи специально исследовать эту тему. Здесь мы хотим лишь изложить некоторые свои наблюдения и мысли, которые вызывают эти стихи.

Весьма заметной особенностью поэзии Н. Хикмета последних лет представляется постоянное, почти через все стихи проходящее звучание мотива тоски по родине.

Всего только тридцать с небольшим лет, половину его жизни, было суждено ему свободно дышать воздухом родины. Он 17 лет сидел в ее тюрьмах, а последние 13 лет (1951—1963) провел в эмиграции.

Всемирно известный поэт, своим творчеством завоевавший турецкой литературе всеобщее признание, не мог при жизни печататься у себя на родине.

Печатаюсь на тридцати — сорока языках,
в тридцати — сорока странах,
в моей Турции
по-турецки
печатать меня запрещено.

Что может быть горше сознания того, что выражено в этих строках «Автобиографии», написанной Назымом в 1961 году! Что может быть драматичнее судьбы великого поэта-гражданина, начинающего свою «Автобиографию» словами:

Одним знакомы виды трав,
другим — виды рыб,
а мне — виды разлук.

(Перевод Б. Слуцкого)

Каждый, кто близко знал Назыма Хикмета после его эмиграции из Турции, воочию мог убедиться, сколь беспредельной была его тоска по родине.

Не прошу я золота, мудрости, юности.
Тоска холодит висок.
Черт побери,
ну что тебе стоит
меня в Стамбул отнести на часок?!

(Перевод Р. Фиша)

Родина, родина,
не осталось на мне
даже шапки работы твоей,
ни ботинок,
носивших дороги твои.
Твой последний пиджак
из бурской материи
износился давно на спине...
Ты теперь у меня
только в этих морщинах на лбу,
в свежем шраме на сердце
да в моей седине.
Родина,
родина...

(Перевод М. Павловой)

Следует отметить, что в последние годы жизни Назыма Хикмета в его творчестве все большее место занимает лирика. Однако, создавая сугубо личные, подлинно лирические произведения, поэт не отходил от общественной и философской тематики. Общественное и личное, впрочем, как и всегда, сливалось в одно целое и в жизни, и в творчестве поэта.

Широко известна относящаяся еще к 1930 году эмоциональная поэтическая формула Н. Хикмета, выражающая пафос революционной борьбы, преломленной в призме глубокого лиризма.

Пусть, как Керем,
сгорю,
сгорю!
Ведь если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
так кто же здесь
рассеет тьму?
Здесь воздух, как земля, тяжел.
Здесь воздух давит, как свинец.
Кричу,
кричу,
кричу,
кричу:
— Идите! —
людям я кричу.—
Свинец
расплавить я хочу!

(Перевод Л. Мартынова)

Приведенный нами отрывок из стихотворения «Как Керем» — это доведенное до предела лиризма переживание поэта, неотделимое от его убеждений, от коммунистических идеалов. Главная цель стихотворения — обратить читателя, которому адресовано произведение, «в свою веру», подстегнуть сомневающегося, придать уверенность неустойчивому.

Говоря о себе: «Ведь если я гореть не буду...» — поэт формулирует поэтический призыв, обращенный к другим, к своим современникам. Особенности, которыми отличается стихотворение «Как Керем», свойственны и позднейшим произведениям Н. Хикмета. Вместе с тем стихи последних лет в большинстве своем имеют свою специфику.

Если в ранних стихах общественно-политическая направленность произведений Н. Хикмета включала в себя и личную тему, то теперь, наоборот, интимно-лирическая тема стиха сопровождается звучанием общественных мотивов. Иными словами, поэт здесь идет не столько от общественного к личному, сколько от личного к общественному.

Вот типичный пример, небольшое стихотворение 1962 г.:

В сибирских реках трогается лед.
В Баку уже купаются.
В Москве раздался первый гром
и рухнул теплый дождь
на камни мостовой.
Мой мир зеленый,
мой мир алый...
Быстрей идут на стройки самосвалы.
Я эту ночь не спал,
я думал о вещах
одна прекраснее другой

(Перевод М. Павловой)

Изменение отправной точки в поэзии неизбежно сказывается и на композиции, и на образной структуре стиха.

Начальные строки цитированного произведения — не что иное, как нить ассоциативных впечатлений, навеянных наступившей весной. Но это не просто картины весны.

Концентрируясь, переживания поэта выливаются в превосходную лирическую формулу:

Мой мир зеленый,
мой мир алый...

Выражение радостного весеннего настроения приводит Н. Хикмета к строке:

Быстрей идут на стройки самосвалы...

Как будто просто новая ассоциация, но ведь это и естественная для Н. Хикмета связь, так сказать, «чистой» лирики с общественной темой. Весна теперь уже предстает в стихотворении как обобщение нашей действительности, полной творческого, созидательного труда... Всего одна строчка! Ни капли дидактики нет у Н. Хикмета, есть только вольное, ничем не сдерживаемое течение поэтической мысли. В сплавленном поэзией контексте две заключительные строки стихотворения — своеобразное обобщение, дающее очень человеческий, очень интимный ключ для понимания того, что маленькая лирическая миниатюра не просто безделушка мастера, а чрезвычайно емкое гражданственное произведение на одну из наиболее актуальных для страны общественных тем.

Знакомство с поэзией последних лет Назыма обнаруживает значительное осложнение образной ткани стиха, с композицией преимущественно ассоциативного, а не определенного темой причинно-следственного, условно говоря, логического плана.

И в поэзии Н. Хикмета более ранних периодов в любом стихотворении на общественно-политическую тему перед читателем вырисовывался живой облик поэта. Мы слышим его голос, узнаем об обстоятельствах его жизни, о его горестях и радостях. Все это так, но ведущим там был все же рассказ Н. Хикмета о революционной борьбе, как таковой, о героях этой борьбы, мрачной действительности эксплуататорского мира и т. д.

Теперь же главная тема — сам поэт, судьба которого по-прежнему в его личных ощущениях неразрывно связана с борьбой за мир, с судьбами людей всего земного шара. Поэт никогда не забывает об этих идеалах. Подобное мироощущение, сопряженное с предельной искренностью, для него естественно, как дыхание.

Приближаясь к неизбежному рубежу своей жизни, остро переживая незаметно подкравшуюся старость, не желая принимать ее, сопротивляясь ей всеми силами души, поэт не в состоянии порой преодолеть грусть. Трагическое ощущение действительности — возможность атомной войны, на которую способен капиталистиче-

ский мир,— перемежается у Н. Хикмета с мыслями о близких грядущих поколениях.

В своих стихах последних лет, а они недаром популярны среди самых различных кругов читателей, Н. Хикмет, оставаясь коммунистом, каким он был всю сознательную жизнь, выражает в образах и поэтических интонациях восприятие мира и умонастроения человека уже 50—60-х годов, непохожие на довоенные и военные. Этим, кстати, и объясним тот факт, что именно Н. Хикмет как был раньше, так и остался кумиром молодежи. Даже когда Н. Хикмет и пишет о переживаниях, свойственных его закатному возрасту, то о своих настроениях он говорит в таких интонациях и таким языком, который не просто доступен, близок, а вообще свойствен молодежи. Как бы обладая даром вечной молодости, Назым Хикмет видел мир так, как видят его новые поколения.

Как нам думается, очень показательно для понимания своеобразия поздней лирики Н. Хикмета свидетельство литературоведа Т. Хмельницкой об одной из бесед Назыма с молодыми французскими поэтами в Париже. Когда один из них пространно и обстоятельно пытался определить различие между лирикой публицистической и любовной, Н. Хикмет заявил, что деление это бессмысленно и бесцельно, что никакого различия между любовной и публицистической лирикой нет и не может быть, потому что, прибавил он, «я ведь люблю свою жену не на Луне, а в Турции».

И в то же время:

...любовь великана
не упрятать в маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.

(Перевод Д. Самойлова)

Если выше Н. Хикмет утверждает, что его любовь конкретна и по месту и по времени, то в этих строках, очень ярко выражающих его личность, его индивидуальность, он дает понять, что она, его любовь, не умещается в обычные житейские рамки.

В 1960 году немного иронически и, как всегда, правдиво поэт писал:

Я мог бы жить в одиночестве,
прожить без песен не мог,
я изменял любимой,
но песням ее был верен,
и песни мне не изменяли,
я их понимал на любом языке.
В этом мире
из всей жратвы и питья,
из всех путешествий
и происшествий,
из всего, чему я внимал,
из всего, что я понимал,
обнимал и трогал,—
ничто, ничто не делало меня
счастливей, чем песни.

(Перевод Д. Самойлова)

Любовь к песням, делающим человека счастливым, это тоже любовь, любовь, напоминающая одержимость, самая высокая любовь. Н. Хикмет любил жизнь, любил все радости жизни, но главное — он любил людей деятельной любовью коммуниста.

...буду жить на земле,
меж людей,
для людей!
В этом — сила моя.
В этом — гордость моя.
В этом — счастье мое, друзья.

(Перевод Н. Разговорова)

Когда-то М. Горький сказал о Сергее Есенине, что он был как бы специально созданным природой органом, инструментом поэзии. Точно таким же был и Н. Хикмет. Все, о чем думал, все, что переживал этот человек, непосредственно изливалось в его стихах.

Вот короткие стихи тоже 1960 года, носящие название «Перед уходом». Перед нами живой Назым, с его великим гуманизмом, с его любовью ко всему миру:

Перед уходом у меня еще так много дел,
перед уходом.
Я оленя от рук охотника спас,
но еще лежит без сознания.

Я с ветки апельсин сорвал,
но корка еще не очищена.

Со звездами уже смешался я,
но число их еще не сосчитано.

Я воду из колодца достал,
но в стаканы еще не налито.

На подносе разложены розы,
но чаша из камня не высечена.

Любовью еще не насыщена жизнь.
Перед уходом у меня еще так много дел,
перед уходом.

(Перевод М. Павловой)

Добавить здесь нечего. Но хочется сказать, что надо быть предельно чистым душой, чтобы писать с такой неподдельной искренностью:

Испытал безумную ревность
к любимым
Не испытывал зависти
ни к кому
даже к Чаплину.
Иногда обманывал женщин
никогда друзей.

(Перевод Б. Слуцкого)

И еще хочется сказать, что только истинный поэт находит неповторимые слова, чтобы донести до людей свою искренность. Хикмет сумел сказать о себе так, что ему верил и друг и враг.

Свой символ веры в форме обращения к грядущим поколениям Н. Хикмет запечатлел в стихотворении 1960 года под названием «Во имя братства». Поэт со свойственной ему неожиданностью поэтических решений вложил собственные раздумья в обраще-

---

Х. КЯМИЛЕВ
ПОЭЗИЯ НАЗЫМА ХИКМЕТА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ние посланца земли к обитателям одной из планет:

...на одной из планет
наш посланец поговорит с ним,
на каком языке — я не знаю,
но по-русски скажет «товарищ»...
Этим словом начнет разговор свой,
я знаю,

скажет: «Товарищ,
не затем я на вашу планету
явился,
чтобы строить здесь базы
или требовать
нефтяных и фруктовых
концессий,
не затем, чтобы здесь продавать
кока-колу,

а затем,
чтоб приветствовать вас
во имя Земли,
во имя бесплатного хлеба
и бесплатной гвоздики,
во имя того,
чтобы труд был счастливым
и отдых счастливым,
во имя того,
чтоб поклясться:
вместе —
всюду,
везде,
порознь —
только у щек любимой,
во имя братства
домов,
стран,
миров
и космоса,
вечного братства!

(Перевод М. Павловой)

Для того чтобы глубже разобраться в особенностях выражения общественных мотивов в лирике Н. Хикмета последних лет его жизни, мы остановимся на нескольких произведениях, опубликованных сразу же после смерти поэта в небольшом сборнике «Московское лето».

Коротенькая поэма «Воззвание с предисловием» 1963 года (перевод А. Бабаева)— своеобразное поэтическое завещание Хикмета. Поэма не просто взволнованное обращение к современникам, призыв к защите мира от войны. Это философское кредо Н. Хикмета, удивительная новаторская лирика, вобравшая в себя то, что особенно заботило поэта в последние годы. Перекличка «Воззвания» со многими другими стихами сборника, да и не только этого сборника, несомненна.

В предисловии главное — тревога за судьбы человеческие:

На дорогах, что впереди, не следы ли
кровавые наших ног?
Дороги, что впереди, не к адскому ли
ведут тупику?

Обращает на себя внимание характерное для Назыма умение поэта поэтически формулировать сложнейшие философские положения, делать их доступными для восприятия и понимания любому читателю.

...с тех пор, как обтесали мы камень,
разрушающие и созидающие — это мы;
это мы — разрушающие и созидающие
в этом чудесном мире, где стоит жить.

В первой главе, где высказана мысль о преемственности поколений, с первых же строк появляется сквозной для поэмы образ детей. Дети в поэме не только грядущее, но и судьба современного поколения, это критерий его ответственности перед собой и судом истории.

На ладонях детей дни нашей жизни ждут
своего срока.
Дни нашей жизни — это зерна на ладонях
детей.
На ладонях детей они прорастут...

Н. Хикмет не просто поэт-симфонист, хотя поэма имеет ряд ритмических и образных лейтмотивов, один из которых связан с детскими ладонями, нет, он одновременно и живописец слова. Точные и скупые определения — обозначение факта, места, всего два-три слова — и удивительно емкий образ. Нечто подобное, как известно, происходит и с восприятием внешне скупой, лаконичной, но неизменно четкой по отобранным деталям прозы Чехова. При этом как бы протокольный, информационный стиль в анализируемом стихе Н. Хикмета не только внешне, но и внутренне симфонизируется, звучит как музыка. Поэтическая музыкальность достигается анафорическими повторами, единоначатием строк и, наконец, особой, идущей от самого поэта — то раздумчиво-грустной, то трагической, то памфлетно-обличающей, то проникнутой верой в людей — лирической интонацией.

...Дети могут умереть завтра,
и притом совсем не от малярии, и не от
дифтерита,
и не падая в колодец.
Дети могут умереть завтра,
дети, как небритые солдаты, могут
умереть завтра.
Дети могут умереть завтра при свете
атомных облаков,
ни саитиметра кости, ни капли крови.
Дети могут умереть завтра при свете
атомных облаков,
не оставив ничего: ни горстки пепла,
не оставив ничего, кроме своей тени.
Негативные изображения во мраке
пустоты.
Крематорий, крематорий, крематорий.
Море я вижу. Море, покрытое дохлыми
рыбами.
Негативные изображения во мраке
пустоты.
Непрожитые дни нашей жизни
исчезают вместе с ладонями детей.

В конце главки появляется новый трагический мотив: «Негативные изображения во мраке пустоты». Эта тема получает многоплановое развитие во второй главке.

Был один город.
Ветер гуляет там.
Было пять городов.
Ветер гуляет там.
Было сто городов.
Ветер гуляет там.
Не будет стихов об исчезнувших городах.
Поэтов ведь не будет!
В твоем окне — улица с бульваром.
В комнате твоей тепло.
На белой подушке — волосы цвета
черного винограда.
Люди в пальто, деревья в снегу.
Не останется твоего окна,
ни улицы с бульваром,
ни волос цвета черного винограда на
белой подушке,
ни людей в пальто, ни деревьев в снегу.
По умершим не плачут:
не останется ведь глаз,
не останется рук.
Негативные изображения под ветвями,
под ветвями, которые исчезли.
Над исчезнувшими ветвями проплывают
те же облака.

Не везите меня на юг.
Не хочу умирать.
Не хочу умирать — не везите меня на
север,
Не везите меня на восток —
не хочу умирать.
Не хочу умирать —
не везите меня на запад.
Не оставляйте меня здесь,
увезите меня куда-нибудь.
Не хочу умирать,
не хочу умирать!

Это те же облака проплывают
над исчезнувшими ветвями.

Что здесь особенно характерно, если вспомнить к тому же отмеченные нами особенности? Начало главки подхватывает тему, в общих чертах обозначенную еще в предыдущем разделе. И вдруг со слов, взволнованно интонированных, «Поэтов ведь не будет!» в поэму вступает сугубо личное начало.

Теперь все, звучащее ранее эпически, раскрывается как непосредственное переживание самого Н. Хикмета, но поэтический секрет большого мастера слова в том и состоит, что лирическое «Я» этих строк соотносимо с чувствами и мыслями каждого, кто читает, кто слушает поэму. Неоднократное, нарастающее, усиливающееся «Не хочу умирать!» обладает невероятной, как бы гипнотизирующей силой — голос поэта начинает звучать слитно с внутренним голосом читателя, поэт и его слушатель невольно объединяются в едином переживании.

После эмоционального лирического накала второй главки следует третья часть. Интонация ее отлична от эпического зачина, от крика боли второй части.

Конец раздела — призыв, выраженный в лирической интонации, которая дана всем контекстом поэмы. Заключительное «Воззвание» Н. Хикмет снова строит в экстатически взволнованном ключе. Это гимн человеку, перекликающийся через века с пантеистической хвалой человеку в хоре софокловской «Антигоны»:

Бог — это наши руки,
бог — это наши сердца, наш разум.
Бог — существующий во всем:
в земле, в мраморе, в бронзе, на холсте,
в стали и в пластмассе,—
это наши руки, наши сердца, наш разум.
И композитор великой гармонии чисел и
строк — тоже он!

Через сердце поэта льется призыв к людям:

Люди! Я зову вас
ради книг, деревьев и рыб,
ради зереи пшеницы, риса и ради
солнечных улиц,
ради волос цвета черного винограда,
цвета соломы и ради детей.

На ладонях детей дни нашей жизни ждут
своего срока.
Дни нашей жизни — это зерна на
ладонях детей.
На ладонях детей они прорастут...

Заключительные две строки не только пластический, врезающийся в память образ, это и завершение той музыкально выраженной темы, которая прозвучала вначале. Но как изменился образ, как оптимистически звучит он, чем-то неуловимо напоминая «Гимн Радости» в Девятой симфонии Бетховена.

Дни нашей жизни — это зерна на
ладонях детей,
На ладонях детей они прорастут...

Многозначный по своей образности зрительный символ, но символ не туманный, а отточенно ясный. Посмертное «Воззвание с предисловием» — одно из высших поэтических достижений Назыма Хикмета.

С таким же зрительным образом, ставшим своеобразным реалистическим символом большой поэтической силы и общественно-политического звучания, мы сталкиваемся в одном из самых последних стихотворений Назыма Хикмета «Первое мая».

Первого мая
по всем площадям мира
проходит Красная площадь —
со знаменами и без знамен,
с песней или без песни,
но по всем площадям мира.

Первого мая
во все надежды мира
входит Красная площадь.
Первого мая
Красная площадь
вламывается во все тюрьмы,
во все казематы,
где заключена свобода.

Первого мая
Красная площадь
проходит по всем параллелям:
под солнцем,
под дождем,
под снегом.

Первого мая
весь мир превращается в Красную
площадь,
в ту самую площадь,
где выступал Ленин.

(Перевод Б. Слуцкого)

Что здесь явственно бросается в глаза?

Первое — интимная, разговорная, доверительная интонация.

Второе — целенаправленный ассоциативный поток. В нем, как это уже отмечалось в разговоре о «Воззвании», явления, факты лишь упомянуты. В конденсированном нанизывании чисто информационных названий, подкрепленном единоначатием строф «Первого мая» и образом идущей по миру Красной площади, возникает поэтическая динамика особого рода, дающая простор воображению читателя.

Третье — производя впечатление свободной импровизации, стихотворение скомпоновано самым тщательным образом.

Три его сцементированные образом Красной площади строфы совершенно естественно замыкает последняя, четвертая строфа — четверостишье.

Символический образ Красной площади у Н. Хикмета утверждает все разрастающееся движение борьбы за коммунизм, утверждает непреодолимое торжество ленинских идей.

Х. КЯМИЛЕВ

ПОЭЗИЯ НАЗЫМА ХИКМЕТА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Прямая агитационная установка в этих стихах отсутствует. Поэт предпочитает доверительный разговор с читателем и стремится к тому, чтобы то, в чем убежден он сам, за что он агитирует, непроизвольно ощущалось слушателем и читателем, как его собственное, им самим самостоятельно достигнутое убеждение.

Своеобразное ассоциативное течение образной мысли, каждый неожиданный на первый взгляд поворот, который резко меняет интонацию белого стиха, окрашенность образного строя,— наиболее характерные особенности поздней лирики Н. Хикмета.

Даже в самые интимные, любовные, стихи Назыма, например цикла «Солома волос», органично входит и общественная тематика. Именно поэтому, кстати, весьма трудно, если не невозможно, к поэтическому наследию Н. Хикмета применять традиционное деление лирики на любовную, философскую, общественно-публицистическую и т. д.

При всей кажущейся на первый взгляд свободной неорганизованности ассоциативного потока стихов и небольших поэм Н. Хикмета — они ювелирно отделаны и тщательно скомпонованы.

Внешняя «неорганизованность» интимной лирики Н. Хикмета прослеживается, например, в стихотворении цикла «Солома волос», которое называется «Оказывается, люблю»:

Год 62-й, март 28.
Поезд Прага — Берлин,
я у окна.

(Перевод М. Павловой)

Таков зачин этой маленькой поэмы.

От вечерних сумерек до кромешной ночной тьмы Н. Хикмет один у окна вагона курьерского поезда. Проносящийся за окном пейзаж вызывает у него разнородные ассоциации, но общее настроение едино. Это — обостренное чувство любви к миру, к людям, к земле... Предчувствие смерти прямо не высказано в этой поэтической записи мимолетных впечатлений. Разве что в самом конце, когда поэт как бы ненароком замечает:

...Шестую уже закурил сигарету,
когда и одна для меня уже смерть...

Но предчувствие смерти невольно заставляет подводить итоги, прощаться с тем, что так любил и так любит на земле поэт.

Каждая образная деталь в маленькой поэме перекликается с ее заглавием «Оказывается, люблю». Такой связывающий в единый поэтический организм многократный рефрен вообще составляет особенность индивидуального стиля Н. Хикмета. Это он, рефрен, придает его лирике такую доверительную интимность. Здесь же вся элегическая поэма — «поток сознания», внутренний монолог — делится на части этим рефреном:

Оказывается, я люблю землю...
Оказывается, я люблю реку.
Оказывается, я люблю небо...

Вглядимся пристальнее во взятый наугад ассоциативный ряд зрительных образов поэмы:

Оказывается, я люблю солнце,
даже такое,
заходящее,
испачканное вишневым вареньем.
И в Стамбуле
солнце часто вот так же заходит,
как на цветных открытках,
но все ж ты не должен
рисовать его так.
Оказывается, я люблю море,
и как еще!..
Оказывается, я люблю облака,
будь я под ними или над ними,
будь похожи они на великанов
или на тучных животных
с белой шерстью.
Вспоминается лунный свет,
самый томный,
самый обманчивый,
самый мещанский...
Оказывается, я люблю лунный свет.

Все ассоциации здесь совершенно естественны. Заходящее за окном солнце, и вот — вишневое варенье, потом неизбежное воспоминание о Стамбуле и пошлых цветных открытках с видами заходящего за море солнца. От них закономерен переход к морю:

Я люблю море,
и как еще!

Над морем облака. И вот: «Оказывается, я люблю облака», облака в свою очередь вызывают образы «... тучных животных с белой шерстью». Вся эта вереница зрительных образов в конечном счете совпадает с раздумьями поэта, передает его настроение и замыкается, наконец, в итоговой строфе:

И сколько вещей люблю я, оказывается,
и обнаружил это
в шестьдесят лет
в поезде Прага — Берлин
у окна,
так на землю смотря,
точно вышел я
в путешествие,
из которого нет возврата.

Умение раствориться во всем и оставаться в то же время самим собой — вот в чем сущность поэтического дара Н. Хикмета. Никто так хорошо, как он сам, не сказал и не скажет об этом:

Быть бы деревом мне,
чтоб в его тени отдыхать,
быть бы книгой,
чтоб читать ее ночью бессонной,
не скучая над нею,
быть бы дверью —
открываться перед хорошими,
закрываться перед плохими,
быть бы окном,
распахнутым широко,
чтобы мог в мою комнату
город войти...
Быть бы словом,
звать к прекрасному,
к справедливому,
к правде,
быть бы словом, чтобы нежно сказать
о своей любви!

(Перевод М. Павловой)

Язык образов принципиально невозможно, да и неуместно перекладывать на язык логических понятий. Можно лишь уловить их общее значение для музыкального поэтического строя. Смысл только что процитированного стихотворения, безусловно, понятен каждому, но что значит этот смысл сам по себе, без тех картин, через которые он рас-

крывается, в которые он вложен силою всех обостренных до предела человеческих чувств!

Свое поэтическое кредо Н. Хикмет изложил во многих произведениях последних лет.

Кем мне быть? — спрашивал человек, стоящий у моря. Над морем плыли облака, в море была желтая рыба, и на дне росли голубые водоросли.

...Кем мне быть —
рыбой,
облаком,
кораблем
или водорослью?

И Назым отвечает:

Ни тем, ни тем и ни тем.
Надо быть морем, брат,
с его рыбой и водорослью,
с его кораблем
и облаком.

(Перевод М. Павловой)

В ответе — весь Назым Хикмет. Поэт должен выбрать самое главное, должен видеть самое важное, самое существенное в жизни. В отраженном свете этого главного придут и оживут на поэтическом полотне все второстепенные детали. Только понимая правду жизни во всей ее полноте, поэт сможет поведать людям «о времени и о себе».

О самом главном для себя Хикмет, носивший в сердце, в своих стихах сокровенный смысл нашего века, в свете все той же единственной правды истории сумел сказать точно и просто:

Коммунист!
Хочу сказать тебе два слова:
будь ты секретарь ЦК иль рядовой,
будь у власти или за решеткой,—
нужно, чтобы Ленин как живой
смог войти в твой труд, в твою семью,
в жизнь твою войти,
как в жизнь свою.

(Перевод М. Павловой)

Уметь так просто говорить о сложном — одна из отличительных черт поэтического дара Назыма Хикмета, залог бессмертья его поэзии.

В. ЛАКШИН

«ПОЧТОВАЯ ПРОЗА» И. С. ТУРГЕНЕВА

Недавно вышедшая во Франции книга обернута зеленой рекламной лентой, на которой написано: «В честь 150-й годовщины со дня рождения Полины Виардо». Но и без указания на юбилей великой французской певицы этот солидный том привлек бы внимание многих читателей, не равнодушных к истории литературы.

Первый том «Неизданной переписки» Тургенева, появившийся в конце 1971 г. в Париже [1], как по богатству материала, так и по его содержательности представляет собой выдающееся явление в собирании наследия великого русского писателя. Напомним читателям, что в журнале «Иностранная литература» (№ 1, 1971) впервые на русском языке появились 27 писем Тургенева к Полине и Клоди Виардо. Эти письма, оригиналы которых переданы внучкой певицы — госпожой Мопуаль в Национальную библиотеку в Париже, были подготовлены к печати известным славистом профессором Анри Гранжаром при участии его коллеги и ученика — Александра Звигильского. Ныне молодой профессор Звигильский сам предпринял обширные разыскания пропавших частей архива Полины Виардо. Его ждала удача, он обнаружил немало новых автографов Тургенева, главным образом в архиве Мартины Ле Сен — праправнучки Полины Виардо — и напечатал их теперь отдельной книгой. Так когда-то разрозненная из-за дробления между наследниками переписка Тургенева с Полиной Виардо и членами ее семьи стала как бы вновь собираться в единое целое.

В первом томе задуманного двухтомника Александром Звигильским впервые напечатаны и сопровождены комментарием 112 писем Тургенева к Полине Виардо (из них лишь 42 письма были частично известны в русском переводе), а кроме того, 34 никогда не появлявшихся в печати письма к Клоди Виардо, 13 писем к княгине Трубецкой и другие материалы.

К слову сказать, для отечественной традиции публикации текстов наших классиков несколько необычно выглядит сам принцип объединения этих писем лишь по одному признаку: письма Тургенева женщинам. Вероятно, тут были какие-то издательские соблазны, желание привлечь к книге внимание более широкой публики. Вступительная статья Александра Звигильского отдает дань тому же интересу к «загадкам любви» в жизни Тургенева, «сдвоенной», как выражается исследователь, хоть и вполне платонической его страсти к матери и дочери Виардо. Вместе с тем справедливо будет отметить, что статья и комментарий Звигильского дают немало новых сведений о Полине Виардо и ее близких, о круге французских друзей Тургенева и этим весьма ценны.

Что же касается самих отношений Тургенева с французской певицей, о которых вот уже столько десятилетий толкуют, всяк на свой лад, его биографы, то о них, пожалуй, лучше всего сказал сам писатель, отметив особенность, неповторимость, как ему во всяком случае казалось, его чувства. «Уверяю Вас,— написал он Полине Виардо 26 февраля 1867 года в письме, которое впервые появилось в рецензируемом томе,— что чувство мое к Вам для человечества нечто совершенно новое, чего никогда не было и что никогда не повторится!» Перед таким высказыванием нескромными и упрощенны-

[1] Ivan Tourguénev, Nouvelle correspondance inédite, tome I. Librairie des cinq continents. Paris, 1971.

ми выглядят все толкования проницательных биографов и комментаторов. «Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать и пройти мимо» («Дворянское гнездо»).

Оставим и мы в стороне эту тему, а отметим только одно: для всякого пишущего очень важен его адресат. Располагает ли незримый собеседник к подробному, искреннему и содержательному разговору или же с него хватит простой светской любезности? Полина Виардо, как и ее дочь, были для Тургенева адресатами, которым он писал без внешнего понуждения и присиливания себя. Конечно, в его письмах к этим женщинам, в особенности к Виардо-старшей, есть оттенок нежной аффектации, так же как стремление говорить прежде всего о том, что важно и интересно ей, а не ему. Но вместе с тем в этих подробных, обстоятельных корреспонденциях можно обнаружить много нового и существенного, относящегося к чертам эпохи, жизненным впечатлениям, литературным взглядам и вкусам Тургенева.

Всего скупее и сдержаннее говорит писатель в этих письмах как раз о своем творчестве, о литературных замыслах. Впрочем, и в этом смысле мы найдем здесь интересные упоминания о «Записках охотника» («Мне кажется, что каждый, кто прочтет их, отдаст должное моим патриотическим чувствам»,— пишет Тургенев), о бурной реакции читателей на появление «Отцов и детей», о «Дворянском гнезде», о «Нови» (роман, по авторскому определению, «может быть слишком резкий, и слишком русский, и слишком много в нем политики»). Тургеневу вообще свойственны самокритичные, иногда шутливые высказывания о своих сочинениях. Но рядом с шуткой легко разглядеть и серьезную мысль писателя.

Вот, например, что пишет он Клоди Виардо о своем известном рассказе «Песнь торжествующей любви»: «Я переделал и закончил что-то вроде фантастической новеллы, сюжет которой, если не ошибаюсь, я тебе рассказывал. Когда я ее писал, то часто думал: «Это безумие, и если это когда-нибудь напечатают, то надо мной станут смеяться!» Ну и ладно! Вперед! У Шиллера есть стихотворение, которое придавало мне храбрости: «Дерзай заблуждаться и мечтать». В конце концов во всем, что искусство,— есть безумие; только бывают безумства удачные, и тогда их называют вдохновением; другие же проваливаются со своими безумствами, и тогда это плачевно. Посмотрим, к какому роду безумств относится мое». (25 июня/6 июля/1881 года).

Но гораздо чаще, чем о себе и о своей работе, пишет Тургенев в этих письмах о том, что он видел, слушал, наблюдал, прочел, чем восхищался. Естественно, что с Полиной Виардо он охотно делится своими впечатлениями о музыке, театре. В письмах к ней часто мелькают имена Гуно, Верди, Мейербера. Имея в виду профессиональные интересы своей подруги, Тургенев тщательно описывает все наиболее примечательные постановки опер в Риме, Москве или Петербурге, которые ему довелось слышать, характеризует певцов и актеров, входит нередко во все детали исполнения.

В Париже в 1850 году он впервые увидел знаменитую драматическую актрису Рашель в «Андромахе» Расина, и выразительное описание ее игры постепенно переходит под пером Тургенева в блестящую характеристику драматургии классицизма. «Эта роль, полная ревности и ненависти, будто создана для нее. В ее голосе был трепет бешенства и презрения, которому позавидовала бы гиена. Ее жест последнего проклятия Оресту — великолепен... Она делает полуоборот, бросает ему проклятие в лицо, как рыбак забрасывает леску — это очень энергично и очень красиво. И все-таки многого не хватает ее таланту или, вернее, не хватает одного — сердца, а отсюда и истинного благородства. У нее есть только благородство тела, движений, а вместо сердца — старая позолоченная монета... Ни один оттенок великодушия или взволнованности не может исходить из этих судорожных, ядовитых уст. Это натура абстрактная, не удивительно, что она чувствует себя на месте лишь в старых французских трагедиях, которые, как бы ни были прекрасны (Вы знаете мое восхищение Расином и Корнелем), все же лишь абстракции. Гермиона — это Ревность, Андромаха — супружеская Верность и т. д. и т. д. Но все же — какая тонкость и правда наблюдений, какая кружевная психологическая работа, какое знание малейших оттенков страсти, какая счастливая точность в их передаче! Расин умеет закрепить в стихе эти мимолетные колебания, подобно тому как прикалывают булавкой бабочку. Никто не пишет так в наше время...» (10 апреля 1850 г.)

Побывав на выставке или прочитав заинтересовавшую его книгу, Тургенев обычно рассказывал об этом в письмах к Полине Виардо как о важном для него душевном событии. Много метких и неожиданных суждений найдем мы среди этих летучих рецензий Тургенева, не предназначенных для широкой публики. Вот он перечитал «Жанну», один из романов Жорж Санд, и пишет своей корреспондентке: «...это нежно и прекрасно... Только Жанна излишне педантична. Героини м-м Санд часто впадают в этот порок — свидетельством тому маленькая Фадетта, Консуэло в «Графине Рудольштадтской» и т. д. Но все, что сделано ею, отмечено печатью мастера. В ее манере письма есть широкая и светлая мудрость, и это восхитительно. Я не знаю ничего прекраснее сцены сенокоса. Помните, как мы читали «Мопра»?» (7 мая 1850 г.)

В другой раз Тургенев спешит поделиться с Полиной Виардо впечатлениями о встрече с престарелым мэтром французского романтизма Ламартином, который напомнил ему «бедного старого короля, потерявшего трон», «короля из легенды». Вос-

хищенный талантом Тургенева, Ламартин написал о нем статью, и Тургенев отправился к нему на дом, чтобы поблагодарить его за дружелюбное внимание к своим сочинениям. Тургенев заранее приготовил благодарственную фразу о том, что-де Ламартин — янтарь, а он, Тургенев, муха, но теперь он, подобно мухе в янтаре, останется запечатленным на века благодаря ламартиновой славе. Комплимент был преувеличенным и не совсем искренним. Русский гость при появлении знаменитости смешался, запутался в собственной метафоре, забыл, кто муха, а кто янтарь, и едва не провалился. Эту забавную историю, которую мы знали до сих пор лишь по пересказу М. М. Ковалевского, Тургенев сам рассказывает теперь для нас в письме к Полине Виардо 14 апреля 1864 г.

Интересны письма Тургенева из Англии, где он упоминает о встречах с Герценом и чтении ему автором глав «Былого и дум», рассказывает о своем выступлении на чествовании Вальтера Скотта в 1871 г. (Английский текст выступления — по газетному отчету — приложен к этому письму.) Тургенев дает острые и меткие характеристики английским писателям, с которыми его знакомят. Его отзыв о Томасе Карлейле, известном писателе и историке, чьим коньком было изучение роли великих людей в истории, поражает своей меткостью.

«Провел вечер у Томаса Карлейля,— пишет Тургенев Полине Виардо 6 июня 1857 г.—Он много расспрашивал меня о положении в России, о покойном императоре Николае, которого он упорно считает великим человеком,— мне пришлось говорить по-английски, и клянусь, это было нелегко. В конце концов я кое-как вышел из положения. Карлейль человек очень умный и оригинальный, но он стареет, а старея, запутывается в парадоксах. Пороки свободы, которые он наблюдает вблизи, кажутся ему невыносимыми, и он принялся проповедовать послушание, покорность во что бы то ни стало. Он очень любит русских, потому что, согласно его теории, они в высшей мере обладают талантом послушания, и ему было неприятно услышать от меня, что этот талант не так уж безусловен, как он себе вообразил. «Вы лишили меня иллюзий»,— воскликнул он. Сейчас он пишет историю Фридриха Великого, который был героем его молодости, потому что умел заставить покоряться себе. Есть русская поговорка: «Обжегшись на молоке — дуют на воду». Хотел бы я увидеть Карлейля в русской шкуре хоть на неделю; тогда он запел бы по-другому».

Заслуживают быть отмеченными и художественные впечатления Тургенева, его эпистолярные репортажи с выставок скульпторов, живописцев. Писатель был неравнодушен к изобразительному искусству, новые подтверждения чему мы находим в только что изданных письмах. «Меня по настоящему заинтересовала и поразила выставка произведений Делакруа на бульваре Итальянцев,— пишет Тургенев Полине Виардо 25 ноября 1864 г.— Я вышел оттуда, сняв шляпу перед этим большим художником, или поэтом, не знаю, как сказать. Это несомненно художник самого большого темперамента среди наших современников. Пусть это незавершенно, неправильно, все что хотите, но какая жизнь, какая страсть и сила воображения, какое слияние внешнего и внутреннего движения! Сожалею, что Вы не видели этой выставки; мне кажется, и на Вас она произвела бы то же впечатление. Я помню пресное, холодное и литературное ощущение, какое я вынес с выставки Шеффера... Боже мой, какая разница! Здесь стремительный поток поэзии, порой опасный, но увлекающий вас».

Однако, пожалуй, более всего интересны для нас письма Тургенева, которые он посылал своим французским друзьям из Рóссии. Приезжая на родину, Тургенев обычно писал Полине Виардо и ее близким подробные отчеты едва ли не о каждом дне своей поездки, как бы письма-дневники. Мы находим в них отголоски важных общественно-политических событий, впечатления от встреч с людьми искусства, столичные и деревенские новости, любопытные признания и автохарактеристики. Конечно, общественные взгляды Тургенева ограниченны, в его оценках чувствуется порой «русский европеец», благодушный барин и либерал. Но нельзя не отдать должное его широкому и непредвзятому уму, в особенности когда он пишет об искусстве и не претендует на политические оценки и прогнозы.

Характерна та наивность, с какой описывает Тургенев первые симптомы реакции начала 60-х годов. «Реакция в Петербурге становится все сильнее,— пишет Тургенев Полине Виардо 27 июня (9 июля) 1862 г.,— и ее до известной степени можно оправдать, к несчастью. Правительство приостановило издание трех газет или, вернее, журналов — один из которых («Современник») был создан моими друзьями (Белинским и другими) 14 лет тому назад. В течение 13 лет я был постоянным сотрудником этого журнала, и, несмотря на то, что они в последнее время яростно нападали на меня, я не могу не жалеть о его запрещении. Надо сознаться, журнал стал очень неосторожен. Я думаю, что правительство могло бы начать с предупреждения, но, очевидно, все эти пожары, прокламации, покушения и интриги посеяли всюду смятение».

Что и говорить, в подобных высказываниях Тургенев предстает перед нами робким и близоруким человеком, которым не хочется восхищаться. Но несравненно чаще он выступает в этих письмах как трезвый и зоркий наблюдатель новых явлений жизни, особенно чуткий к тому прекрасному, что дарóют людям природа и искусство.

В 1874 году в Петербурге Тургенев, как мы узнаем из писем, знакомится с композитором Мусоргским и выражает бурное восхищение операми «Борис Годунов» и «Хованщина». Спустя несколько лет в Москве он слушает генеральную репетицию оперы Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении учеников консерватории, которыми

дирижирует Николай Рубинштейн. «Музыка показалась мне прекрасной,— пишет он Клоди Виардо 18 февраля (2 марта) 1879 года,— горячая, страстная, молодая, полная красок и поэзии». В одном из писем Полине Виардо мы находим описание встречи Тургенева в 1874 году с деятелями «могучей кучки»: «Позавчера, в четверг, я должен был уехать в Москву и даже предупредил телеграммой брата, но встретил Стасова — лучшего критика, пророка, главу и т. п. всей нашей русской музыкальной школы; он пригласил провести вечер у него, пообещав мне, что все эти люди соберутся у него дома, а А. Рубинштейн специально приедет из Петергофа, где он купил дом. Новая школа не признает его как композитора, но «принимает» как исполнителя. Я согласился отложить свою поездку на день; любопытство меня мучило, и потом мысль, что я смогу все это Вам рассказать! Приезжаю в $7^1/_2$ часов. Вся «школа» в сборе: Кюи, Бородин, Римский-Корсаков с женой, Мусоргский и Рубинштейн. С Рубинштейном мы сердечно расцеловались, он расспрашивал меня о Вас... а потом сел за рояль и сыграл восхитительно, хотя и громковато, серьезные вариации Шумана, одну из последних сонат Бетховена, две вещи Шопена».

В 1880 г. Тургенев приехал в Россию, чтобы участвовать в торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве. «Если погода будет хороша, праздник выйдет чудесный,— пишет он Клоди Виардо.— Народ едет со всех сторон. В первый раз в России так чествуют простого литератора». Известно благоговейное отношение Тургенева к Пушкину — оно отразилось и в рецензируемой публикации. Сообщая княгине Трубецкой, как трудно дается ему писание «пушкинской речи», Тургенев вспоминает слова Мефистофеля из «Фауста» Гёте: «Того, что лучше всякого трактата, ребятам ты не скажешь все равно». Тургенев будто не решается праздно рассуждать о Пушкине, но зато в одном из писем Полине Виардо целиком переписывает ей (по-русски!) элегию «В последний раз твой образ милый...», относя ее к таким вещам, которые, даже будучи прежде хорошо известными, вновь оказавшись перед глазами, производят сильное впечатление.

Приезжая на родину, Тургенев всякий раз старается побывать в Эрмитаже, посещает выставки молодых русских художников и скульпторов. «Здесь Антокольский и Верещагин,— пишет он Полине Виардо 20 марта 1880 г.— Выставка их произведений наделала много шуму и многим испортила кровь. Высшее общество ставит в упрек Верещагину недостаток патриотизма (он не изобразил ни одной победы!), а Антокольскому — недостаток религиозности. И к тому же еврей, изображающий Христа!! Так сказала одна здешняя прелестная дама, которую называют «разум двора»: «Я не могу признать моего господа в этом бунтующем еврейском рабе». Спор с ней по этому поводу; спор с каким-то кривым господином, который напал на меня прямо на выставке. Публика нас окружает. Я горячусь, говорю скорее пылко, чем осторожно. Публика смеется и поддерживает меня; кривой господин злится и едва не угрожает. Черт бы его побрал!»

Последние годы жизни популярность Тургенева среди его русских читателей все росла и росла. Незнакомые люди приветствовали его при случайных встречах на улице, в театрах, на выставках, а студенты устраивали ему настоящие овации. Сам писатель объяснял это не только известностью своих сочинений, но и общественными эмоциями и симпатиями: в Тургеневе чествовали одного из деятелей славной эпохи 40—60-х годов, провозвестника освобождения крестьян.

Примечательно впервые опубликованное А. Звигильским письмо Тургенева Полине Виардо 5 (17) марта 1879 г., в котором рассказывается о триумфальном приеме писателя университетской молодежью Москвы. «Вообразите себе более чем тысячу студентов в грандиозной зале Благородного собрания,— описывает это событие Тургенев.—Я вхожу, шум такой, что здание грозит рухнуть, крики «ура», шапки летят в воздух, потом два огромных венка, потом спич, который прокричал мне прямо в ухо юный делегат студентов, спич, граничащий в каждом слове с недозволенным, взрывчатым; ректор университета в первом ряду кресел, весь бледный от страха: я пытаюсь ответить так, чтобы, сказав нечто большее, чем банальность, не поджечь пороха; потом, после чтения вся эта толпа следует за мной в соседние залы, вызывая меня исступленно 20 раз подряд; девушки хватают меня за руки... чтобы я их поцеловал!!! Это было безумие! Если бы жандармский полковник не явился бы, чтобы самым любезным образом извлечь меня оттуда и посадить в экипаж, я думаю, что был бы еще там. Я прекрасно понимаю причину всего этого; накануне реформ, давно обещанных и все откладываемых, накануне рождения их к политической жизни вся эта молодежь заряжена электричеством, как Лейденская банка — а я служу лишь средством разрядки. Мои либеральные взгляды причиной тому не менее, чем мои литературные достоинства. Если бы эта несчастная молодежь не участвовала в манифестациях, она взорвалась бы! Но это не мешает мне быть чрезвычайно тронутым случившимся...»

Таким образом, разысканные и опубликованные Александром Звигильским письма затрагивают достаточно широкий спектр литературных и общественных вопросов, дают новый материал для понимания биографии, творческой судьбы, эстетических взглядов русского писателя. Но, кроме того, пусть и нуждаясь в переводе с французского, эти письма воскрешают из небытия такие сладостные в чистоте своей речи и благородстве звучания страницы турге-

---

В. ЛАКШИН
«ПОЧТОВАЯ ПРОЗА» И. С. ТУРГЕНЕВА

невской эпистолярной прозы, что мало кого они оставят равнодушными. В этих письмах попадаются, и не так уж редко, как бы законченные прозаические миниатюры, напоминающие известные «Стихотворения в прозе».

Не могу напоследок отказать в удовольствии себе и читателям и не привести хотя бы два отрывка в этом роде: один — поэтическое видение знойного юга, где как бы звучит музыка прощания, другой — картина дождливого северного лета.

«Уже несколько дней эти слова не оставляют меня: «Addio, addio», «Прощай, прощай...» И это слово «Addio» пробуждает во мне другое воспоминание. Это было в Риме, во время карнавала 1840 года. Переходя маленькую уединенную улицу, я вдруг увидел на пороге дома красавицу — девушку в костюме крестьянки из Альбано. Она держала за руку человека, закутанного в темный плащ, и, утопая в слезах, говорила ему: «Addio, addio». Она говорила это голосом таким проникновенным, светлым и в то же время разбитым, что звук его запомнился мне, и кажется, я и сейчас его слышу. Не знаю, зачем рассказываю Вам все это. Addio!» (Из письма Полине Виардо 21 июня 1850 г.)

И как контраст к этой лирической миниатюре, которая под пером любого другого писателя грозила бы выглядеть чрезмерно романтической и сентиментальной, не менее выразительная — и сугубо реалистическая — зарисовка тоскливой деревенской непогоды:

«Воет ветер, стремительный дождь, смешанный с градом, бьет в стекла, небо грязно-серое и мрачное, деревья извиваются, как бесноватые, на градуснике 4° ниже ноля (и это в полдень!), в комнатах холодно и сыро, вороны, уносимые шквалом, жалобно и мрачно каркают. Фет, который только что покинул меня, садясь в экипаж, завернулся в теплую зимнюю шубу, даже лошади, увозившие его, ощетинились — их знобило; проходящие крестьяне закутаны в овчины, в меховых шапках, надвинутых до самой бороды, которую ветер крутит, как петушиный хвост; а мухи—что я говорю!— всего две полузамерзшие мухи, единственные, каких мы видели в этом году, льнут к рукам; пресный и затхлый запах старого гриба проникает, кажется, в мозг—ноги нетверды, в животе бормотанье... Вот точная картина моего житья — в нынешнюю минуту на милой родине». (Из письма Полине Виардо 12(24) июня 1865 г.)

К такого рода страницам мы смело отнесем пушкинское определение: почтовая проза.

«Чем лучше почта, тем хуже письма»,— сказал кто-то из старых немецких авторов. Странное, но неоспоримое наблюдение. В эпоху, когда письма везли на перекладных, тройками, в почтовых дилижансах, они и писались неторопливо и длинно, с расчетом, что письмо, одолев расстояние, сократит его и заменит хоть в малой мере личную встречу.

В культурном обиходе человечества замечательными памятниками остались письма Честерфильда сыну и переписка Гёте с Беттиной фон Арним, письма Вольтера и мадам де Севинье, письма Герцена жене и Достоевского — брату. В XX веке телеграф и телефон заметно упростили дело. Письмо потеряло смысл незаменимого средства общения на расстоянии — тем отраднее и слаще перечитать пачку старинных писем, написанных как бы небрежно и вместе с тем обдуманно, свободно и строго, да еще принадлежащих перу такого мастера, как Тургенев.

Будем же благодарны французским ученым-славистам, вернувшим для нас и для всего читающего мира новую замечательную часть эпистолярного наследия Тургенева.

РАЗДУМЬЯ ОПТИМИСТА

(Беседа Марио Бенедетти с Роберто Фернандесом Ретамаром)

Этот диалог представляет особый интерес. Его ведут два видных латиноамериканских писателя — кубинский поэт и эссеист Роберто Фернандес Ретамар, главный редактор журнала «Каса де лас Америкас», профессор Гаванского университета, и уругвайский романист и литературовед Марио Бенедетти.

Оба эти имени известны нашим читателям. В журнале «Иностранная литература» неоднократно печатались стихи Роберто Фернандеса Ретамара, в последний раз цикл его стихотворений был помещен в № 8 за прошлый год; кроме того, на русском языке в 1967 году вышел его поэтический сборник «Своими руками». Роман Марио Бенедетти «Спасибо за огонек» был опубликован в «Иностранной литературе» (№№ 8—9 за 1969 г.).

В связи с публикацией беседы с Роберто Фернандесом Ретамаром Марио Бенедетти писал в уругвайском еженедельнике «Марча», что в Латинской Америке «в наше время появилось великое множество беззаботных пессимистов, которые забрасывают книжный рынок своими произведениями и пользуются самой активной поддержкой по обе стороны океана. Вот почему меня радует встреча с этим ярким и одаренным поэтом, который, в противоположность беззаботным пессимистам, столь органично сочетает в себе озабоченность и оптимизм».

М. Б. Назови, пожалуйста, ключевые моменты, определившие твое становление как интеллигента, и прежде всего как поэта.

Р. Ф. Р. Я не уверен в том, что смогу выделить эти ключевые моменты. Не знаю, как это вышло, но уже в детстве мне стало ясно, что я буду писателем. С семи лет я писал рассказы, разумеется, очень беспомощные, а в пятнадцать — начал писать стихи, пожалуй, такие же беспомощные. Помню, как мы — еще совсем дети — затеяли однажды играть в «Мамбрука» и кто-то поинтересовался, кем я буду. Я не захотел стать ни адмиралом, ни пожарником, ни дворником. Один из мальчиков, неизвестно почему, предложил: «Пусть он будет писателем». И тут все услышали, как я по всем правилам игры сказал: «Это дело мне подходит». Так впервые меня публично признали писателем. Что касается семьи, то моя мать (а она была совсем простая женщина и никогда не читала Бодлера) ничуть не страшилась, а напротив, даже радовалась мысли о том, что ее сын может стать поэтом; правда, поначалу ей хотелось, чтобы я был художником. Мой отец, бухгалтер по профессии, тоже мечтал в свое время сделаться актером и зачитывался Мараньоном [1] и Соррильей [2]. Таким образом, семья сочувственно отнеслась к моим интересам и по существу способствовала моему «становлению».

Это была типичная мелкобуржуазная семья, которая участвовала в заговорах против диктатуры Мачадо (она бы участвовала и в заговорах против Батисты!), которая не могла не любить такие слова, как «Куба» и «книги», и которая жила, не зная достатка, в прибрежном квартале «Ла Вибора». В стране,

[1] Мараньон, Грегорио (1887—1960) — испанский психолог, автор психологических очерков.

[2] Соррилья-и-Мораль, Хосе (1817—1893) — известный испанский поэт и драматург.

рушившейся на наших глазах, из подобных семей вышло немало революционных вожаков и значительная часть деятелей литературы и искусства.

Есть и еще одно счастливое обстоятельство: будучи совсем зеленым юнцом, я вступил в кружок молодых интеллигентов (так мы себя воспринимали в то время), где я познакомился с поэтом, которого почитал за гения и который заставил меня поверить, что мое истинное призвание — это поэзия. Он приходился внучатым племянником Хосе Марти, жил в нужде и умер фактически от голода, не достигнув восемнадцати лет. Мне тогда только-только исполнилось шестнадцать лет. Я должен был научиться самостоятельно оценивать свои творческие возможности, ибо очень скоро «Группа» — как мы гордо ее именовали — распалась, и, пожалуй, это была первая и последняя группа, к которой я когда-либо принадлежал. Уже к этому времени, Марио, я стал, говоря твоим языком, и «интеллигентом» и «поэтом прежде всего».

М. Б. Иногда писатель попадает под чье-то литературное влияние по своей собственной воле, иногда — совершенно не желая этого. Нередко писатель отрицает влияние тех, кому он поклонялся. Что ты можешь сказать о себе с этой точки зрения?

Р. Ф. Р. Не знаю, Марио, помнишь ли ты, что в предисловии к антологии «Объединенная поэзия» я написал, что «было бы большой глупостью отрицать литературные влияния или заниматься составлением списка этих влияний». Теперь ты хочешь получить от меня именно этот список. Позволь мне не делать этой глупости. Позволь лишь остановиться на тех книгах, которые сыграли важную роль в моей жизни, хотя далеко не все из них оказали влияние на мое литературное творчество. Я ничуть не сожалею о встречах с этими книгами, несмотря на то, что понимаю теперь, как далеки друг от друга многие из них, а порой и противоположны друг другу.

Подлинным открытием поэзии в мои тринадцать лет я обязан Хулиану дель Касалю[1], чьи проникновенные стихи были напечатаны в бездарном школьном учебнике испанского языка. Вряд ли Хулиан дель Касаль оказал влияние на стихи, написанные мной после встречи с ним. Но я твердо знаю, что в пятнадцать лет я молился на Касаля и видел в нем воплощение самой поэзии. В те же годы мне суждено было прочесть «Мою религию и другие краткие очерки» испанского писателя и философа Мигеля де Унамуно, и это стало новым потрясением для меня. Я принялся разыскивать и читать все книги этого человека (он сделался для меня вторым отцом — ни больше, ни меньше), которые выходили в издательстве «Аустраль». Не знаю, повлиял ли Унамуно на мое дальнейшее творчество... И, наконец, третий человек. Его имя — Хосе Марти. Трудно установить, когда я начал читать Хосе Марти. Ведь мы, кубинцы, читаем его всегда, и сегодня он нам так же близок, как и вчера. Но речь о нем впереди. Я только хотел сказать, Марио, что вот так началась для меня литература. Ведь поначалу я не воспринимал как художественную литературу книги Марти, Касаля, Унамуно — этих великих светочей человеческой жизни. Однако под их воздействием и под воздействием других авторов я приобщился к чтению или, вернее, стал понимать, что читаю художественные произведения. Позже я попытался рассказать об этом в одном длинном стихотворении, которое назвал: «Поэзия, на твоем месте...»

Перед самым окончанием школы, когда я уже был знаком с творчеством испанских поэтов, начиная от классиков и кончая «Поколением 27 года», мне встретились две книги, которые привели меня в истинное восхищение. Это была незабываемая «Антология французской поэзии от романтизма до суперреализма» — именно так прозвучал этот термин у составителя антологии Энрике Диеса (Канедо)[2] — и искрящиеся остроумием «Измы», которые Гомес де ла Серна[3] переиздал в Буэнос-Айресе. Обе эти книги я с большим трудом раздобыл на книжной ярмарке в 1946 году. Долгое время я на всех уроках писал какую-то муть, искренне полагая, что это и есть «автоматическое письмо», и лелеял мечту потрясти весь мир своими литературными открытиями. Не знаю, оставила ли эта встреча какой-то след в моем творчестве. На следующий год, после целого ряда разъездов и переездов, после печальных событий, о которых нет нужды говорить сейчас (ибо беседа может превратиться в мою автобиографию), я приобрел двухтомник Пабло Неруды «Местожительство — земля», который меня совершенно ослепил. Разумеется, я сразу стал писать, как он... Нет, я не испытывал влияния Неруды, я просто копировал его, глубоко уверенный в том, что только такой и должна быть поэзия. К счастью, эти стихи не были опубликованы. А чуть позже со мной произошла любопытная история: после того как я прочел оба тома «Местожительство — земля», мне попалась критическая работа Амадо

[1] Хулиан дель Касаль (1863—1893) — классик кубинской поэзии.
[2] Диес Канедо, Энрике (1879—1944) — испанский писатель и поэт, литературный критик.
[3] Гомес де ла Серна, Рамон (1891—1963) — известный испанский писатель и публицист. Имеется в виду его работа «Кубизм и все измы».

Алонсо[1], посвященная Пабло Неруде, от которой я тоже пришел в полный восторг. В ту пору я уже с головой погрузился в литературу, и книга Алонсо стала для меня первым примером серьезного литературоведческого анализа, примером, которому я пытался следовать в моих первых опытах в области литературоведения. Могу назвать и другие имена. Это кубинцы Рубен Мартинес Вильена[2] — не столько его поэзия, сколько он сам, его жизнь, о которой рассказывает Рауль Роа в предисловии к собранию его сочинений,— Николас Гильен, Эухенио Флорит[3], Эмилио Бальягас[4]. А чуть позже появился Сесар Вальехо, чьи стихи я прочел в той великолепной антологии, которую составил Хавиер Абриль. Сесар Вальехо! Я всегда с особым волнением читаю этого поэта... Все это не могло не сказаться на моих первых стихах, опубликованных в пятидесятых годах. По сути дела, эти стихи — настоящая мозаика влияний. Ну, а в дальнейшем на моем горизонте появились и другие имена: поэты, сгруппировавшиеся вокруг журнала «Орихенес»[5], с которыми меня связывала тесная дружба; Альфонсо Рейес[6] — пример просветленной любви к литературе; Хорхе Луис Борхес[7], печально одинокий в своей печальной старости. Потом, очевидно под влиянием Альфонсо Рейеса, моим вниманием завладели древние греки. За ними последовали современные английские поэты, Элиот и другие, которых я переводил и у которых учился чеканности языка, как позже у Брехта. В моей голове теснились самые различные мысли, связанные с судьбой Латинской Америки и с литературно-историческими концепциями таких авторов, как, скажем, Энрикес Уренья[8]... Вот таким, пожалуй, был мой духовный мир, когда вспыхнула революция, которая и оказала на меня самое большое влияние. Именно революция и ее жизнеутверждающие уроки... Если мне следует упомянуть еще какие-то имена, то в первую очередь я назову Фиделя и Че (благодаря которому я смог почувствовать себя современником Симона Боливара), затем, конечно, Хосе Марти, Мартинеса Эстраду[9], Фанона... Как я вижу, мы дошли уже до наших дней.

М. Б. Испытывал ли ты как поэт потребность верить во что-то?

Р. Ф. Р. Безусловно! И как поэт, и, разумеется, как человек. Я всегда чувствовал потребность во что-то верить, и именно это помогало мне преодолеть трудности на пути к вере.

М. Б. В твоих стихах, созданных до революции, существенное место отведено теме любви. Можно ли думать, что эта тема подменяла какую-то более широкую тему, связанную с потребностью веры во что-то?

Р. Ф. Р. Пожалуй. Не знаю. Но есть и другое объяснение, куда более простое. Один мой старый друг, преподаватель психологии, говорил мне, что очень многие молодые люди поступают в Школу психологии с тем, чтобы «разрешить свои личные проблемы». Очевидно, по той же самой причине я с такой жадностью читал в свое время Фрейда и других, менее нашумевших авторов. У Карен Хорни[10] я, к своему великому удовольствию, обнаружил классификацию неврозов, согласно которой существует так называемый невроз любви или что-то в этом роде. Этим неврозом страдают те, кто импульсивно, помимо своей воли, жаждет быть любимым, те, кого ужасает перспектива не стать объектом любви. Возможно, Марио, в этом и вся причина.

М. Б. Поэты, особенно молодые, одержимы желанием бороться против риторичности в поэзии, но зачастую делают это, чтобы утвердить новый тип риторической поэзии. Кто из нас, в конечном счете, не склонен к риторичности... Скажи мне, против каких проявлений риторичности боролся ты сам и какой новый тип риторической поэзии ты бы отстаивал?

Р. Ф. Р. Если сбросить со счетов совсем ранние, юношеские стихи, к счастью неопубликованные и не заслуживающие публикации,— это было самое откровенное подражание старому авангардизму,— я никогда не поддавался легкому соблазну писать «против», хотя, признаюсь, мне постоянно хотелось писать «иначе». Я

[1] Алонсо, Амадо (1896—1952) — испанский филолог и литературовед. Широко известны его критические работы о Пабло Неруде и Вальехо.

[2] Мартинес Вильена, Рубен (1899—1934) — выдающийся кубинский революционер-коммунист и поэт. Кубинский политический деятель и писатель, ныне — министр иностранных дел Кубы. Рауль Роа написал предисловие к антологии его стихов (1965).

[3] Флорит, Эухенио (род. в 1903 г.)— кубинский поэт-лирик, профессор литературы.

[4] Бальягас, Эмилио (1908—1954) — известный кубинский поэт, представитель афро-кубинского направления в национальной поэзии.

[5] Журнал «Орихенес» был создан кубинским поэтом и прозаиком Хосе Лесамой Лимой (род. в 1912 г.) в 1944 году.

[6] Рейес, Альфонсо (1889—1959) — известный мексиканский литературовед, писатель и критик.

[7] Борхес, Хорхе Луис (род. в 1899 г.) — аргентинский писатель и поэт.

[8] Энрике Уренья, Педро (1884—1946) — доминиканский литературовед.

[9] Мартинес Эстрада, Эсекиэль (1895—1964) — аргентинский публицист, литературовед и поэт.

[10] Карен Хорни (1885—1952) — американский психиатр.

не имел обыкновения ополчаться против реальных или воображаемых недостатков в творчестве «других». А «другими», согласно несложной механике смены поколений, становятся ближайшие предшественники. Надо полагать, что в таких странах, как наши, культурная преемственность (разумеется, и критическая преемственность) органически связана с историческим опытом всего народа, и, пожалуй, этим объясняется мое особое внимание к творческому наследию кубинской и испано-американской интеллигенции. Что касается риторичности, риторики, если относиться к ней как к мертвому грузу в поэзии, то прежде всего каждый из нас должен опасаться риторичности в собственных стихах, особенно когда ее не замечают критики. Я сам на своем творческом пути столкнулся с подобной опасностью, когда та маленькая книжка стихов, которую я написал в свои бряцающие словесами двадцать лет, была удостоена Национальной литературной премии по решению жюри, в состав которого входили столь уважаемые мной поэты, как Эмилио Бальягас и Рехино Педросо[1]. Эта книжечка (я, естественно, ничего не понимал) была насквозь пропитана риторичностью, напоминала отлично выполненные упражнения по чистописанию и уж никак не содержала в себе глубокого смысла. К счастью, вскоре я перестал заниматься ученическими поделками и через несколько лет опубликовал новые стихи, весьма несовершенные, но живые, настоящие. И вот тогда один человек — глупцом его не назовешь — написал с возмущением, что ему трудно понять, как это я при моем «умении» осмелился выпустить в свет такую неотшлифованную книгу. Он не мог сообразить, что я просто-напросто избавился от искушения писать риторические стихи... Но угроза риторичности подстерегала меня и в дальнейшем, и я помню о ней по сей день. Безусловно, я не задаюсь целью ввести какой-то новый тип риторической поэзии, напротив, я ищу максимально выразительное, максимально коммуникативное слово. К этому направлены все мои усилия, но, разумеется, я не могу утверждать (да и никто на моем месте не мог бы), что мне это удается. Поэт, которого нисколько не смущает, что он строчит заведомо риторические стихи, не достоин звания поэта. Он всего лишь жалкий бумагомаратель. Но порой поэт по своей сверхнаивности считает, что он прозрачен как воздух, а потом оказывается, что в его представлении воздух был чем-то сродни камням и свинцу.

М. Б. Считаешь ли ты, что простота — это путь к достижению истинной поэтической глубины?

Р. Ф. Р. По-моему, это единственный возможный путь. И простота была и будет для меня синонимом зрелости. Тем не менее не следует смешивать простоту с упрощенностью и лексической убогостью. Ведь не случайно самая сложная книга в поэтическом наследии Хосе Марти, да и во всей кубинской поэзии, называется «Простые стихи». Я хорошо знаю, что писатель (а еще больше поэт, об этом говорит мой собственный опыт) в молодости попадает в плен слов. В связи с этим я не раз вспоминал то место из «Юного артиста», где Эстебан влюбляется в слова, вернее, в их телесную оболочку. Одно из этих слов — «канцер». Молодого Эстебана привлекает не то, что каждое слово означает по смыслу, а то, что оно представляет собой формально, как бы физически. Можно утверждать, что это весьма характерно для молодых людей, чувствующих в себе писательское призвание. С годами в процессе творчества и в обычной жизни (и тут я снова опираюсь на свой собственный опыт) художник начинает понимать, что слова не только **хотят** назвать вещи, но и **могут** назвать их. Вот почему в дальнейшем он направляет (я направляю) все свои усилия к тому, чтобы по мере возможности не только **говорить слова**, а **называть словами вещи.** Таким образом, исчезает эта влюбленность в оболочку слова, и тогда выясняется, что простота и есть проявление творческой зрелости, ибо поэзия, приобретая свои истинные качества, передает, выражает особый, личный опыт посредством единственно возможного, незаменимого, словесного организма. Бесспорно, в простоте заключена огромная сложность. Ведь все, что было до этой простоты, страдало расплывчатостью, невысказанностью. Мы называем классиками (разумеется, противопоставляя их второстепенным писателям, а не романтикам или модернистам, среди которых есть немало классиков) тех писателей, чьи слова выдержали испытание временем. Это не были (были не только) слова, которые появлялись и исчезали по велению моды. Это были конкретные слова-названия, вобравшие в себя конкретный опыт, получивший выражение в истинной поэзии. Я никоим образом не настаиваю на том, что поэзия обязана быть простой — я далек от роли наставника,— все дело в том, что поэзия обязательно станет простой, как только в распоряжении поэта окажется действенный инструмент, который сделает его произведения более совершенными, богатыми и позволит ему обратиться к широкому кругу тем. Наша ситуация (революционный процесс, глубоко осознанный и принятый нами) может быть выражена современными поэтами в тех произведениях, которым присуща простота, то есть зрелость и сложность.

[1] Педросо, Рехино (род. в 1896 г.) — кубинский поэт.

М. Б. Однажды, размышляя о литературе периода революции, ты написал о взаимном обогащении политического и эстетического авангардов. Сказалось ли это взаимообогащение в твоем собственном творчестве?

Р. Ф. Р. Сегодня я бы не стал пользоваться этими терминами, что, однако, не означает, что я вообще отказываюсь оперировать ими. В ту пору, пять лет назад, я делал это, полагая, что сумею наибыстрейшим образом обрести поддержку моих читателей по целому ряду вопросов. Но так ли это? Сегодня я куда меньше верю в точность термина «эстетический авангардизм». Недаром из-за него возникло столько путаницы. В Европе, как мне думается, уже давно осознали, что термин «эстетический авангардизм» порожден определенными историческими условиями. Если же говорить о литературе и искусстве современных буржуазных стран (а именно в буржуазных странах появился в свое время этот термин), то как прикажете понимать «эстетический авангард» сегодня? А в условиях Кубы, Вьетнама, Кореи? Без четких ответов на все эти вопросы мы не будем знать, что общего может быть у политического и эстетического авангардов. И только потому, что эти вопросы не получили своевременно должных ответов, некоторые наши «западники» вообразили, что наш долг (как метко выразился кубинский писатель Амбросио Форнет на Конгрессе культуры в Гаване) стать «слаборазвитыми весталками» авангардистского огня, зажженного в иных краях. Иные края — удивительная случайность!— это мир капитализма... Словом, выходило так, что, осуществляя политические, экономические и социальные преобразования в нашей стране, мы одновременно должны рабски копировать любые образцы «новой волны» (а то и «старой волны») лишь только потому, что они были модными в Европе и США. Разумеется, я никогда не призывал к подобным действиям, и мы просто не вправе этого делать. Очевидно, чтобы внести ясность в положение вещей, нам прежде всего нужно освободиться от терминологии, которая оказалась несостоятельной. Эстетический авангард оказался в паре с политическим авангардом только потому, что нам не хотелось повторять заблуждений тех, кто утверждал, что революционное по содержанию искусство может быть выражено архаическими, устаревшими формами. Эту ошибочную точку зрения уже давно опровергли создатели и теоретики революционного искусства — такие, как, скажем, Брехт, чьи замечательные мысли об искусстве и революции имеют сегодня самое широкое распространение. Будучи революционером — а я учусь им быть каждый день,— я стремился и стремлюсь к созданию самых лучших стихов, на какие я способен. Мне, Марио, никогда не приходилось ощущать, что требования революции расходятся с требованиями поэзии. Ведь в революции заключена сама поэзия, и мы вправе сказать и наоборот: в поэзии заключена революция.

М. Б. В твоем стихотворении, которое называется «Призванные другим королем», ты пишешь:

Ко мне приходят бескрайние, долгие строки — я их гоню,
Они накатывают упрямым прибоем,
Рвутся ко мне взбунтовавшимися волнами,
Я их швыряю в их же грохот.

Я думаю, что ты сумел поставить самому себе совершенно правильный диагноз. Но почему ты «гонишь» стихи? Из-за робости, из-за чрезмерной требовательности к себе, из страха перед пошлостью, из-за боязни взрыва, из-за стремления к сдержанности?

Р. Ф. Р. Послушай, Марио, ведь эти стихи написаны мной двадцать лет назад, и опубликованы они были шестнадцать лет назад. Сейчас я не стану говорить, что мне совершенно непонятно, о чем я хотел сказать в этом стихотворении, так что не принимай мои слова за кокетство и дешевое подражание каламбурам Браунинга. Я лишь признаюсь, что, когда мне пришлось прочитать это стихотворение снова, я отнесся к нему с полной объективностью, будто оно написано кем-то другим, тем «другим», который, как мне помнится, был и которым я уже быть не могу.

Конкретный поэтический текст скорее, чем поэтическое искусство в целом, говорит мне о недолговечности человеческой жизни. А если речь идет о поэте, то о недолговечности жизни, которая обогащается, омывается неразрывной, надличной и, на первый взгляд, беспредельной поэзией; ведь лишь самая малая толика этой безграничной поэзии обретает плоть и кровь конкретного стихотворения. И поскольку эта поэзия находится вне пределов одного поэта, одного творца, то она покидает его в канун его смерти, по зову «другого короля», то есть другого поэта. И если эта жалкая парафраза не слишком далеко ушла от текста, то мне остается лишь согласиться с тем, что было написано «другим».

М. Б. Чем ты как поэт обязан революции?

Р. Ф. Р. Боюсь, что, отвечая на этот вопрос, я буду возвращаться к тому, что уже было сказано, к тому, что я должен был сказать (или, возможно, еще скажу). Чтобы избежать этой опасности, постараюсь говорить как можно более кон-

кретно. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что все то, чем я обязан революции как поэт, является как бы органической и притом очень существенной частью того, чем я обязан революции как человек. И последнее объяснить совсем не просто. Без лишних слов скажу, что сегодня я не мыслю своего существования в отрыве от судьбы революции, которая принадлежит не только Кубе, но и всей Латинской Америке. Ведь именно революция дала нам возможность осмыслить весь ход нашей истории — и не только в масштабах всего континента, но и микроистории каждого из нас. Я говорю, опираясь на свой собственный опыт. Для того чтобы быть латиноамериканцем, вовсе недостаточно лишь волею случая родиться на этом континенте. Быть латиноамериканцем (и прежде всего это относится к интеллигенции) — это значит принять целый ряд духовных ценностей, приобщиться, прирасти душой к совокупности определенных явлений в их историческом контексте. Сама по себе попытка конкретизировать сущность этих ценностей и явлений не имеет никакого смысла, ибо тут сплетаются воедино детские воспоминания и танго Гарделя [1]; годы учебы и книги, от которых лихорадило в тюремной камере, подпольные листовки, прославленные герои и прославленные артисты и бог весть что еще. Мне ясно лишь одно: любой человек, который знал все это, не мог не почувствовать, что вместе с 1959 годом настала наконец пора свершения чего-то огромного, зоревого, неизбежного. Думаю, что я мог бы сказать еще больше, но тогда мне пришлось бы объяснять, чем стало для меня то январское утро 1959 года и те незабываемые тринадцать лет, которые мы прожили. Именно это я имел в виду, когда говорил, что революция — я снова исхожу из собственного опыта — наделила реальным смыслом и наши мечты, и наши размышления над тайком прочитанными книгами. Ведь то и другое вело нас к драматическому воплощению, к изменению хода истории. А именно о воплощении идет сегодня речь, ибо мы, как сказал бы аргентинский писатель Давид Виньяс, познали наконец «плоть» наших идей. Теперь, пожалуй, самое время ответить на твой вопрос. Революция дала мне как поэту привилегию увидеть ее такой, какой мы видели ее в творениях, созданных нашей фантазией. Меня неоднократно спрашивали, отчего я проявляю интерес к реализму в поэзии. Отвечая на этот вопрос, я, очевидно, в частности должен подчеркнуть, что сегодня наша реальная действительность в большей степени, чем обычно — а это весьма важно! — соприкасается с идеалами.

М. Б. Почему ты так часто (и особенно в личных беседах) цитируешь Хосе Марти?

Р. Ф. Р. Сегодня, беседуя с тобой, я тоже цитировал Хосе Марти. И, признаться, мне стоило больших усилий не цитировать его слишком много. Я прекрасно понимаю, что не могу быть объективным в отношении к Хосе Марти. По моему глубокому убеждению — и тут со мной согласился бы Мартинес Эстрада,— Хосе Марти принадлежит к самым выдающимся людям, которые когда-либо жили на земле. В произведениях и делах Хосе Марти сосредоточены и доведены до высшего накала все те устремления и духовные запросы, которые восхищали меня на протяжении моей жизни в Унамуно и Хулиане де Касаль, в одержимых поэтах и великих ученых, в мечтателях и героях, в Фиделе Кастро и Че Геваре. Я не знаю другого человека, который, как Хосе Марти, вобрал бы в себя творческую энергию самых радикальных политиков и самых талантливых поэтов. Недаром Антонио Мелья [2] говорит, что многие годы своей жизни он пытался проникнуть в то, что он сам назвал «загадкой Хосе Марти». Недаром Фидель видит в нем руководителя штурма Монкады, а затем и Кубинской революции. Недаром Че Гевара приводит слова Хосе Марти в своем раннем стихотворении «Песнь Фиделю» и в «Послании Трехконтинентальной конференции», которое можно считать его политическим завещанием. А сколько великих латиноамериканцев называли его своим Учителем. Среди них и Рубен Дарио, и Габриэла Мистраль, и Альфонсо Рейес, и Мартинес Эстрада, Лесама Лима и Синтио Витьер[1]. Хосе Марти — явление совершенно исключительное, и мы, кубинцы, испытываем чувство горечи, когда видим, что его плохо знают в Латинской Америке. Любопытен тот факт, что многие из тех, кто в противовес колониалистской политике твердо стоит на антиколониалистских позициях, зачастую не знают Хосе Марти, а вместе с тем хорошо знакомы с антиколониалистским наследием прогрессивных мыслителей, которые получили признание в Латинской Америке лишь после того, как стали известны в Европе. Они не читают Хосе Марти, потому что страдают комплексом неполноценности и в глубине души подозревают, что он — звезда местного значения и что только в силу нашей провинциальности мы пытаемся поставить его в один ряд с великими мыслителями (по правде говоря, мы нередко ставим его во главе этих мыслителей). Я уверен, что настоящими провинциалами следует назвать тех, кто не знает Хосе Марти. Ведь не случайно обе Гаванские декларации — а это несомненно самые значительные политические документы Латинской Америки за последние

[1] Гардель, Карлос (1890—1935) — популярный аргентинский певец и актер.
[2] Мелья, Хулио Антонио (1905—1929) — кубинский революционер.
[3] Витьер, Синтио (род. в 1921 г.) — известный кубинский поэт и литературовед.

годы — начинаются словами Хосе Марти. Разумеется, по сравнению с другими латиноамериканцами я, как и многие кубинцы, нахожусь в привилегированном положении: ребенком я читал сборник Хосе Марти «Золотая пора» — самое глубокое и самое прекрасное из всего, что писалось для детей на испанском языке; подростком я сочинял послания девушкам (вернее, девочкам), в которых с наивной самозабвенностью копировал любовные письма Хосе Марти; когда же я заинтересовался серьезной литературой, литературой, пробуждающей мысль, то для меня не было более серьезного и более строгого к себе автора, чем Хосе Марти. Все, кроме кубинцев (если им выпадает этот счастливый жребий), открывают Хосе Марти, а мы, мы просто рождаемся с ним, возле него. Хотя надо сказать, что и мы постоянно обнаруживаем в нем что-то новое для себя. Как только молодой человек начинает критически смотреть на все, что он усвоил в школе и семье, он совершенно неожиданно встречается с новым Хосе Марти, совсем непохожим на того, каким хотели его показать наивные и ограниченные наставники. Словом, Хосе Марти всегда с нами, начиная с песен на торжественных праздниках во дворе школы и до тех самых дней, когда в круг наших интересов попадают Маркс и Ленин... Ты спросил меня, почему я так часто цитирую Хосе Марти. Надо полагать, что теперь тебе ясно, какие усилия воли мне необходимы, чтобы не цитировать его каждую минуту, подобно тому забавному герою из романа «Лунный камень», который то и дело вспоминал Робинзона Крузо.

М. Б. Мне помнится, что три года назад на одной из литературных встреч ты говорил об антипоэзии и разговорной поэзии как о двух ведущих, а порой противостоящих направлениях в современной латиноамериканской поэзии. Еще ты говорил о вполне возможной конвергенции обоих направлений, которая в конечном счете приведет к созданию «нового реализма» (согласно твоей терминологии). Время «подбросило» немало новых стихов, говорящих в пользу твоего прогноза, вот почему я хочу, чтобы ты сказал, какому из этих двух направлений «новый реализм» обязан своими лучшими достижениями?

Р. Ф. Р. Если судить по стихам, которые «подбросило» время, то мне остается лишь повторить все, что я сказал раньше: антипоэзия находится сегодня в фазе риторического самоуничтожения, а перед разговорной поэзией, которая нашла свое блистательное выражение в творчестве никарагуанского поэта Эрнесто Карденаля, раскрываются все более широкие возможности. Именно разговорная поэзия питает сегодня «новый реализм» (я понимаю шаткость, ограниченность употребляемого мною термина), который располагает всеми данными для совершенствования и обновления, как это и подобает истинной и жизнеспособной поэзии. Отсюда вовсе не следует, что развитие нашей поэзии на том и остановится. Я не удивлюсь, если в недалеком будущем увижу, что в поэзии утвердился новый тип творчества, более суровый и цельный, близкий в чем-то к тому, с каким мы сталкиваемся, когда только начинаем писать. Вот в этих переменах и заключена, как мы хорошо знаем, сама душа художественной преемственности.

М. Б. Испытываешь ли ты потребность в общении с читателем? И если испытываешь, то полагаешь ли своим долгом идти на определенные эстетические жертвы, чтобы достигнуть этого общения?

Р. Ф. Р. Разумеется, испытываю. По правде говоря, я не знаю ни одного честного поэта, который мыслит иначе, а в то же время пишет стихи и стремится их опубликовать. Ведь публиковать — это значит создавать публику, то есть читателя, идти навстречу публике, то есть читателю. Что касается второй части твоего вопроса, здесь все несколько сложнее. По сути дела, понятие «читатель» предполагает огромную массу «разнородных читателей», и уж несомненно, что жертвы, о которых ты говоришь (даже слово «эстетические» не лишает их кровавого привкуса какого-то ритуала), приводят к самым различным результатам, если место одного читателя занимает другой, и то, что в одном случае будет способствовать общению, в другом станет препятствием к общению. Иное дело, когда ты проводишь беседу в школе, в гранхе [1], в цехе. Тут ты излагаешь свои мысли конкретной публике, более или менее однородной; ты находишься с ней в непосредственном контакте. Но когда поэт пишет стихи, он не видит всех своих потенциальных читателей, и, как я уже сказал, предполагается, что они разнородны по своему составу. Вот почему сама мысль об унификации беспочвенна, иллюзорна. Она может быть как-то оправдана, когда нам кажется, что мы обращаемся к «народу», не принимая во внимание тот факт, что «народ» (частью которого являемся и мы сами) — это понятие чрезвычайно емкое и сложное. И если речь идет о народе в историческом контексте, о народе — объекте и одновременно субъекте литературного произведения, то тогда каждый уважающий себя писатель может с гордостью повторить знаменитые слова Антонио Мачадо: «Писать для народа, о чем еще я мог бы мечтать!» И нельзя забывать, что Антонио Мачадо добавляет: достигнуть этого — значит быть Толстым в России, Сервантесом в Испании. То есть достиг-

[1] Granja (*исп.*) — коллективное хозяйство на Кубе.

нуть самых больших высот. И надо понять, что писатели такого масштаба пишут не для народа, а от имени всего народа. Следовательно, писатели добиваются общения с читателем не ценой жертв, от которых страдают или произведения, или сами авторы, а отождествляют себя со своими потенциальными читателями, с народом в том его значении, которое раскрывает нам Антонио Мачадо.

М. Б. Можешь ли ты объяснить, отчего весь аппарат рекламы и литературной критики, который в значительной мере способствовал возникновению литературного бума в Латинской Америке, обходит упорным молчанием латиноамериканскую поэзию?

Р. Ф. Р. Я неоднократно говорил о том, что как только Кубинская революция пробудила интерес ко всему латиноамериканскому континенту и, естественно, к латиноамериканской литературе, предприимчивые издатели (речь идет именно о следствии, а не о причине) решили воспользоваться этим в своих коммерческих целях. И вот тут с нашей латиноамериканской литературой случилось приблизительно то же самое, что с русской литературой XIX — начала XX века и с североамериканской литературой двадцатых годов XX века. Их судьбы оказались более или менее схожими — наибольшую известность в мире получили именно русские и американские прозаики. А русские поэты, современники Толстого и Достоевского? А североамериканские поэты поколения Фолкнера и Хемингуэя? Разве они обрели мировую славу? Сегодня такая же участь, за небольшим исключением, постигла латиноамериканских поэтов — современников «бумизированных» романистов. Я полагаю, что это объясняется и спецификой рекламы, которая рассчитывает на большие доходы от широкой продажи книг. Ведь нам известно, что романы по ряду причин, касаться которых мы сейчас не будем, раскупаются значительно лучше, чем поэтические сборники.

Здесь учитывается не столько их художественная, сколько коммерческая ценность, которая определяется прежде всего рекламой, а не литературной критикой. Говоря это, я ни в коей мере не отрицаю высокие литературные достоинства произведений современных латиноамериканских прозаиков.

М. Б. Считаешь ли ты, что культурный и книжный рынок Европы по-прежнему является фактором отчуждения для кубинских писателей? Я имею в виду рынок, а не европейскую культуру, как таковую.

Р. Ф. Р. К сожалению — и всем это известно,— общество, переживающее революционный процесс, не может разом освободиться от всех пережитков прошлого. На Кубе уже поколеблены условия для поддержания буржуазных предрассудков, и тем не менее мы и сегодня встречаем динозавров, которые не понимают, что такое равноправие женщин или, скажем, борьба против расизма. Стоит ли удивляться тому, что в нашей стране, достигшей полной национальной независимости и осмыслившей всю значимость связей с Латинской Америкой, равно как и со странами «третьего мира», еще существуют пережитки колониального сознания, которые позволяют писателям думать, что только европейский или североамериканский книжный рынок, только издательства Европы и США могут принести им подлинное признание и оправдать их литературное творчество. Вспомним пример более печальный и, если хотите, более парадоксальный. Вспомним о тех сторонниках антиколониализма, которые в первую очередь читают и изучают авторов, изданных в метрополии, и обходят своим вниманием выдающихся соотечественников — антиколониалистов.

М. Б. На Кубе наблюдается некоторое нетерпение, некоторое беспокойство в связи с тем, что успехи революции пока не получили должного освещения в художественной литературе. Разделяешь ли ты это вполне объяснимое беспокойство?

Р. Ф. Р. Меня, по-видимому, нельзя назвать безучастным свидетелем революционных событий. Мне думается, что я одновременно и свидетель, и судья (коль скоро должен отвечать на твой вопрос), и живой участник этих событий. Учитывая все это, я хочу сказать, что теперь, двенадцать лет спустя после того, как свершилась революция, у нас нет основания для такого рода «беспокойства» и «нетерпения». Хотя мы должны быть нетерпеливы в принципе, ибо только это от нас и требуется. Все дело, может быть, в том, как я уже говорил (а мы неизбежно возвращаемся к тому, что уже обсуждалось, потому что ходим по одним и тем же местам), что многие ожидают появления какого-то вида литературы или искусства там, где его не следует ждать или где он возникнет позже, и тем самым лишают себя возможности стать свидетелями зарождения нового вида художественного выражения. Мне помнится, в 1959 году один аргентинский профессор, выступавший в Гаванском университете, призывал кубинских художников заняться настенной живописью, поскольку это должно отвечать интересам латиноамериканской революции, как в свое время это доказала революция в Мексике. У профессора нашлось немало сторонников, независимо от того, слушали или не слушали они его лекцию, которые не отрывали свой взор от стен — в надежде не пропустить тот

долгожданный час, когда художники-монументалисты примутся за святое дело. А между тем им нужно было лишь взглянуть на плакаты, сообщавшие о массовом митинге на площади Революции, или на убранство этой площади в дни грандиозных манифестаций, чтобы увидеть, как возникает новое пластическое искусство революционной Кубы. Тот факт, что это искусство появилось вовсе не там, где его ждали, нисколько не противоречит его революционной сущности, а напротив, лишний раз подтверждает эту сущность. Да и мы вовсе не должны считать революционным то, что, скажем, соответствует академическим схемам, какого бы толка они ни были. А разве не явилось для нас неожиданностью (пусть несколько меньшей), что кубинское кино достигло серьезных успехов, не следуя эпике эйзенштейновских картин, рассказывающих о военных подвигах, а обратилось к созданию документальных фильмов, достоверно рассказывающих о свершениях каждого дня революции? Можно было бы привести множество других примеров. Но пора вернуться к литературе... Я думаю, что вряд ли будущий читатель станет сетовать на малое количество литературных произведений, созданных в первые годы революции. Он, конечно, не сможет найти драму в стихах или эпический роман, в которых были бы отражены эти годы. Но будет ли этот читатель заниматься подобными поисками? Ведь он получит возможность познакомиться с незабываемыми историческими речами (а если историческая речь не есть определенный жанр литературы, то на каком основании мы говорим нашим студентам, что Демосфен — греческий писатель, а Цицерон — римский?), с бесценными документальными страницами из «Дневника» Че Гевары (они заставят вспомнить об «Анабасисе» древнегреческого историка Ксенофонта)... и, конечно, целым рядом стихов, которые могут служить примером грубокого проникновения в суть великого коллективного опыта первых лет революции. И если все это не соответствует академическому, застывшему представлению о том, что следует, а что не следует считать литературой, то виновны в этом не произведения, а те, кто находится в плену условностей, не литература, а академическое представление о ней, независимо, идет ли речь о старом или новом академизме. Что касается художественной литературы в традиционном плане, то помимо поэзии следует сказать о том, что в последние годы появилось много талантливых рассказов, связанных с революционной тематикой. Нам значительно меньше повезло с романом и драматургией. Может быть, в ближайшее время все изменится к лучшему, а может, и нет. Как знать, вдруг нас в первую очередь порадуют новые жанры, а не новые произведения... Большие надежды внушает такой жанр, как «свидетельство». Ведь не случайно этому жанру уделяет сегодня особое внимание творческая молодежь.

М. Б. Как ты относишься к проблемам, которые встают перед интеллигенцией у вас, в социалистическом обществе?

Р. Ф. Р. Для нас эти «проблемы» являются частным случаем (для нас бесспорно существенным — по причинам чисто цехового характера) тех общих «проблем», которые возникают у любого человека (будь он или не будь интеллигентом) в его отношениях с социалистическим обществом. Ведь в отличие от предыдущих обществ, где в конечном счете все сводилось к замене одних эксплуататоров другими, социалистическое общество дерзновенно идет на уничтожение эксплуататоров (речь идет, конечно, не о физическом уничтожении, а об уничтожении их функции). Это означает, что социалистическое общество в корне отличается от всех классовых обществ, поскольку в нем не существует разделения на эксплуататоров и эксплуатируемых. Те, кто строит это общество, должны бороться против навыков и обычаев, укоренявшихся тысячелетиями, и, пожалуй, правильно будет сказать, что именно из-за этого возникает «проблема» взаимоотношений отдельной личности, независимо от профессии, и социалистического общества. Классовое происхождение или ошибочное поведение могут сделать эту личность жертвой эксплуататорского сознания. Нет нужды объяснять, что в данном случае «проблемы» будут иметь серьезный характер и подобная личность может вступить на путь открытой контрреволюции в самых различных ее формах или покинуть страну с тайным, но несбыточным желанием навсегда порвать с ее историей, а то и вообще с историей, как таковой. Но, разумеется, проблематика не исчерпывается этими крайними ситуациями. Даже у тех, кто остался в стране, даже у тех, кто почитает себя революционером, кто говорит об этом во всеуслышание и кто может им быть в определенном аспекте, даже у них остались пережитки эксплуататорского сознания, выявляющиеся в предрассудках, о которых шла речь в предыдущем ответе. Эти пережитки вызывают «проблемы», потому что противопоставляют личность социалистическому обществу. В наше время в среде интеллигенции не могут не встретиться личности, чье поведение было сродни поведению эксплуататоров. Их «проблемы» — это «проблемы» лицедействующих «гусанос»[1]. Они отличаются от какого-нибудь латифундиста или гангстера (в зависимости от той ступеньки, на которой стоят) только звоном словес. Одни призывают к свободному предпринимательству, а другие — к «свободе культуры». А теперь поговорим о тех

[1] Gusanos *(исп.)* — черви, так называют на Кубе контрреволюционеров.

интеллигентах, которые искренне полагают (с полным основанием), что их нельзя отождествлять с эксплуататорами. А, между тем у них есть весьма любопытные пережитки. Эти пережитки не проявляются в сфере самых вульгарных предрассудков, они связаны с иллюзорным положением «маленьких богов», которое для них изобрело капиталистическое общество, если говорить на жаргоне художников. Старое как мир разделение труда на физический и умственный позволило безмятежным представителям последнего придумать целый ряд глупостей, которые мы при каждом удобном случае возводим в категорию догм. И точно так же, как интеллигенты буржуазных стран, которые лишь изредка сознавали свою сопричастность — а это очевидный факт — разграблению стран «третьего мира», так и сама интеллигенция «третьего мира», как правило, не хотела видеть явной и логической связи между дарованной ей бездеятельностью (если оставить в стороне и вполне возможное низкое социальное происхождение, и те трудности, которые пришлось преодолеть, чтобы выбиться в интеллигенты) и ужасающими условиями жизни «других». Когда же революция, сообщившая высокий смысл умственному труду, возложила тем самым определенные обязанности на интеллигенцию, это последнее обстоятельство породило «проблемы» во взаимоотношениях некоторой части интеллигенции с обществом. На Кубе до сих пор встречаются рабочие, которые все еще не осознали, что они сами и представляют народную власть. Эти рабочие стремятся сохранить дихотомию «рабочий — хозяин» в своих отношениях с государством. Нет ничего удивительного, что подобные заблуждения позволяют некоторым интеллигентам чувствовать себя судьями, а не действующими лицами революции, и в то же время в соответствии со своим историческим сознанием они не хотят слиться с темными силами контрреволюции. Вот тут-то все и осложняется. Каждому ясно, что все действия революционного государства не могут автоматически получать положительную оценку, и тем, кто вскрывает ошибки и борется. Потому что, с другой стороны, не все то, что делает революционное государство, автоматически делается хорошо, как это само по себе ясно, и те, кто вскрывает ошибки и борется за их искоренение, вовсе не только не являются контрреволюционерами, как раз наоборот, как это доказывает пример наших выдающихся руководителей. Весь вопрос заключается в том, что критическая деятельность должна осуществляться в тесной связи с революцией, на благо революции. Как видишь, я снова уклонился от разговора об интеллигенции. То, что я только что сказал, имеет прямое отношение к любому участнику революции. Я глубоко уверен, что чрезмерное увлечение чисто профессиональными проблемами или проблемами интеллигенции — плохой путь для решения этих проблем.

М. Б. В чем выражается взаимиая зависимость между революционной Кубой и ведущей творческой иителлигеицией Латинской Америки?

Р. Ф. Р. Французская революция с полной очевидностью доказала, что ее влияние проявилось далеко за пределами Франции, скажем, к примеру, в Германии. То же самое имело место и в других случаях. Да иначе и не могло быть! Но когда мы говорим о Кубинской революции, когда мы хотим знать, какое влияние она оказала на творческую интеллигенцию Латинской Америки, нам следует начать с того, что истинные границы Кубинской революции не замыкаются на маленькой территории острова, а включают в себя всю Латинскую Америку. Иными словами, Кубинская революция — это, по существу, пролог к революции на всем континенте. Блестящим примером тому служит подвиг Че Гевары, и я думаю, нет нужды доказывать эту очевидную истину. Таким образом, по логике вещей все импульсы нашей революции сказываются не только на кубинцах, но и на других народах Латинской Америки. Это бесспорно относится и к писателям латиноамериканского континента. Выше я говорил о том, что мы можем встретиться с литературным выражением Кубинской революции (ее первых лет) даже в тех областях, а может быть, прежде всего в тех областях, которые сегодня в противоположность далекому прошлому не принято соотносить с художественной литературой. Теперь я хочу раздвинуть рамки моего предыдущего ответа и сказать, что Кубинская революция найдет свое литературное выражение и в творчестве латиноамериканских писателей, не обязательно тех, которые живут на Кубе, а тех, кто сумел почувствовать всем сердцем, что это их революция, что она принадлежит им. Мы знаем, что революция изменила жизнь многих писателей и снова связала их судьбы с судьбой целого континента. Пожалуй, трудно будет отрицать, что латиноамериканская литература этих лет, пробудившая такой интерес во всем мире,— это в известной мере литература зарождения латиноамериканской революции. Что касается нас, кубинских писателей, то революция помогла нам почувствовать себя снова настоящими латиноамериканцами. Стоит ли удивляться, что сегодня самое большое воздействие на нашу творческую молодежь оказывают латиноамериканские писатели (впервые в нашей истории), а не писатели Европы и США. И дело вовсе не в том, что мы безрассудно отмежевались от всего мира... Как раз наоборот: сегодня, как никогда прежде, мы сами стали этим миром, то есть мы захотели стать самими собой, и мы на правильном пути.

Гавана

Перевод с испанского Э. БРАГИНСКОЙ

Заметки на полях

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В последние годы в ВНР активно обсуждаются многие важные и актуальные вопросы дальнейшего развития венгерской культуры. Пути этого развития четко обрисованы во многих документах Венгерской социалистической рабочей партии, в решениях ее X съезда, в Директивах ВСРП по культурной политике. Речь идет сейчас о том, чтобы все представители творческой интеллигенции, принявшие социализм как цель своей собственной деятельности, а также все работники системы государственно-культурных учреждений правильно поняли курс партии и целеустремленно проводили его на практике.

Один из узловых пунктов нынешней идеологически-культурной ситуации в Венгрии — проблема правильного понимания «принципов трех Т». Три «Т» — это: поддержка, терпение, запрещение (по-венгерски: тамогаташ, тюреш, тильташ).

Вот что писал по этому поводу Гёза Мольнар в начале прошлого года (его статья в газете «Непсава» была среди первых, открывших обсуждение):

> «Три принципа литературной политики нашей партии — это: 1) всемерно поддерживать общественно ангажированные, высокохудожественные произведения коммунистической и социалистической направленности; 2) терпеливо принимать к сведению наличие еще не коммунистических, не социалистических, но не враждебных нашему общественному строю, в некотором смысле нейтральных направлений типа «искусство для искусства»; 3) категорически запрещать идеологически враждебные произведения. Эти три неразделимых, монолитных правила привели за последнее десятилетие к таким результатам в венгерской литературе, к такому творческому подъему, которые ясно доказывают, что эти основные принципы эффективны и нет нужды менять их».

Но почему же тогда статья Г. Мольнара называлась «Общие трудности нашей литературы»? В ходе подготовки к X съезду ВСРП и на самом съезде, среди тех, кто создает литературу и искусство, и тех, для кого они создаются, выражалось, говоря словами того же Г. Мольнара,

> «недовольство по поводу соотношения этих принципов, по поводу их реализации: мало поддержки и много терпения».

Разумеется, эти слова, это «недовольство» соотношением принципов следует воспринимать не в абсолютном смысле, а в свете постоянно растущих требований венгерского общества, строящего социализм, к своей художественной культуре. Исходя именно из таких требований, венгерская общественность проявляет известную неудовлетворенность тем, например, что недостаточно еще появляется произведений,

> «уходящих корнями в глубины общественной жизни, изображающих судьбы тех, кто разделяет наши общественные идеалы».

Рост тиражей книг венгерских современных писателей, продолжает Г. Мольнар,— факт вдохновляющий, но нередко бывает так, что произведения, утверждающие коммунистические принципы жизни, по своим тиражам оказываются ниже среднестатистического уровня, к тому же и стоят они дороже различных детективов. Между тем

«в стране есть культурная, зрелая в мировоззренческом отношении читательская аудитория, которая ждет высокохудожественных и интересных произведений, по-партийному отражающих наше время».

В начале 1972 года газета «Непсава» опубликовала статью Габора Ридега «Первое Т». Ее смысл и направленность — те же, что и в прошлогодней публикации газеты. Г. Ридег также выступает против

«тенденций, которые пытаются «либерализовать» правильный принцип нашей культурной политики чрезмерным подчеркиванием терпения и ссылкой на второе «Т» стараются оттиснуть на задний план реалистические направления в искусстве и их представителей... Только идеологически обоснованное единство и одновременное применение трех «Т» может служить действительно эффективному осуществлению наших политических, общественных целей. Самая существенная роль из трех «Т» принадлежит все же поддержке... Директивы ВСРП по культурной политике недвусмысленно определяют, что наше социалистическое общество в моральном и материальном отношении должно поддерживать такие направления в искусстве, такие высокохудожественные произведения, которые своим содержанием, марксистско-ленинской идейностью помогают осуществлению наших общественных целей».

Эта поддержка отнюдь не сводится только к материальному и моральному стимулированию. Задача состоит в том, чтобы культура осознанно социалистической ориентации стала реально доминирующей в количественном и, что особенно важно,— в качественном аспектах. Это предполагает, в частности, дальнейшее развитие марксистской критики в Венгрии, о чем пишут и говорят все, кто участвует в обсуждении сегодняшней художественно-культурной ситуации в стране.

«...Поддержка,— замечает Пал Э. Фехер в статье «Общество, искусство, категории», напечатанной в газете «Непсабадшаг»,— означает не беспринципное обеспечение привилегий тому или иному произведению, а толковый анализ, выделение социалистических художественных тенденций, критическую оценку с точки зрения общественной потребности и общественного воздействия... Поддержка рассчитана на стимулирование социалистического искусства в целом, вернее, тех произведений, которые воздействуют именно в этом направлении. Она означает не устранение критики, а потребность в том, чтобы общественные сдвиги отражали главные устремления, основные векторы развития венгерского общества, мировое положение социализма, отражали бы в соответствии с истиной».

Существенный момент проходящего обсуждения — подчеркивание исторической динамики венгерского общества в процессе социалистического созидания, прогрессивных изменений в его социальной структуре. Отсюда — и усложнение проблематики культурной жизни (как в широком объеме этого понятия, так и в сфере собственно литературно-художественного творчества), отсюда же — и более высокие критерии подхода к идейно-эстетической стороне художественных произведений. В статье секретаря ЦК ВСРП Д. Ацела «Наша культурная политика и изменяющаяся действительность», опубликованной в теоретическом органе ЦК ВСРП «Таршадалми семле», рассматриваются важнейшие идеологические процессы и задачи, касающиеся всего фронта современной венгерской культуры (в широком смысле последнего понятия).

«X съезд ВСРП,— подчеркнул Д. Ацел,— как бы засвидетельствовал, что строительство социализма есть такой исторический процесс, основной сущностью которого было и останется беспрерывное изменение, развитие и который вместе с тем означает все более полный расцвет возможностей социалистического общества».

В широком контексте современной идеологической борьбы в мире, в многосторонней проблематике продолжающейся культурной революции — в ленинском, социалистическом, а не в каком-то асоциальном, «чисто» просветительском смысле — находит свое, также динамически изменяющееся, место и вопрос о соотношении между первым и вторым «Т». И этот вопрос требует конкретно-исторического подхода.

Вернемся к статье Г. Мольнара...

Структура литературных направлений в Венгрии 60-х годов сложилась в результате развития специфических традиций культуры прошлого и как следствие определенных обстоятельств предшествующих лет истории уже народной Венгрии. Г. Мольнар отмечает, что

«три правила (назовем их ради упрощения тремя «Т») соответствуют союзнической политике партии, являются преломлением этой политики в области литера-

туры. Дело лишь в том, что эти правила, эти рамки, внутри которых с помощью многих разумных, гибких конкретных мероприятий удалось сплотить единой волей верхов и низов в единое целое венгерскую литературную жизнь, сами не могут считаться застывшими категориями».

Что здесь имеется в виду? Дело не только в том, что некоторые писатели теми или другими своими конкретными произведениями занимают как бы промежуточное положение между направлениями, охватываемыми или первым, или вторым «Т», «кочуют из одной области в другую»,

«мы еще недостаточно подчеркиваем,— пишет Г. Мольнар,— что «терпение» носит не статический характер, оно предполагает сближение, восприятие социалистических, коммунистических идей, творческое выражение их в произведениях». Конечно, «...нельзя так развивать социалистическую базу литературы, так решать вопрос о поддержке социалистической, ангажированной литературы, чтобы был сужен широкий литературный лагерь, объединяющий многие другие, в частности левокатолические, направления, хранящие буржуазные прогрессивные традиции, основанные на гуманистических ценностях и переходящие в своем развитии от антифашизма к антиимпериализму, направления, которые уже сейчас во многом переплетаются с социалистическими тенденциями».

Но жизнь идет вперед, и нельзя — сегодня тем паче — просто «принимать к сведению наличие» наряду с социалистическими тенденциями тенденций общедемократического характера: надо приближать их к осознанно социалистическому демократизму.

Речь идет, таким образом, об увеличении реального влияния социалистических тенденций на всю культурную, духовную жизнь современной Венгрии, об укреплении социалистического реализма как доминирующего творческого направления, причем не на суживаемой, а, напротив, постоянно и целеустремленно расширяемой «кадровой» основе. Серьезную роль в этих процессах призвана играть критика. Вот почему, подчеркивается в упоминавшейся статье Д. Ацела,

«одной из наиболее важных задач мы считаем укрепление в критике и литературоведении категорий марксистской эстетики. Но эти категории марксистской эстетики должны применяться согласно принципу «конкретного анализа конкретной ситуации».

Известно, что этот принцип В. И. Ленин называл душой марксизма.

Рассмотрев специфические условия культурно-исторического развития Венгрии, Д. Ацел подчеркивает общие закономерности культурной революции в странах социализма, культурной политики социалистического общества. Относительно Венгрии он пишет:

«Из общности наших целей, из исторической роли социалистической общественной системы, из ее закономерностей следует (я касаюсь только культурных отношений), что все наши усилия должны быть направлены на утверждение ленинского принципа в партийном и государственном руководстве культурой; на обеспечение необходимых условий для распространения марксистского мировоззрения; на разрешение противоречий между культурой элитарной и массовой, между технической цивилизацией и духовной культурой; на устранение объективных и субъективных препятствий, стоящих на пути укрепления взаимосвязи между массами трудящихся и культурой; на поддержку революционных и прогрессивных национальных традиций, равно как и других прогрессивных духовных сил».

Этими словами можно и закончить наши краткие информационные заметки. Добавим к сказанному только одно: венгерские товарищи внимательно изучают опыт развития советской культуры и политики в сфере культуры... Время иное, конкретно-исторические условия другие, и все же представляется закономерным, как пишет, например, Пал Э. Фехер, обратиться к

«практике, характерной для культурной политики Ленина и Луначарского... мы сверяем свою работу с бесспорными достижениями успешной политики, вернее, стремимся использовать опыт дискуссий того времени».

И в самом деле: никоим образом не ставя знак равенства между социально-культурными ситуациями в СССР 20-х и ВНР 60-х годов (что было бы неисторично), правомерно ощутить некоторые «переклички» в проблематике культурного развития и в способах и подходах к определенным вопросам. Например, когда советский читатель знакомится с постановкой вопроса в сегодняшней Венгрии об отношении к произведениям, представляющим тенденцию второго «Т», ему на память приходят положения известной резолюции ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года — там тоже говорилось о терпимости «к промежуточным идеологическим формам», о том, чтобы помогать представителям творческой интелли-

генции, еще не ставшей на позиции осознанного социалистического мировоззрения, переходить на эти позиции. Это была терпимость не во имя «параллельного», без конца, существования социалистических и несоциалистических тенденций, а во имя «такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии».

История доказала правильность и плодотворность такой политики для судеб общества и искусства.

Ю. С.

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» ПРОТИВ «ЦИВИЛИЗАЦИИ МУЖЧИН»

За последние полтора-два года в американском женском движении, широком и неоднородном по своей идеологической окраске, появилось течение, которое вышло за рамки традиционных либеральных форм борьбы и влилось в ряды политической оппозиции, заняв место рядом с молодежным движением протеста и борьбой негров за равноправие. Одновременно с этим и в особом направлении активизировалось радикально-экстремистское крыло этого течения — так называемое *Women Liberation* — «Женское освобождение». Оно выдвинуло своих идеологов и публицистов, чьи книги вызвали широкий резонанс, стали бестселлерами; сокращение *Women Lib* или просто две буквы *WL* замелькали на обложках журналов, на первых полосах газет. Американская пресса, радио, телевидение не без удовольствия занялись взаимоотношениями женщин с обществом мужчин. Да и редкая тема предоставляет такой простор для исторических и литературных параллелей, взаимной иронии и справедливого негодования.

В отличие от традиционного, либерального направления в женском движении, которое продолжает добиваться эмансипации женщин в первоначальном значении этого слова, то есть равенства экономических и юридических прав, сторонницы «Женского освобождения» вкладывают в понятие эмансипации иной смысл.

Они подрывают незыблемые до недавнего времени представления, суть которых выразила еще в 1910 году Э. Дж. Путнем в своей книге «Леди»: «Большинство женщин, отвлекаясь от экономических соображений, называют счастьем любовь, детей и маленькую республику домашнего очага, отданную на милость мужчины... Женщина должна быть подобна готовому платью, сшитому на среднего мужчину... Именно это правило, приобретшее статус закона природы, обеспечивает возможность наименее ярким, с точки зрения индивидуальности, женщинам передавать по наследству свои качества».

Подобные взгляды были широко распространены и в 50-е годы. Женщины, восставшие против «закона природы», признавались «невротичками». В американских женских журналах, которые обычно возглавляются мужчинами, еще и сейчас можно встретить такие заголовки: «Женственность начинается дома», «Заводите детей, пока вы молоды», «Кухня для меня — развлечение», «Чему могут научиться женщины от прародительницы Евы». Совершенно недвусмысленно высказался по этому вопросу небезызвестный американский писатель Генри Миллер:

«Вечная борьба с женщиной обостряет наше сопротивление, развивает нашу силу, расширяет круг наших культурных достижений. Утрата полярности полов явится краеугольным камнем еще большего распада, отражением духовной смерти и совпадет с исчезновением великих людей, великих целей, великих войн... Поставьте женщину на ее законное место».

Проблему своего «законного места» представительницы «Женского освобождения» собираются решать разными, но в равной мере радикальными способами. И если один из лидеров движения, Линда Фелз, в брошюре, озаглавленной «В чем разница?», пишет, например:

> «Женское движение не достигнет сколько-нибудь серьезных результатов, если женщины будут ставить себе задачу равенства возможного участия в современной жизни Америки, не изменив существующую систему расточительства и эксплуатации — нашу экономическую систему»,

то поэтесса Сюзен Гриффин видит причину всех общественных, политических и культурных зол в самой сущности «цивилизации мужчин». В статье «Насилие — всеамериканское преступление», опубликованной в журнале «Рэмпартс», она утверждает:

> «Существуют два моральных стандарта — для мужчин и для женщин... Культура мужчин заставляет женщину чувствовать себя объектом, а не субъектом человеческого поведения. С этой точки зрения она лишена статуса человеческого

существа... Когда говорят, что муж и жена — одно, имеют в виду, что это одно — муж... Подобно большинству женщин, я всегда рассматривала насилие как часть моего естественного окружения...

Насилие — не изолированное явление, исчезающее с исчезновением патриархальной семьи. Те же люди и система, которая преследует женщин, повинны в насилии над Вьетнамом, негритянским народом и самой землей, на которой мы живем. Реформы не устранят насилие — символ иерархии белых мужчин».

Некоторые участницы Движения требуют:

«Если мы собираемся освободиться, мы должны отвергнуть тот образ, который побуждает мужчин любить нас, и тогда они перестанут нас любить...» (М. Шелли, «Прочь с наших плеч!» Журнал «Комментари»)

И, наконец, самые ярые экстремистки заявляют:

«Жизнь в обществе в лучшем случае — дикая скука. Само же общество никакой своей стороной не касается женщин. Общественно-сознательной, ответственной, ищущей сильных ощущений женщине остается лишь скинуть правительство, уничтожить денежную систему, установить полную автоматизацию и ликвидировать мужской пол». (Т.-Г. Аткинсон, «Радикальный феминизм», сборник «Женское освобождение»)

Этой программе нельзя отказать в динамизме, но нужно отметить при этом, что в ней нашли свое четкое выражение все слабые стороны радикального феминизма. В сфере политики предлагается привести к власти эксплуатируемый класс женщин, класс же эксплуататоров, то есть мужчин, уничтожить как худшую ПОЛОВИНУ человечества. В плане экономики «мужскую» систему сменят сами средства производства — машины. О судьбе цивилизации остается лишь строить увлекательные догадки, так как здесь ясно дано понять, что участницы «женской революции» не только сознают свой общественный долг, но и ищут сильных ощущений.

Таким образом, для ультра «Женского освобождения» равенство с мужчинами не представляется ни задачей, ни идеалом.

Как справедливо указывают идеологи Движения, общепринятый до недавнего времени в Америке взгляд на женщину фактически совпадал со взятой на вооружение фашистами формулой: киндер — кюхе — кирхе. Если сегодня взглянуть на реальное положение и умонастроения современной американской женщины в свете этой формулы, то станет совершенно очевидным, что от кирхе осталось немного, да и кухня занимает в душе современной американской женщины уже совсем не то место, что прежде, хотя из всех работоспособных женщин США работает только 49%, а из всех замужних — 40%. Что же касается первого элемента этой триады — детей, то он, собственно, и стал идейным эпицентром Движения. Именно здесь, по мнению «революционных» феминисток, кроется корень извечной эксплуатации женщин. Поэтому вопросы биологии становятся для них вопросами социальными и политическими, а взаимоотношения полов — классовыми взаимоотношениями.

Ведущий теоретик Движения Кэйт Миллет заявляет в своей нашумевшей книге «Половая политика», что целью революции должно стать уничтожение общественного характера отношений между мужчиной и женщиной и установление полной свободы личных связей.

Надежды на преодоление детерминизма своей биологической программы воинствующие феминистки связывают с достижениями современной науки. Они считают, что рождение и воспитание детей — такая же работа, как и другие виды общественной деятельности, требующие соответственных склонностей и способностей, особенно в условиях перенаселения, когда качество этой «продукции» приобретет решающее значение. Высказываются предположения, что, возможно, было бы целесообразно доверить вынашивание своего ребенка другой женщине, а воспитание — третьей и т. п.

Однако и в этом наиболее «революционном» аспекте программы «Женского освобождения» есть сторонницы самых крайних мер. Так, Валери Соланис в манифесте, опубликованном в антологии «Единство сестер — это сила», призывает:

«Теперь, когда размножение без участия мужчин и воспроизведение одних только женщин стало технически возможным, мы должны приступить к осуществлению этой задачи немедленно. Мужчина — биологическая случайность: Y-ген (мужской) есть неполный Х-ген (женский), то есть он представляет собой неполный набор хромосом. Другими словами, мужчина — это незавершенная женщина, ходячий аборт, произведенный на уровне гена».

Валери Соланис — пока единственный член основанного ею «Общества по ликвидации мужчин» (кстати, первую свою жертву ей удалось лишь ранить), однако, как мы уже видели, в своих стремлениях уничтожить «худшую» половину человечества она не одинока.

Интерес представляет не только само Движение как своеобразный феномен современной идейной жизни США, но и та дискуссия, которая все шире разворачивается

вокруг него. Всеобщее внимание привлекла книга Нормана Мейлера «Узник секса», в которой он прокомментировал интересовавшие его аспекты «Женского освобождения».

Мейлер разделяет недовольство женщин американской общественной системой и считает справедливыми их традиционные требования. Он сам ненавидит «консерваторов с их пластиком и технологией».

«В сознании общества,— пишет Мейлер,— все более укрепляется мысль, что женщины всегда были самым эксплуатируемым классом... И, если взглянуть на женщин с точки зрения экономической статистики — наглядной и убедительной,— женщины, бесспорно, класс».

Его не пугает возможный значительный рост числа семинаристов в желтых шалях и академиков в чепце. С этой точки зрения, говорит он, наша эра, очевидно, предпочтительней прежней. Однако поколение молодых женщин, чья молодость проходит в университетских городках под знаменем «поп-арта», наркотиков, свободного секса, ЛСД, высоких скоростей и юбок короче мини, не представляется ему привлекательным.

«Женщины,— утверждает Мейлер,— добиваются прежде всего культурной и сексуальной революций (о которой умолчала Л. Фелз). Подлинный смысл их требований сводится к тому, что без осуществления этих революций — им не достичь экономического равенства».

Именно эти два аспекта «Женского освобождения» занимают Мейлера, поскольку как раз в них, по его мнению, предстают характерные черты времени.

Он готов предоставить женщинам сексуальную свободу (весьма умеренную и унизительную, как считают радикальные феминистки).

«Очевидно,— пишет он,— они имеют право на то, чтобы выбрать себе мужчину, а это возможно лишь при условии их освобождения... Пусть они делают, что хотят: умирают от мужских болезней, ходят вместо нас на работу с завтраком в кармане и сигарой в зубах, летают на Луну».

Он при этом не скрывает своей уверенности в том, что женщины скоро поймут, что мужчиной быть тяжелее. Сам Мейлер вовсе не склонен игнорировать биологические различия полов, и «технологические мечты» современных феминисток он считает «последней игрой абсурда». Культ чувственности ему гораздо ближе, как «более человечный». Самым опасным представляется ему то, что в отличие от всех других революций, оставлявших неизменной саму биологическую природу человека... «женская революция» имеет тенденцию заменить женщину машиной.

Размышляя об ее возможных последствиях, Мейлер пишет:

«Революция может привести к созданию бюрократии секса, и технологи от генетики станут ее интеллигенцией. Во всяком случае, так могло бы произойти, если бы все было предоставлено решению Кэйт Миллет. Такая революция привела бы к окончательному разрыву между художниками и инженерами, пророками и программистами, романтиками и технологами, гориллами и организованными эшелонами сторонников ненасильственных действий. Это был бы апокалипсис, способный взорвать нашу собственную человеческую «технологию».

Рассуждения Мейлера о технологии типичны для многих деятелей культуры Запада: он абсолютизирует технологию (которая есть лишь средство в руках людей), видит в ней угрозу индивидуальной свободе. Радикализм «Женского освобождения» становится для него проявлением общей тенденции нивелировки элементов человеческого общества, создания «общественных машин». Кэйт Миллет превращается в его рассуждениях в символическую фигуру, олицетворяющую дух времени:

«В ее жилах течет кровь века, зараженная технологией, и ее книга станет отправной точкой для тех интеллектуальных кругов (несравненно более широких, чем она их себе представляет), которые смогут рассматривать Движение как первое оружие для грядущего заключения в тюрьму романтической идеи мужчин. В ее книге звучит проза будущих тюрем, поскольку она сочла разницу между мужчиной и женщиной несущественной, считая, что «эмоциональные издержки должны быть исключены». Ее строй мысли очень подошел бы тем, кто хотел бы вести умеренный образ жизни в отравленных городах, созданных для молодых одиночек — проводников техники, которым будущий город представляется как общежитие из 10 миллионов блоков без детей и собак».

Сравнивая естественный и глубоко личный процесс деторождения с «художественным творчеством», видя предназначение женщины в «улучшении вида» в процессе этого творчества, Мейлер воспевает физическую боль как возвышенное человеческое качество, придавая моральную ценность страданию.

В ответной статье на страницах журнала «Атлантик» известная американская писательница Джойс Кэрол Оутс обвиняет Мейлера в том, что он, пользуясь своим талантом, представляет привлекательными антигуманные стороны положения женщин.

«Неудивительно, что феминистки видят в технологии свое освобождение... Некоторые (Мейлер) рассматривают женское тело как священный сосуд, предназначенный для производства на свет других священных сосудов во славу господа, что довольно мерзко... Если дух не управляет телом, оно не более чем машина. Так почему же не заменить ее настоящей машиной?..

Несмотря на все чудеса и опасности технологии, какой же смысл романтизировать или игнорировать ее? Возвышение человеческой боли — это приятие биологического механизма тела без бунта. Почему не потребовать от технологии, чтобы она сняла с нас бремя боли, насколько это возможно?.. Быть в западне физического назначения равносильно смерти личности... Устройство тела не должно более определять духовную жизнь личности. Если Движение добьется только этого — оно достигнет уже почти всего...

Человечество стоит перед фаустовской проблемой: мы контролируем природу или она нас? Принять технологию и создать машины, вынашивающие наших детей,— это звучит безумием, извращением. Но разве не безумие отрицать право человека на выбор в этом вопросе? Ведь подобные проблемы не встают перед нами в обычных медицинских случаях, когда такой подход кажется нам пустой сентиментальностью».

Оутс не считает женщин единой социальной группой, она утверждает, что нет реальности, единой для всех женщин, поэтому их нельзя «как машины одного типа зачислять в единый класс».

«Есть индивидуум, а не класс,— возражает она Мейлеру.— Единственная истинная реальность — это реальность человеческой личности, а не ее сексуальное «я». Поэтому мы отшатываемся от женщин-шовинисток, претендующих на единство «сестер», как в свое время отшатывались от мужчин-шовинистов, пытавшихся всем женщинам дать единое определение.

Но после всех этих рассуждений,— продолжает Оутс,— нельзя отрицать того факта, что мы являемся свидетелями высвобождения женской ненависти... Женщине всегда было запрещено ненавидеть. Агрессивность была славой мужчин, а в женщине ее проявления вызывали ужас... Ничто не остановит эту ненависть — ни законодательные меры, ни самые искренние намерения мужчин прийти на помощь Движению. Этот процесс еще только начинается, он примет, очевидно, еще более зловещие формы.

И все же, возможно, он не будет долговечен, ибо ненависть никуда не ведет, у нее нет цели и энергии».

В этом она согласна с Мейлером, который, отмечая, что к существующим в американском обществе противоречиям (между белыми и черными, молодежью и старшим поколением) прибавился антагонизм полов, полагает, что анархические настроения, ставка на раскрытие личности в сильных ощущениях — анахронизм:

«Цивилизации нужны люди, чья духовная энергия превалировала бы над генитальной».

Характеризуя духовную атмосферу, в которой родились идеи радикальных феминисток, американский писатель В. С. Притчет писал в своей статье «С Мейлером в цирке секса», опубликованной на страницах журнала «Атлантик»:

«Войны нашего столетия породили технологизированный секс. В жизни американского общества секс стал оружием... занял в нашей культуре место роскоши, превратившись в нашу башню из слоновой кости, которую другие, менее обеспеченные народы не могут себе позволить...

Сознание, что можно заниматься любовью, расщепив личность на физическую и этическую составные части, превращает секс в эксцентрическое зрелище, в котором акробаты-неудачники удивляются тому, что они так часто срываются с трапеции. Наш цирк секса изобилует этими гримасами поражения... мы обладаем плотью, но живем с человеческими характерами и теми свойствами, которыми наделила людей природа: именно здесь истоки цивилизации, а не в обыденности заборных слов...

В цирке секса, кульминацию которого мы наблюдаем сегодня в движении «Женское освобождение», его брамины толкуют эту проблему в терминах мировой революции... что свидетельствует об их поражении и посредственности».

Писатель не верит, что осуществление выдвинутой ими программы приведет, как они надеются, к уничтожению капитализма или хотя бы к прекращению войны во Вьетнаме.

Итак, несмотря на различия точек зрения, большинство американских комментаторов признают, что в экстремистском направлении женского движения в США нашел свое новое выражение процесс отчуждения между важнейшими компонентами американского общества. Единодушно считая движение «Женское освобождение» характерным явлением общественной жизни США, отражающим присущие ей закономерности, они тем не менее столь же единодушно склонны искать причину этого процесса фрагментации в последствиях научно-технической революции. Однако развитие научно-технического прогресса зависит от социально-экономических условий, которые определяются не взаимоотношениями «класса» мужчин с «классом» женщин, а подлинно классовыми отношениями. «Женское освобождение» предстает, таким образом, в ряду противоречий между капиталом и свободным развитием личности, которые многими деятелями американской культуры ошибочно осознаются как проблемы, поставленные перед американским обществом современной технологией.

Отвлекаясь от американской специфики, можно сказать, что за разговорами о «цивилизации мужчин» и «классе женщин» скрывается, по существу, вопрос о судьбе общей культуры единого вида homo sapiens в условиях четко наметившейся тенденции нивелировки полов, тенденции чисто культурной, а не биологической. Культура эта отражает реальное существование двух половин человечества. Все рассуждения о женщине как о «биологической машине» отражают ясно обозначившуюся возможность снять с нее «технические» трудности «работы» по воспроизведению вида. Изменившиеся исторические условия порождают недовольство женщин той ролью, которую они играли до сих пор в жизни человечества. Однако радикальные феминистки претендуют, собственно, на то, чтобы стать мужчинами. Надежды «жриц партеногенеза» [1] на помощь эволюции в вопросе кардинального изменения вида и предложение ликвидировать для этой цели мужчин (а почему не женщин?) — все это лишь одно из проявлений дегуманизации буржуазного общества, так как, если законы эволюции и стоят над моралью, то для цивилизации людей мораль явилась бесценным завоеванием, и желание перешагнуть через нее наводит на мрачные мысли.

Т. РОТЕНБЕРГ

[1] Партеногенез — однополое размножение.

Публицистика

К 50-ЛЕТИЮ СССР

ШАНДОР ЭК

1921, МОСКВА...

В начале 20-х годов никто, конечно, не мог знать, когда и каким образом кончится эмиграция для венгерских коммунистов, которых хортистский белый террор вынудил бежать за границу.

Мои занятия живописью, начатые при Венгерской советской республике, в условиях венской эмиграции вряд ли могли продолжаться, проблема была все та же, что и на родине после победы контрреволюции. У меня не было ни аттестата зрелости, ни материальных возможностей, чтобы попытаться поступить в художественное училище. Я хотел найти работу по своей первой специальности слесаря-моториста, но меня никуда не брали. В Вене тогда много квалифицированных рабочих не могли найти себе дела. Я брался за любую случайную работу, которую удавалось получить: мыл машины, убирал снег с улиц, разрисовывал акварелью открытки, на которых типографским способом был отпечатан контур рисунка, который надо было раскрасить,— но от мысли стать художником не отказался и всячески старался развивать свои способности. Я использовал для рисования любую представлявшуюся мне возможность, рисовал карандашом, черной или цветной тушью, рисовал с натуры, делал композиции. Не было у меня недостатка и в моделях, всегда среди моих товарищей находился любитель искусства, соглашавшийся позировать бесплатно. Пейзажи я делал с натуры. Куда бы я ни шел, у меня всегда была при себе тетрадка для зарисовок... Время от времени я показывал свои работы Уитцу, который их всегда внимательно просматривал, охотно высказывал свое мнение, давал советы. Но несмотря на все мои усилия и помощь Уитца, занятия живописью в подобных условиях не давали мне никакого удовлетворения, более того, казались совершенно бесперспективными.

Прошло полтора года с тех пор, как партия приступила к реорганизации своих разгромленных рядов. У руководителей, живших в то время в Вене, было сложившееся мнение о том, как надо организовать и использовать силы партии на родине и в эмиграции для предстоящей подпольной борьбы. Мы, молодые рабочие, были идейно готовы идти куда пошлют по первому же зову партии и выполнять ее поручения. Но я никак не мог себе представить, что партия в скором времени пошлет меня в Москву. А ведь так именно и случилось. Меня вызвал к себе Янош Хирошшик [1] и сказал, что партийное руководство и секретариат Союза рабочей молодежи единогласно решили послать меня в Москву, где в высшем художественном учебном заве-

Из книги «Вчера и сегодня», готовящейся к выпуску в издательстве «Прогресс».
[1] Член первого состава ЦК Коммунистической партии Венгрии.

дении я смогу закончить учебу, начатую в студии пролетарского искусства в период Венгерской советской республики. Хирошшик сообщил мне еще, что Уитца тоже посылают на продолжительное время в Москву для ознакомления с жизнью советских художников и что мы поедем вместе.

...В Советской России только что кончилась гражданская война. Когда в январе 1921 года Бела Уитц и я выехали из Вены, советские республики, одержав победу, еще не успели объединиться в единый Советский Союз. В то время было не очень просто попасть на советскую землю, приходилось преодолевать барьеры, установленные государствами, не желавшими признавать Советскую Россию. И все же не так уж редко люди тем или иным путем туда попадали...

...Была ночь, когда мы с Уитцем в самом начале 1921 года прибыли в Петроград, город победившей пролетарской революции, который теперь носит имя Ленина. На расстоянии стольких лет я как сквозь сон вижу вокзал, где мы высадились после долгого путешествия. На грязном каменном полу вокзала, погруженного в мрачную полутьму, сидели и лежали усталые, сонные люди. Даже те, кто спал, судорожно сжимали руками пожитки, на которых они лежали. Там были и женщины неопределенного возраста, которых трудно было отличить друг от друга, и одеты они были в какие-то ни на что не похожие одеяния, мужчины в военном, а некоторые и в гражданском. Они покорно терпели, когда мы через них перешагивали, а если при этом их еще и задевали, лишь что-то ворчали, продолжая дремать и цепляться за вещи.

Поезда тогда ходили редко, расписание нарушалось. Обычные пассажиры, не члены делегации и не должностные лица, для которых места в поезде были забронированы, по многу дней сидели на станциях, ждали, когда какой-нибудь состав пойдет в нужном им направлении, и были рады, если им удавалось прицепиться к площадке вагона, сесть на буфер или залезть на крышу, а уж место в товарном вагоне считалось и вовсе роскошью.

В комендатуре вокзала о нашем приезде знали и отправили нас в гостиницу «Астория». Ледяной ветер мел улицы. Мороз, как говорится, действительно пронизывал до костей. Огромный город казался вымершим. Покрытая снегом деревянная мостовая была вся разворочена. Фонари на улицах не горели. Только патрули вооруженных рабочих свидетельствовали, что в городе еще есть жизнь. Нашу машину останавливали на каждом перекрестке. Надо было предъявлять документы. Таковы были мои первые впечатления. Время тогда было очень суровое. Когда мы приехали в гостиницу, в нашей комнате уже топилась печка, но тепла от нее мы сразу не почувствовали. Милая женщина, которая по возрасту могла быть моей матерью, с платком на голове, с озабоченным выражением лица, улыбаясь, укладывала мне в постель горячие кирпичи. Она навалила на меня столько одеял, что мне даже тяжело от них стало. И все-таки я постепенно снова надел на себя все, что снял, и только так мне удалось уснуть.

На другой день мы были приняты в представительстве одной из организаций Коминтерна, находившемся тогда в Петрограде, товарищем Литвиновым, будущим народным комиссаром иностранных дел. Он поручил нас заботам эстонской коммунистки Кингисепп, которая вместе со своим мужем боролась за советскую власть. Товарищ Кингисепп [1] был одним из коммунистических руководителей на Балтике.

Я мало что мог осмотреть в тогдашнем Петрограде. Я видел Зимний дворец и ближайшие к нему улицы, удивлялся трамвайным рельсам, проложенным прямо по льду Невы, любовался панорамой, открывавшейся с набережной. Через два дня я уже выехал в Москву.

Во время гражданской войны представителем венгерских интернационалистов в Москве был Эндре Руднянски, бывший журналист из города Печ. К нему я и должен был явиться. От него зависела моя дальнейшая судьба в Москве.

В приемной у Руднянски народу толпилось великое множество, одни приходили, другие уходили. Я успел там познакомиться с коренастым крепышом в буденовке, комиссаром конного отряда, который в австро-венгерской армии служил в гусарском полку. Он прижимал к себе слишком длинную для него русскую саблю, висевшую на боку и мешавшую ему при ходьбе. Это был скульптор Золтан Олчаи Кишш [2]. Еще я там встретился с Фаркашем Лебовичем, одним из венгерских революционеров. Во время первой мировой войны он жил в эмиграции в Швейцарии, где в Цюрихе познакомился с Лениным.

Руднянски вызвал из соседней комнаты секретаря Шандора Рааба, адвоката из Кошице, бывшего военнопленного.

— Товарищ Рааб,— сказал Руднянски,— отправьте этого молодого рабочего на Воронцово Поле и дайте ему стипендию за месяц вперед. А вы,— обратился он снова

---

[1] Виктор Эдуардович Кингисепп (1888—1922) — эстонский революционер, большевик. Незадолго до нашего приезда он вместе с другими товарищами попал в руки контрреволюционеров. Белогвардейцы придумали для них мучительную казнь. Их привязали к сваям на берегу моря во время отлива с таким расчетом, чтобы прилив закрыл их с головой.

[2] Золтан Олчаи Кишш родился в 1895 году, с юных лет участвовал в рабочем движении, жил в эмиграции до 1945 года, потом вернулся в Венгрию. Лауреат премии Кошута.

ко мне,— ступайте к товарищу Самуэли, она живет в «Люксе» и тоже учится в художественной школе... Она вам и объяснит, как туда поступить.

Рааб повел меня в свою комнату. Там стояло несколько столов, за которыми сидели заместитель секретаря и другие служащие.

Рааб открыл сейф и вынул оттуда несколько листов бумаги величиной примерно с половину чертежного. С обеих сторон на бумаге были отпечатаны какие-то знаки, вроде марок, но без зубчиков и величиной раза в два больше, чем наклейки на спичечных коробках. Это были деньги, которые по желанию или по потребности можно было резать вдоль разделяющих линий. Я уже забыл, скольким рублям соответствовал каждый денежный знак. Рааб передал мне несколько листов денег, я расписался, потом он мне посоветовал найти для себя какую-нибудь посудину: до тех пор пока вопрос с моим приемом в художественную школу не будет решен, я буду столоваться в ближайшей дружине демобилизовавшихся красноармейцев, вернее, получать из их общей кухни на обед порцию каши. От Рааба я еще узнал, что Воронцово Поле — название улицы, где расположен дом, в котором живут венгры. Когда-то в этом доме останавливались командиры и политработники венгерских соединений Красной Армии, бывавшие проездом в Москве. Дом был бесхозный. Туда направили и Золтана Олчаи Кишша.

Пока я улаживал свои дела с Раабом, ко мне обратился старый Фаркаш Лебович:

— От денег толка большого не будет... Иди со мной, я помогу тебе получить хлеб, а в деньги ты его разве что завернешь.— И скорее самому себе добавил: — Почему его не послали в «Люкс»? Там хоть какой ни на есть паек выдают.

Лебович повел меня в пекарню венгерской дружины, выписал ордер и велел пекарю выдавать мне через день по килограммовой буханке хлеба. Он объяснил мне, что пятьсот граммов хлеба в день — самый большой паек, который получают только военные и рабочие. Но так как я еще очень молод, а другой еды у меня, по-видимому, не будет, он постарается устроить, чтобы полкило хлеба у меня было каждый день. Лебович оказался прав, в течение многих недель полкило хлеба было моей основной пищей. Продукты для дружины отпускались строго по количеству солдат, а по приказу Руднянски мне полагалось получать там всего лишь порцию каши на обед.

В то время в Москве, да и во всей России, все и всегда были голодны. Но голод не помешал красноармейцам одержать военную победу, не мог он умалить и революционное воодушевление, мечты о прекрасном, никогда никем не виданном будущем, таившем в себе чудесные возможности. Даже голод не имел власти над революцией.

...Я тогда еще не мог бы связно определить, каким представляю себе новое искусство, но ни супрематизм, ни конструктивизм меня не устраивали. В изобразительном искусстве меня уже тогда прежде всего волновали идея, содержание. Но вообще я чувствовал себя среди студентов Вхутемаса очень хорошо. Я всегда с удовольствием участвовал во всех мероприятиях, большинство из которых организовывал Маяковский. Незадолго до того он сам учился во Вхутемасе. Молодежь там была симпатичная, веселая, полная энтузиазма.

Кроме общежития у студентов было жилое помещение в самом институте. Жили коммуной, у нас была общая довольно большая комната, где стоял длинный стол и две такие же длинные скамейки около него. Там поставили для меня кровать, на которой я и спал после того, как переехал сюда с Воронцова Поля. В коммуне были и юноши, и девушки. Однажды два парня и девушка заболели скарлатиной. Товарищи отнесли их на руках в больницу, которая находилась на расстоянии нескольких километров, их забота о больных была поистине трогательной. Тогда еще не было ни машин «скорой помощи», ни носилок. Все необходимое для дезинфекции доставили на тачке.

Еще в 20-х годах я написал о своих первых впечатлениях от пребывания в Советской России в годы военного коммунизма. Эта запись продиктована непосредственными впечатлениями молодого художника, вступающего в пору зрелости. Вот строки из этого текста:

> «За восемь месяцев, проведенных в Москве, я был свидетелем главным образом стихийных мероприятий военного коммунизма, направленных на защиту революции от интервенции, блокады, нищеты и голода. Будущее таилось во мраке неизвестности. Одно лишь было несомненно — непоколебимая уверенность, с которой большевики решили во что бы то ни стало и при любых обстоятельствах удержать уже завоеванные революцией твердыни».

■

...За III конгрессом Коминтерна, проходившим с 22 июня по 12 июля 1921 года, следовали II конгресс Коммунистического Интернационала молодежи и I конгресс Интернационала красных профсоюзов (Профинтерна). Делегаты конгрессов коммунистической молодежи и Профинтерна присутствовали в качестве гостей на заседаниях конгресса Коминтерна.

Мне сообщили, что исполнительный комитет партии и секретариат Союза рабочей молодежи избрали меня делегатом на II конгресс Коммунистического Интернационала молодежи, а это давало мне возможность присутствовать и на III конгрессе Коминтерна.

III конгресс Коминтерна заседал в Большом Кремлевском дворце в бывшем царском тронном зале. Трон с царским гербом над ним был скрыт построенным перед ним помостом, украшенным с двух сторон живыми растениями. На помост вела лестница из 5—6 ступенек во всю ширину помоста, обтянутая красной материей. На помосте был длинный, покрытый красной скатертью стол президиума, а рядом с ним — кафедра для ораторов. С одной стороны огромного зала ряд окон выходил в кремлевский двор и была видна Москва-река, с другой стороны в такие же оконные проемы, в неоклассическом стиле, были вставлены зеркала. Белые стены и потолок зала украшали золотые и лепные орнаменты.

Перед III конгрессом Коминтерна состоялся X съезд РКП(б). На этом съезде Ленин дал точный ответ на вопрос, каким путем молодое пролетарское государство, покончив с гражданской войной и интервенцией, должно перейти от режима военного коммунизма к мирному строительству социализма. Эти мероприятия должны были облегчить тяжелое бремя, которое несли рабочий класс и крестьянство и которое становилось уже непосильным. Найти этот путь в сумятице тогдашней жизни было не просто, и внутри партии шли об этом горячие споры.

В этой сложной ситуации разбитая контрреволюция подстрекала к бунту. В феврале — марте 1921 года под лозунгом «Советы без коммунистов» произошел кронштадтский мятеж.

В то же время в капиталистических странах Европы волна революций, поднявшаяся к концу первой мировой войны, спала. В Венгрии свирепствовал белый террор. В Германии буржуазная реакция, заключившая союз с правыми социал-демократами, приведший потом к установлению веймарского режима, шаг за шагом теснила героически сражающийся немецкий рабочий класс. Во Франции и Италии также пора революционного подъема была позади. При таком внутреннем и внешнем положении на X съезде партии большевиков по инициативе Ленина был принят план новой экономической политики, так называемый нэп. Несмотря на некоторые «уступки» капитализму, это был значительный шаг на пути укрепления народного хозяйства и его социалистической перестройки в Советской России, первой стране победившей диктатуры пролетариата.

X съезд РКП(б) был как бы прелюдией к III конгрессу Коминтерна, где ленинская платформа единства коммунистического движения была утверждена в мировом масштабе.

После одного из перерывов объявили выступление члена итальянской делегации Лаццари[1]. Лаццари уже поднялся на помост и подходил к трибуне, когда через дверцу в той стене зала, где были зеркала, у самого помоста тихо вошел Ленин. Раздались аплодисменты, делегаты вставали со своих мест, чтобы увидеть и приветствовать Владимира Ильича.

В эпоху мировых переворотов люди всегда нуждались в выдающихся личностях, в вождях. Пролетарская революция в России и все международное революционное движение нашло такую личность в Ленине. Человечеству был нужен не только его гениальный ум, творческая сила, гигантские знания, но и его гуманизм, величие его духа. Сила и привлекательность ленинского характера заключались в глубоком человеколюбии, простоте, уважении к творческому труду, но главным образом и в том, что не было в его характере даже намека на беспринципное, пустое чванство, властолюбие. Вот почему имя Ленина сверкает как самая светлая звезда человечества.

Я много раз в своей жизни видел политических деятелей, чье появление вызывало овации. Был я свидетелем и стихийных, непосредственных выражений радости, и заранее организованных чествований, видел политических деятелей, которых приветствовали восторженно, от всего сердца, и других, которым аплодировали по обязанности, потому что так было принято. Но ни одна из этих приветственных встреч и оваций не походила на то, как на III конгрессе Коминтерна приветствовали Ленина. Такого я никогда не видел ни до, ни после этого. Но поразили меня и запечатлелись в памяти не восторженность, с которой приветствовали Ленина, не повторные взрывы аплодисментов, а сам Ленин — как стоял он под градом обрушившихся на него приветствий, единственный и незабываемый. Трудно описать, каким был Владимир Ильич в эти торжественные минуты. Он не пытался движением рук или выражением лица усмирить восторг, прекратить чествование, но было видно, что он ни в малейшей степени не поддался опьянению успехом. Спокойно и просто, без малейшей позы, совершенно естественно и скромно стоял он под обрушившимся на него громом аплодисментов, словно и не ему хлопали, и ждал, когда наконец затихнет шквал.

Если в наши дни в какой-нибудь социалистической стране студент сдает экзамен по философии и на вопрос: «Что такое ленинизм?» отвечает: ленинизм — это марксизм эпохи империализма и пролетарской революции, теория и тактика пролетарской

[1] Костантино Лаццари (1857—1927) — видный деятель рабочего движения Италии, один из основателей Итальянской социалистической партии, член ее ЦК.

революции, интернациональное учение пролетариев всех стран, то мы воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Мы знаем, что эта сила продолжает расти. Но знаем ли мы, каким был сам Ленин — живой человек, способный любить и ненавидеть, радоваться и страдать, восторгаться и огорчаться, человек, который верил в будущее и боролся за него?..

Ленин боролся не за какое-то отвлеченное будущее. Он видел и любил это будущее в людях, и прежде всего в детях и в молодежи, но ненависть к бесчеловечности ничуть не уступала в силе его любви к людям.

На конгрессе Ленин выступал на немецком языке. Ясная аргументация его выступлений, убедительность доводов, неумолимая логика, решительность и последовательность выводов разбивали любое сопротивление оппозиции...

■

...Янош Лекаи[1] уговорил меня сделать зарисовки на конгрессе. Для облегчения этой работы Лекаи достал мне пропуск прессбюро конгресса, дававший право свободного передвижения в помещениях, где происходили заседания.

...Овации, которыми был встречен Ленин, утихли, на трибуну поднялся итальянский делегат Лаццари. Ленин, севший у самого конца стола президиума, после первых вступительных слов Лаццари тихо встал и пересел на ступеньки лесенки, ведущей с помоста в зал, у самого подножия трибуны. Он удобно устроился на ступеньке, опершись левым локтем о край помоста, положил перед собой блокнот и кепку, такую всем знакомую, и стал внимательно слушать оратора, находившегося от него на расстоянии не более двух метров. Увидя, что Ленин усаживается на ступеньку, несколько человек в первом ряду встали, чтобы уступить ему место. Но Ленин мимикой и выразительным жестом руки показал, что своей предупредительностью они мешают ему слушать оратора. Выражение лица и жесты Ленина были полны такой решимости, что все тут же отказались от своего намерения. То же повторилось на следующий день или через день, когда слово получил представитель руководства одной из «ультралевых» групп немецкой делегации, так называемой Коммунистической рабочей партии. Ленин с большим вниманием прослушал выступление этого представителя, сидя в течение получаса на ступеньках лесенки. Но сначала ему опять пришлось отклонить любезность делегатов из первого ряда, которые хотели уступить ему свое место.

Я тоже уселся на лесенке в нескольких метрах от Ленина и принялся его рисовать.

Глубоко запечатлелась в моей памяти смена выражений на лице Ленина, сидевшего на ступеньках. Ленин был целиком поглощен речью выступавшего, а мое внимание было целиком обращено на выражение лица Владимира Ильича. Когда он поднимал голову от блокнота, в его лице было даже что-то ребяческое, такими бывают лица детей, внимание которых сосредоточено на чем-то одном, и они не замечают происходящего вокруг. В этом есть что-то трогательное. На лице Ленина тоже было вот такое трогательное выражение, когда его широко открытые, такие характерные, чуть монгольские глаза вопросительно смотрели на оратора. Он поднимал левую руку к уху, его лицо внезапно становилось серьезным. Потом глаза его вдруг сужались, он слегка наклонял голову набок, лицо озарялось едва заметной тонкой саркастической улыбкой. Но и улыбка исчезала, а сощуренные глаза пристально и остро впивались в оратора... Быть может, отчасти мне удалось передать это внимательное выражение лица Ленина на плакате, нарисованном через четыре года после его смерти для съезда немецкой рабочей молодежи в 1928 году в Хемнице.

Из портретов Ленина, сделанных при жизни, я считаю лучшими, самыми верными и выразительными картину Бродского «Ленин в Смольном» и скульптуры Николая Андреевича Андреева. Хотя и после смерти Ленина было создано несколько превосходных произведений искусства, запечатлевших его образ, мне кажется, что они в большинстве случаев уступают в правдивости портретам Андреева и Бродского.

Когда я покидал Советскую Россию, из соображений конспирации рисунки, сделанные мною на конгрессе, оставил в Москве. Перед моим отъездом их взял к себе тогдашний секретарь комсомола Лазарь Шацкин. Мы договорились, что при первой возможности он отошлет мои зарисовки Лекаи в Берлин. Но этого не произошло.

Хотя за всю свою беспокойную жизнь я потерял многие работы, больше всего мне жаль рисунков с Ленина, сделанных на III конгрессе Коминтерна, и зарисовок периода Венгерской советской республики.

■

Пожалуй, на эти годы пришлась одна из самых противоречивых эпох художественного развития XX века, но именно в то время с пронзительной силой заявил о себе

[1] Янош Лекаи (1836—1925) — журналист, деятель международного коммунистического движения.

особенно искренний, волнующий, подлинный пафос искусства пролетарской революции. Этим чистым пафосом были проникнуты и произведения таких тяготеющих к сатире художников, как Маяковский. Отсвет этого пафоса несет в себе его «Мистерия-буфф», им же наполнен и пролог, написанный для спектакля, состоявшегося в честь III конгресса Коминтерна:

Товарищи!
Вас, представляющих мир,
Всехсветной Коммуны вестники,—
вас
сегодня
приветствуем мы —
рев-комедианты,
рев-живописцы,
рев-песенники.
Вашим странам
предстоит еще
взорванными лететь —
Европам,
Африкам,
Америкам,
Азиям,—
а нам
уже
удается разглядеть
черты Коммуны. встающей над фантазиями.

«Мистерия-буфф» была первой советской пьесой, показанной на сцене. Первый ее вариант был поставлен Мейерхольдом в 1918 году в Петрограде в первую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции на сцене Коммунального театра музыкальной драмы. Премьера второго варианта состоялась 1 мая 1921 года в театре Мейерхольда в Москве. Спектакль на немецком языке, показанный в конце июня в помещении московского цирка, был особой инсценировкой.

В первом акте «Мистерии-буфф» действие разыгрывается на всем земном шаре, изображенном на сцене в виде стоящего на одном из полюсов глобуса. Вокруг земного шара в виде меридианов и параллелей натянуты веревочные лестницы. По существу, земным шаром стала сама сцена.

Я не помню во всех подробностях спектакля, виденного около полувека назад, но отдельные сцены, часть которых представляла собой настоящие акробатические номера, еще и сейчас живы в моей памяти. Помню, что спектакль произвел на нас сильное впечатление. Возвращаясь домой, мы с Янчи Лекаи только о нем и говорили. Должен еще признаться, что мне не очень понравилось бесконечное хождение актеров через зрительный зал. Были у меня и другого рода сомнения, мне не казалось, что объединение зрительного зала со сценой доставляет зрителям тройное удовольствие, как об этом оповещал Маяковский в прологе. Но от этого пьеса и постановка не становились менее волнующими и интересными.

С того времени память хранит и другие театральные впечатления. Группа молодых актеров из театра Мейерхольда пригласила нас в «собственную» студию на просмотр экспериментального спектакля. Экспериментальный театр был где-то на Тверской в жилом доме. Под студию перестроили и приспособили большую квартиру. При тогдашних очень тяжелых квартирных условиях казалось совершенно невероятным, чтобы квартира могла быть использована для подобных целей. Правда, энтузиазм в то время раздвигал границы возможного.

В зрительном зале, очень маленьком, особенно по сравнению со сценой, народу было мало, и все молодые, не старше тридцати лет. Не считая Лекаи, Маяковский был единственным, кто мне был знаком там, да еще та милая, скромная девушка, брюнетка с грустным выражением лица — примерно одних лет со мной,— которая приходила вместе с Маяковским на вечера Вхутемаса. Она принадлежала к кружку друзей Маяковского и очень хорошо говорила по-немецки.

На сцене читали стихи, то в одиночку, то хором или перекликаясь друг с другом в форме ритмического диалога, сопровождавшегося телодвижениями, жестами и мимикой.

Не знаю, как сложилась судьба молодых актеров, которые выступали на миниатюрной сцене студии, полных такой несокрушимой веры в дело нового театрального искусства, известно лишь, что из молодежи, собранной Мейерхольдом в его театре, позже вышло много превосходных мастеров.

Опять-таки в честь конгресса Коминтерна Станиславский с коллективом Художественного театра поставил на открытой сцене московского зоопарка «На дне» Горького. Там я впервые эту вещь и увидел.

Вспоминаю и один эстрадный спектакль. Танцевали народные танцы и, между прочим, чардаш. На танцорах были венгерские народные костюмы, украшенные лентами. Затем выступал фокусник. В той же программе пел Шаляпин, исполняя народные и революционные песни. Под конец он спел «Интернационал». Зрители стоя, в немом благоговении выслушали революционный гимн. Никому и в голову не пришло подхватить «Интернационал» хором, как это обычно в то время делали. Голос Шаляпи-

на покорил всех. Лишь после того, как он кончил петь, многочисленные зрители запели каждый на своем языке гимн мирового пролетариата.

Кроме праздничных театральных представлений в Москве были и другие зрелища. Весь город шумно отметил праздник революционной молодости, красочный и яркий, организованный в честь двух конгрессов, Коминтерна и КИМа. Стены и фасады домов были украшены декоративными панно и транспарантами на разных языках. Память о Венгерской советской республике была тогда еще очень свежа, и среди надписей на иностранных языках я видел много венгерских. Часть украшавших город декораций была изготовлена еще к 1 Мая. Когда закончился конгресс КИМа, на улицы и площади Москвы хлынули танцующие и поющие молодежные толпы, а среди них делегаты разных национальностей из всех стран мира. Самые молодые из делегатов Коминтерна тоже присоединились к этому молодежному празднику. Среди русских песен большой популярностью пользовались революционные гимны. Многие из них люди других национальностей выучили на русском языке. Особенно мы любили петь песню, начинавшуюся словами: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов». Большой популярностью пользовался и итальянский революционный марш «Avanti popolo»[1], который мы все пели на итальянском языке.

В то время как московская молодежь отмечала торжество идей революционной международной солидарности, комсомол не забывал, что вследствие ужасающей засухи в черноземных районах Поволжья голодная смерть начала косить людей. Для борьбы с эпидемиями, сопутствовавшими голоду, комсомол послал в голодное Поволжье тридцать студентов-медиков из университета им. Свердлова. Этих храбрых и самоотверженных юношей и девушек пригласили в гостиницу, где жили делегаты конгресса. Присутствовали все члены венгерской молодежной делегации. Лекаи записал подробности этой встречи. Его заметки, опубликованные осенью 1923 года в газете «Уй элере»[2], верно отражают атмосферу тех дней:

> «На берег Волги в голодную зону посылали тридцать студентов и студенток.
>
> Можно было бы написать иначе: тридцать студентов и студенток уезжали туда, где царит смерть. И никто из них не знал, увидит ли он когда-нибудь еще хоть раз Москву. Вот что значило тогда ехать на Волгу...
>
> Собрались вместе представители молодых пролетариев многих стран: Германии и Франции, Австрии, Китая, Америки, Италии и Испании, Японии, Англии и Австралии.
>
> И вместе с нами были тридцать студентов из университета им. Свердлова. Пели. Русские научили нас грустным волжским песням. Вместе с итальянцами мы весело пели их звонкие пролетарские марши.
>
> А потом мы решили танцевать. В большой комнате, где мы собрались вместе, едва мерцал слабый свет...»

Среди множества национальных танцев больше всего в памяти запечатлелся китайский, такой непохожий на все остальные, напоминающий пантомиму. Словно зачарованный, я не мог отвести глаз от вдохновенного лица танцующего китайца, от его необычных движений: это был танец смертельной борьбы с воображаемым противником. Пожалуй, я именно тогда в первый раз в жизни задумался о потрясающей силе искусства, о том, как оно находит путь к нашим чувствам...

Перевод с венгерского Е. БОЧАРНИКОВОЙ

---

[1] Вперед, народ *(итал.)*.

[2] Ежедневная газета, начавшая выходить в Нью-Йорке в 1921 году, была органом партийной организации венгерских коммунистов-эмигрантов. Одним из сотрудников газеты был Янош Лекаи. Позже газета несколько раз меняла свое название.

П. ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ

ПОЛЯ ХЛЕБОВ И НЕФТЯНЫЕ ПОЛЯ

Это мое четвертое путешествие в СССР.

Я приезжал в СССР, в страну революции, гражданской войны и голода, в начале 1921 года.

Я приезжал в СССР, страну нэпа и восстановления, в 1925-м.

Я приезжал в СССР, страну десятой годовщины Октябрьской революции, в 1927-м.

Сегодня я приехал в СССР, страну Пятилетнего плана; идет третий год пятилетки — решающий год.

Сначала капиталистический мир считал эту страну несуществующей, потом стал на нее клеветать.

А потом вдруг вынужден был признать величественную реальность совершенного.

...Мы прибыли на Черные земли одновременно с весной.

Проснувшись в жарком братстве жесткого вагона, я обнаружил, что снег по обе стороны пути исчез. До горизонта тянулась черная равнина, испещренная зеленью полей.

С каждым новым шагом я убеждался в победе социализма над крестьянским стремлением к индивидуализму. И повсюду, в каждом доме, находил трофеи этой победы — хлеб, изобилующий теперь на Черных землях, где социализм изменил людей.

1929 год. Пустота. Степь.

Но пролетариат начертал в плане: «Здесь будет одна из 175 фабрик зерна Зернотреста!»

И вот за два года в часе езды от Ростова на базе совхоза вырос город — Зерноград.

В пустыню пришли труженики. На глубине ста метров они нашли воду. Проложили дороги. Построили кварталы современных домов, мастерские, гаражи, элеватор, столовые, театр, детский сад, школы, технологический институт, университетский городок, лаборатории, клуб, учреждения, водонапорную башню, теплоэлектроцентраль, нефтехранилища, больницу, кооператив, почту — все, что требуется для города. Посадили деревья, разбили парки, скверы и фруктовые сады. Протянули электрические провода, оживляющие ночь тысячами огней, пускающие машины, заставляющие во всем мире говорить телеграф, телефон и радио.

Целое племя людей укладывало кирпичи, мешало бетон, заливало цемент, воздвигало строительные леса, прилаживало буры, клепало сталь, рубило лес, ковало железо и паяло свинец в ритме социалистического энтузиазма.

И вот, несмотря на все трудности, просчеты, неизбежные ошибки, непреодолимо поднялся новый город.

Не город — ядовитый гриб, не город, приносящий прибыль американским дядюшкам.

И даже не новый призрачный город, о каком мечтали ораторы в дни нашей молодости, проникнутой идеями Жореса. Нет, это настоящий город из металла и камня — творение рук пролетариата победившего социализма.

Рядом с Зерноградом, как и рядом с его соседом, совхозом «Гигант», большие американские фермы выглядят на карте крупных предприятий лишь как бедные родственники СССР.

Возвращаясь в Зерноград, о приближении к которому возвещает на горизонте не колокольня, а новые башни элеватора для зерна, я думаю о наших земледельцах, прикованных к своим «носовым платкам», вековечных крепостных преступного капитализма, который держит их в тисках бесплодного индивидуализма, приводящего к разбазариванию земли и трате сил на разведение никому не нужных, но издавна возделываемых культур, в то время как здесь, на месте пустыни, в стране, которая была самой отсталой в Европе, непреодолимо развивается социалистическая цивилизация.

На Монмартре, в Лондоне, в Берлине и Нью-Йорке, не говоря уж о Балканах, часто можно встретить черкесов. Заткнув за пояс кинжал, с газырями на груди они поют или танцуют в ночных кабаре, служат швейцарами в ресторанах, и все — князья, существующие на чаевые.

Это и настоящие и фальшивые черкесы, но все они — «белые», иными словами: мертвецы.

А я сейчас нахожусь у других, у живых черкесов, у красных, в Адыгейской автономной области, все три района которой цепочкой тянутся вдоль реки Кубань.

Всего пятнадцать лет назад здесь царили средневековые обычаи и порядки — такие же, что в Северной Африке, где хозяйничает французский империализм. Здесь тоже проводилась политика разделения рас, поддерживался феодальный строй, всемерно поощрялось мракобесие ислама, неграмотное население приумножало прибыли крупных землевладельцев.

Демонстрируя свои победы, царский империализм включал в парадные шествия черкесских всадников с кинжалами в ножнах из слоновой кости точно так же, как наш империализм включал сипаев в красных бурнусах. Адыгейцам, равно как и кабардинцам и черкесам, оставалось лишь слагать в утешение меланхолические песни-жалобы, которые исполняют мужские хоры, сидя на земле.

Сегодня в наступление на неграмотность пошли две с половиной тысячи адыгейских культармейцев (бойцов за культуру), и вот — неграмотность ликвидирована.

Одновременно с институтами и университетами заработали больницы и заводы. В автономной области родилась индустрия.

Целый народ, который русский империализм обрекал на невежество, опьянение религиозным дурманом, поднялся по призыву партии большевиков и гигантскими шагами двинулся вперед.

Никогда не забуду вечера, проведенного в Доме культуры, среди учеников черкесских школ.

Мы беседуем — какая атмосфера энтузиазма окружает нас.

А ведь этот народ поднялся из такой бездны, что трудно поверить.

Когда я гляжу на эти внимательные лица, на эти блестящие умные глаза, на женщин, сидящих вместе с мужчинами, на девушек с голыми загорелыми плечами и ногами, в моей памяти всплывают образы несчастных детей и жуткая грязь на улицах городов Французской Африки, где целые племена обречены на голод цивилизацией французских колониалистов, властвующих с помощью алкоголя и плетки.

Ранним утром я вступил на землю «украденной нефти». А два часа спустя уже ехал к новому городу, городу мечты, городу, рожденному Пятилетним планом, городу тружеников — Грозному.

У подножия нефтяных вышек раскинулась широкая панорама огромных заводов с гигантскими трубопроводами, рабочих поселков, чистых, удобных, веселых, с дворцами-клубами посредине.

Нефть. Фонтаны черной крови, бьющие в небо из сокровеннейших недр земли.

Полтора миллиона тонн нефти в год производилось бывшими владельцами, ворами, присвоившими себе недра, почву, труд.

Приходит революция и гражданская война; иностранные капиталисты и белые разрушают все — вышки, нефтепроводы, резервуары, заводы.

В 1920 году, несмотря на героические усилия, советская власть не могла добыть и сорока тысяч тонн нефти на разрушенных нефтяных полях.

Все надо начинать сначала, точнее — все наново созидать.

И вот под разъяренными взглядами эмигрировавших бывших владельцев начинается социалистическое строительство.

В 1929 году Грозный дает 4 миллиона тонн нефти, в следующем году — 6 миллионов тонн, в нынешнем — 10 миллионов тонн. Грозный выполнил Пятилетний план за два с половиной года!

Но при таких темпах, заявляют капиталисты и социал-фашисты от Детердинга до Розенфельда, источники нефти быстро иссякнут. Это гибель для будущих поколений, это еще одно преступление Советов!

Задайте этот вопрос любому геологу в Грозном или в Баку, увидите, как он будет смеяться. А в самом деле, каковы размеры запасов нефти?

— Практически подсчитать их невозможно,— ответят вам.— Бывшие хозяева Грозного и их союзники внушали всем, кто хотел их слушать, что Грозный даже в 1933 году не даст 4 миллионов тонн. А мы уверены, что уже до конца 1931 года дадим 17 миллионов тонн.

Вот почему в Грозном, где знают о размерах своих богатств, идет такое бурное строительство. Шесть новых крекингов за год — на этот раз советских крекингов,— а также новый советский нефтеперерабатывающий завод. Новый нефтепровод, длиной в две с половиной тысячи километров, по которому через Армавир и Никитовку потечет на Украину два миллиона тонн — и уже не мазута, а бензина. Асфальтированные дороги! Трамваи, железные дороги и всюду — дома, новые дома! Грандиозная программа строительства, добычи, переработки и транспортировки! И все это в атмосфере настоящей битвы, которую ведут враги в Лондоне и Париже.

Я спрашиваю пять, шесть, семь, десять рабочих. И всюду получаю один и тот же ответ: порой трудно приходится, но когда знаешь, ради чего...

И так на всех участках производства — гордый, свободный труд в обстановке подлинной рабочей демократии, труд, гордый своей возможностью способствовать техническому прогрессу на предприятиях, которые принадлежат рабочим.

Старики, еще помнящие, в каких ужасных условиях они жили во времена царизма, и перенесшие все тяготы гражданской войны, вступили в пятилетку, как входит корабль в долгожданную мирную гавань. Молодежь, исполненная энтузиазма, выходит на дорогу новой жизни... Осетины, русские, чеченцы, грузины объединены в братстве, рожденном социалистической культурой.

Мы едем в Ташкент. Предстоит проделать традиционный путь великих переселений народов, но в обратном направлении. С запада на восток. В обратном направлении, да еще и по небу — новая эпоха. Я еду знакомиться с народами, которые партия большевиков освободила от царского ига, в то время как в Париже Выставка колониальных товаров демонстрирует рабство ста народов.

И вот я — в Азии.

Сталинабад — современный город; это город таджиков, здесь находится таджикское социалистическое правительство.

Я видел в СССР много новых городов, построенных в степях, в лесах или на болотах — там, где раньше не было ничего. Конечно, это грандиозный труд. Но Сталинабад вырос не на пустом месте, и создавать его было еще труднее. Там, где предполагалось строить Сталинабад, еще стояли дома, находившиеся прежде в южной части Душанбе.

15 марта 1925 года была основана автономная Таджикская республика. В декабре 1929 года Таджикистан вошел в качестве седьмой республики в состав СССР.

В 1925 году в Душанбе были лишь руины. Спасаясь от бесконечных каверз природы, большинство жителей — а их насчитывалось 600 — бежало из города. Лишь у большевиков могло хватить смелости основать здесь столицу, в 250 километрах от железной дороги, в самом сердце страны басмачей.

Как только было решено, что Душанбе станет столицей и будет называться Сталинабад, туда переехало таджикское правительство. В Душанбе был всего один европейский дом — больница, подаренная царем эмиру бухарскому.

Правительство, называвшееся в то время еще Революционным комитетом, расположилось, как тогда шутили, в «Кремле», представлявшем собою несколько низких глинобитных домишек под грязными камышовыми крышами, кишевших всеми насекомыми, какие водятся в теплых странах, начиная от клопов и кончая скорпионами.

Заседания Комитета проходили во дворе, а Совет собирался под азиатским платаном возле лужи, полной лягушек, или «хауса», как здесь называют бассейн.

В Таджикистане есть все виды полезных ископаемых — от золота до радия, но из-за отсутствия дорог разработки их не велись. Все приходилось ввозить, вплоть до кирпича. Даже деревьев здесь не было, кроме фруктовых да нескольких платанов, посаженных для тени.

Таким образом, строительный лес надо было везти из Термеза, а в Термез он прибывал с Урала. Оставалось еще две с половиной тысячи километров, отделяющие Термез от Сталинабада.

Длинные караваны одногорбых верблюдов отправлялись с железнодорожной станции в Термезе, каждый нес по две балки, нижние концы которых волочились по земле. И за десять дней, которые длилось это путешествие по грязи, пыли и гальке, каждая балка укорачивалась сантиметров на семьдесят, а то и на метр.

Первым квалифицированным рабочим-строителям, которых поезд быстро доставил из Нижнего Новгорода или Рязани в Термез, пришлось заканчивать путешествие на арбе и потратить еще около двух недель, в зависимости от состояния дорог или уровня воды в реках, для того чтобы доехать до Сталинабада. Другие же, менее удачливые, двадцать пять дней ехали верхом на ослах.

И тем не менее за первый год построили школу, мельницу, почту и дом ЦК. Это было в 1926 году. В то время в Сталинабаде насчитывалось три тысячи жителей.

Когда строился дом ЦК, самый высокий и наиболее выдвинутый на юг, случалось, что на строительные леса вдруг обрушивался град пуль и люди падали, словно подстреленные голуби: семьдесят рабочих похоронено тут же, на соседнем болоте.

Караванам, шедшим из Термеза, нередко приходилось отстреливаться от басмачей.

После 1926 года темп строительства убыстряется. В то время как ассигнования на индустрию и строительство в целом по СССР вырастают до 189 процентов, в Средней Азии они достигают 400 процентов.

Такой ускоренный темп — основа экономической политики, направленной на развитие ранее угнетенных народов. На обломках колониализма вырастает социалистическая нация... И вот уже на смену верблюдам и арбам по дороге, ведущей в Сталинабад, понеслись мощные грузовики.

Несмотря на сопротивление басмаческих банд, плохие дороги, эпидемии тропической лихорадки, свирепствующей в заболоченных долинах Душанбинки, товарищи из Таджикского Революционного комитета неуклонно выполняют поставленные перед ними задачи. Они строят город Сталинабад.

В 1927 году басмачей, наконец, удается отбросить за рубеж и все силы концентрируются на строительстве.

В этом году для одного только Таджикстроя — организации, занимающейся городским строительством,— государство выделило два с половиной миллиона рублей.

В 1929 году сумма ассигнований составляет уже пять с половиной миллионов. В 1931 году — тридцать миллионов.

В эти мирные годы — 1927, 1928, 1929 — железная дорога от Термеза доходит до Сталинабада. Первого мая 1929 года сталинабадский вокзал встречает свой первый поезд.

На месте старинных укреплений Тимура — юго-западных курганов — построены фабрики, перерабатывающие хлопок. Городской театр возвышается напротив памятника Ленину. Все комиссариаты переехали из «Кремля» в новые высокие здания.

Увеличивается число домов для рабочих. Поселки стремительно разрастаются в разные стороны, непрерывно совершенствуясь: сначала это были палатки, затем кибитки, а теперь уже — дощатые домики.

Вот 40 стандартных домов, прибывших в разобранном виде из Ленинграда; каждый состоит из шестнадцати трехкомнатных квартир.

Ток крови в большом теле Сталинабада обеспечивается парком автобусов, построенных на советских заводах.

Позади Дома Красной Армии с большим театральным залом разбивают парк или сад: как только там появилась вода, деревья бурно стали набирать силу — в темпе социализма, помноженного на тропический климат. Другой сад, еще совсем малыш с крохотными деревцами, возник на восточной окраине города, между кинотеатром и огромным спортивным полем.

Кавалеристы, красные саперы и национальный таджикский батальон размещены в просторных казармах... Строятся и открывают свои двери ясли, школы, рестораны.

Строительство механизируется — прибывают бетономешалки. В городе налажено производство кирпича.

Не хватает рабочих рук. Одними местными силами уже не обойтись. Кто бы ни приехал, его с радостью берут на работу.

Словом, там, где мидийцы и персы, греки и турки, арабы, монголы и русские прошли с мечом, обращая таджиков в рабство, таджикский народ поднимается сейчас и садится за мирные тракторы, следуя лозунгам социализма, несущего народам Азии культуру, индустриализацию и свободу.

Ташкент — один из самых прекрасных городов на земле. Когда идешь по его улицам, кажется, что идешь по аллеям парка. Естественно, по улицам европейской части города, ибо русских колонизаторов не интересовало благоустройство узбекской половины.

Лишь после установления национальной независимости старый город, вместо того чтобы оставаться азиатской диковинкой для туристов — жутким царством грязи и нищеты,— стал культурным центром со своими клубами, красными чайханами, театрами, школами, больницами. Постепенно стало меняться лицо города. Глинобитные хи-

жины разрушались, уступая место современным рабочим районам, вторгавшимся в предместья и с каждым днем завоевывавшим все новые и новые территории. Маленькие улочки сменились широкими проспектами, проложенными по пустырям; и там, где царское правительство ставило лишь виселицы, теперь зашелестели деревья.

Раньше на оба города выпускалась всего одна газета.

Сегодня же, помимо газет на русском языке, старый город жадно проглатывает еще пять изданий на узбекском.

...Прощай, Средняя Азия! Ты щедро одарила нас разнообразными впечатлениями, из которых можно сделать два основных вывода.

Во-первых: революция освободила колонии, и теперь — при диктатуре пролетариата — бурно развивается их культура, все силы и возможности наций.

Во-вторых: социализм, невзирая на трудности, ошибки, промахи и набеги басмачей, выиграл битву за коллективизацию и индустриализацию. Опираясь на единодушную поддержку населения, социализм идет к победе в странах, которые всегда считались самыми отсталыми в азиатском мире.

...В Москве проливной дождь. Кажется, что город надел новую, асфальтовую кожу.

На Ярославском вокзале мы садимся в поезд, который унесет нас в Сибирь.

И вот, наконец, я в Сибири, территория которой равна трети Соединенных Штатов Америки.

Урал — Казахстан — Сибирь, комбинат комбинатов, вторая крупнейшая металлургическая база СССР, занимающая площадь в три миллиона квадратных километров.

На Урале много железа и мало угля. Необходимо соединить уголь Кузбасса и железо Урала.

Еще в 1918 году Ленин обрисовал, каким должен быть будущий «комбинат», и поставил перед Академией наук проблему рационального размещения промышленных центров на территории СССР. На XVI съезде партии, в 1930 году, было решено создать на востоке второй основной центр металлургической и угольной промышленности, используя сибирские и уральские месторождения,— Донбасс уже не мог удовлетворить нужды бурно развивающейся индустрии советских республик.

Мы увидели, как здесь борются за создание тяжелой индустрии.

Возводились не просто заводы — целый индустриальный мир, и я видел, как быстро, ударными темпами он рождается.

Новая битва за социализм разворачивается на земле, где белые и красные вели жестокие бои в 1918 и 1919 годах. Такие же бои ведутся и сейчас, только в масштабе мировой экономики.

Земля комбината Урал — Кузбасс таит самые крупные запасы природных богатств мира, но для того чтобы земля расступилась и из ее минералов можно было выплавить сталь, нужны машины.

Царская Россия все оборудование закупала за границей. В первые послереволюционные годы саботаж, злой умысел, ошибки в оценках задержали развитие Урала и Сибири.

И вдруг в 1928—1929 годах произошел решительный скачок.

Приехало несколько десятков специалистов, несколько сот квалифицированных рабочих, тысячи землекопов, плотников, кузнецов. Деревни едва успевали снабжать строящийся город нужным числом рабочих рук. Поезда не успевали поставлять материалы людям, вышедшим на социалистическое соревнование.

Бетон! Цемент! Строительный лес! Доски! Стекло! Гвозди! Заклепки! Листовое железо! Кирпич!

Рабочие бьются, как львы, в этой индустриальной битве. Их страсть, закон и смысл их жизни, их яростного, проникнутого спортивным азартом труда — давать продукцию, больше продукции.

Сместилась ось земли. Азия воспрянула!

Названия городов, затерянных в тундре или в тайге, в предгорьях Алтая или на Байкале, в Казахстане или у Карского моря, звучат для молодого поколения так же привычно, как Лондон, Париж, Берлин или Нью-Йорк.

План становится документом столь же обиходным, как, скажем, таблица умножения или латинский алфавит. С его помощью пролетарии учатся руководить государством.

И средоточие мировой конкуренции — биржи в ужасе прислушиваются к тиканью машин, отстукивающих данные о котировке металлов и станков, выпускаемых индустриальными гигантами Сибири на 10-м году существования Социалистической Федерации Советов.

Перевод с французского Н. Тарасовой

Ю. КАГРАМАНОВ

О МЕТАМОРФОЗЕ «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ», ИЛИ НОВЫЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ «БЛУДНОГО СЫНА»

(По поводу «контркультуры» в США)

«Мечта может обгонять естественный ход событий, или же она может хватать совершенно в сторону».

Д. И. Писарев

Никакие энциклопедии и справочники не дают определения этому понятию — «Американская мечта» или просто «Мечта» (с заглавной буквы), хотя в США им принято уснащать и воскресные проповеди, и политические выступления, и газетные передовицы. Если все-таки проявить настойчивость в попытке выяснить, что это такое, то вас адресуют к книге Дж. Адамса «Американский эпос» (вышедшей в Бостоне в 1931 г.), где дается следующее определение «Мечты»: «Это Мечта о лучшей, более богатой и более счастливой жизни для всех наших граждан». Или даже к отредактированной Т. Джефферсоном Декларации Независимости (1776 г.), где тоже говорится о «стремлении к счастью».

Вообще-то говоря, «стремление к счастью» не является, конечно, чем-то специфически американским. Но Америка представлялась выходцам из Европы землей обетованной, где можно «ухватить Мечту за хвост». В XVII веке родился миф об американском Адаме, заново начинающем жизнь в безгрешном раю Нового Света.

В действительности тем пятидесяти шести «пилигримам», что высадились осенью 1620 года на побережье Массачусетского залива (откуда, как считается, берет начало американская нация), отнюдь не свойственна была Адамова невинность. Под твердыми пуританскими шляпами они привезли несгибаемые принципы первоначального накопления. И так было и во все последующие 350 лет американской истории: прицел и калибр «Мечты» всегда обуславливался конкретно-исторически — социально и культурно.

Потому-то на деле столь отличным было содержание «Мечты». Ее подлинный всечеловеческий размах в поэзии Уитмена соседствует с пошлостью родившейся где-то в конце прошлого века притчи о чистильщике, сделавшемся миллионером. Но именно этой-то притче суждено было в XX веке стать всесветно известной и в золоченой рамке «Американской мечты» превратиться

в предмет духовного ширпотреба. С гарантией, что такая разменная «Мечта» обеспечивается фундаментальными «духовными ценностями», унаследованными еще от колониальной эпохи, своего рода идеологическим Форт-Ноксом американской демократии.

Этот небольшой экскурс в область «Американской мечты» понадобился здесь для того, чтобы обратиться к той разительной метаморфозе, которую ныне претерпевает «Мечта» (в ее последнем, расхожем, узкопотребительском варианте) в сознании молодого поколения Америки, во всяком случае — значительной его части.

Когда лет пять тому назад на тротуарах Телеграф-авеню в Беркли и Гринич-вилиджа в Нью-Йорке появились первые живописные группки неряшливых, длинноволосых юношей и девушек, разукрашенных цветами, а в обиход вошло словечко «хиппи», то в ту пору всего насмотревшаяся Америка отнеслась к этому явлению как к преходящему чудачеству своих избалованных отпрысков. Сегодня очевидно, что движение, начатое «хиппи», получило широчайшее распространение среди американской молодежи.

Популярное сейчас — и в свое время употребленное самим президентом Никсоном — сравнение нынешних США с Римом периода упадка нередко дополняется сравнением инакомыслящей молодежи с варварами, этот Рим разрушившими. Не ковыльные степи, как то было встарь, шлют этих новых «варваров», а хорошо подстриженные газоны университетских городков. Если верить Ч. Рейху, семимиллионное население городков чуть не поголовно заражено «новым сознанием» и ветры этого «нового сознания» уже веют над всею страной.

Понятно пристальное внимание «старшего поколения» к этому удивительному на первый взгляд феномену. «Новый образ жизни» уже получил терминологическое крещение: в литературе употребимы выражения «контркультура»[1] и «Америка 2-я». Сама «контркультура», материализовавшаяся миллионами нестриженых юных голов, не торопится выразить себя посредством каких-то новых катехизисов. Кажется, что желание Холдена Колфилда — этой, как считается, первой ласточки «хип-весны», вспорхнувшей со страниц книги Дж. Сэлинджера,— сделаться глухонемым начало уже генетически закрепляться в его духовном потомстве. Молодые разочаровывающе «некоммуникативны» в отношении «отцов» («не доверяйте никому из тех, кто старше тридцати»), и это обстоятельство не раз ставило в тупик «пришельцев» разного рода — от социологов до агентов ФБР, а их «птичий язык» доставляет немало хлопот составителям новейших словарей «сленга».

Интеллектуальная незрелость либо (плюс?) вызывающий антиинтеллектуализм юных протестантов побудили «сочувствующих» из числа тех, кому далеко за тридцать, взяться за теоретическое осмысление движения. Подобно Ж.-П. Сартру во Франции, они пытаются «думать за них», за молодых. В нашей печати уже обсуждались модные сейчас теории таких идеологов, как Г. Маркузе или Ч. Рейх. Можно, однако, утверждать, что поборники «контркультуры» в массе своей не являются последователями какого-то определенного вероучения. Скорее наоборот: то, что философы называют конкретным, массовым сознанием — обусловленным множественностью причин и перекрестьем влияний,— в данном случае первично, а маститые профессора следуют в русле движения. Такова динамика перемен, свершившихся под сенью академических кущ: кажется, совсем еще недавно там мирно паслось «молчаливое поколение» — ныне традиционная буколика нарушена и иные из пастырей, побросав посохи, пытаются поспеть за разбегающимся стадом.

Один из таких пастырей — Чарлз Рейх, профессор Йельского университета, автор книги «Зеленеющая Америка», ставшей бестселлером в 1970 году. «Иностранная литература» уже писала об утопических концепциях Рейха, его проектах «революции с помощью сознания»[1]. Однако «Зеленеющая Америка» вместила не только субъективные выкладки ее автора, но и отразила эмпирически зафиксированные настроения Йельской альма-матер, то, что там, как говорится, «носится в воздухе»,— сам Рейх пишет в предисловии к своей книге, что ее можно бы в известном отношении считать коллективным трудом университетской общины. Позволительно поэтому выделить (несколько условно, конечно), что в книге Рейха от самого Рейха и что в ней, так сказать, от газонов Йельского университета (да и от газонов всех прочих университетов страны, потому что нет в Йельском университете его былой «плющевой» исключительности). Ибо если предлагаемая «революция с помощью сознания» — чистейшая химера, то само «новое сознание»— реальность.

Итак, работы Ч. Рейха, а также Г. Малколма, Р. Конанта, Ф. Слейтера (автора книги «Поиски одиночества» — одного из откликов на книгу Рейха), ряда других социологов, публицистов и т. д., наконец, оригинальная литература и фольклор самой «контркультуры» позволяют очертить контуры этого «нового сознания». Заметим, что здесь не будет речи о «новых левых». Правда, «новые левые» тоже варятся в котле «контркультуры» и несут на себе многие ее отметины, но все же Рейх, например, считает их чужеродным в ней телом, и для этого у него есть основания. Сколько

[1] Теодор Рожак, который ввел в обиход термин «контркультура» (в своей книге «Создание контркультуры»), противопоставил ее антикультуре, то есть нигилистическому отрицанию всякой культуры, стараясь тем подчеркнуть будто бы позитивный характер «контркультуры». Отметим здесь, кстати, что, хотя многие ее черты нетрудно обнаружить в других западных странах, в целом «контркультура» — органически американское явление, поэтому мы сочли уместным не «дробить» тему ее географическим расширением.

[1] См. «Иностранную литературу» № 9 за 1971 г.

бы они ни путались в вопросах теории, «новые левые» все же так или иначе стремятся изменить существующее общество средствами политической борьбы. До этого уровня политической зрелости поднялась пока лишь меньшая часть инакомыслящей молодежи. Приверженцы «контркультуры», как правило, тяготеют к «нравственному очищению», стремятся «обрести себя» и т. п.

Кто же он — этот юный «правдоискатель»? Что у него под длинными волосами? Профессор Корнельского университета Эндрью Хэкер определяет «с порога»: «Нового американца лучше всего охарактеризовать как такого, который покинул отчий дом и не испытывает никакого желания туда вернуться».

Зачин почти евангельский, причем аналогию с притчей о блудном сыне дополняет еще одна немаловажная черта — родительский достаток. Ибо нынешний «блудный сын» в типическом случае — выходец из «среднего класса». В «отчем доме» ему с детства сопутствовало благополучие, радужность возможностей и надежд. То (или, по крайней мере, многое из того), о чем мечталось «чистильщику», ему уже было дано от рождения.

Правда, благополучие это не без червоточинки, потому что обладать — это значит в то же время бояться потерять. Но об этом все же забывается, тем более что неиссякаемое благополучие всегда сочится из телевизионного ящика, по каждому из его многочисленных каналов. Образцово-показательное благополучие телевизионного Дома с его «мыльными операми» лишь подхлестывает потребительский азарт, стремление к вящей устроенности стерильно-пластмассового быта. И этот телевизионный Дом как будто стеклянным колпаком окружает «отчие дома», помещает их в деланный мирок из «чистой» лжи и искусно препарированной правды. И «тем лучше» для обитателей «отчего дома», говорят мудрователи, ибо разве не утверждал, например, Т. С. Элиот, будто «человек не способен вынести слишком много реальности»!

А реальность и впрямь может показаться невыносимой. «Война всех против всех», о которой писал философ еще во времена «пилигримов», ужесточилась в нынешнюю эпоху заката капитализма. Ее наиболее откровенное выражение — гангстеризм, распространяющийся, как чума. Изгои с точки зрения уголовного кодекса, гангстеры фактически наиболее последовательно осуществляют неписаную мораль буржуазного предпринимательства. Мир гангстеризма — «гротескный протест» Америки (Ч. Рейх), «кривое зеркало, отражающее в карикатурном виде нормы морали и поведения, существующие в обществе» (Д. Белл).

«Война» «среднего класса» — без «смит-вессонов» и, как правило, без вмешательства судебных исполнителей. Но законы ее, по существу, те же, что и в нью-йоркских доках: «крысиные гонки», где слабый «сходит с круга», постоянная борьба за выживание, за успех. Это мир «жизнерадостных роботов» с его неприятием круга обездоленных, униженных, обойденных фортуной. В этом мире царит рабский конформизм, с его всегдашним равнением на «Джонсов» (то есть соседей), вместе с готовностью при первом удобном случае, «почти товностью подставить тем же «Джонсам» феодальная» (Рейх) иерархичность отношений, их, как говорят социологи, «стереотипизация» — Маркс называл это «вещные отношения людей». Культ вещей посреди отравленной природы. И духовная нищета — вслед возрастающему «потреблению культуры».

Мораль этого класса подобна двойному коду: с формальной, «декоративной» моралью сосуществует практическая, «оперативная». Сентиментальность, как обычно, шествует под руку с жестокостью. Готовность «по-волчьи выть» уживается с пристрастием к воскресно-церковному благолепию, «брызжущему оптимизму» официальных церемоний, прекраснодушию либеральных спичей. Но такая раздвоенность даром не проходит, она влечет за собой как возмездие глубокий внутренний разлад, углубляет отчуждение (показательно само чрезвычайное распространение этого термина: сегодня уже едва ли не каждый филистер наслышан о том, что он «отчужден», обычно не ведая ни социальных причин отчуждения, ни того, что зафиксировал его не кто иной, как Карл Маркс). От внутренней «несбалансированности», от напряжения жизни нет иного спасения, кроме как в снотворных и успокаивающих — в их фармацевтическом отношении они, можно сказать, «продолжают» функцию средств массовой информации.

От этого-то двоедушия и жестокости, от всей этой «липы» отвернулся с презрением, когда подрос, «блудный сын», пришедший в мир в первые послевоенные годы. Разумеется, юности вообще свойственна своего рода нравственная идиосинкразия, особая чувствительность к добру и злу. Но почему внезапное прозрение выпало на долю именно последнего поколения — ответ на этот вопрос вне компетенции возрастной психологии. Глубокомысленные фрейдистские толкования только запутывают вопрос по той простой причине, что конфликт «отцов» и «детей» возник в масштабе класса, а не в рамках отдельных семей. Причины наступившего прозрения в другом, и мы этого еще коснемся.

Перешагнув порог «отчего дома», «блудный сын» ступил на странническую тропу. Это — и метафорически, и даже буквально. Буквально, поскольку речь идет о хиппи, «настоящих хиппи». «Дети цветов», распростившись с цивилизацией и с ее благами, точнее, сведя эти последние к минимуму, ушли бродяжничать по большим дорогам и лесным тропинкам Америки — впереди

Ю. КАГРАМАНОВ
О МЕТАМОРФОЗЕ «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»

Франциск Ассизский (этот «святой» вдруг сделался популярным) с цветком и нищенской сумой. Многие из них подались цыганствовать в совсем уж «дальнюю сторону» — в заморские страны, главным образом Азии и Африки, на диво тамошним жителям, приученным к совсем иной номенклатуре американского экспорта.

И все это к неописуемому изумлению «отцов». И их тоже, бывало, посещала навеянная иной книжкой или кинофильмом минутная греза «о простой жизни среди индейцев» — допустимое «расслабление» перед очередным туром «крысиных гонок». Но думать об этом всерьез считалось позволительно лишь в возрасте Гекльберри Финна. Безрассудство взрослых уже «детей», дерзнувших насмеяться над расчетливой «Мечтой», заразиться юродством св. Франциска, что сделал столь невыгодную партию, сочетавшись браком с худосочной символической Бедностью, вызвало у «отцов», по выражению журнала «Нью-йоркер», «жесточайшую мигрень».

Мало утешения «отцам» и от тех из «блудных детей», а таких большинство, в отношении которых говорить о странничес кой тропе можно лишь метафорически. Речь идет о студенческой молодежи. Высвобождение из-под родительского влияния для них связано с «пропиской» в университетских городках. Приобщение к студенческой вольнице знаменует «отпадение» («дроп-аут») от истэблишмента с его «старой культурой». (Сами по себе университеты, включенные в постмонополистическую систему, в таком отступничестве «детей», конечно, неповинны; в последние годы «бархатные рукава», как называют университетское начальство, повсеместно «воюют» со своими студентами.) «Дроп-аут» толкает на тропу поисков нового мирочувствования, «нового образа жизни».

Тропа эта, если продолжить метафору, привела «блудных» в край дикий и туманный, куда не проникла современная цивилизация. В этом краю царит неограниченная «свобода», здесь следуют не каким-то «внешним императивам», а лишь «внутренним побуждениям». Можно без устали петь, плясать и кувыркаться или просто лежать на траве, прислушиваться к запахам земли и «обмениваться вибрациями». Здесь разувшиеся путники осуществляют накипевший порыв «к беспорядку, трансцендентности, чувствительности, солидарности, братству и освобождению» (Рейх). Здесь царит «любовь, а не война», и эта альтернативная «любовь», далекая от бесплотных воспарений св. Франциска, чаще всего оборачивается сексуальной невыдержанностью. «Братство» скрепляется «травой» марихуаны, что ходит по кругу, как причастие. В этом краю властвуют духи, грозные и таинственные (здесь уместно напомнить, что молодое поколение образованнее, информированней «отцов», «дедов» и т. д.) и вечные невидимые парки ткут нити жизней, вольные их оборвать. Здесь веет древним ужасом (terror antiquus), и ищущие «спасения сейчас» предаются здесь попеременно то магическим ритуалам, то молитвенному экстазу.

Отсюда нет пути назад, убеждают себя молодые отщепенцы, мосты в «старый, проклятый мир» сожжены. Зачумленная «система» не может быть как-то улучшена или преобразована. «Корпоративное государство» не заслуживает иного отношения, кроме как «тотального отрицания». В нем правит некая обезличенная, бездушная сила, нечеловеческая и противочеловеческая — гоббсовский Левиафан и «отцы» не в состоянии освободиться от заклятия этого технократического монстра.

«Сецессионным» холмом, приютившим на время «Америку 2-ю», стали впервые окрестности Вудстока, где летом 1969 года состоялся музыкальный фестиваль. Здесь, в горах Катскилл, что к северу от Нью-Йорка, полмиллиона длинноволосых в продолжение нескольких дней и ночей невозбранно претворяли свои собственные представления о «счастье». (Это, по выражению газеты «Вашингтон пост», «легендарное событие в истории массовой культуры США» было запротоколировано в трехчасовой документальной ленте М. Уодли «Вудсток».) Неоновому торгашеству «современного Багдада на Гудзоне», как назвал Нью-Йорк О'Генри (лучше было бы сказать: Вавилона), Вудсток противопоставил вальпургиевы «блуждающие огни», песенно-вакхическо-наркотическую «общинность», буйство и оцепенелость «не для корысти, не для битв» рожденных. Эмоциональное «Свиньи!» адресовалось беглецами тем, кто «там, внизу».

Было время, когда хиппи предлагали «свиньям» улыбку и цветок. Но убедившись, что «свиньи», предшествуемые полицейской шеренгой, бьют по левой щеке энергичнее, чем по правой, энтузиасты «контркультуры» отвернулись и замкнулись: «живите, как хотите, только оставьте нас в покое». Правда, многие из них все-таки принимают участие, наряду с «новыми левыми», в различных движениях протеста, в особенности против войны во Вьетнаме, и в общем балансе антивоенного, антимилитаристского движения в Соединенных Штатах их участие, конечно, кое-что значит. Но для них самих такое участие — не более чем «эмоциональный эксперимент» (что не отрицает искренности их антивоенных чувств), и примкнуть или не примкнуть к той или иной манифестации — вопрос настроения.

Только так называемые «йппи», представляющие своеобразный гибрид хиппи с «новыми левыми», пробуют протестовать более «активно», иначе говоря, пытаются сами бить по щекам. Фраза из их подпольной газеты: «Чтобы любить, надо выжить, а чтобы выжить, надо бороться». Логично, да, но беда в том, что методы «борьбы» «йппи» напоминают палочные удары арлекина, пощечины у них — чисто буффонные. Взорвать, например, дымовую шашку в помещении какого-нибудь банка или объявиться нагишом в храме — вот наиболее характерные образчики их «протеста».

Можно еще осмеять «свиней», представить их в смешном виде. Смех, как известно, тоже оружие, и грозное, но... видимо, тогда лишь, когда он заразителен. Можно, например, «увидеть» в вице-президенте С. Агню Микки-мауса, но ведь от этого он не обратится в мышонка и не даст себя слопать, подобно людоеду из «Кота в сапогах». Трагические выстрелы в Кенте оборвали в толпе студентов чей-то дружный смех. Беда в том, что стрелявшие — национальные гвардейцы — не «увидели» в вице-президенте Микки-мауса.

«Тотальное отрицание» не предполагает осмысленно-критического, аналитического отношения к существующим порядкам. Если «какому-нибудь радикалу,— не без пренебрежения пишет Рейх,— нужно двадцать лет изучать политическую литературу», чтобы понять окружающую несправедливость, то длинноволосый раскольник «чутьем» ее угадывает; при этом Рейх «упускает из виду», что «терпеливый радикал» изучает политическую литературу не ради лишь объяснения, но для исправления этой несправедливости. У приверженцев «контркультуры» вызывает недоверие самый инструмент логического познания, как сомнительной кажется им польза книжных томов, собранных в университетских библиотеках. Зафиксированный в них, в этих томах, бег истории, пронесший сквозь века светоч Разума, мнится им, завел в тупик «корпоративного государства», представляющегося образцом рациональной организации общества. Разве эта технократическая громадина не оснащена на разных уровнях разного рода «мозговыми трестами» и «мыслительными бункерами»? И разве такие противогуманности «системы», как «холодная война», и политика «с позиции силы», и, наконец, отвратительная «горячая война» во Вьетнаме не являются плодом скрупулезного расчета засевших в этих «трестах» и «бункерах» высоколобых и бесстрастных «сейентистов», жрецов «чистой науки»? А университетская ученость, разве не тому она служит, чтобы сделать их самих послушными колесиками этого бессмысленно рационального механизма? А раз так, то долой «ложный разум», не имеющий ничего общего с неподдельной «истинной мудростью», которую надо поискать где-то в другом месте.

В поисках этой «снимающей» необъясненности окружающего мира «истинной мудрости» они, если употребить выражение Г. Торо, «прислушиваются к другим барабанам». Глухое рокотание этих других доносится из прошлого: африканские тамтамы, индейские барабаны, азиатские гонги... Примитивные культуры влекут идеализованной личностной целостностью, сводящей человеческое бытие к его простейшим слагаемым. «Внутренняя гармония» выводится из «органической связи» человека с землей, с миром животных и растений. Торжество интуитивного достигается в почти мистическом единении «лестницы существ».

«Смерть бога», зарегистрированная еще в прошлом веке и ставшая очевидной в наши дни, повела к воскрешению древних идолов. Вспомнилось античное De Orientis lux — свет с Востока. Сейчас в особой чести старые индийские религиозно-этические учения, главным образом дзэн-буддизм с его отвержением логического, понятийного мышления. И, как ни диковинно выглядят буддийские косички на потомках «круглоголовых», само это их обращение к богам древнего Индостана весьма симптоматично.

Боги эти, то аскетичные, то чрезмерно чувственные, всегда пассивно-созерцательные, не раз уже манили изверившихся улыбкой, загадочной и пряной. Когда Фридрих Шлегель «открыл» для романтиков мир «индийского духа», эти последние окунулись в его «священные реки», утомленные пошло-«разумной» повседневностью. «Вечная мудрость святого Востока» казалась подходящим материалом для богостроительства — этого прибежища смятенных умов на крутых поворотах истории. По существу, «мудрость» эта, оторванная от историко-культурного контекста, выполняла служебную роль интеллектуально-нравственной отдушины. С затуханием романтического «бунта» забывались, растворялись в тумане истории «просветленные» многорукие идолы...

Здесь не случайно было упомянуто имя Генри Торо — этого романтика-трансценденталиста прошлого века считают предшественником «контркультуры». Подобно многим своим современникам, Торо страшился торжествующего торгашества, того «нравственного затмения», которое, по мнению его старшего современника Ф. Купера, нашло на сограждан. В отличие от прочих, Торо не был кабинетным философом и свои руссоистские увлечения пытался осуществить на деле. Он надолго поселился в уединенной лесной хижине неподалеку от Конкорда, где вел отшельническую жизнь, вызывая тем неодобрение окрестных «Джонсов». Эта лесная робинзонада Торо дала пищу его «Уолдену» — книга вышла к несомненной прибыли изящной словесности, но и в оправдание нравственной позиции, зовущейся «эскепизмом».

Впрочем, едва ли справедливо отождествлять автора «Уолдена» с героем этой книги. «Чистый эскепизм» не удался Торо, даже в уолденской тиши «чумазый» напоминал о себе свистком локомотива. Торо, влюбленный в природу, в конце концов сумел увидеть и машинную красоту локомотива. Но важнее другое: чем больше разгорались политические страсти в США в период, предшествующий гражданской войне, тем более небезучастным становился «ясноглазый» философ к общественной жизни — достаточно напомнить о его активном и практическом вовлечении в аболиционистское движение.

Древо романтической традиции никогда не засыхало на меркантильной почве бур-

---

Ю. КАГРАМАНОВ
О МЕТАМОРФОЗЕ «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»

жуазного мира. Ропот против уродующей человеческие души тирании золотого тельца переходил подчас в громкие проклятья. Проклятья переадресовывались Прогрессу вообще, соединяясь с убежденностью, что лишь соскочив с его мчащейся колесницы, можно обрести будто бы утраченную подлинную человечность и душевную гармонию. Бурное форте «вулканических» страстей и нежное пиано углубленной интроспекции решались в одном ключе — пассивного неприятия окружающего мира [1].

Нынешнее позднее плодоношение этого романтического древа происходит в особых климатических условиях. Первоначальному романтизму как-никак свойственны были «дух горний», «перегонка» в большое искусство. Новорожденная «контркультура» — это бросается в глаза — начисто лишена этого «вечного напряжения духа», которое, по справедливому замечанию А. Тойнби, совершенно необходимо для сохранения цивилизации. По существу, она акцентирует потребительский, досужий характер буржуазной массовой культуры (разница лишь в том, что потребляется, как проводится досуг). Мы не пытаемся здесь распутать или разрубить сложный узел отношений романтизм — «контркультура» и «контркультура» — массовая культура. Отметим лишь присущую каждому сочлену этих отношений тягу к мифологии (хоть и разного сорта), к фольклору (или его суррогатам). В целом проблема эта эстетическая по преимуществу или, по крайней мере, в значительной своей части и поэтому, как говорится, выходит за рамки. В рамках остается нравственный срез романтического протеста, злоключения современного «разорванного» (по Гегелю) сознания.

«Музыка и видение» — так суммирует Рейх представления «нового сознания» о счастье. «Формула счастья» эта в общем-то традиционно романтическая. Что касается музыки, то было бы нелегко, сравнивая, скажем, действие шумановских сонат и песен Боба Дилана (кумира «контркультуры»), измерить, так сказать, пробу вызванного в том и в другом случае «катарсиса». Обратимся к «видению».

Оно вызывается не безудержной пылкостью поэтического воображения, свойственной некогда тем — «с душою геттингенской». Его «пружины» — химического свойства: ЛСД и марихуана; и их действие, сводящееся к искусственному и небезопасному торможению коры — возбуждению подкорки,— фактически бросает вызов той самой природе, о гармоничном слиянии с которой печется «новое сознание». Употребление галлюциногенных наркотиков, особенно марихуаны, считается неотъемлемо присущим «контркультуре», и Рейху, коль скоро он сделался ее глашатаем, пришлось взять на себя неблагодарную задачу теоретического «оправдания» этой порочной с элементарно медицинской точки зрения практики.

«Взявшись за гуж», йельский профессор пошел до конца. «Марихуана,— объявляет он,— это сыворотка правды. Она делает нереальным то, что общество считает наиболее важным: время, схемы, рациональные связи, конкуренцию, гнев, чувство превосходства, авторитет, частную собственность, закон, стандарты, налагаемые обществом». За вычетом всего этого комплекса категорий, свойств и отрицательных эмоций и остается «правда», точнее, остается «индивидуальное Я», вольное конструировать эту правду по своему хотению. И не беда, если это будет и не правда вовсе, а ложь, но ложь «полезная», такая, которая «сделает тебя и храбрым, и добрым, и здоровым, и счастливым»... Можно было бы процитировать Кьеркегора: «Субъективность как истина».

В этой плоскости рассмотрения «дети» недалеко ушли от «отцов»: «отцы» живут в навязанном им искусственном микромире — «дети» создают его себе сами. Причем с помощью фактически того же рода средств. «Наркоманы,— пишет Ф. Слейтер,— в конечном счете, добрые американские потребители. Ведь это средства массовых коммуникаций рекомендуют удовлетворять эмоциональные потребности материальными продуктами».

Между прочим, Кьеркегор, экзистенциалисты особо отмечены в философском календаре «контркультуры». С их «редукцией» (сведением, низведением) сложности человеческого бытия к первоэлементам «экзистенции». Бегство на дно собственной души, добровольное самосокращение, самоустранение — это и есть «редукция».

«Философия слабых» — было сказано об экзистенциализме.

Итак, протест против мира буржуазности и беспомощность перед этим миром, беспомощность, громко именуемая «тотальным отрицанием». Отрицатели, легко заметить, вместе с водой выбрасывают и ребенка: отвергают такие категории и качества, без которых вообще немыслима цивилизация. Это относится, в частности, к такой общеобразующей, а в известном смысле и человекообразующей, задающей ритм объективного времени, как труд. Носители «нового сознания», особенно хиппи, наиболее последовательно осуществляющие заповеди «контркультуры», как правило, относятся к труду с нескрываемым отвращением. Правда, «сочувствующие» из профессоров берутся утверждать, что они-де потому не хотят работать, что работа в данном обществе лишена смысла, отчуждает и т. д., но ведь хиппи и не помышляют ни о каком другом обществе, где она обрела бы смысл. Нравственно-чуткие в одних случаях, юные (но уже вполне взрослые) отщепенцы инфантильно-беззаботны в других: совестливость определенного рода как-то «выпадает» из сферы их «контрморали», собственное паразитирование нимало не смущает. Хотя о мотовстве, отличающем библейского «блудного сына», в данном случае говорить не приходится, поскольку речь идет об

[1] Речь идет о «чистом» романтизме», особенно характерном для немецких (иенских) романтиков начала XIX века, ибо, как известно, нигде антитеза «идеал — действительность» не казалась столь безысходной, как в Германии.

истинных хиппи, сознательно ограничивающих свое потребление, но от паразитирования (в конечном итоге за счет тех, кто трудится), при нежелании работать, тут все же никуда не уйдешь (не говоря уж о хлебе насущном, немалых денег стоят наркотики, электрогитары, и магнитофоны тоже на деревьях не растут).

Антитезой «тотально отрицаемого» общества оказывается некий социальный вакуум, «ничейная земля», где само время остановило свой бег. Асоциальность обуславливает духовный вакуум, которого не в состоянии заполнить никакие благие побуждения. Джон Олдридж в своей сердитой книге «В стране молодых», написанной с позиций «старшего поколения», пишет об обитателях этой «страны»: «Они совершенно не представляют, что делать со своими жизнями». Парадоксально, но буржуазный автор здесь, по-видимому, прав — это правота «завербованного» перед сторонним наблюдателем.

«Они,— продолжает Олдридж,— похожи на детей, переодевающихся в костюмы взрослых». От пестроты этих чужих костюмов (речь сейчас идет о костюмах в буквальном, а не переносном смысле) рябит в глазах. Армейские шинели первой мировой и куртки взаправдашних ковбоев, блузы монмартрских художников и котелки викторианских джентльменов, чайльд-гарольдовские плащи, головные уборы команчей, индейские пончо, индийские сари.

Маскарад — как часть того карнавального веселья, которому вдруг предалась «освобожденная» молодежь, являющая в этом отношении пример для остального человечества? А может быть, нечто другое?

Было замечено, что маскарадное лицедейство вообще свойственно людям fin de siècle (заката эпохи). «Они не хотят быть тем, что они есть в действительности». Это было сказано полвека назад. А вот еще цитата — это американский публицист Де Мотт, год 1971, и речь идет о ряженых «детях»: «Они хотят, чтобы их приняли за кого-то, кем они (объективно) не являются». Выходит, праздник у них не в праздник. И в самом деле, так ли уж весело на этом карнавале, где маски напоминают об отсутствии «ролей» социальных, где игра — не отдохновение от труда и не предвосхищение его, а его заменитель, где хэппенинг, в котором никогда не знаешь заранее, что произойдет,— вместо живой жизни? И разве не заметно в этом маскараде «вытолкнутых» из истории тоски по историческому существованию?

Когда же хиппи пытаются все-таки как-то организоваться, то скоро оказывается, что они не в вакууме. «Ироническим образом,— пишет Слейтер, наблюдавший жизнь «коммун» хиппи,— молодые люди, объединяющиеся в коммуны, обычно создают все то же гомогенное, иерархическое общество, в котором они сформировались». «Контркультура»,— пишет Слейтер,— заражена индивидуализмом старой культуры». Лозунг новорожденной общинности «контркультуры» в его трезвом истолковании выглядит так: «alone together» — «вместе поодиночке». Пытаясь противопоставить «общинность» буржуазному индивидуализму и индивидуализм — давлению «корпоративного государства», «новое сознание» запуталось в этих перекрестных непримиримостях и, разумеется, не случайно: справиться с проблемой «личность — коллектив», как и с проблемой «свобода — необходимость», для него все равно что решить задачу квадратуры круга!

Так как жизнь — не хэппенинг, то естественно задаться вопросом: что будет дальше? Не повторится ли в нынешнем варианте истории с «блудным сыном» ее евангельский хэппи-энд?

Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, обратим внимание на одну отличительную черту того, что называют «постиндустриальным романтизмом» — его массовость. В эпоху романтизма, так сказать, доиндустриального даже в самую пору романтической «моды» порвать с миром буржуазности — не на словах, а на деле — пытались немногие. В массе своей людям господствующего класса несвойственно было усомниться в общепринятых «ценностях». Мюссе называл их «крепко стоящими на ногах». И во времена не столь отдаленные такие, например, явления в Соединенных Штатах, как протест «потерянного поколения» 20-х годов и «бит» 50-х, увлекли сравнительно немногих.

Теперешний духовный «исход» молодежи зажиточных слоев США, как и в других странах Запада, по своим масштабам — феномен беспрецедентный. О причинах его уже писалось, и здесь, вероятно, незачем повторяться: сумму этих причин можно объять генерализующим «общий кризис капитализма». Рейх акцентирует лишь один аспект этого кризиса: противоречие между, как он выражается, «обещанием», порождаемым современной цивилизацией с ее неизмеримым активом научно-технических достижений, и «угрозой обещанию», проистекающей от злоупотребления этими достижениями,— в частности и прежде всего это дамоклов меч ядерного армагеддона.

«Внезапность» этого массового «исхода» (его начало обычно датируют 1967 годом — ни раньше, ни позже) — диалектического свойства, взрывной итог скапливания кризисных явлений, еще одно подтверждение того, что современный буржуа, в особенности мелкий и средний буржуа, далеко уже не так крепко стоит на ногах, как во времена Мюссе. Вероятно, Рейх все-таки идеализирует характер нравственного возмущения «детей», можно предположить, что значительная часть их просто захвачена «модой» на отрицание. Но т а к а я мода в высшей степени показательна, она свидетельствует о полной несостоятельности морали «отцов». Видимо, это та ситуация, когда «верхи не могут» жить по-старому.

Ю. КАГРАМАНОВ

О МЕТАМОРФОЗЕ «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»

Значит ли это, что традиционного хэппиэнда не будет и что, наоборот, сами «отцы» устремятся по тропе, протоптанной «детьми», позабросив все свои ценности в кавычках и без них, вдруг «раскиснув» в любви к ближнему? Именно на это уповают апологеты «контркультуры». Неодолима заразительность «нового сознания», утверждают они, в конечном счете «поцелуй феи» (выражение Р. Конанта) покончит с заклятием технократического монстра и тогда «оковы... падут, темницы рухнут», солдаты вернутся домой, полицейские сменят дубинки на цветы и т. п.

Вольно им предаваться такого рода мажорным спекуляциям! Власть монстра основывается на законах социальных, а не демонологических. Как ни громадно «чудище», оно повинуется тем, кто дергает его за ниточки — монополистам. Они теперь не афишируют себя, как во времена «баронов-разбойников», переуступив долю паблисити «идолам досуга», но это обстоятельство не делает их менее реальными. Как не делает их более уступчивыми обращаемая к ним проповедь «всеобщей любви». Так что «Рим» «контркультуре» не разрушить.

Ясно, что для неприкаянной молодежи при ее теперешних настроениях открыты лишь два пути: продолжение нынешнего «окраинного» существования либо включение в «систему», быть может, на каких-то «компромиссных» условиях. «Компромиссных» — это слово мы поставили в кавычки потому, что «включение» означало бы фактический отказ от антибуржуазности ценой сохранения некоторых новообретенных обычаев, привычек.

Истэблишмент стремится к такому «компромиссу». В целом его отношение к «контркультуре» довольно сложное. Смятение, раздраженность соседствуют с попытками как-то ввести романтическое бунтарство в русло реформизма, не затрагивающего основ существующего порядка. Кое-кто из «отцов» готов и покаяться, поминая метафизическое вольнодумство основателей республики: мы-де ампутировали «Мечту», юные бунтари явились, чтобы примером своим нас усовестить,— подобно Христу, который, согласно Матфею, пришел «не нарушить, но исполнить закон или пророков». Иные из тех, кто «старше тридцати», не прочь практически попробовать «новый образ жизни», но приватным порядком — этих оборотней называют «полуночные хиппи».

Такая двойственность истэблишмента отразилась в подходе средств массовой коммуникации к теме «блудного сына». Трактовка этой темы отмечена двумя полярными «имиджами». Первый из них: заросшее волосами, бессмысленное существо, орущее и кривляющееся — непутевый, неблагодарный, с жиру бесящийся enfant terrible (ужасное дитя). Второй «имидж», все более теснящий первый: фото-, кино-, телекамера фиксирует в толпе длинноволосых симпатичные, серьезные лица, в пытливом, задумчивом взгляде — Вопрос, в словах — «чудачество». Трогательная доморощенная экзотика. Дозированное и стерилизованное отрицание как бы снимает перегрев казенного оптимизма.

«Контркультура» или все-таки субкультура?

В канун 1914 года в «Критических заметках по национальному вопросу» В. И. Ленин писал о «двух национальных культурах в каждой национальной культуре»[1]. Ленин выводил этот культурный дуализм из антагонизма классов, противопоставленных их местом в системе общественного производства. Одна из культур, господствующая, порождается правящим буржуазным классом. Другая культура (точнее, элементы ее) порождается трудящейся массой. Буржуазные теоретики культуры игнорируют зависимость культуры от производительной сферы, лишают понятие культуры его материальных компонентов, сводят ее к бихевиористским моделям. (Быть может, нелишне вспомнить: сама этимология слова «культура» — латинское cultura означает «возделывание» — акцентирует ее созидательный, творческий характер).

Подлинная национальная контркультура неизбежно должна ориентироваться на рабочий класс Америки, лишь в его среде рождается исторически перспективная мораль. Но В. И. Ленин не обошел вниманием другое — трудности, испытываемые идеологией эксплуатируемых в странах с развитой (господствующей) культурой. В последние десятилетия эти трудности возросли во много крат: на службу правящему классу поставлены современные средства массовой информации, всепроникающие, просто бомбардирующие искусной дезинформацией сознание трудящегося в целях его обуржуазивания. Нельзя, разумеется, сделать из рабочего буржуа, но можно принудить его думать по-буржуазному, можно привить его сознанию куцую буржуазную «Мечту».

«Реальная трагедия Америки — это не трагедия ее обеспеченного среднего класса, а трагедия ее рабочего класса» — это признает не кто иной, как Чарлз Рейх. Трагизм — в том, в частности, что ростки пролетарской культуры придавлены махиной господствующей культуры. В целом рабочих, этих «белых негров» Америки отнюдь не отличает еще зрелость классового самосознания, в этом отношении они заметно уступают черным неграм, которые сегодня в большинстве своем настроены по-революционному. Часть рабочих заражена черносотенными настроениями, одно из последних тому свидетельств — недавние «охотнорядческие» вылазки строительных рабочих Нью-Йорка против бунтующих студентов.

Время от времени в среде приверженцев «контркультуры» раздаются призывы «идти в народ», учить рабочих уму-разуму. Чтобы и рабочие «отключились» — тогда, мол, «система» сама собой рухнет, волшебством «революции в сознании» она перестанет воспроизводить самое себя.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 129.

Идея «революции в сознании» сама по себе плодотворна, надо только не ошибиться и не принять за революцию то, что революцией не является. В свое время не рухнула бы Бастилия, когда бы прежде не совершилась «революция в умах», низвергнувшая в сознании французов бастилии охранительной идеологии. Но эта «революция в умах» была прелюдией к штурму Бастилии из камня и железа. А какой «революционный» багаж может принести «в народ» нынешний длинноволосый раскольник — проповедь луддизма? «Культуру» марихуаны? Отрицание «тотальное» и интуитивное — вместо выборочного и сознательного?

Бродящие, бунтующие кампусы [1] порождают смуту. Может статься, отсюда выйдут и «молодые штурманы будущей бури». Движение «новых левых», то несколько затухающее, то разгорающееся, свидетельствует, что многие из тех, кого поспешили окрестить «поколением Вудстока», влечет более перспективный жизненный путь: не тропа, ведущая «в край фантасмагорий», а дорога борьбы — в марксовско-гётевском смысле. Чтобы не ошибиться в выборе, надо прислушаться к Обещанию современной эпохи — оно гораздо объемнее того чисто технологического «обещания», о котором пишет Рейх.

[1] Кампус — университетский городок.

ПОДЛИННОЕ ИСКУССТВО ВСЕГДА СОВРЕМЕННО

(Беседа с Генрихом Бёлем)

Генрих Бёль — вновь в гостях у редакции «Иностранной литературы». Два года, прошедших после предыдущей встречи, были весьма насыщенными для писателя: он закончил роман «Групповой портрет с дамой», много ездил.

— За последнее время я побывал в Норвегии, Швеции, Югославии, Венгрии, Англии,— рассказывает Г. Бёль.— В США я посетил ряд университетов, читал там лекции. В своих американских впечатлениях я еще не совсем разобрался, они сложны и очень противоречивы. У меня не раз возникали интереснейшие беседы со студентами, в частности на политические темы. Среди множества вопросов, которые мне задавали, большинство касалось представления европейцев об Америке. Американская молодежь стала глубже, чем когда-либо, задумываться над тем, какою видят Америку европейцы. Об этом думает не только молодежь, но и значительная часть интеллигенции. Они во многом утратили прежнюю наивную самоуверенность. Это, очевидно, связано и с войной во Вьетнаме, и с экономическими последствиями, которые она за собой повлекла. Америке, одной из великих держав, победивших во второй мировой войне, непросто свыкнуться с мыслью, что ее экономика теперь не так уж стабильна. Кризис доллара, расовые и другие проблемы подрывают многие укоренившиеся представления. Чем все это может разрешиться, трудно сказать. Большинство университетских студентов, с которыми я беседовал, тоже этого не знают. Но они задумываются — и это уже хорошо. Это будет иметь положительные последствия... Как может повлиять на этот процесс политика «вьетнамизации»? Трудно сказать. Но, кстати, самая резкая критика этой политики звучит в американской прессе. То, что пишут в западногерманских газетах, например о войне во Вьетнаме, берется из американских источников. Очень важно, что многое становится достоянием гласности. И важна зреющая уверенность, что решить эти проблемы должны сами американцы...

Что нового за последнее время появилось в западногерманской литературе?

— Я работал над романом и почти ничего не читал. Впрочем, могу назвать некоторые книги. Например, первую часть романа молодого писателя Вернера Коха «Жизнь у моря». Это история человека, работающего на крупном предприятии. Он, по всей видимости, одаренный специалист, и ему разрешают перенести свое бюро на берег моря, подальше от того города, где находится предприятие. Может показаться, что он вполне свободен, но постепенно читателю становится ясно, насколько эта свобода ограничена уже в мелочах. Так, например, владелец предприятия выпускает талоны на питание, и герой обязан их брать вместе с жалованьем. Однако ресторан, где он должен ими расплачиваться, находится в городе, за сотни километров от его места жительства и работы. Использовать эти

талоны он никак не может. И это оказывается для него неразрешимой проблемой. Но вообще он свободен, совершенно свободен... Или, например, служебные поездки, командировки. Куда бы ему ни приходилось ехать, все расходы рассчитывает за него компьютер, он высчитывает до мелочи стоимость дороги, суточных, гостиницы и т. д. Но все эти расчеты исходят из того, что командированный едет из города. А герой живет на побережье и, напротив, приезжает в город. Поэтому ничто не соответствует действительности, ему не нужно жить в гостинице, он готов даже сам оплачивать дорогу. Но это невозможно, это исключено. А в остальном он свободен, абсолютно свободен. Так автор наглядно показывает ограниченность, относительность свободы своего вроде бы свободного героя. Не знаю, интересен ли этот роман для советского читателя, но сам я, читая, заметил, что с напряжением слежу за развитием этой абсурдной и в то же время весьма жизненной ситуации. Роман имел неожиданный успех. Надеюсь, что будет второй том.

Упомяну еще молодого писателя Гердта Гофмана. Он написал три-четыре не очень больших, но ювелирно точных по мастерству книги. Одна из них посвящена широкому кругу проблем, связанных с вычислительной техникой, программированием. Написана она необычайно увлекательно. Это одновременно и научно-популярная, и художественная литература. Книга, наверно, трудна для перевода, автор постоянно экспериментирует с языком, вводит много новых, непривычных слов и оборотов. Но она очень интересна...

Какой общественный резонанс получил в Западной Германии роман З. Ленца «Урок немецкого», тепло встреченный советскими читателями?

— У нас он имел сенсационный успех. Его экранизировали, показывали по первой программе телевидения, которую смотрят 30—40 миллионов зрителей. Проблемы, созданные фашизмом и минувшей войной, проблемы вины, ответственности, понятны большинству немцев. Постановка этих вопросов не вызывает сейчас серьезного сопротивления. Сегодня гораздо острее стоят у нас проблемы, связанные с некоторыми неблагоприятными явлениями технизации. Это очень обширный, сложный круг вопросов. Уже не фашизм, а развитие промышленной бюрократии порождает трудности и ограничения, на которые постоянно наталкивается человек, которые стесняют его свободу. Особенно серьезные препятствия ставит такое развитие перед теми, кто создает художественные ценности.

Литература и искусство представляются мне одним из проявлений свободы. Художник, писатель волен передать, сообщить свои мысли и чувства читателю. Волен он и в выборе формы, в способе выражения. В этом смысле, мне кажется, форма выражения в искусстве также несет в себе идею свободы. Искусство нельзя втискивать в определенные рамки, в шаблон. Художнику нужно быть смелым. И только если он будет «заходить слишком далеко», не будет бояться «выходить за рамки», «за пределы», только тогда он поймет и почувствует по-настоящему, где эти пределы и в чем именно они заключаются. Литература в наше время становится человечнее, потому что она не предлагает готовых формул. Она порождает новые формы свободы. С этой точки зрения литература тоже прогрессирует.

Как это понять? Что вы считаете прогрессом в искусстве?

— Это мне легче пояснить на примере изобразительного искусства. В традиционной живописи — натуралистической, реалистической — существовали свои определенные представления, каноны. Ван Гог опрокинул эти иконографические каноны, за что при жизни подвергся нападкам. После смерти Ван Гога у него появилось множество подражателей. Действительно, после Ван Гога, так же как в литературе после Бодлера и Джойса, которые тоже разрушили каноны, установленные до них, уже нельзя было творить по-старому.

Но это не значит, что надо отказываться от старого искусства, от той живописи, что была до Ван Гога. В этом смысле можно говорить о разнице между искусством современным и «модным» в искусстве. «Мода» — это уже своего рода клише, со временем она проходит, перестает быть современной. Подражатели Ван Гога были злободневными, модными, но не стали существенно реальными для любого времени. А вот такой писатель, как Фонтане, остается всегда современным, существенно реальным для любого времени. То, как он в своих произведениях поднимал общественные вопросы и проблемы пола, теперь кажется вполне безобидным, но в свое время это было революционно-злободневным. В живописи это очевиднее; писатели — народ хитрый, их не сразу раскусишь, особенно когда они сами начинают говорить о себе. Можно пояснить это и примером из области политики. Когда шестидесятилетняя крестьянка-католичка из Баварии голосует за социал-демократов — это огромный прогресс, это более примечательно, чем дортмундский студент, голосующий за коммунистов. Прогресс в искусстве — также вещь относительная. Можно накапливать знания, совершенствовать приемы. Но когда такой писатель, как Лев Толстой, снимает ореол святости в изображении картин войны, даже когда он рассказывает о такой героической, патриотической войне, какой была война 1812 года для России,— разве это и сейчас не современно, не существенно?

Как вы относитесь к модным сейчас на Западе теориям о кризисе литературы?

— По-моему, кризис в литературе существует постоянно. Нет литературы без кризиса. Так же, как нет писателя, который не

находился бы в состоянии непрерывного кризиса. Такой писатель просто не мог бы писать. Я в этом убежден. Ведь автор постоянно рискует, и этот элемент риска необходим в искусстве. Он никогда заранее не знает наверняка, удастся ли ему замысел. Он может написать не одно талантливое произведение и тем не менее никогда не бывает заранее уверен, что и следующая его работа будет хорошей. Вот что я понимаю под постоянным кризисом писателя. Он должен находиться в состоянии непрестанной борьбы со своим материалом.

Это не тот кризис, который имеют в виду, когда спорят, можно ли с помощью литературы изменить мир или писатель должен добиваться политических изменений с помощью протестов, демонстраций, публичных выступлений. Кризис, о котором говорим мы, существует издавна, он не связан со стереотипным противопоставлением «ангажированной» или «неангажированной» литературы. По-моему, это ложная альтернатива. Художник не должен свысока, снисходительно поучать, внушать свои взгляды, он должен просто выражать то, что он хочет, и настолько полно, насколько способен, не ограничивая себя никакими побочными соображениями. Нужно доверять читателю, нужно исходить из того, что он сам способен размышлять, способен воспринимать и самые сложные мысли, и самые разнообразные литературные приемы. Только при максимальном доверии и уважении к читателю можно в самом деле воздействовать на него — но как на равноправного собеседника.

Передо мной никогда не стоял вопрос, «ангажирован» я или «не ангажирован». Такой проблемы для меня просто не существует. Другое дело, что я многого не могу выразить, у меня не хватает для этого средств. Но из уважения к читателю я не вправе опуститься ниже определенного уровня. Я хотел бы говорить с читателем так же, как говорю с собой. Кризис литературы возникает, в частности, тогда, когда автор либо высокомерно начинает считать, что он выше публики и вправе сообщать ей какие-то истины — тогда он становится слишком тенденциозным, и художественный смысл его сочинений остается непонятным,— либо когда он слишком спускается к читателям и, стремясь к доходчивости, потворствует низкопробным вкусам. Многие авторы испытывают такие сомнения: нашел ли он должный уровень? Но самое страшное для писателя — впасть в рутину. Тогда он должен прекратить писать.

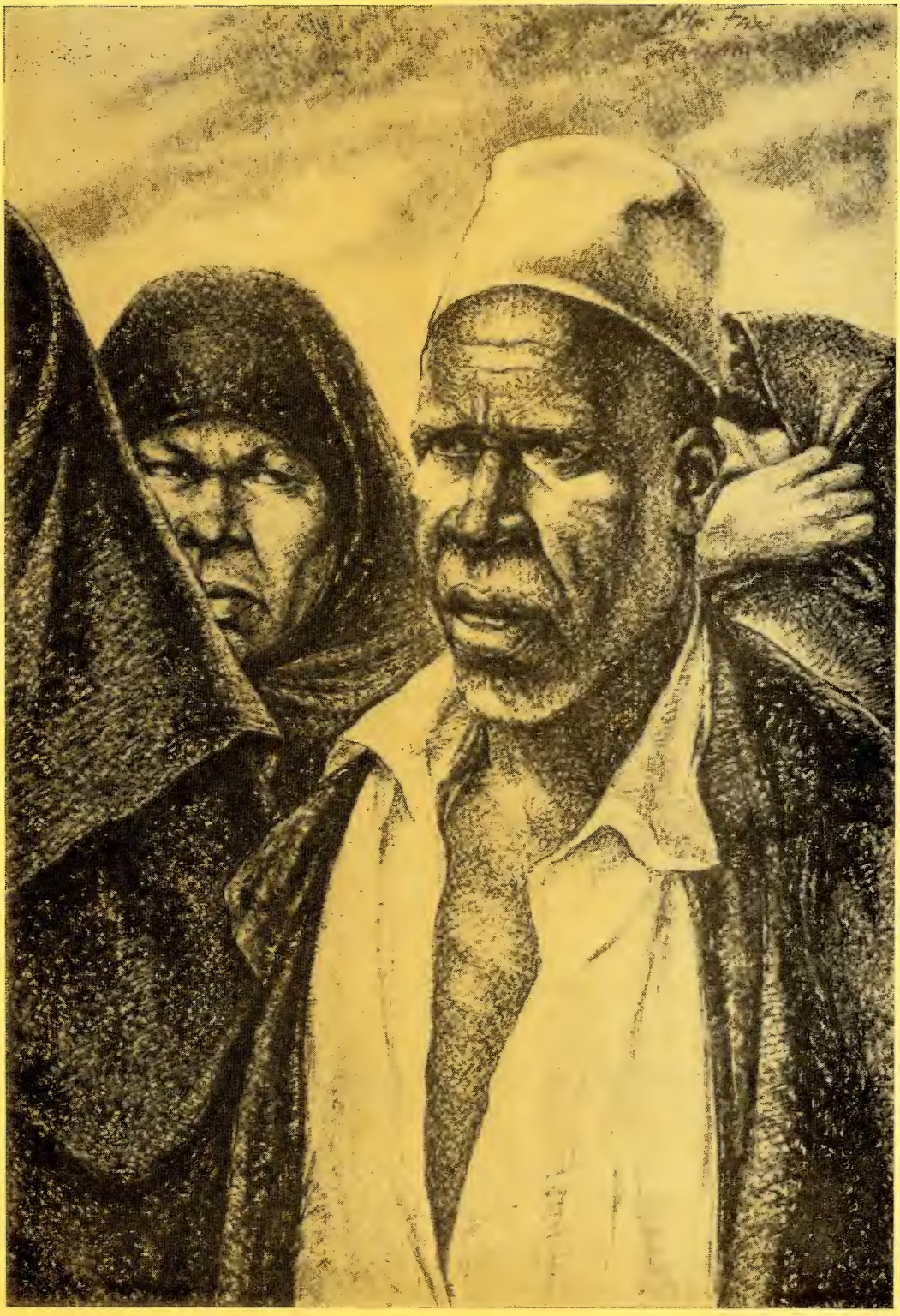
Запись М. СЕРГЕЕВА

Изобразительное искусство за рубежом

Из работ Элтона Фэкса

Рынок в Судане.

Резчик по дереву. Уганда.



Сборщики сизаля. Танзания.

Эфиопия, старая и новая.

НЕГРИТЯНСКИЙ ХУДОЖНИК ЭЛТОН ФЭКС

Недавно в нашей стране побывал известный негритянский художник и литератор США Элтон Фэкс. Картины его неоднократно экспонировались в различных американских музеях — Балтиморском музее искусств, Национальной художественной галерее, Метрополитен и других.

У себя на родине и за ее пределами Элтон Фэкс известен еще и как эрудированный лектор, выступающий с докладами о жизни и культуре народов разных стран в школах, колледжах, университетах и по телевидению. Свои лекции он называет: «беседы с мелом в руке» — его выступления сопровождаются художественными иллюстрациями. Такие лекции «с мелом в руке» были прочитаны в Южной Америке и на Карибских островах, в странах Западной и Восточной Африки, в двух десятках штатов Среднего Запада США.

Наибольшей известностью из работ Фэкса пользуется его альбом «Черное — прекрасно», созданный на африканском материале в результате поездок в страны Африки. Устойчиво пристрастие художника к детской аудитории: двадцать восемь детских книг и три сборника африканских и американских народных сказок содержат его иллюстрации.

Элтон Фэкс — автор нескольких книг по истории, культуре и искусству негритянского народа. Среди них — «Десять негритянских художников», «Современные негритянские лидеры», «О музыке и искусстве черной Америки», альбом «В Западной Африке». Статьи и очерки Фэкса публикуются в прогрессивном негритянском журнале США «Дороги свободы», французском журнале «Презанс африкэн» и других периодических изданиях, уделяющих внимание негритянской культуре.

Точность видения и любовь к Человеку — главное, что отличает творчество Фэкса-художника.

Прогрессивная критика высоко оценивает его вклад в современное искусство США. Известная негритянская актриса Руби Ди в предисловии к альбому «Черное — прекрасно» отмечает: «...это художник, несомненно, наделен мастерством, силой и глубочайшим уважением к каждому создаваемому им персонажу... Но тоньше всего он чувствует характер окружающих его людей... их индивидуальности, их мысли, их жизненную силу...»

Характер, воля, сила духа человека, обаяние неповторимой человеческой личности неотступно влекут художника. Специфично для Фэкса, пишет Руби Ди, «...тонко выраженное, глубокое и органическое чувство истории и поразительная точность образов», «обращенных в историю» с тем, «чтобы войти в будущее».

В качестве гостя Союза писателей СССР Элтон Фэкс вместе с делегацией прогрессивных деятелей негритянской культуры США побывал в Москве, Ленинграде, а также Узбекистане и Грузии.

Знакомство с жизнью и трудом советского народа, его культурой и искусством произвели на участников делегации большое впечатление: о встречах в нашей стране они рассказывали в передаче по советскому телевидению, воспоминаниями о поездке полны их письма, адресованные в Союз писателей СССР.

В Узбекистане Элтон Фэкс сделал несколько зарисовок, которые он рассматривает как первые страницы задуманной им галереи портретов советских людей — представителей разных национальностей. Эту работу художник намерен продолжить в дальнейшем во время предстоящего визита в нашу страну.

Особо говорил Элтон Фэкс о том, какое глубокое впечатление произвели на него, как и на остальных членов делегации, богатство и разнообразие культуры и искусства национальных республик Советского Союза, получивших столь плодотворное развитие за годы советской власти.

С. Ф.

А. БОГДАНОВ

ГРАФИКА БОРЬБЫ

Сирийский художник Назир Набаа

На красном пламенеющем фоне резко чернеют контуры двух воинов с автоматами в руках. Устремившись вперед, они заслоняют собой женщин и детей от надвигающейся опасности. В самом движении фигур, в выразительных позах и жестах, в напряженности жестких линий рисунка и контрасте цвета подчеркнута мужественная готовность к суровой борьбе, стремление выстоять и победить.

Так выглядит обложка одного из номеров сирийского журнала «Ат-Талиа» («Авангард»), издающегося в Дамаске. Ее автор — молодой художник Назир Набаа, имя которого в последнее время все чаще встречается на страницах сирийской иллюстрированной периодики. В названном журнале Набаа публикует большие полосные рисунки и целые развороты на политические темы. Яркая образность, публицистическая выразительность лучших работ графика неотрывны от социальной природы его творчества. Выступления последних лет отмечены прежде всего идеей всенародной освободительной борьбы с империализмом, с израильской агрессией.

Творческий путь художника, принадле-

жащего к младшему поколению мастеров искусства Сирии, начался в середине 60-х годов. Закончив в 1965 году живописное отделение Академии художеств в Каире, Набаа первоначально пробует свои силы как живописец. На традиционных художественных выставках в Дамаске и Алеппо все чаще появляются его полотна, свидетельствующие об интересе к народному фольклору, хотя известная дань отдается туманной символике. Удачнее оказалось выступление Набаа в качестве журнального графика. Он — автор многочисленных рисунков, объединенных общей темой: страна и народ. Таковы, например, мастерски выполненные зарисовки сирийских крестьян — жителей различных районов республики, свидетельствующие о незаурядной приметливости глаза художника. Заслуженный успех молодому графику принесли его работы, созданные после 1967 года, когда на долю сирийского народа выпали военные испытания.

Набаа одним из первых среди художников Сирии обратился к теме войны. Вместе с другими графиками и плакатистами, такими как Рияк Джанзерли, Валид Иззат, Бурхан Коркотли, он выступает за сплочение национальной художественной интеллигенции, призывает к созданию произведений, правдиво отображающих идеи Сопротивления. Программа Набаа и его друзей приобретает особую значимость в связи с позицией некоторой части сирийских художников, оторванных от острых проблем современности, трактующих народную жизнь в духе безмятежных сельских пасторалей или занятых формалистическими упражнениями.

В рисунках, регулярно появляющихся на страницах печати, Набаа призывает к отпору израильским оккупантам, славит мужество и единство народных масс, языком сатиры разоблачает сионистов и их заокеанских покровителей. Один из часто повторяющихся мотивов художника — образ араба, поражающего мечом дракона со знаком американского доллара на крыльях. В композиции этого рисунка сочетается традиционное для арабского искусства изображение легендарного героя Саладина с символикой нашего времени. Подчеркнутая аллегория, злой шарж, остроумная карикатура и, с другой стороны, образы соотечественников — рабочих и крестьян, взявшихся за оружие. Призывая к сопротивлению, Набаа ратует за мир, излюбленные его сопоставления — винтовки с цветами, листьями цветущих побегов или восходящим солнцем. Эти настроения художника раскрываются и в композиции «Рабочий и солдат», где изображен араб в рабочем комбинезоне, одной рукой сжимающий оружие, а другой — зубчатое колесо, увитое цветами. Символика плакатных решений Набаа обнажена, она словно подчеркивает ясность и недвусмысленность самой идеи мирной жизни, необходимости защиты свободы и отечества.

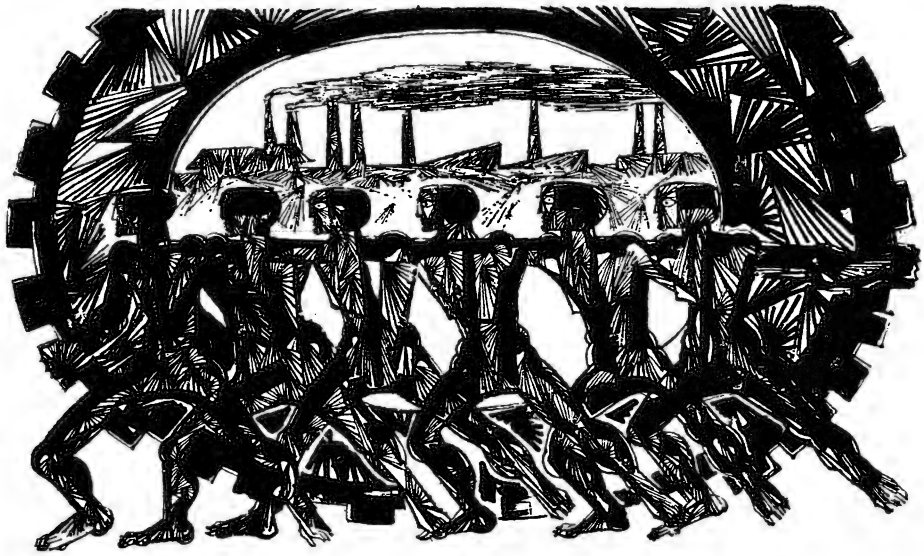
Работы Набаа исполнены в туши пером и кистью, тонкая штриховка сочета-

صفحة لرسام الطليعة

ется с широкой, уверенной линией. График свободно владеет рисунком, нередко приобретающим характер броского силуэтного пятна. Компактностью цельной, продуманной композиции эти произведения напоминают народный сирийский лубок или популярные в арабских странах рисунки набивных тканей. При этом мастер далек от стилизации традиционных художественных форм. Последние скорее угадываются, и, вероятно, поэтому, несмотря на чисто декоративную привлекательность, изображение у Набаа никогда не превращается в орнаментальный мотив.

В Дамаске вышел альбом новых произведений художника под названием «С оккупированной земли». Он содержит тридцать черно-белых рисунков, созданных в прифронтовой полосе. Графические работы дополнены поэтическим текстом. Дамасская печать назвала альбом «передвижной выставкой Назира Набаа», отметила особое агитационное значение этого массового издания — взволнованного рассказа автора об увиденном и пережитом на опаленных войной арабских землях.

Страдающий и борющийся народ. Измученные лишениями беженцы, раненые, искалеченные дети, обезумевшие от горя женщины... Трагична фигура заключенного в лагерь старика араба, прижавшего морщинистое лицо к колючей проволоке. Гневные лица крестьянок, изгнанных из родных мест. Обнажив острый меч, готов ринуться на врага бесстрашный всадник; сжав кулаки, устремились вперед люди, сбросившие оковы; застыв в напряженном ожидании, стоят на часах бойцы партизанских отрядов... Традиционные образы народных героев соседствуют с реальными портретами подлинных участников войны с захватчиками. По сравнению с предыдущими работами, графическая манера автора более резка и экспрессивна. Ощущение драматической напряженности, предельного накала борьбы передается через крупные черные пятна и угловатые линии, образующие остро «читаемые» на белом фоне силуэты человеческих фигур. Отдельные рисунки цикла «С оккупированной земли» были воспроизведены в сирийских журналах, изданы в виде плакатов. «Передвижная выставка Назира Набаа» успешно выполнила свое назначение.



Среди книг

Издано в СССР

ИЗ НАСЛЕДИЯ БЕРНАРДА ШОУ

Бернард Шоу. Письма. Издание подготовили И. М. Бернштейн, А. А. Елистратова, А. Г. Образцова. Ответственный редактор А. А. Елистратова. Составление А. Г. Образцовой, перевод И. М. Бернштейн. Москва, «Наука», 1971. 396 стр.

За свою долгую жизнь Бернард Шоу написал очень много писем и телеграмм (по утверждению одного из исследователей, их общее число составило около четверти миллиона), он любил переписываться и относился к переписке весьма серьезно. В эпистолярном наследии Шоу — много сокровенно личного, и сам Шоу противился публикации своих писем. Более того, он всеми способами стремился заполучить свои письма обратно и уничтожал их. Тем не менее уже при жизни писателя начали появляться в печати сборники переписки Шоу.

У нас письма Шоу почти не издавались. Правда, еще в 1911 году были опубликованы два письма английского драматурга ко Льву Толстому и ответы русского писателя. В советское время в различных периодических изданиях появилось еще несколько писем к общественным деятелям и представителям русской культуры. Небольшая часть писем Шоу стала известна советским читателям и по книге Э. Хьюза «Бернард Шоу» (Москва, «Молодая гвардия», 1966). Так что книга «Письма» Шоу, изданная в серии «Литературные памятники»,— в сущности, первый сборник писем Шоу на русском языке.

Письмо, открывающее сборник, было написано в 1892 году, когда была поставлена первая драма Шоу, завершающее его — в 1949 году, за год до смерти автора. Письма, вошедшие в сборник, адресованы людям, соединенным общностью интересов, что придало книге своеобразную цельность.

Все четыре адресата посвятили жизнь театру: Эллен Терри (1847—1928) и Стелла Патрик Кэмпбелл (1865—1940) — крупнейшие английские актрисы своего времени, Гренвилл Баркер (1877—1946) — выдающийся актер, незаурядный режиссер и оригинальный драматург, развивавший, по единодушному признанию критики, традиции Шоу в английской драматургии, и Молли Томпкинс (1897—1960) — американская почитательница таланта писателя, намеревавшаяся стать профессиональной актрисой и уверовавшая в преобразующую силу социальной философии Шоу.

Двести сорок писем Шоу, опубликованных впервые на русском языке — хотя они и являются лишь небольшой долей гигантского эпистолярного наследия писателя,— представляют своеобразную хронику трудной и бескомпромиссной борьбы Шоу за новую драму, за новый театр. Вот почему эти письма помогают лучше понять его драматургию, его литературно-критические и публицистические произведения, духовный и нравственный облик самого писателя.

В борьбе за новую драму и новый театр Б. Шоу вел непримиримую войну с пустой, развлекательной драматургией, которая к

концу XIX века почти безраздельно господствовала на сценах театров Европы. При этом он не мог не искать опоры в творчестве великих драматургов прошлого, не искать себе союзников и соратников среди драматургов и театральных деятелей своего времени.

Сейчас факты, события тех лет принадлежат истории, и одна из главных задач научного комментария как раз и сводится к тому, чтобы разъяснить читателю мотивы, обусловившие характер писем, иначе читатель наших дней не все в них поймет или даже может прийти к неправильным выводам. Скажем, читая письма к Эллен Терри, в которых Шоу противопоставляет свою драматическую миниатюру о Наполеоне — «Избранник судьбы» — пьесе В. Сарду и Э. Моро «Мадам Сан-Жен», тоже о Наполеоне, можно сделать превратное заключение, если не знать, что для Шоу театр «Лицеум», в котором играла Эллен Терри и который возглавлял Генри Ирвинг, был олицетворением «старой» драмы и «старого» театра. И постановка пьесы Шоу на сцене «Лицеума» означала бы пробитую брешь в цитадели «старого» театра. Вот почему позиции Шоу в этом вопросе, его попытки разъяснить достоинства отдельных характеров и всей драматической миниатюры не диктовались авторским самомнением, а были одним из эпизодов борьбы Шоу за новый театр и новую драму. Исход этой борьбы — когда Ирвинг выразил готовность купить рукопись пьесы Шоу и право на ее постановку, чтобы помешать другим театрам воспользоваться пьесой Шоу, а сам все же отдал предпочтение драме Сарду и Моро — говорит о том, насколько она была трудной.

Весьма интересная и содержательная статья А. Г. Образцовой «Письма Бернарда Шоу» и ее примечания помогают читателю ориентироваться в этом сложном и подчас противоречивом материале; жаль только, что там не нашел отражения вопрос об отношении Шоу к творчеству Шекспира, многочисленные следы которого встречаются в письмах и могут вызвать недоумение у читателя. Вот почему мы считаем необходимым высказать здесь несколько замечаний по этому вопросу, не претендуя, конечно, на его исчерпывающее освещение.

На протяжении всего творчества Б. Шоу вел полемику с Шекспиром и тем самым дал в свое время повод некоторым исследователям для односторонних и неправильных утверждений о том, что он якобы нигилистически относился к Шекспиру. На самом деле отношение Шоу к Шекспиру было намного сложнее. Прежде всего надо иметь в виду, что Шоу не принимал интерпретацию Шекспира современным театром. В угоду мещанскому зрителю театры «обрабатывали» канонические тексты произведений Шекспира, сокращали отдельные сцены, изменяли финалы, так что некоторые трагедии обретали пресловутый happy end, а в одной из постановок «Сна в летнюю ночь» Оберона превратили в ...женщину. Что касается самого существа произведений великого драматурга, то Шоу не видел в Шекспире оригинального мыслителя и содержание некоторых его пьес считал тривиальным. В борьбе за действенный, реалистический театр, который смело бросает вызов отжившей, традиционной морали и активно формирует новое сознание у людей, Шоу тогда противопоставлял Шекспиру Ибсена. Вместе с тем Шоу высоко ценил музыкальность поэзии Шекспира и считал его величайшим поэтом мира.

В этом противоречивом отношении Шоу к Шекспиру сказались не только слабости эстетики Шоу: отсутствие исторического подхода к явлениям искусства, переоценка рационалистических моментов и недооценка эмоционально-чувственной природы его, но и сильные ее стороны: борьба с развлекательным и «ложнопроблемным» буржуазным искусством и требования прогрессивной идейности и актуальной злободневности искусства.

Весьма показательно, что после Великой Октябрьской революции, когда сама историческая действительность развеяла многие иллюзии в мировоззрении Шоу, он, хотя и продолжал свою полемику с Шекспиром, все же сумел более объективно оценить его историческое значение и себя стал считать его скромным последователем.

Переписка Бернарда Шоу — убедительное свидетельство высоких требований, которые предъявлял писатель к драматическому и театральному искусству, свидетельство того, что он вкладывал **свое** содержание в понятие «реалистический театр». Для Шоу это прежде всего театр, в равной степени сочетающий в себе страстную публицистичность с подлинной поэзией. И нет ничего неожиданного в том, что мы находим эти же качества и в его переписке. Недаром часть писем Шоу к Патрик Кэмпбелл и ее писем к Шоу послужила почти без изменений материалом для пьесы Джерома Килти «Милый лжец», которая увидела свет рампы крупнейших сцен мира, в том числе и многих театров Советского Союза.

В активном арсенале автора мы найдем все, за что ценим Шоу-драматурга, Шоу-публициста и Шоу-рассказчика: от тончай-

шей иронии до ядовитого сарказма, от забавной клоунады до космических парадоксов и от интимной лирики до возвышенного гражданского пафоса.

И все же в письмах вырисовывается, как справедливо отметила А. Г. Образцова, и «новый Шоу». «Письма — самый лирический, самый интимный жанр творчества писателя. Новый, неожиданный Шоу — это Шоу, приоткрывающий перед нами свое сердце; это Шоу, как бы позволяющий остаться с ним наедине, хотя чаще и больше всего он пишет не о себе, а о том, к кому обращается».

Хочется сказать несколько добрых слов о высокой культуре издания «Писем» Шоу. Это в равной степени относится и к отбору материала, и к переводу, и к иллюстративному материалу, очень любовно подобранному. Все это, разумеется, помогает читателю оценить по достоинству эпистолярное искусство Бернарда Шоу, понять его реальную ценность.

И. КАНТОРОВИЧ

ПЕРЕУЛКИ ТИЛЬБЮРИ-ТАУНА

Эдвин Арлингтон Робинсон. Тильбюри-таун. Стихотворения и поэмы. Перевод с английского и предисловие Андрея Сергеева. Москва, «Художественная литература», 1971. 143 стр.

Город Тильбюри-таун не обозначен на карте штата Мэн и не упоминается ни в одном географическом справочнике. Город этот существует только в американской поэзии, но зато в ней он занимает место рядом с Чикаго Сэндберга и Спрингфилдом Линдсея, рядом с такими же вымышленными и в то же время до зрительного впечатления реальными Спунривером Мастерса и Патерсоном Уильямса.

Многих выдающихся американских поэтов нашего столетия увлекала эта идея: создать свой микромир, свою модель причудливо меняющейся действительности; и тогда возникал образ города, в чьей будничной и однообразной жизни то явственным, то далеким отголоском отразились тревоги века, города — перекрестка судеб, драм, конфликтов, маленького островка, омываемого волнами времени. Возникая вновь и вновь, этот образ создавал сквозную тему поэта, и книги его приобретали добавочное измерение— летопись многообразных человеческих побуждений, разочарований и надежд, хроника повседневности перерастали в эпос, в сагу об американской истории.

Хроника Тильбюри-тауна составила первую главу этой полной внутреннего драматизма саги. Уитменовская вселенная сузилась, сжалась у Робинсона до масштабов тишайшего провинциального захолустья, но при этом не потеряла ни в поэтической многозначности, ни в художественной выразительности и глубине.

Магистраль истории продолжена у Робинсона не через поля сражений гражданской войны, не через широкую прерию, по которой мчится на Запад первый локомотив. Река исторического времени у Робинсона словно разбивается на множество проток, рукавов, стариц. Но ее глубинное течение уловлено безошибочно. «Позолоченный век», так жестоко высмеянный Твеном, эпоха меркантилизма и торжествующей буржуазности — вот социальный и исторический контекст его стихов. Робинсон первым заговорил о надломе, о своеобразном заболевании, которое поразило душу человека, живущего в условиях бездуховной, антигероической действительности. Так была найдена одна из неотступных тем поэзии США XX века.

Робинсон писал стихи, проникнутые грустной иронией и неясной мечтой об ином, более совершенном мире и более гуманных отношениях между людьми. Мир, его окружавший, казался ему лишь неудачной копией подлинно гармоничного мира, и поэт искал гармонии, обращаясь то к образам людей Возрождения, то к героическим фигурам недавнего прошлого — Линкольну, Джону Брауну. И о тех своих современниках, которые сохранили стойкость духа и ясность мироощущения, он писал с особой теплотой; им посвящено одно из лучших его созданий — поэма «Айзек и Арчибальд».

Мечта о человеке — носителе духовной гармонии проходит через все книги Робинсона, но все-таки самое в них значительное связано с изображением опустошенной буржуазным практицизмом американской жизни его времени и надломленных, покалеченных этой жизнью людей. И как ни разнообразны созданные Робинсоном характеры, как ни отличны друг от друга жители его Тильбюри-тауна, беда у всех них общая — духовная провинциальность, в которой Робинсон одним из первых увидел истоки трагических и таких типичных для современной Америки явлений распада це-

лостной человеческой личности и естественных нравственных норм.

Тильбюри-таун — город, где нет авеню и площадей, нет даже таверны, в которой сходятся потолковать о местных новостях и оглянуться на еще один ушедший в небытие день. Это город переулков, упирающихся в пустыри, город индивидуалистов, отгородившихся от соседей глухой стеной и тщательно скрывающих от постороннего взгляда повседневные свои драмы и переживания.

Он знал эту жизнь, как никто из американских поэтов его эпохи. Он вырос в таком же заштатном Гардинере и с ранней юности изведал полную меру невзгод. Ему выпало пережить разорение отца, трагическую гибель братьев, нищету, болезнь, непризнание. Воздух провинции неосязаемым и неимоверно тяжелым грузом давил на его плечи, и повсюду вокруг себя Робинсон видел людей, которым оказалось не по силам нести это бремя, которые капитулировали и были заживо погребены в разбросанных по Америке тильбюри-таунах, хотя продолжали жить, тосковать, спиваться и оплакивать карточные домики несбывшихся надежд.

Судьбы робинсоновских героев складывались неоднотипно, но почти всегда трагически, и истинная причина трагедии неизменно была одна и та же — провинциальные нормы, понятия, быт овладевали людьми настолько, что они уже не могли представить себе возможность иной жизни, содержательной и небесполезной. Всем им свойствен «разнобой между призваньем и судьбой», но лишь немногие пытаются, пусть безуспешно, противостоять выпавшему им жребию. Исход этой несмелой схватки с судьбой у Робинсона всегда предрешен. Люк Хэвергол будет всю жизнь ждать у Западных ворот невозможной встречи с умершей любимой — таков его «горчайший, неизбежный путь». Лунные ночи высвечивают «ненужные обломки позабытого былого» на дороге, по которой до могилы шагать Джону Горэму, так и не обретшему желанной Джейн Уэйленд. Стихотворение «Божий дар» рассказывает о матери, тщетно ждущей грядущих триумфов сына: «За ним достоинств никаких не хочет признавать молва».

Но и эти примеры стоического терпения, возвышающего человека в его горе, у Робинсона нечасты. Гораздо чаще мы встречаем в Тильбюри-тауне людей, духовно погибших потому, что они преследуют заведомо ложную цель,— как Эрон Старк, отдавшийся несбыточной мечте о богатстве и радующийся чужой беде, ибо она пополнит ряды отверженных, к которым принадлежит он сам; как Минивер Чиви, опоздавший родиться романтик с его пустыми грезами о невозвратной старине и безотрадным настоящим. А еще больше здесь людей, давно уже позабывших о призвании и подчинившихся медленному, сонному течению жизни, которое несет их никуда. Ричард Кори, джентльмен с головы до ног и предмет зависти провинциальной окраины, тот самый Ричард Кори, который «тихим летним днем, придя домой, отправил в сердце пулю»,— вероятно, самый типичный для Робинсона персонаж.

Все эти люди обречены терпеть при столкновении с жизнью поражение. Ощущение попусту растрачиваемых лет может стать у них подчас до трагизма острым, пробуждая смутный протест, безысходную тоску, даже приступы ярости и стремление любой ценой «выбраться отсюда». И все же они как две капли воды похожи на Таскера Норкросса: «Он, различавший вкус любой еды, понятья не имел о Хлебе Жизни». И в этом, по Робинсону, первопричина их крушения.

Он не был ни поэтом природы, ни, строго говоря, лириком. Робинсона влекли к себе характеры, и любимым жанром его стал портрет. Многообразие созданных им образов рядовых американцев начала века поразительно, и подчас за ним теряется так органично присущее Робинсону чувство исторической закономерности происходивших в Тильбюри-тауне процессов. Та же отчужденность в отношениях между людьми описанного им городка, то же одиночество, та же бесцельность жизни, от которых так страдают его герои,—все это черты, выразившие не только особенности робинсоновского миропонимания и духовного склада, но и объективное содержание эпохи. Микромир Тильбюри-тауна становился моделью макромира Америки, и речь шла не просто о провинциальных драмах, но больше — об упадке американского духа.

Линкольн оставался для Робинсона идеалом, выдвинутым совсем близкой во времени полосой героического национального подъема, и краткость временной дистанции, разделившей Америку Робинсона и Америку Линкольна, заставляла поэта особенно болезненно переживать измельчание мыслей и устремлений своих современников: «А мы — от чьих мы скроем глаз позор, которым с головой грядущее покроет нас?»

Робинсон никогда не отделяет себя от своих героев. Он бродит по Тильбюри-тауну не как сторонний наблюдатель, и даже в самых мрачных по колориту стихотворениях взгляд поэта не становится взглядом пессимиста, отчаявшегося выправить изъяны человеческой природы. Ценность личности, ценность индивидуального, всегда неповторимого жизненного опыта для Робинсона не может быть перечеркнута даже тем, что человек — по душевной лености или по неумению бороться с обстоятельствами — так и не вкусил Хлеба Жизни:

> Всегда и всюду рядом с вами люди,
> Которые — ничто. Ничто, покуда
> Им время не нашло иной задачи,
> Чем радовать собой гробовщиков.
> И тем не менее в своих глазах
> Они невыразимо что-то значат
> И, стало быть, чего-нибудь да стоят.

Современному читателю взгляд этот покажется несколько наивным, чрезмерно романтическим — и не без причины. В литературу Робинсон вступил как раз в то время, когда романтическая традиция пережи-

вала глубокий кризис, когда в поэзии была полоса застоя; и засилие эпигонов, в сотый раз перепевавших Вордсворта и Лонгфелло, скомпрометировало ее во мнении серьезного читателя. Робинсон сделал очень много для того, чтобы вернуть поэзии живые краски, образы, слова, он нашел материал, который разрабатывали потом младшие его современники. Его творчество явилось мостиком, соединившим в поэзии США век нынешний и век минувший, но Робинсон остался все-таки последним выдающимся американским романтиком, и это сказалось и в тех мыслях о человеке и времени, которые он высказывал в своих стихах, и — особенно заметно — в его образности, версификации и поэтическом словаре.

В его книгах повсюду ощущаешь борьбу стиля уходящего и утверждающегося, подспудное движение к новой, реалистической поэтике. Ямб Робинсона отточен и прост той естественной, свободной простотой, какая отличает лишь большого мастера. Однако это цветение осени — Робинсон предчувствует близящийся отход от метра и «взрыв» верлибра и все чаще, хотя и с неизменной осторожностью, откликается на новые веяния: прозаизирует стих, отказывается от рифмы, допускает как бы случайные нарушения метра в эмоционально самых насыщенных строфах. Белый стих Робинсона в лучших своих образцах настолько богат ритмическими вариациями, настолько разнообразен по принципам организации и по звучанию, что можно говорить об индивидуальной поэтике каждого стихотворения, как у классиков верлибра.

Эту инстинктивную тягу Робинсона к свободному стиху хорошо уловил А. Сергеев, и самые несомненные его переводческие удачи («Таскер Норкросс», «Бен Джонсон занимает гостя из Стрэтфорда», «Блудный сын») сопряжены как раз с теми поэмами и стихотворениями, где стих оригинала наиболее раскован и приближен к потоку обыденной речи. Переводя баллады и стихи-портреты, А. Сергеев стремится показать ту же тенденцию, широко и смело вводя просторечие. Подчас (например, во «Фламмонде») это приносит интересные результаты.

Но, думается, внесенное переводчиком просторечие допустимо скорее при условии соответствующего ослабления слишком прочной и устойчивой в переводе метрической структуры. Безупречность метра и строгая однолинейность ритма в «Джоне Горэме» и «Эроне Старке», скажем, не всегда гармонируют с лексикой перевода, а в других случаях вынуждают А. Сергеева вставлять лишние «при этом» и «притом» либо ведут к тяжелым стилистическим оборотам («Чтоб все, что говорю я не услышан, услышали», или: «Она могла бы воскресить мечтами успех и обветшалую тщету»).

«Тильбюри-таун» — первая книга Робинсона на русском языке; раньше его знали у нас только по подборке в антологии И. А. Кашкина и М. А. Зенкевича «Поэты Америки. XX век» (1939). Будем надеяться, что за ней последуют другие: из больших американских поэтов Робинсон, пожалуй, всего созвучнее традициям русской поэзии — и пристальным своим интересом к жизни обыкновенных людей, и серьезностью, сдержанностью интонации, и неброским, но зрелым мастерством. Дверь в его мир приоткрылась теперь пошире, и Робинсон, несомненно, привлечет к себе читателя как художник глубокий, вдумчивый и очень гуманный.

А. ЗВЕРЕВ

Издано за рубежом

КАРЛОС ФУЭНТЕС. «МЕКСИКАНСКОЕ ВРЕМЯ»

Carlos Fuentes. Tiempo mexicano. México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1971.

Хотя кое-кто у нас в Мексике считает книгу Карлоса Фуэнтеса самым значительным произведением из опубликованных в прошлом году, как раз эта книга не привлекла особого внимания критиков, расточавших столько похвал его романам «Область наипрозрачного воздуха», «Смерть Артемио Круса» [1], «Священная зона», «Смена кожи» или пьесе «Все кошки серы»[2]... Чем это объяснить? Тем ли, что «Мексиканское время» не является произведением художественной литературы? Или его политическим содержанием, явно еретического характера?

Разумеется, нельзя ожидать хороших отзывов о книге, автор которой называет заправил желтой прессы «старшими придворными режима», а «большую прессу» (именно — в кавычках) считает «одной из основных причин смерти гражданственности в Мексике».

Карлос Фуэнтес — истинный представитель своего поколения, появившегося, по выражению самого писателя, когда «еще не остыли пушки мексиканской революции», и Мексика его юности была миром, в котором уже блистали Диего Ривера с его подмостками для работы над монументальными фресками, кинозвезда Мария Феликс

[1] Роман был опубликован в «Иностранной литературе» №№ 7, 8 за 1965 год.

[2] Пьеса опубликована в «Иностранной литературе» № 1 за 1972 год.

с ее ресницами, Давид Альфаро Сикейрос с его пистолетами, заряженными пироксилином для создания новых произведений искусства, и другие. Это поколение зачитывалось Кафкой, Джойсом, Прустом, Элиотом и, откликаясь на веяния эпохи, интересовалось Марксом, правда, истолковывая марксизм по-своему.

С именем Карлоса Фуэнтеса связан отход мексиканской литературы, и в частности мексиканского романа, от сельской тематики и обращение к тематике городской. «Педро Парамо» Хуана Рульфо венчает золотым венцом целую эпоху мексиканского сельского романа, черпавшего свои сюжеты в трагедии индейцев, в жизни крестьянских общин. Карлос Фуэнтес открывает новый цикл, цикл гражданского романа.

В силу некоторых обстоятельств его биографии (Фуэнтес — сын дипломата) писатель раньше узнал жизнь в других странах, чем познакомился с суровой действительностью своей родины. Он посетил крупнейшие университеты мира, но не представлял себе жизни индейцев-ткачей в Мистека-Альта. Бесспорный литературный талант привел его в стан привилегированных представителей культуры, культуры избранных.

Тот факт, что Фуэнтес — литератор, романист мексиканской элиты — временно покидает круг избранных, чтобы поразмыслить над драмой Мексики, обескураживает многих наших критиков. Некоторые из них считают, что писатель не должен опускаться до журналистики. В «Мексиканском времени» Карлос Фуэнтес выступает как публицист. Однако Фуэнтес-публицист не смог освободиться от своего второго «я», Фуэнтеса-писателя. Его «Мексиканское время», особенно начиная с главы «Радиография одной декады», напоминает скорее не анализ политической обстановки в стране в описываемый период, а схему романа, который мог бы сойти за мексиканский вариант «Сеньора Президента» Мигеля Анхеля Астуриаса.

Вспомнив древних ацтеков, Фуэнтес пишет, что он рассматривает период от ацтекского божества Кецалькоатля до «Пепси-коатля»[1], так измеряет Фуэнтес в своей книге время от патернализма Моктесумы до патернализма нынешних президентов. «Моктесума,— пишет он,— это уже не божественный самодержец. Это Сеньор Президент, который садится на золотой трон ацтеков только на шесть лет и которого уважают лишь в том случае, если он правит со всей жестокостью и коварством конкистадора, рядясь при этом в тогу императора. Мексиканцы уважают лишь правителя в маске (будь то золотое шитье диктатора Порфирио Диаса, борода и синие очки президента Каррансы или холодное высокомерие президента-индейца Хуареса)».

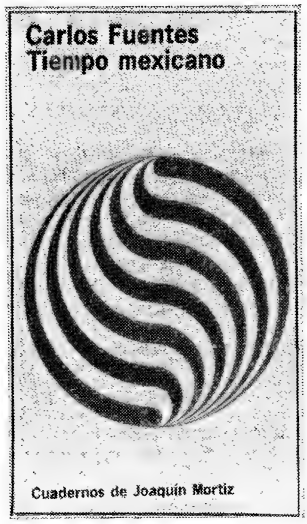
Карлос Фуэнтес говорит о мексиканцах как о каком-то далеком, чуть ли не незнакомом ему племени, населяющем один из загадочных районов Африки или бассейн Амазонки. Почему он не употребляет первого лица множественного числа? Разве он не считает себя стопроцентным мексиканцем?

Фуэнтес выступает перед нами не с критикой, не с политическим анализом, а с политическим гротеском. Так, например, говоря об избирательной системе, которую народный юмор определил как «tapadismo» (мексиканский политический термин, в котором скрыт намек на тайный и антидемократический характер выдвижения кандидата от правящей партии на пост президента республики), он пишет: «Тайный кандидат — единственная в своем роде личность, шестилетний миф, материализовавшийся призрак, который к своей обычной маске государственного секретаря, покорного и безответственного, послушного приказам Сеньора Президента, добавляет (как бы подчеркивая всю карикатурность своей скрытой сущности) капюшон с двумя отверстиями для глаз...»

Столь серьезный и драматический вопрос, как состояние рабочего движения, охарактеризован в книге Фуэнтеса с помощью невежественного лидера, «человека, стремящегося не создавать проблем... человека, препятствующего возникновению проблем. Основополагающими принципами его деятельности являются отвлечение профсоюзов от политической борьбы, попытки расширить сотрудничество трудящихся с предпринимателями... сохранить корпоративную структуру синдикализма для поддержки вертикальной структуры мексиканского режима, чтобы в конечном счете обеспечить индустриализацию, используя дешевую и аполитичную рабочую силу».

В том же духе освещает автор и другие аспекты жизни страны. «Мексиканский режим,— говорит он в одной из частей своей книги,— создал некую патерналистскую си-

[1] От пепси-кола — освежающего напитка, производимого и в Мексике одной американской монополией.



стему... которой не удается скрыть опасной двойственности революционных фраз без революционных акций, священных прав без возможностей их осуществления».

Выразителем этой «радужной шизофрении», по словам Фуэнтеса, является «большая пресса», эта реакционная пресса, «которая разжигает международную ненависть, скрывает национальные проблемы и являет собой ярчайший пример полной неспособности осветить... реальные задачи, стоящие перед народом».

В своей книге Карлос Фуэнтес не обошел молчанием события 1968 года — студенческого движения, всколыхнувшего общественную жизнь Мексики. Он считает, что репрессии 1968 года «можно сравнить лишь с репрессиями другого Диаса, Порфирио, с расстрелами 1912 года в Кананеа и Рио Бланко. Все действия властей, от первого выстрела из базуки 30 июля до расстрела 2 октября на площади Трех Культур, показали тогда неспособность правительства разрешить политические проблемы в стране. Мексиканский Тьер не смог великодушно, с пониманием и умом, ответить на вызов молодежи, выступившей против такого положения вещей, при котором на пост президента республики может быть избран человек, вряд ли способный руководить муниципалитетом даже в далеком индейском селении Сан Андрес Чальчикомула...»

Фуэнтеса, безусловно, нельзя ни в коей мере обвинить в каком-либо искажении мексиканской действительности, однако иногда ему не удается глубоко разобраться в ней, перейти от политического анекдота к серьезному анализу истинных социально-политических причин зла, проследить историческое развитие страны, приведшее ее к настоящему положению. От его внимания ускользает разрушительная, разобщающая роль империалистических тенденций, проникших во все области жизни мексиканского общества.

Касаясь этой темы лишь слегка и очень осторожно, Фуэнтес стремится сохранить удобное центристское равновесие. Так, например, с одной стороны, он говорит: «Геноцид и военное поражение во Вьетнаме, а также разоблачение документов Пентагона относительно modus vivendi власти навсегда разоблачили позитивистский характер этики капиталистического индустриализма».

С другой стороны, касаясь вопросов политики стран социалистического лагеря, он порой попадает под влияние той буржуазной прессы, которую он же сам подвергает справедливой критике.

Когда же он стремится определить тип правления, которое должно установиться в Мексике, он говорит «о создании своего собственного образца... который избавил бы нас от нежелательной перспективы в будущем».

Книга Карлоса Фуэнтеса «Мексиканское время», в которой автор критикует неоправдавших себя правителей и указывает на ошибки мексиканской революции, столь щедро вознаградившей тех, кто ее предал, написана с большим мастерством. Однако Фуэнтес несколько непоследователен в своих патерналистских выводах. В заключение Карлос Фуэнтес пишет: «...Возможно, близко то время, когда президент решится отказаться от призрачного «примирения интересов» и, опираясь на народные массы, превратит словесную политику в политику активного структурного обновления... и когда он изгонит из страны тех экс-президентов, экс-правителей, экс-офицеров, которые готовят в Мексике фашистский переворот».

Страна, разумеется, не может ожидать, пока совершится чудо, зависящее от спасительного решения одного человека, и «литературный» метод представить положение в Мексике как трагикомедию не может, вполне понятно, служить единственным средством, воодушевляющим народ на борьбу.

МАРИО ХИЛЬ

г. Мехико

«ЧИСТАЯ» КРИТИКА ЭНДРЮ ФИЛДА

The Complection of Russian Literature. A Cento. Compiled by Andrew Field. New York, Atheneum, 1971.

Преподаватель австралийского университета Эндрю Филд предлагает в качестве пособия для американских студентов-славистов своеобразно составленную антологию «The Complection of Russian Literature». Слово «complection» — авторский неологизм, Филд дает к нему в предисловии несколько английских синонимов, которые по-русски можно передать как структура, устройство, последовательность. Отдавая дань академической традиции, автор включил в свою «Структуру русской литературы» высказывания, принадлежащие выдающимся русским писателям и критикам. Но рядом с ними немало тенденциозных, недоброжелательных и попросту враждебных откликов на писательские судьбы — в основном принадлежащих эмигрантам.

Так, из всего огромного мемуарного материала о Блоке автор посчитал нужным предложить студентам только раздраженные воспоминания Зинаиды Гиппиус, а характеристика советской литературы 20—30-х годов доверена Р. Иванову-Разумнику, который еще в 1918 году в сборнике «Скифы» утверждал, что «громадному большинству наших поэтов стихия революции чужда и враждебна», ибо для поэтов — подлинных революционеров духа «всякая внешняя революция слишком мелка». Неудивительно, что его отзывы о советских писателях развязны и оскорбительны, что он перечеркивает выдающиеся книги и пытается иска-

зить самый литературный процесс в России.

Составитель антологии коллекционирует скандалы. Безусловно, его привлекает политическая подоплека антиблоковских пассажей Зинаиды Гиппиус — «все слова — как ненависти жала, все слова — как колющая сталь...» (из стихотворения Блока, к ней обращенного), но даже когда такой подоплеки и нет, но есть просто курьез — что же, он и от этого не отказывается. В круг его литературоведческих влечений входят ссоры, распри, недоразумения как непременный атрибут русской литературной жизни. Скандализируя воображение читателя, Э. Филд мимоходом как аксиому подает собственное «наблюдение», что в «Тихом Доне» якобы использован сюжет, заимствованный у Арцыбашева! И это, с позволения сказать, открытие — в сущности, все, что сказано здесь студентам о крупнейшем советском писателе.

Несмотря на молодость, Эндрю Филд — приметная фигура среди зарубежных славистов. Его сделали известным перевод на английский язык «Мелкого беса» Ф. Сологуба, осуществленная им американская публикация сборника «Тарусские страницы», монография «Набоков. Его жизнь в искусстве».

Известность обязывает, но Эндрю Филду чувство ответственности чуждо. Он отказывается принимать в расчет нравственные и социальные критерии искусства, провозглашая, что социальный смысл искусства ему безразличен. Его концепция развития русской литературы, противопоставление «высокой» литературы начала XIX века «низкой» литературе шестидесятников, намеренное выдвижение на первый план второстепенных писателей, утверждение, будто советской литературы не существует,— все это подается как взгляд «чистого» критика-эстета, но на деле фальсифицирует историю литературы.

Концепция Филда демонстративно игнорирует русскую демократическую критику. В антологии не нашлось места ни одной статье Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, не говоря уже о критиках-марксистах. В предисловии их отсутствие мотивировано тем, что «в стране, где прямые политические высказывания были попросту невозможны и где даже философия изгонялась из университетских программ на протяжении большей части XIX века», литературная критика почти вся закономерно стала завуалированным откликом на общественные события. С точки зрения Эндрю Филда, это непозволительный недостаток. Демократическая критика, по его словам, занималась бичеванием социальных пороков и проглядела великие шедевры. Пушкин, Гоголь, Лермонтов оказались совершенно неоцененными как эстетический феномен. Продолжая эту мысль, Эндрю Филд дает очень для него показательную характеристику Белинского: «Первый из длинного ряда гражданси ориентированных критиков в русской литературе. Он сочетал романтические штампы при анализе произведений с журналистскими проповедями об ответственности писателя. Его влияние было исключительным, он сделал кое-что хорошее, но по большей части наносил вред общему представлению о творчестве великих писателей своего времени. Где-то, я забыл где (!), я читал, что ни один курс истории русской литературы не может обойтись без упоминания имени Белинского».

Речь Эндрю Филда — это бросается в глаза — снисходительно-пренебрежительна. Белинский не устраивает его как основоположник гражданственной направленности в критике и теоретик «натуральной школы», боровшийся против «чистого искусства». Только оценить справедливо вклад великого критика явно не входило в намерения Филда. И естественно, что, добравшись до Чернышевского, также последовательно боровшегося против теории «чистого искусства», Филд доверительно сообщает читателю, что Чернышевский «имел очень малое, если вообще имел, понятие о том, что такое искусство».

Эти «соображения» взяты из заключительной части антологии, «Небольшого пантеона русской литературы», который представляет собой около двухсот моментальных литературных портретов. Эндрю Филд набрасывает их столь же легко, сколь и легковесно, в нескольких небрежных фразах сообщая о жизни и творчестве; тут же определяется значимость писателя, выражено отношение к нему. Методологическая задача этих портретов — вызвать у иностранных студентов недоброжелательное отношение к русским писателям.

Обращаясь, например, к Некрасову, Э. Филд сначала характеризует его как «великого поэта народного национального чувства, писавшего также социально направленные стихи». Но далее идет серия оговорок, которая призвана зачеркнуть талант и дискредитировать личность поэта. Автор многозначительно намекает: «На деле сильная социальная убежденность находилась в противоречии с многими фактами его жизни». Взглянув на вещи «свежим» взглядом «чистого» критика, Филд в итоге предлагает восхищаться Некрасовым лишь как поэтом, чья творческая новизна заключается в том, что он пытается «опрозаить поэзию» (в оригинале так и написано: «oprozait'»).

Стремясь поставить под вопрос репутации писателей второй половины XIX века, автор о каждом пытается сказать что-нибудь уничижительное. Так, романы Достоевского «Униженные и оскорбленные» и «Идиот» он обозвал «тяжеловесными», а о «Братьях Карамазовых» снисходительно заметил, что роман, «несмотря на все слабости и чрезмерности, не лишен достоинств». Чехова предлагается рассматривать ни больше ни меньше как «жизнерадостного фаталиста», чье литературное новаторство «ограничено традиционностью». Похвального слова заслужил Гончаров, но похвала ему звучит оскорблением: Гончаров получает истолкование как «создатель од-

ного из главных архетипов, быть может, даже главного архетипа русского характера — Ильи Обломова». Интонация этих бойких суждений о русских классиках, признанных во всем мире, поражает высокомерием и снобизмом.

Эндрю Филд склонен рассматривать начало XX века как период расцвета русской поэзии, тем не менее и здесь он не мог отказать себе в мелочном сарказме, скажем, в адрес Брюсова или Блока. Эндрю Филд противопоставляет Есенина и Маяковского как конкурентов, отдавая предпочтение «крестьянскому денди»,— он-де был более органичен и имел больший успех у современников. Автор готов защищать Маяковского от некоего неназванного недоброго критика, который сравнивал Маяковского с... Уолтом Диснеем! Сравнивать можно кого угодно с кем угодно, но каков смысл и зачем именно об этом курьезе говорить в немногих строках, отведенных Маяковскому? Творчество Горького, как и следовало ожидать от автора такой книги, по существу, вообще отброшено, об огромном вкладе писателя в мировую литературу не сказано ни слова.

Хотя Эндрю Филд и декларирует обособленность и нетрадиционность своей позиции, тем не менее, когда дело касается советских писателей, он повторяет зады реакционной пропаганды. Как Глеб Струве, Абрам Ярмолинский и другие «советологи», он, обращаясь к советской литературе, обнаруживает лишь немногие удачи, относящиеся в основном к 20—30-м годам.

В портретах советских писателей много попросту фантастического. Сельвинский, который, по автору, скончался в 1934 году, примечателен тем, что будто изобразил «противоречия и опасности коллективизации».

Снова и снова Филд стремится опорочить писательские репутации. Мельком упоминает, что А. Н. Толстого нельзя воспринимать всерьез как писателя. Твардовский остается почти не замеченным и лишь где-то вскользь упомянут как продолжатель поэтической линии Кольцова и Никитина.

Спорить по поводу конкретных оценок с Эндрю Филдом нет особого смысла, настолько очевидно его тенденциозное отношение к истинно художественным ценностям. В конечном итоге даже можно признать право выбора имен — ведь антология не энциклопедия. Хотя все же отсутствие статей о многих признанных во всем мире советских писателях в такой книге, как эта, говорит само за себя.

Позиция этого автора, а она при всех претензиях на оригинальность оборачивается позицией эрудированного балагура, который хотел бы принизить великих русских писателей, изъять из русской литературы социальное гуманистическое содержание,— ясна. И очень жаль западных студентов, которые получают сведения о литературном процессе в нашей стране по парадоксам Эндрю Филда.

А. ЧЕРНЫШЕВ, В. ПРОНИН

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«БЕГСТВО С ТЕМНОГО ЭКВАТОРА»

Действие нового романа известного английского писателя Нормана Льюиса «Бегство с темного экватора» развертывается главным образом в Лос Ремедьос, столице одной из отдаленных провинций Колумбии. Местная власть там возглавляется «железным генералом» Лопесом, жестоко расправляющимся с любыми проявлениями борьбы за демократические свободы. Генералу сулят финансовую помощь из-за рубежа при условии, если он справится с революционными настроениями народа и даст возможность иностранным компаниям хозяйничать в его провинции. Одна из компаний, в частности, намерена модернизировать оборудование старого оловянного рудника и использовать для работы в нем дешевую рабочую силу — местных индейцев. Однако народ уже не хочет слепо подчиняться диктату местных и иностранных угнетателей — в провинции действуют отряды освобождения.

Н. Льюис уделяет много внимания описаниям их борьбы. Не обходится здесь и без вмешательства Центрального разведывательного управления США, интересы которого представляет некто Грейл Уильямс.

Таков круг тем, затрагиваемых в новом произведении Нормана Льюиса, известного советскому читателю по романам «От руки брата его» («ИЛ» №№ 9—10, 1969), «Зримая тьма» и «Вулканы над нами», вышедших отдельными изданиями.

ПРОТЕСТУЮТ АКТЕРЫ

По сообщению газеты «Морнинг стар», перед английским парламентом состоялась демонстрация актеров театров лондонского Вест-Энда. Ее участники протестовали против недавно введенного дополнительного налога на театры. Известный актер Элфред Маркс заявил представителям прессы, что этот налог нанесет английским театрам невосполнимый урон, поскольку цены на театральные билеты повысятся на 30%. По мнению другого актера, Клайва Данна, новый налог ухудшит и без того тяжелое положение актеров, среди которых безработица достигает ныне 90%. «Деньги придется отчислять из заработков актеров, иначе цены на билеты будут настолько высокими, что люди ие смогут ходить в театры»,— заявил он.

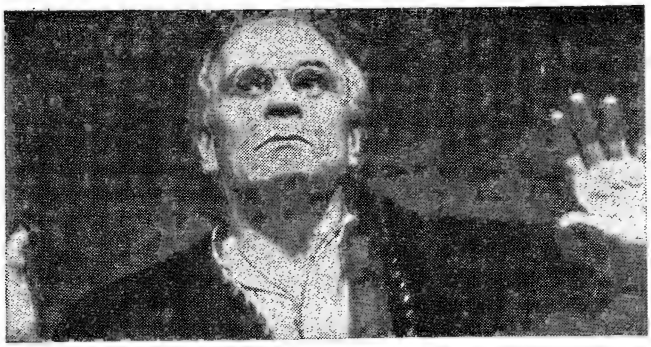
Участвовавший в демонстрации актер Джеральд Харпер сказал: «Просто смешно — одной рукой давать театрам субсидии, а другой отнимать у них заработанные деньги».

«ЛУЧШАЯ В СЕЗОНЕ»

Так охарактеризовал обозреватель газеты «Морнинг стар» Джек Сазерленд постановку в лондонском «Нью тиэтр» автобиографической пьесы Юджина О'Нила «Долгий день уходит в ночь».

Потомок ирландских эмигрантов в Америку, Юджин О'Нил, как известно, в молодости плавал на океанских кораблях, был завсегдатаем портовых кабачков, но уже тогда зачитывался Джеком Лондоном, Киплингом и Конрадом, любил читать матросам стихи. Болезнь заставила его вернуться под родной кров — и вот тут-то он, вполне уже зрелый человек, по-новому осознал нелегкую судьбу ирландских эмигрантов в США.

В своем творчестве драматург обратился к этой те-



Лоуренс Оливье в роли Джеймса Тайрона.

(Газета «Морнинг стар»)

ме много лет спустя, будучи уже лауреатом Пулитцеровской (1921) и Нобелевской (1936) премий. Пьеса «Долгий день уходит в ночь» была создана в начале 40-х годов, писатель работал над ней в течение двух лет.

По словам Джека Сазерленда, в пьесе «показаны корни той трагедии, которую пришлось пережить семье ирландских иммигрантов, борющейся против нищеты и эксплуатации в жестоком мире всемогущего доллара». Прототипами членов семьи Тайронов послужили образы его близких.

Один из экземпляров рукописи Юджин О'Нил подарил жене со следующей надписью: «Я дарю тебе рукопись этой пьесы о пережитом, написанной слезами и кровью».

Называя пьесу «Долгий день уходит в ночь» шедевром, Джек Сазерленд выразил надежду, что ее постановка оживит интерес к творчеству драматурга. В спектакле, идущем с неизменным успехом, в главных ролях заняты Лоуренс Оливье и Констанс Каммингс.

АРГЕНТИНА

ФИЛЬМ О КРЕСТЬЯНСКОЙ БОРЬБЕ

«Путь к смерти старого Реалеса», снятый режиссером Херардо Вальехо, сразу же после выхода на экраны привлек внимание прогрессивной латиноамериканской общественности ярко выраженной социальной направленностью.

Фильм посвящен сельскохозяйственным рабочим аргентинской провинции Тукуман, и все, что с ними происходит на экране, основано на действительных фактах. Композиционно фильм состоит из трех новелл, в которых рассказывается о судьбах трех сыновей старого Рамона Херардо Реалеса.

Старший сын, Анхель,— крестьянин, работает лишь четыре месяца в году, во время сафры, сбора сахарного тростника. Остальную часть года он вынужден скитаться по стране в поисках временных заработков. Жизнь сломила Анхеля, он примирился со своим бесправным положением и воспринимает его как неизбежность.

Второй сын, Мариано, разуверившись в успешности профсоюзной борьбы, одним из руководителей которой он был, переходит на сторону угнетателей и идет служить в полицию. Теперь он более не обязан гнуть спину на сафре, он, как ему кажется, возвысился над себе подобными, но цена, которую ему приходится за это платить, высока — он должен избивать своих бывших товарищей. Третий сын старого Реалеса, Пибе, решает посвятить свою жизнь борьбе за освобождение аргентинского крестьянства, борьбе против несправедливой социальной системы современной Аргентины, при которой лишь креолы, потомки европейских переселенцев, могут рассчитывать на хорошо оплачиваемую и постоянную работу.

Образ старого Реалеса проходит через все три новеллы. Он как бы оттеняет характеры своих сыновей. Но наиболее полно он раскрывается в третьей части картины, посвященной Пибе. Пожилой крестьянин Херардо Реалес, не знавший счастья, не утратил, однако, чувства собственного достоинства. Именно это чувство, унаследованное Пибе от отца, приводит его на путь сознательной коллективной борьбы против эксплуатации и насилия.

Кинокритики Международного смотра «Нового кино» в Пессаро, на котором «Путь к смерти старого Реалеса» представлял кинематограф Аргентины, единодушно отметили высокую идейность и художественную правдивость этой киноленты, как пишет рецензент газеты «Хувентуд ребельде».

БОЛГАРИЯ

«КОЗИЙ РОГ» — УДАЧА БОЛГАРСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Этот фильм, созданный режиссером М. Андоновым по рассказу Н. Хайтова, с большим успехом прошел на экранах страны. Газета «Отечествен фронт» назвала его поворотным моментом в развитии жанра болгарского исторического кино. События, показанные в фильме, происходят в годы владычества в Болгарии Османской империи.

О содержании и смысле фильма рассказал автор сценария Николай Хайтов в интервью, опубликованном в той же газете.

— Долгие годы,— сказал

он,— герой фильма пастух Караиван стремится вытравить из своей дочери все женское, чтобы сделать ее неуязвимой в страшном мире насилия, чтобы превратить ее в мужчину, который отомстил бы поработителям за причиненное ими зло. Но он заходит слишком далеко в своих намерениях, и, когда в Марии пробуждается женщина, его фанатизм становится причиной новой трагедии.

Посягательство на природу человека не может остаться безнаказанным — в этом заключается идея моей работы. Есть в фильме и второй план, где говорится о том духовном потенциале болгарина, благодаря которому он никогда не был рабом. Был завоеван, но не покорен.

«Главная принципиальная причина успеха фильма,— отмечает еженедельник «Литературен фронт»,— в активной защите его создателями позиции социалистического гуманизма, в защите человека и отрицании насилия, в высоком нравственном идеале, заключающем в себе человеческое счастье, свободу человека и народа как крайнюю цель борьбы, определяющую и ее средства.

Высокий художественный уровень, глубокое знание народной жизни и общечеловеческие идеи ставят его в ряд значительных достижений социалистического киноискусства».

Кадр из фильма «Козий рог».

(Газета «Литературен фронт»)

ВЕНГРИЯ

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ АТТИЛЫ ЙОЖЕФА

Ежегодная литературная премия Аттилы Йожефа присуждена в этом году прозаикам Магде Сабо, Акошу Кертесу, Золтану Молнару, Йожефу Надашшу, Шаролте Раффаи, критикам Иштвану Б. Сабо и Михаю Илна, поэтам Дьезё Чорбе, Ласло Калноки, Шаролте Лани, Иштвану Кормошу, Ласло Латору, Юдит Тот.

Имя Магды Сабо известно советскому читателю по романам «Скажите Жофике» и «Бал-маскарад», а также по фильму «Красные чернила», снятому по ее сценарию. Все эти произведения посвящены жизни венгерских школьников: по образованию Магда Сабо учительница и в течение многих лет преподавала.

Другая тема творчества Магды Сабо посвящена проблематике, волнующей сегодня интеллигенцию. В широко известных не только на родине, но и за рубежом романах «Фреска», «Косуля», «Пир по случаю убоя свиньи» Магда Сабо показывает столкновение интересов, стремлений, борьбу нового со старым и неодолимость нового.

Акош Кертес принадлежит к поколению писателей, начавших свой литературный путь в конце 60-х годов. Акош Кертес в прошлом рабочий, поэтому и тема его произведений — жизнь рабочего класса. Ему он посвятил большинство своих рассказов, объединенных в сборнике «Любовь буден», ему посвящено и последнее произведение — роман «Макра», который венгерские критики единодушно считают значительным событием литературной жизни.

Проблемы современности занимают ведущее место в творчестве писателя-коммуниста, участника рабочего движения начала века Йожефа Надашша, представителя среднего писательского поколения Золтана Молнара и молодой писательницы Шаролты Раффаи.

Дьезё Чорба и Ласло Калноки не только яркие, самобытные поэты, в стихах которых воплощена их любовь к родной земле, к жизни, но и великолепные переводчики. Брехт, Данте, Гёте, Мольер, Расин, Марло — вот далеко не полный перечень имен писателей, произведения которых венгерские поэты воссоздали на своем родном языке.

Дьезё Чорба и Ласло Калноки удостаиваются премии второй раз.

Шаролта Лани — старейшая венгерская поэтесса, участница рабочего движения, активный пропагандист в своей поэзии идей революции, интернационального братства — перевела на венгерский язык многие произведения советских поэтов, за что в 1950 году была впервые удостоена премии Аттилы Йожефа.

Большинство произведений Иштвана Кормоша создано на материале фольклора, автор использует его образы, сюжеты, особенности языка и стиля.

Помимо интересных, оригинальных произведений поэту Ласло Латору принадлежат переводы Бернса, Гюго, Лафонтена, Лермонтова, Блока, Вергилия, Унгаретти, Монтале, Лессинга, китайской «Книги песен».

Юдит Тот — поэт, критик, но так же, как и Ласло Ла-

Будапештский театр «Талия» поставил новую пьесу Дюлы Ийеша — героическую комедию «Бал в степи», которая является обновленным вариантом его пьесы «Блошиный бал».

На снимке — сцена из спектакля «Бал в степи».

(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

тор, она талантливый переводчик и активный пропагандист зарубежной поэзии. Ей принадлежат переводы Беранже, Гильвика, Френо, Реверди, Ронсара, Гёте, Шиллера, Брюсова. В 1957 году за свою переводческую работу она была удостоена первой премии журнала «Надьвилаг». Нынешняя премия Аттилы Йожефа — вторая награда поэтессе за ее труд.

Работы критиков Иштвана Б. Сабо и Михая Илиа отличаются постановкой актуальных проблем современности.

ГДР

СБОРНИК ЭССЕ ТРУДЫ РИХТЕР

«Это большое счастье, когда человеку с годами не приходится изменять своим убеждениям». Эти слова принадлежат Труде Рихтер, известной немецкой общественной деятельнице и литературоведу, большому другу Советского Союза, бывшей в начале тридцатых годов секретарем Союза пролетарских революционных писателей Германии.

Вся сознательная жизнь Труды Рихтер связана с борьбой за развитие в Германии марксистского литературоведения. Поэтому не случайно сборник ее эссе, статей и выступлений, недавно вышедший в свет в издательстве «Миттельдойчер ферлаг», называется «Счастье горечи».

В книге собраны многочисленные работы, относящиеся к довольно обширному периоду — с 1932 по 1968 год. Основное место в ней занимают статьи о русской классике, о влиянии русской классической литературы на немецкую литературу.

В разделе, озаглавленном «Об умном безумии, или Гуманизм как сюжет русской литературы», Труда Рихтер анализирует многообразие мотивов безумия героев в произведениях таких русских писателей, как Гоголь, Герцен, Достоевский, Чехов и др.

Главным эссе сборника является историко-философская работа «Театр революции. «Страшный суд королей» Марешаля. «Мистерия-буфф» Маяковского».

Большого внимания заслуживают статьи сборника о творческом осмыслении литературного наследия и о преемственности литератур, помещенные в разделе «Путешествие по литературе». Среди них весьма актуальной до сих пор является программная статья «Как работает Союз пролетарских революционных писателей», напечатанная еще в 1932 году в газете коммунистов «Роте фане». Этой статьей Труда Рихтер внесла значительный вклад в развитие марксистского литературоведения в Германии.

Ральф Шрёдер в рецензии на книгу Труды Рихтер «Счастье горечи», напечатанной в журнале «НДЛ», пишет: «Все работы, включенные в сборник, носят злободневный характер, написаны доходчиво, со знанием дела и партийной страстностью».

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АГАТЫ ШВЕЙГЕРТ»

Одна из лучших новелл сборника Анны Зегерс «Сила слабых» (см. «ИЛ» № 12 за 1966) «Агата Швейгерт» рассказывает о тихой женщине, жившей в узком, замкнутом мире, а затем последовавшей за своим сыном в Испанию, чтобы потом принять участие в борьбе против фашизма. Эта новелла послужила основой для работы сценариста Ганса Мюнхеберга и режиссера Иоахима Кунерта, создавших новый телевизионный фильм «Большое путешествие Агаты Швейгерт».

— Для меня сюжет «Агаты Швейгерт» очень привлекателен,— сказал в интервью еженедельнику «Зонntаг» Ганс Мюнхеберг.— Просто, без всякой патетики писательница рассказала о том, какая сила и какое величие свойственны простой, скромной женщине. Мы давно хотели поставить телефильм по какому-нибудь произведению Анны Зегерс. Посоветовались с писательницей, и, когда она сказала, что «Агата Швейгерт» — одна из ее самых любимых вещей, вопрос был

решен. Анна Зегерс помогала нам в работе, она сделала нам много замечаний, дала ценные советы.

Конечно, как в каждом фильме такого типа, что-то из новеллы Зегерс мы должны были опустить, на что-то обратить большее внимание. Мы не стали подробно рассказывать о юности героини, о ее браке, о раннем вдовстве. В основу фильма легло путешествие, первое путешествие в ее жизни. Она едет в Испанию за сыном, думая, что скоро вернется, не зная, что в Испании идет война. Это путешествие становится для нее решающим. После смерти сына она остается с его товарищами по борьбе, она уже не может вернуться к своей прежней жизни.

В новелле большое значение придается природе. Она как бы принимает участие в действии. В нашем фильме мы постарались дать картины природы как можно шире, с ее помощью полнее раскрыть образ Агаты. Она никогда не видела гор, моря, чужих городов. Все, что она видит, становится для нее открытием, таким же важным, как открытие новых людей, нового мира.

Когда мы начали работать над этим фильмом, мы понимали, что телевидение всегда обращено к широкому кругу зрителей. Многие люди, не читавшие новеллы Зегерс, увидев этот фильм, заинтересуются новеллой, а может быть и другими произведениями писательницы. Таким образом, мы будем своеобразными литературными посредниками между зрителями и книгами Анны Зегерс.

ФРГ

«ГРУППА 47» НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАЛА СУЩЕСТВОВАТЬ...»

Пресса ФРГ уделяет большое внимание тому, что после длительного перерыва вновь собралась «Группа 47».

Литературное объединение, которым бессменно руководит известный писатель Ганс Вернер Рихтер, сыграло значительную роль в послевоенной литературе Западной Германии. В нее входят многие крупнейшие писатели страны (см. «ИЛ» №№ 2 и 6 1963 г., № 1 1964 г., № 8 1966 г.).

Сейчас членами «Группы 47» стали и молодые писатели. Среди них — Вальтер Кемповский, интересное выступление которого особо отмечает пресса ФРГ. На встрече он прочел большой кусок своего нового романа «У нас все еще идет прекрасно».

С отрывками из «Дневника улитки», посвященного выборам 1969 года, познакомил слушателей Гюнтер Грасс. Уве Йонсон прочел рассказ о похоронах итальянского издателя Фельтринелли. Петер Вейс рассказал о новом варианте драмы «Гёльдерлин» и познакомил присутствующих со сценой из нее. Мило Дор выступил со своим новым фельетоном, Александр Клюге рассказал о новом сборнике прозы и прочел из него отрывки.

«Собрался круг людей, дружески расположенных друг к другу, которых связывает общее дело и общие интересы»,— отмечал обозреватель еженедельника «Ди цайт». Писатели спорили, обсуждали новые произведения, решали организационные вопросы. Было намечено впредь устраивать встречи не менее двух раз в год.

«Второй весной «Группы 47» назвала газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» это своеобразное возрождение. «Да, это снова «Группа 47»,— сказал на встрече Ганс Вернер Рихтер.— Собственно говоря, она никогда и не переставала существовать».

Хельга Гёринг в роли Агаты Швейгерт.

(Еженедельник «Зонntаг»)

ГРЕЦИЯ

«Я РОДИЛАСЬ ГРЕЧАНКОЙ»

Так называется книга, вышедшая недавно во французском издательстве «Сток». Ее автор — прославленная греческая актриса, борец против фашистского режима «черных полковников» Мелина Меркури.

Книга эта полностью автобиографична и в то же время является своеобразной, глубоко индивидуализированной историей Греции, ибо актриса рассматривает

каждую минуту своей жизни в связи с жизнью своей страны.

Перед читателем проходят детство и юность Мелины Меркури в годы гитлеровской оккупации и реакционного режима послевоенных лет. Затем она становится актрисой, мировой знаменитостью, а Греция живет надеждой на победу демократии.

В день фашистского путча она играла в Нью-Йорке в веселом спектакле «Дорогой Илия». Когда один американский журналист спросил ее, что она думает о перевороте, Мелина Меркури ответила: «В Греции больше нет счастья, нет радости. Страну заковали в цепи». И актриса объявила войну «черным полковникам».

Рецензент французского еженедельника «Леттр франсэз» в статье о книге Меркури пишет, что это не обычная литература, страницы книги были «начитаны на магнитную ленту без особой заботы о литературной форме». Сила этого произведения в том, что она является «раненым криком свободы» народа Греции, ибо «Мелина Меркури родилась гречанкой».

Кадр из фильма «Походная песня».

(Журнал «Ат-Талиа»)

ЕГИПЕТ

«ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ»

Как сообщает журнал «Ат-Талиа», на экраны Египта вышел фильм «Походная песня». Это — первый полнометражный художественный фильм двадцатисемилетнего кинорежиссера Али Абд аль-Халека. Это также первый египетский фильм, рассказывающий о войне 1967 года.

Али Абд аль-Халек принадлежит к творческой группе «Молодое кино», которая была создана после Первого съезда молодых кинематографистов, состоявшегося в мае 1968 г. На этом съезде молодые египетские киноработники объявили о своем отказе следовать путями старого кинематографа и выразили надежду, что создадут новое египетское кино. Молодые кинематографисты решили снимать свои фильмы в сотрудничестве с государственной «Организацией кино», которая взяла на себя основную часть расходов по съемке фильмов. Все актеры и технический персонал согласились на оплату им гонорара уже после выхода фильмов на экран за счет кассовых сборов. Кроме «Походной песни» таким образом был снят фильм «Тени на другой стороне» молодого режиссера Галиба Шааса.

Режиссер фильма «Походная песня» Али Абд аль-Халек начинал с создания короткометражных документальных лент. Первым его фильмом был «Город Рашид» (1968 г.), в котором рассказывалось о славной боевой истории этого маленького египетского портового городка. В 1969 г. вышел короткометражный фильм Абд аль-Халека «Суэц — мой город», где показано мужество жителей этого города, больше всего пострадавшего от израильской агрессии.

«Али Абд аль-Халек,— пишет обозреватель журнала «Ат-Талиа»,— является примером для молодых деятелей нового египетского кино, которое рождается в трудностях и муках после почти полувекового господства старой отсталой кинематографии».

«ЗЕРКАЛА» НАГИБА МАХФУЗА

По сообщениям арабской прессы, в Египте вышел отдельной книгой новый роман Нагиба Махфуза «Зеркала».

Пресса отмечает новаторский характер этого романа: его герои сами рассказывают о себе. Роман совмещает элементы художественного вымысла с подлинными фактами из биографии Н. Махфуза.

НОВАЯ КНИГА ЮСУФА АШ-ШАРУНИ

По сообщениям арабской прессы, в Каире вышла новая книга рассказов известного египетского новеллиста Юсуфа аш-Шаруни под названием «Сладость души».

Рассказы Ю. аш-Шаруни, начавшего печататься со второй половины 40-х годов, пользуются неизменным успехом у читателей. Вокруг каждого нового сборника писателя развертывается оживленная полемика в печати, так как он затрагивает в своих произведениях животрепещущие проблемы египетской действительности, прибегая при этом часто к необычной художествен-

ной форме. Предыдущий сборник рассказов Юсуфа аш-Шаруни «Сутолока» был удостоен государственной поощрительной премии.

ИЗРАИЛЬ

УМЕР АЛЕКСАНДР ПЭНН

По сообщениям израильской прессы, умер известный поэт Александр Пэнн. Как писала газета «Зу гадерех» («Путь»), А. Пэнн, родившийся в 1906 г. в сибирском городе Нижнеколымске, посвятил сорок лет своей жизни, начиная со своего приезда в Палестину, развитию революционной поэзии на иврите, борьбе за братство еврейских и арабских трудящихся, за мир, социализм и дружбу с Советским Союзом.

А. Пэнн, по праву считающийся одним из крупнейших поэтов Израиля, работал главным образом в области политической поэзии. Революционные стихи Пэнна позволяют считать его первым пролетарским израильским поэтом.

А. Пэнн много сделал для популяризации советской поэзии в своей стране. Так, он перевел на иврит поэму «Владимир Ильич Ленин» и другие произведения Маяковского.

Кончина А. Пэнна — большая утрата для израильской поэзии, для прогрессивного движения в Израиле.

ИНДИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

30 марта 1972 года состоялась церемония вручения премий Литературной академии Индии за 1971 год. Новыми лауреатами стали выдающиеся представители современных индийских литератур. Поэтесса Падма Сачдева, пишущая на языке догри, удостоена премии за книгу лирики «Моя поэзия, мои песни»; поэт Сурендра Джха Суман (майтхили)—за сборник стихов «Паясвини», отличающийся яркой образностью и смелыми экспериментами в области формы; поэт Виллупнилли Сридхара Менон (малаялам) за сборник стихов «Вида» (в 1969 году В. С. Менон был удостоен премии Джавахарлала Неру); поэт Кришан Рахи (синдхи) — за собрание лирических стихотворений, отличающихся острой социальной направленностью и богатством художественных средств.

В области прозы премии вручены широко известному писателю Мулк Радж Ананду, одному из основателей Всеиндийской ассоциации прогрессивных писателей,— за роман «Облик утра», молодой пенджабской писательнице Далип Каур Тивана — за роман «Такова наша жизнь» о женщине современной пенджабской деревни; выдающемуся тамильскому прозаику Н. Партхасаратхи за роман «Успех», посвященный жизни киноартистов. По драматургии присуждена премия писателю Монороджон Дасу (ория) за пьесу «Лесной урожай».

Отмечены премиями также авторы литературоведческих работ. Среди них — прогрессивный критик и литературовед Намвар Сингх, редактор ведущего журнала литературной критики на языке хинди «Алочна». Премия присуждена ему за монографию «Новые формы поэзии», посвященную движению «наи кавита» («новая поэзия»).

Удостоена премии виднейшая исследовательница маратхского фольклора Дурга Бхагават за сборник статей по вопросам эстетики, автор монографии на языке каннада о классике индийской литературы Калидасе Адья Рангачарья, литературовед Тхапи Дхарма Рао (телугу) — за комментарий к средневековой эпической поэме «Виджаявиласа» и профессор Рашид Ахмад Сиддики за монографию «Личность и поэтическое творчество Галиба».

В отличие от прежних лет среди лауреатов значительное место стали занимать представители прогрессивной литературы. Из пятнадцати лауреатов шестеро — Падма Сачдева, Мулк Радж Ананд, Намвар Сингх, В. С. Менон, Д. Бхагават, Д. К. Тивана — принимают участие в деятельности различных писательских организаций, а первые три участвовали в работе IV Конференции писателей стран Азии и Африки и продолжают оставаться активными участниками движения афро-азиатских писателей. Интересно, что две премии присуждены представителям так называемых «малых литератур» — догри и майтхили, что говорит о признании общеиндийского значения этих литератур.

Свидетельством определенного сдвига влево явились литературные премии, присуждаемые правительством штата Пенджаб. Впервые эти премии присуждены двум писателям, известным своими коммунистическими убеждениями,— выдающемуся пенджабскому новеллисту Суджану Сингху и одному из основателей Коммунистической партии Индии Сохану Сингху Джошу.

Суджан Сингх на протяжении 35 лет успешно работает в области короткого рассказа. Его произведения собраны в девяти книгах, причем каждая из них неоднократно переиздавалась. Излюбленные темы его рассказов — положение людей, принадлежащих к беднейшим слоям населения, судьба индийской женщины, борьба за преобразование общества. Важная черта его новеллистики — глубокое проникновение в духовный мир героев, богатство языка, насыщенного идиоматикой, пословицами и поговорками, метким народным словом. Суджан Сингх выступает также как критик и поэт.

Сохан Сингх Джош удостоен премии, как это отмечено в постановлении, за служение развитию пенджабского языка и литературы. Он возглавлял такие издания национальной пенджабской печати, как журналы «Кирти» («Рабочий»), «Прабхат» («Утро»), газету «Акали», еженедельник «Джанг-и-азади» («Борьба

за независимость»). Его имя неразрывно связано с газетой «Наван замана» («Новое время»), органом Коммунистической партии Индии на пенджабском языке, которую он длительное время редактировал и в которой продолжает сотрудничать и по сей день. Ему также принадлежат труды по истории национально - освободительного движения и по проблемам пенджабского языка.

ИРАК

ЖУРНАЛ «АС-САКАФА АЛЬ-ДЖАДИДА»

Вышел из печати очередной номер иракского ежемесячного и общественно-политического журнала «Ас-Сакафа аль-Джадида» («Новая культура»).

Журнал, который в следующем году будет отмечать свое двадцатилетие, был основан группой прогрессивных деятелей и ставил перед собой задачу знакомить читателей с актуальными вопросами культуры, политики и экономики.

За годы его существования в нем были опубликованы произведения крупных прогрессивных прозаиков и поэтов не только Ирака, но и других арабских стран, таких как Мухаммед аль-Джавахири, Бахр аль-Улюм, Зу-Нун Айюб, Абдель-Малик Нури, Гаиб Туама Ферман и многих других. Кроме того, публиковались критические статьи, обзоры книг и сборников стихов.

Наряду с произведениями арабских писателей печатались также стихи и новеллы курдских авторов.

Журнал регулярно откликается на самые злободневные вопросы, стоящие перед народами арабских стран. Из номера в номер публикуются материалы об израильской агрессии, о борьбе народов Востока против неоколониализма.

Во втором номере напечатаны материалы о предстоящем втором съезде иракских писателей, стихи Камаля Нашаата, Май Саиг Абд аль-Казыма Исы, рассказ Натыка Халлусы «Запах земли», а также критическая статья о реализме в поэзии курдского поэта Горана и другие материалы.

Журнал издают видные общественные и культурные деятели Рида аль-Хафиз и Мукаррам ат-Талабани.

КНИГА О БОРЬБЕ ПАЛЕСТИНСКИХ АРАБОВ

По сообщению арабской прессы, в Багдаде вышел сборник стихов «Картины трагедии» — первая книга молодого поэта Амрана аль-Кябси. Стихи сборника посвящены борьбе палестинских арабов.

Теме палестинского Сопротивления посвящен также сборник рассказов писателя-палестинца Махмуда Римави «Нагота в ночной пустыне», который скоро будет издан иракским министерством информации.

«ДЕРЕВЬЯ И ВЕТЕР»

В Багдаде, как сообщает журнал «Аль-Адиб», вышла новая повесть иракского писателя Абд ар-Раззака аль-Мутлаби «Деревья и ветер». Это третье крупное произведение писателя, опубликовавшего до этого роман «Жаждущие» и повесть «Отверстия в ржавой стене», сочувственно встреченные арабской критикой. Главная тема творчества аль-Мутлаби — жизнь иракской деревни.

ИСПАНИЯ

«БАЗА» — НОВАЯ КНИГА «КРАСНОЙ ГЕРЦОГИНИ»

Со времени появления повести Исабель Альварес де Толедо «Тревожные дни в Санлукаре» судебные власти организовали против герцогини пять судебных процессов. «Лишь то обстоятельство, что писательница принадлежит по рождению к семье наследственных испанских грандов, спасло ее от лишения испанского гражданства»,— пишет корреспондент французской газеты «Франс нувель».

Первая книга Исабель Альварес де Толедо повесть «Тревожные дни в Санлукаре» («ИЛ» № 5 за 1969 год) рассказывает о бесправном положении сельскохозяйственных рабочих провинции Санлукар и разоблачает коррупцию и произвол испанских помещиков и чиновничества. Новая книга «красной герцогини»—роман «База» — посвящена, по ее собственному определению, «проблеме продажи родины американцам». В нем повествуется о строительстве американских военных баз.

«Официальная пропаганда заявляет,— пишет корреспондент «Франс нувель» Серж Жиль,— что именно эти базы спасли Испанию от экономического кризиса. Однако она умалчивает о тех, кто от этого пострадал. Именно о них и написана новая книга Исабель Альварес де Толедо.

Действие романа происходит в деревне, нормальное течение жизни которой нарушено строительством базы. Власти насильственно экспроприировали земли, единственную ценность, которая имелась у крестьян. Те, кто пытался протестовать, отстаивать свои наделы, политые кровью и потом, оказались за решеткой. Изменение образа жизни несет беды и остальным жителям деревни, деньги опустошают души. Ради денег дочери бедняков становятся на путь проституции, обостряются противоречия между бедняками, обреченными на безработицу из-за избытка рабочих рук, и теми немногими, кто нажился на поставках для базы, спекуляции и контрабанде. «База»,— пишет Серж Жиль,— это мозаика фактов, которые сами по себе складываются в удручающую картину сегодняшней Испании...

Структурно более совершенный и ритмичный, чем «Тревожные дни в Санлукаре», роман «База» — не только документально правдивая, но и глубоко волнующая книга».

ИТАЛИЯ

«Я ГОЛОСУЮ ЗА КОММУНИСТОВ...»

У прогрессивных деятелей итальянской культуры в послевоенные годы стало традицией в моменты наибольшего обострения внутриполитической борьбы в стране, в частности во время предвыборных кампаний, публиковать в левой печати свои открытые письма, заявления, интервью в поддержку позиции и политики Итальянской коммунистической партии, разъяснять избирателям, почему они отдают свой голос коммунистам, призывая всех передовых итальянцев следовать их примеру.

Особенно широко проявилась эта традиция в преддверии последних, внеочередных парламентских выборов в Италии, в результате которых коммунистам удалось укрепить свои позиции и сорвать попытку «сдвига вправо» в политической жизни страны. На протяжении многих дней орган ИКП газета «Унита» и другие газеты из номера в номер помещали письма и заявления виднейших деятелей итальянской культуры — писателей, художников, мастеров кино и театра, композиторов, ученых-литературоведов, философов, эстетиков, искусствоведов, университетских профессоров.

С предвыборными заявлениями выступили не только члены компартии, но и беспартийные представители интеллигенции. Вот что говорят в своих заявлениях представители передовой итальянской интеллигенции: «Только коммунизм может служить основой справедливого общества. Яркий пример тому я вижу в стране, в которой я родилась,— Кубе»,— пишет известная итальянская писательница Альба де Чеспедес. С заявлением выступил Васко Пратолини на страницах римской газеты «Паэзе сера», он заявил, что только коммунисты в Италии способны на деле осуществить глубокие реформы, сохранить верность делу рабочего класса, интернационализму. Глубокий анализ внутриполитического положения в стране дал в своем открытом письме писатель Роберто Роверси. «Мы глубоко верим,— заявил он,— что отданные нами голоса откроют путь к социализму благодаря укреплению позиций всех левых сил, и в первую очередь коммунистической партии». Большое коллективное письмо представителей интеллигенции, не являющихся членами ИКП, опубликовала «Унита». Его подписали 25 видных университетских профессоров из разных городов Италии — в их числе литераторы, литературоведы и философы: Эдоардо Сангвинети, Зуджение Гарен, Наталино Сапеньо, Массимо Мила, Эмилио Гаррони. Среди авторов писем — кинематографистов — режиссеры Лукино Висконти, Лина Вертмюллер, Джилло Понтекорво, Серджо Карбуччи, Этторе Скола. Висконти, в частности, предупреждает в своем предвыборном заявлении о той опасности, которую в настоящий политический момент для прогрессивных сил представляют не только крайние правые, реакционные партии, но также и ультралевые группки.

«Я проголосую за коммунистов,— говорит в своем заявлении Понтекорво,— потому что нахожу нынешнее положение серьезным, считаю, что только ИКП может явиться тем мотором, который позволит нам идти вперед, и вместе с тем — надежным тормозом против острейшей опасности катастрофически откатиться назад».

С большим заявлением выступил крупный издатель Диего Де Донато. Среди художников, приславших свои письма и декларации,— лауреат Международной премии мира скульптор Джакомо Манцу, художники Бруно Карузо, Уго Аттарди и многие другие. Коллективное обращение опубликовали 36 художников, большин-

---

Молодой режиссер-коммунист Бернардо Бертолуччи, постановщик антифашистских фильмов «Конформист» и «Стратегия паука», ведет в Париже съемки нового фильма «Последнее танго в Париже». В главной роли — известный американский актер Марлон Брандо, играющий приехавшего в Париж вдовца-американца, влюбившегося во француженку, невесту молодого режиссера-документалиста. На фото — режиссер Бертолуччи обсуждает с Марлоном Брандо одну из сцен фильма.

ство которых — флорентийцы. «Мы не только отрицаем,— пишут они,— старую формулу Кроче относительно разделения между политикой и культурой, но и считаем бесполезными и бессмысленными то индивидуальное капитулянтство, то бегство от действительности, которые порой бывают порождены трудностями и лишениями, с какими сталкиваются художники и представители интеллигенции в своей повседневной работе в современном обществе, ибо это может породить среди нас растерянность и разочарование и отбросить к современному декадентству... Мы верим в молодые силы и в ту культурную и моральную реформу, о которой говорил еще Грамши».

КАМЕРУН

РОМАН ОБ АФРИКАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Издательство «Кле» выпустило роман Патриса Нди-ди-Пенда «Корзина с рыбой». Основные события этого произведения разворачиваются в камерунской деревне, где, несмотря на происшедшие в политической жизни страны перемены, продолжают жить по старинке. Туда после получения образования приезжают юноша и девушка — они любят друг друга, но их браку мешает помощник префекта, он уже договорился с отцом Коллет о выкупе, которой тот получит за девушку, — помощнику префекта нужна вторая жена.

Таков конфликт романа. Это не первое произведение африканской литературы, в котором сталкивается традиционный образ жизни и то новое, что пришло в африканскую действительность с завоеванием независимости. Как отмечает рецензент журнала «Жён Африк» А. Б. Лехр, роман Нди-ди-Пенда очень актуален — «несмотря на некоторую незрелость, он поднимает важные для африканцев проблемы».

Алисия Алонсо и Хорхе Эскивель в главных партиях в балете «Эдип-царь».

(Журнал «Куба интернасьон»)

КУБА

«ЭДИП-ЦАРЬ» НА ЭКРАНАХ СТРАНЫ

Институт искусств и кинематографии Кубы (ИКАИК) выпустил на экраны фильм-балет «Эдип-царь» по мотивам известной трагедии Софокла. Премьера балета кубинского хореографа Хорхе Лефевра состоялась в ноябре 1970 года и вызвала столь восторженные отклики публики и прессы, что вскоре было принято решение осуществить экранизацию.

Трагедия Софокла, в центре которой судьба героя, преследуемого роковыми обстоятельствами — он убивает отца и женится на собственной матери, а потом, узнав об этом, ослепляет себя,— издавна привлекала внимание композиторов и постановщиков. Известны одноименная опера Стравинского и Кокто, многочисленные театральные постановки во многих странах мира. Однако балет осуществлен впервые. Естественно, что хореографическая версия отличается от этих представлений, хотя и сохраняет сюжетную основу трагедии и сущность ее персонажей. Заслугой Хорхе Лефевра в балете является мастерское использование им техники как классического, так и современного танца, а в музыкальном отношении — таких разнородных материалов, как электронная музыка и бразильские батукадас.

Экранизация осуществлена Национальным балетом Кубы под руководством

Фернандо Алонсо. Непосредственно съемками руководил кинорежиссер Антонио Фернандес Ребойро, уже снявший с Национальным балетом Кубы «Ромео и Джульетту». В заглавной партии занят Хорхе Эскивель. Иокасту танцует Алисия Алонсо.

ЛИВАН

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ

Как сообщает журнал «Ат-Тарик», в Бейруте начал издаваться «Ар-Рай» («Мнение») — новый ежемесячный журнал по вопросам культуры. На страницах журнала публикуются произведения и статьи прогрессивных писателей, поэтов и деятелей культуры арабских стран.

Главный редактор нового журнала доктор Халиль Ахмад Халиль заявил, что «Ар-Рай» будет знакомить своих читателей не только с произведениями литературы и искусства арабских стран, но и с литературой Советского Союза и других социалистических стран, а также с прогрессивной литературой Запада.

МАРОККО

МБАРЕК РАБИА — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АРАБСКОГО МАГРИБА

Как сообщает тунисский журнал «Кысас», марокканский писатель Мбарек Рабиа удостоен Большой премии Арабского Магриба за роман «Добрые люди». Эта премия была учреждена в соответствии с рекомендациями конференции писателей-новеллистов стран Магриба, состоявшейся в тунисском городе Хаммамет в 1968 году, и присуждается министерством культуры Туниса за лучшее прозаическое произведение магрибского (то есть алжирского, ливийского, марокканского или тунисского) автора.

Мбарек Рабиа, как сообщает журнал, родился в 1935 году в предместье г. Касабланки.

«ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ» НА АРАБСКОМ

Марокканский журнал «Аль-Афак» («Горизонты»), издающийся Союзом марокканских писателей, опубликовал «Песню о буревестнике» А. М. Горького. Она переведена на арабский язык писателем и критиком Мухаммедом Барадой.

НОРВЕГИЯ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЬЕСА НА СЦЕНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

«Это борющийся театр, театр, который служит народу. Красное знамя реет над Национальным театром» — так оценил недавнюю постановку пьесы Б. Брехта «Мать» на сцене норвежского Национального театра рецензент газеты «Фрихетен» Мартин Наг.

Как известно, Брехт писал свою пьесу в 1932 году, взяв за основу роман Горького и значительно расширив временные рамки событий (у Брехта некоторые эпизоды происходят в 1917 году).

Режиссеру - постановщику Магне Бленессу вместе с актерами труппы удалось создать по-настоящему динамичный, проникнутый революционным пафосом спектакль. Рецензент сравнивает постановку с агитплакатом, революционно - пропагандистской книгой, которые пробуждают классовое сознание рабочей аудитории.

«Брехт, как никогда, актуален сегодня,— пишет Мартин Наг,— вот почему спектакль привлекает такое множество зрителей и пользуется таким успехом».

ПЕРУ

«БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» В ПЕРУ

Перуанское правительство сняло запрет с фильма «Броненосец «Потемкин». Все предшествующие правительства запрещали показывать этот фильм, как пропаганду «опасной идеологии». Ше-

Сцена из спектакля «Мать» Брехта. *(Газета «Фрихетен»)*

девр Эйзенштейна разрешено показывать во всех кинотеатрах Перу.

ПОЛЬША

«ГОРСТЬ ПЕПЛА»

Государственный издательский институт Польши (ПИВ) выпустил сборник стихов Мариана Пехаля «Горсть пепла» со вступительной статьей известного польского прозаика Юлиана Кавалеца. Стихи Пехаля посвящены рабочим-батракам фольварка в Декове, на Сандомирской земле, которые, рискуя жизнью, спасли из огня сокровища национальной культуры, когда в одну из декабрьских студеных ночей заполыхала помещичья усадьба. Среди этих сокровищ была рукопись «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича, также спасенная крестьянами, которые, как пишет Юлиан Кавалец, почувствовали себя наследниками национальной культуры. При этом несколько батраков погибло в огне. В стихах Пехаля подчеркивается факт зарождения нового сознания личной ответственности за судьбу национальной культуры.

Юлиан Кавалец, уроженец этих мест, в своей статье описывает историческую эпоху, в которой произошли эти события, и дает высокую оценку сборнику стихов Мариана Пехаля.

НА СЦЕНЕ И НА ЭКРАНЕ

Несколько лет назад Анджей Вайда поставил «Свадьбу» Станислава Выспянского на сцене краковского театра «Стары». Пьеса «Свадьба», «написанная еще в начале XX века, одно из самых значительных произведений польской драматургии, на несколько десятилетий опередила эпоху как по содержанию, так и по форме».

Обращаясь к традициям народного искусства, Выспянский целиком построил пьесу по образцу «шопки»— народного кукольного театра, где реальные образы смеваются мифологическими, правда жизни — фантастикой.

Кадр из фильма «Свадьба» Анджея Вайды.

(Журнал «Экран»)

В основу пьесы лег подлинный факт — женитьба друга Выспянского, поэта Люциана Рыделя, на простой крестьянской девушке. Выспянского, конечно, привлекла не только поэзия праздничного народного веселья с его блеском, яркостью, переливами ярких лент, павлиньих перьев на шляпах свадебных гостей, но и возможность показа сближения интеллигенции с народом, конфликт между польской шляхтой и крестьянством.

Сейчас Анджей Вайда перенес эту пьесу на экран, передав на цветной ленте всю красочность и поэтичность польской деревни. Он показал столкновение двух миров, которые Выспянский противопоставил в своей пьесе.

В фильме, как говорит рецензент «Польского обозрения» Роман Шидловский, «меньше слов, чем в оригинале, поскольку все, что можно передать зрительными средствами, вытеснило описания. В экранизации пьесы прекрасно воспроизведены обычаи, обряды, есть правда об эпохе и ее людях, есть мысль Выспянского и его поэзия. Фильм Анджея Вайды позволит познакомить с этим шедевром польской литературы зрителей всего мира».

РУМЫНИЯ

СОБЫТИЕ СЕЗОНА

«Последние» М. Горького, поставленные Раду Пенчулеску на телевидении, стали событием сезона, так же как несколько лет назад «Король Лир» в постановке того же режиссера в Национальном театре им. Караджале надолго взволновал спокойное течение театральной жизни.

У Пенчулеску, которого еще недавно причисляли к категории «молодых» (ему исполнилось сорок), а теперь считают «мэтром», особый дар — опрокидывать привычные представления, разрушать каноны театральных традиций.

В телеспектакле «Последние» звучит горьковская философия гуманизма, его отвращение к насилию, к людям, в которых человеческое вытравлено, потому что они служат «порядку» или потому, что они покор-

но этим «порядкам» подчиняются. И вместе с тем спектакль далек от традиций привычного бытового театра, главное в нем — нравственный, философский взгляд на героев и их взаимоотношения.

Режиссер говорит: «Я отношусь к пьесе как к вечно актуальной. Она спорит, требует ответа. Те, кому сейчас двадцать, обращаются к родителям: «Вы требуете от нас многого, и прежде всего жизненного кредо. Но мир до сих пор принадлежит вам. Что вы сделали с ним, люди, которым сейчас сорок?» Ответственность человека за мир, в котором он живет, для меня главное в пьесе. Я торопился поставить ее, потому что сегодня вопрос, звучащий в ней, меня тревожит, я ощущаю потребность на него ответить, а еще через несколько лет — кто знает,— может быть, он прозвучит для меня оскорбительно или, что еще хуже, оставит равнодушным».

В мире, о котором повествует телеспектакль, все уродливо: родственные связи оборваны, никто не заботится даже о видимости порядочности. С экрана показывают жизнь в раздробленном, разложенном состоянии. Стихия всеобщего распада нарастает, принимая формы фантасмагорические.

Есть в этом спектакле что-то от Достоевского: исступленность, с которой сыграны некоторые сцены, иссушенность страданием в облике таких героев, как большой Яков и горбатая Любовь, тема затоптанной чистоты в образе Верочки, который Пенчулеску решает с нервной экспрессией. Но сила ненависти к насилию, которой пронизан спектакль, — горьковская, близкая русской классике вообще, всегда и во всем враждебной любому проявлению бесчеловечности.

Главный редактор журнала «Чинема» Екатерина Опрою в статье о спектакле, помещенной в еженедельнике «Контемпоранул», называет его выдающимся явлением культурной жизни Румынии, характеризует как спектакль «огромной драматической силы». К мнению критика присоединяется писательница Сынзиана Поп, которая посвятила этому спектаклю три статьи в еженедельнике «Лучафэрул». «Этот спектакль — явление, — замечает Опрою.— Он отличается превосходным распределением ролей. Все актеры, занятые в нем, заслуживают того, чтобы быть названными. Это Клоди Бертола, Элиза Пломяну, Клена Барток, Кэтэлина Пинтилие, Джордже Константин, Ов. Юлиу, Молдован, Василе Ницулеску, Дан Нуцу».

И все же в этом созвездии актерских работ Опрою выделяет Джордже Константина, который, сыграв Ивана Коломийцева, создал характер, «по силе и достоверности равный Федору Карамазову».

«ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА»

Этот новый румынский фильм, снятый на студии «Букурешть» режиссером Михаем Якобом, повествует о сложных человеческих взаимоотношениях.

Герои фильма, несмотря на сложные жизненные ситуации, руководствуются в своих поступках чувством долга, что свидетельствует, по словам рецензента журнала «Флакэра», об их высокой нравственности. «Это один из первых фильмов на современную тематику, в котором серьезно подымаются вопросы этики, необходимые для создания нового общества»,— пишет автор статьи Юлиан Джорджеску.

СЕНЕГАЛ

ЮНУССА СЕЙ — ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ХУДОЖНИК

Имя молодой сенегалки Юнуссы Сей стало известным, когда она сыграла в фильме Сембена Усмана «Мандат». В конце прошлого года Юнусса снова заставила заговорить о себе, но на сей раз не как актриса кино — в столице Сенегала Дакаре с большим успехом прошла выставка ее художественных работ.

Произведения Юнуссы Сей созданы из необычного материала — морских ракушек. Живописи она нигде

Илинка Томпоровяну и Эмерик Шеффер в главных ролях в фильме «Потому что они любят друг друга».

(Журнал «Флакэра»)

Юнусса Сей у своих работ.

не училась. Несмотря на это, специалисты считают, что ее первые шаги в искусстве сулят много интересного.

Интерес общественности к этой выставке был вызван еще и тем, что Юнусса Сей, как отмечает корреспондент журнала «Жён Африк», является единственной в стране женщиной-художником.

СИРИЯ

КИНО, РОЖДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Египетский журнал «Ат-Талиа» напечатал статью своего дамасского корреспондента Самира Фарида «Кино, рожденное Сопротивлением».

Автор статьи утверждает, что Сирия пока что единственная страна, где начали появляться кинофильмы, посвященные теме Сопротивления в Палестине. По его словам, сирийская кинематография вступила в новый этап развития после 1969 года, когда из европейских, преимущественно социалистических, стран возвратилась группа деятелей кино, проходивших там стажировку.

В настоящее время в сирийском кино успешно работают молодые кинорежиссеры Набиль аль-Малих. Мертван Музин, Кайс аз-Зубейди и Касем Холь. Рядом с ними трудятся представители старшего поколения кинематографистов — Мухаммед Шахин и Халед Хаммада. Молодые сирийские кинематографисты пока специализируются в основном на выпуске короткометражных фильмов.

По мнению автора статьи, лучший из сирийских короткометражных фильмов — фильм «Вдали от родины» режиссера Кайса аз-Зубейди. Автор фильма воспроизвел на экране беседы с детьми, живущими в палаточных лагерях для палестинских беженцев. В этих беседах с большой убедительностью и простотой раскрывается трагедия палестинского народа и в то же время его глубокое стремление к миру. Так, когда детей спрашивают в фильме: «В чем вы нуждаетесь?» — то большинство отвечает, что им нужны ручки и карандаши. Когда же им задают вопрос, кем они хотят стать, когда вырастут, то почти все изъявляют желание стать учителями или врачами.

Кайс аз-Зубейди, как считает автор статьи, добился успеха и в своем первом художественном фильме «Посещение», повествующем о трагической истории одной палестинской семьи.

Гневное обвинение американскому империализму звучит в фильме «Напалм» режиссера Набиля аль Малиха.

В короткометражном фильме «Рука» режиссера Касема Холя нашла отражение братоубийственная война между иорданской регулярной армией и отрядами палестинского Сопротивления, развязанная реакционными силами в сентябре 1970 года.

Из полнометражных сирийских кинокартин автор статьи выделяет фильм «Люди под солнцем», который, по его мнению, является пока самым лучшим из всех кинопроизведений, посвященных палестинской проблеме.

«Рождение нового сирийского кино из движения палестинского Сопротивления,— заключает С. Фарид свою статью,— это, несомненно, важнейшее событие в истории арабской кинематографии за последние пять лет».

США

НОВЫЙ ЖУРНАЛ НОРМАНА КАЗЕНСА

Главный редактор американского журнала «Сатердей ревью» Норман Казенс расстался со своим журналом. В своем последнем обращении к его читателям Казенс мотивирует свой уход тем, что еженедельник купила группа литераторов во главе с нынешним главным редактором «Сатердей ревью» Дж. Веронисом, которая собирается коренным образом изменить характер этого издания. Эти изменения, как указывает Казенс, противоречат его представлениям о том, каким должен быть журнал, Казенс также категорически не согласен с намерениями нынешних владельцев «Сатердей ревью» использовать это издание в коммерческих целях, не имеющих, по его утверждению, никакого отношения к интересам его подписчиков. «Сатердей ревью» ныне будет разделен на че-

тыре отдельных ежемесячных издания по вопросам науки, образования, искусства и социологии. Каждую неделю подписчики будут получать один из этих выпусков.

Недавно Норман Казенс обратился к читателям популярного американского еженедельника «Нью-Йорк ревью оф букс» с открытым письмом:

«Я и мои коллеги решили издавать новый двухнедельник «Уорлд ревью». После ухода из «Сатердей ревью» я мечтал издавать журнал, который бы в буквальном смысле принадлежал его читателям и редакторам. Этого еще никогда не было: ведь газеты и журналы — единственный товар, который продается потребителям по ценам ниже их себестоимости. И, поскольку эти издания зависят обычно от посторонних вложений, они часто и контролируются теми, кто платит деньги. Именно этого мы и стремимся избежать, если сможем. Поэтому мы надеялись, что у нас найдется достаточно читателей, которые сразу бы захотели стать постоянными подписчиками нового журнала. И мы не ошиблись, потому что число откликнувшихся на наше предложение превзошло наши самые смелые надежды. Каким же будет наш журнал?

Поскольку мы считаем, что журнал должен читаться, а не просматриваться, мы собираемся публиковать материалы для чтения... Новый журнал будет освещать на своих страницах проблемы культуры в самом широком значении этого слова».

«И ВСЕ ЖЕ Я ВЕРЮ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК...»

Новая книга известной американской писательницы Мэри Маккарти называется «Медина». В этой публицистической работе Маккарти рассказала о процессе по делу обвиненного в преступлениях против народа Вьетнама капитана американской армии Эрнеста Медины, суд над которым состоялся в американском городе Форт Макферсон.

«Это специфический случай, и он заинтересовал меня потому,— сказала Мэри Маккарти корреспонденту газеты «Интернэшнл геральд трибюн»,— что Медина по своему чину именно тот человек, который непосредственно руководит карательными операциями, и таких людей в армии много... Процесс этот был так подготовлен, что суду не оставалось ничего иного, как освободить Медину... У присутствующих могло создаться впечатление, будто они находятся под действием галлюциногенов: все свидетели отказывались от своих прежних показаний, и было почти невозможно понять, что же произошло на самом деле... Я думаю, что процесс Медины позволит мне сказать читателю нечто новое о Вьетнаме...

Однако нельзя забывать о том, что американский читатель обладает большой силой сопротивления предлагаемой ему информации. Об этом свидетельствует случай с секретными документами Пентагона, когда люди запомнили сам факт сражения между прессой и властями, а не суть разоблачений. Поэтому иногда начинаешь сомневаться в целесообразности подобных попыток, думаешь, что пора уйти на покой и не пытаться больше воздействовать на читателей.

Наверное, сама идея попытки высказать свои мысли читателям, которые тебя знают и поэтому, как тебе кажется, прислушиваются к твоему мнению по тем или иным вопросам,— старомодна. Может быть, общественное мнение уже перестало играть свою прежнюю роль? И все же я верю, что это не так...»

И писательница не оставляет попыток воздействовать на общественное сознание сограждан, считая своим долгом высказать читателям свое несогласие с политикой правительства в Юго-Восточной Азии; об об этом свидетельствуют ее книги: «Вьетнам» (1967), «Ханой», (1969) и «Медина» (1972).

ФРАНЦИЯ

СТАРИК И РЕКА

В своем романе «Повелитель реки» Бернар Клавель продолжает главную тему своего творчества — создание образов людей из народа, влюбленных в свой труд. (Читатель знаком с его романом «Плоды зимы», опубликованном в журнале «Иностранная литература» №№ 5, 6 за 1970 г.)

«Повелитель реки» — исторический роман. Он переносит читателя в те времена, когда первые пароходы стали вытеснять парусные и весельные суда. В 1840 году на реке Роне владельцы старых речных судов понимают, что их время прошло, но некоторые из них не хотят сдаваться без боя. Этот социальный кризис остро изображен Клавелем. Писатель воспроизводит картину ломки старого уклада жизни с великолепным знанием эпохи и ремесла речников. Но значение романа этим не ограничивается. Судьба одного из старых капитанов становится в «Повелителе реки» воплощением непреклонного сопротивления наступлению бездушной техники, которой управляют волчьи законы капитализма.

Герой романа, старый судовладелец и капитан, Филибер Мерлен всю свою жизнь водил суда по реке Роне и не боялся вступать в единоборство с речной стихией. Он наделен сильной волей, профессиональной гордостью и готов до конца защищать свое ремесло. Решение старого капитана подняться вверх по реке во время паводка — это вызов судьбе. Филибер Мерлен убежден: если сумеет победить реку, то тогда с ним не справятся и ее новые хозяева. Но внезапная буря швыряет в барку огромные бревна, плывшие по реке, и разбивает старое суденышко. Старый капитан пытается спасти своего раненого матроса, выплыть вместе с ним, но погибает.

Писатель и критик Пьер-Анри Симон в своей статье

в «Монд», посвященной «Повелителю реки», называет его прекрасным, сильным романом, человечным и поэтичным, напоминающим в чем-то повесть Хемингуэя «Старик и море».

«ВОЙНА КАРМАНОВ»

В начале этого года в культурной жизни Франции произошло событие, «круто изменившее,— по мнению газеты «Монд»,— положение на французском книжном рынке». Витрины книжных магазинов, библиотечные стенды, прилавки киосков заполнили издания новой карманной серии «Фолио», выпущенной издательством Галлимара. У этого события своя предыстория. С 1953 года большая часть французских изданий карманного формата выходила в серии «Ливр де пош», финансируемой издательством «Ашетт». За двадцать лет было продано триста миллионов книг этой серии. «Ливр де пош» до 1972 года питалась фондами девяноста издательств страны, причем треть всего тиража приходилась на долю Галлимара.

Однако в 1972 году Клод Галлимар принял решение выпускать свою собственную карманную серию. Так, по словам обозревателя газеты «Монд», между двумя издательствами - гигантами произошел разрыв после двадцати лет счастливого супружества... Отныне «Ашетт» теряет один из своих основных книжных ресурсов. Более того, оно теряет возможность переиздавать многие произведения, выпущенные в свое время Галлимаром и принесшие затем славу «Ливр де пош». Среди них — «Чума» и «Посторонний» Камю, «Стена» Сартра, «Ночной полет» Сент-Экзюпери, «Условия человеческого существования» Мальро.

Глава издательства «Ашетт» Бернар де Фаллуа, судя по всему, не собирается уступать поле боя своему бывшему компаньону, а теперь сопернику. Сообщив обозревателю «Монд», что разрыв с Галлимаром уменьшит тираж «Ливр де пош» на 10 000 000 экземпляров, он заявил, что «Ашетт» уже в этом году надеется сократить потерю наполовину. Так же как и в прошлые годы, в серии «Ливр де пош» выйдет восемьдесят новых названий. Среди них несколько в жанре эссе и документальной литературы, например «Дуэль де Голль — Помпиду» Филиппа Александра.

Чем же кончится другая дуэль Галлимар — де Фаллуа? По мнению обозревателя газеты «Монд», «трудно сказать, кто выйдет победителем из этой «карманной войны», или «войны карманов», ясно одно: оба конкурента не теряют оптимизма».

ШВЕЦИЯ

«40 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ НИКОГДА НЕ ЧИТАЮТ КНИГ»

Под таким заголовком «Норшеисфламман» поместила на своих страницах статью о результатах опроса, проведенного недавно в пяти районах Швеции (в том числе в Стокгольме, Мальмё, Оребро).

Чем выше духовные запросы людей, тем больше времени они уделяют чтению, в этом нет ничего удивительного, но гораздо неожиданней оказалось другое: женщины читают больше, чем мужчины, библиотеками пользуются в основном подростки 13—14 лет, а 40 процентов населения вообще не читают книг. Вместо книг они предпочитают бегло просматривать так называемую «литературу потока» — газеты, дешевые выпуски, различного рода информации. Особой популярностью пользуются рисованные серии «Кале Анка», которые обычно помещают на последних страницах газет.

Выяснение литературных запросов шведов еще не закончено, но уже опубликованы предварительные результаты опроса, с тем чтобы в обсуждение проблемы включалось как можно больше людей. «Но едва ли в такой поспешности была необходимость,— замечает корреспондент «Норшенсфламман». — Кто имеет время, силы (715 страниц!) и деньги (48 крон), чтобы купить и прочесть эту книгу?» — спрашивает он.

Почти такой же вопрос задает своим читателям другая шведская газета «Ню даг»: «Кто может купить только что вышедшую книгу стоимостью в 40 крон? Кому вообще доступны новые книги? Всем, кроме «широкого читателя». Критик получает книгу бесплатно. Он прочитывает ее, а потом, негодуя, отвергает или с энтузиазмом рекомендует читателям. Большие, солидные книги рецензируются в тот же день, когда они попадают на прилавок.

На прилавке они лежат довольно долго, иногда по году. А через год они вновь возвращаются в издательство, на книжные склады. Наконец, когда дальнейшее хранение становится явно убыточным, когда все новое устаревает, короче, когда проходит еще несколько лет, издательство снижает цену почти вдвое, и книга поступает в универсальный книжный магазин. Ну, а если и после этого не удается распродать весь тираж, книги отправляют на перемолку в специальные мельницы. Там превращают в труху роскошные переплеты и интересные мысли, а автору направляется соболезнующее письмо. Так кто же может купить новую книгу в Швеции?»

ШВЕЙЦАРИЯ

ЗАКАТ «ГАЗЕТТ ЛИТТЕРЕР»

На протяжении почти четверти века «Газетт литтерер», субботне-воскресное приложение к ежедневной «Лозаннской газете», было зеркалом культурной жизни французской Швейцарии. Под руководством журналиста и публициста Франка

Жоттерана она благодаря редакционной автономности пользовалась известностью за пределами довольно узкого круга читателей консервативной «Лозаннской газеты». И вот в начале этого года Ф. Жоттеран и его ближайшие сотрудники были уволены, «газета в газете» перестала существовать, превратилась в традиционное еженедельное приложение, призванное отражать литературные вкусы и пристрастия основной редакции. Официально причиной перестройки названы финансовые затруднения, однако ясно, что дело здесь в разногласиях политического и эстетического характера. Взгляды Ф. Жоттерана и его коллег давно уже казались хозяевам издания чересчур левыми.

Основанная в 1949 году «Газетт литтерер» сыграла важную роль в ликвидации духовного изоляционизма послевоенных лет. Она способствовала культурному обмену с немецкоязычными кантонами, с другими странами. Все лучшее, передовое, что есть в литературе и искусстве французской (и не только французской) Швейцарии, было представлено на страницах «Газетт литтерер». Специальные номера посвящались крупным явлениям мировой культуры, в том числе и социалистической. В вопросах политики приложение резко отличалось от ежедневной газеты. Так, например, по инициативе Ф. Жоттерана на страницах «Газетт литтерер» подверглась детальному анализу печально знаменитая книжонка о «гражданской защите», направленная против прогрессивных сил страны. Выяснилось, что непосредственное отношение к этому реакционному документу имеет тогдашний председатель Союза швейцарских писателей М. Зерматтен. В результате зимой 1969 года из СШП вышли 22 известных писателя, среди них М. Фриш и Ф. Дюрренматт, которые образовали так называемую «Ольтенскую группу», существующую и поныне наряду с реорганизованным писательским союзом (он теперь называется «Ассоциация швейцарских писателей»).

88 деятелей швейцарской культуры подписали заявление, в котором выразили сожаление в связи с уходом «Газетт литтерер» с литературно - политической сцены. Ф. Жоттеран и его соратники намерены продолжать свою работу в другом издании — «чтобы развивать творческую преемственность, чувство нового, культурные связи с другими народами».

ЯПОНИЯ

«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ПОЛНА ЗАБОТ»

Так называется серия фильмов, поставленных режиссером Йодзи Ямадо. Ямадо не только постановщик, но и автор сценария. Все фильмы объединены одним героем по имени Тора. Это человек средних лет, по профессии он — странствующий торговец, по характеру жизнелюб. Дела его идут не самым лучшим образом, но он не унывает. Он очень общителен, старается всем помочь — не деньгами, он сам беден,— а добрым словом, поступком. У него всегда и для всех есть время. Фильм полон мягкого юмора, он знакомит зрителей с буднями обычных, простых людей Японии, с их радостями, заботами и огорчениями.

«Этот фильм,— пишет рецензент польского журнала «Кино»,— позволяет человеку сделать короткую передышку, заставляет его улыбаться, а иногда и задуматься.

Приключения Тора-сан и его отношение к окружающему являются отличным противоядием против сумасшедшего темпа и жестокости современного бытия».

Роль Тора-сан исполняет самый популярный в Японии комик Киоси Ацуми.

Киоси Ацуми в роли Тора-сан.

(Журнал «Кино»)

Авторы этого номера

РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ НАРАЙАН — RASIPURAM KRISHNASWAMI NARAYAN (род. в 1906 г.).

С творчеством этого видного индийского писателя хорошо знакомы советские читатели по переведенным на русский язык и опубликованным «Иностранной литературой» наиболее известным его романам «Святой Раджу» (№№ 6, 7, 1960), «Людоед в Мальгуди» (№ 2, 1964), «Продавец сладостей» (№№ 1, 2, 1969) и нескольким рассказам. Его произведения выходили в нашей стране также отдельными изданиями.

Книги Р. К. Нарайана нашли широкое признание не только в Индии, но и во многих странах мира. Писатель — член Литературной академии Индии, ему присуждена Национальная премия академии — высшая литературная награда страны.

Рассказы, публикуемые в этом номере, взяты из сборника «Конь и две козы» («The Horse and Two Goats», 1970).

■

ВЭНЬ И-ДО (1899—1946).

Китайский поэт, ученый и общественный деятель, один из основателей новой китайской поэзии. Работал во многих китайских университетах, был профессором, деканом и ректором; занимался помимо поэтического творчества философией, этнографией, теорией стихосложения. Наибольшую известность из его поэтических произведений получили первый сборник стихов «Красная свеча» (1923), поэмы «Ножны», «Думы о хризантемах», сборник стихов «Мертвая вода» (1928) и др. Его перу принадлежат также научные работы по истории китайской письменности, литературе и искусству.

Вэнь И-до был членом Демократической лиги Китая, боровшейся против реакционной политики чанкайшистского режима. В 1946 году поэт был предательски убит агентом тайной полиции.

Советским читателям поэт знаком по циклам стихов, публиковавшимся «Иностранной литературой» (№ 10, 1959 и № 10, 1970), а также по сборнику «Избранное» (1960).

Подборка стихов, предлагаемая читателю, взята из сборника «Красная свеча».

■

ДЖОН О'ХАРА — JOHN O'HARA (1905—1970).

Крупный американский писатель, романист, новеллист, драматург, один из мастеров критического реализма США. Родился в маленьком шахтерском городке штата Пенсильвания, в семье врача-ирландца. Переменил несколько профессий, много лет работал репортером в редакциях газет Пенсильвании и Нью-Йорка.

Слава пришла к нему с появлением первого романа «Свидание в Самарре» («Appointment in Samarra», 1934) и сопутствовала ему в течение трех с половиной десятилетий литературной жизни. Им написано более десяти романов, несколько сот рассказов, пьесы, очерки, статьи, в которых он обрисовал многие грани жизни современной Америки, особенно угольных районов Пенсильвании. Наиболее известны романы «Надежда неба» («Hope of Heaven», 1938), «Гостиница для фермеров» («The Farmers' Hotel», 1951), «С террасы» («From the Terrace», 1958), «Инструмент» («The Instrument», 1967), повесть «Семейное торжество» («A Family Party», 1956), сборник рассказов «Сын доктора» («The Doctor's Son», 1935) и др. За роман «Дом № 10 по Северной Фредерик» («Ten North Frederick», 1955) писа-

тель был удостоен Национальной премии за лучшую книгу 1956 года — одна из немногих официальных литературных наград, полученных О'Харой.

На русском языкє в 1970 году издан сборник его произведений «Жажда жить», в который вошли роман «Инструмент» и рассказы. Многие новеллы публиковались в журналах.

В этом номере мы начинаем печатать роман О'Хары «Дело Локвудов» («The Lockwood Concern», 1965), принадлежащий к лучшим книгам писателя, написанным в последние годы.

■

ШАНДОР ЭК — ÉK SÁNDOR (род. в 1902 г.).

Венгерский живописец, график, заслуженный деятель искусств Венгерской Народной Республики, лауреат премий им. Мункачи и Кошута. Известен как мастер политического плаката и карикатуры, иллюстратор книг, автор многих серий рисунков и литографий, посвященных трудовым людям Венгрии. Его кисти принадлежит несколько портретов В. И. Ленина.

Мы публикуем главы из книги Шандора Эка «Вчера и сегодня» («Mába érő tegnapok», 1968), готовящейся к выпуску на русском языке издательством «Прогресс».

■

ПОЛЬ ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ — PAUL VAILLANT-COUTURIER (1892—1937).

Французский писатель, публицист и общественный деятель. Был участником первой мировой войны, одним из основателей французской коммунистической партии, с 1921 г. — членом ее ЦК. С 1926 по 1937 г. — редактор газеты «Юманите».

На русский язык переведены его повесть «В отпуску», сборники рассказов «Солдатская война», «Бал слепых», публицистическая книга «Несчастье быть молодым», автобиографическая — «Детство» и другие произведения.

Поль Вайян-Кутюрье неоднократно посещал нашу страну. Опубликовал книги «Месяц в Красной Москве» («Un mois dans Moscou la rouge», 1925) и «Строители новой жизни» («Les bâtisseurs de la vie nouvelle», 1932).

Мы печатаем отрывки из его книг «Поля хлебов и нефтяные поля» («Terres du pain champs de blé et champs de pétrole», 1932), «Индустриальные гиганты» («Les géants industriels», 1932) и «В стране Тамерлана» («Au pays de Tamerlan», 1932).

■

МАРИО ХИЛЬ — MARIO GIL (псевдоним Карлоса М. Веласко Хиля).

Мексиканский публицист, эссеист. Был главным редактором еженедельника «Республика», руководил основанным им еженедельником «Балуарте», сотрудничал в журнале «Тьемпо» и других изданиях. Автор многих работ, в том числе «Синаркизм, его происхождение, его суть, его миссия» («Sinarquismo, su origen, su esencia, su misión», 1944), «Наши добрые соседи» («Nuestros buenos vecinos», 1959, переведена на русский язык) и других.

Статья, публикуемая в этом номере, получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 26/V 1972 г. А 08972. Подписано к печати 7/VII 1972 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,28. Зак. 1805.
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394